



2

СТЕФАН ЦВЕИГ



# СТЕФАН ЦВЕЙГ

**СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В СЕМИ ТОМАХ**

**ТОМ ВТОРОЙ**

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
МОСКВА • 1963

Издание выходит  
под общей редакцией  
Б. Л. Сучкова.

Оформление и иллюстрации  
художника С. Г. Бродского,

Н  
Е Т Е Р П Е Н И Е  
С Е Р Д Ц А



---

«...Есть два рода сострадания. Одно — малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание — истинное, которое требует действий, а не сентиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их».

«Нетерпение сердца», 184.



бо кто имеет, тому дано будет и приумножится» — каждый писатель может с легким сердцем признать справедливость этих слов из Книги Мудрости, применив их к себе: кто много рассказывал, тому многое расскажется. Ничто так не далеко от истины, как слишком укоренившееся мнение, будто писатель только и делает, что изобретает всевозможные исто-

рии и происшествия, снова и снова черпая их из неиссякаемого источника собственной фантазии. В действительности же, вместо того чтобы придумывать образы и события, ему достаточно лишь выйти им навстречу, и они, неустанно разыскивающие своего рассказчика, сами найдут его, если только он не утратил дара наблюдать и прислушиваться. Тому, кто не раз пытался толковать человеческие судьбы, многие готовы поведать о своей судьбе.

Эту историю мне тоже рассказали, причем совершенно неожиданно, и я передаю ее почти без изменений.

В мой последний приезд в Вену, как-то вечером, утомленный множеством дел, я отыскал один пригородный ресторан, полагая, что он давно вышел из моды и вряд ли многолюден. Однако едва я вошел в зал, как мне пришлось раскаяться в своем заблуждении. Из-за первого же столика поднялся знакомый и, проявляя все признаки искренней радости, которой я отнюдь не разделял, предложил подсесть к нему. Было бы неверно утверждать, что этот суетливый господин сам по себе несносный или неприятный человек; он лишь принадлежал к тому сорту назойливых людей, что коллекционируют знакомства с таким же усердием, как дети — почтовые марки, чрезвычайно гордясь каждым экземпляром своей коллекции.

Для этого чудака — между прочим, дельного и знающего архивариуса — весь смысл жизни, казалось, заключался в чувстве скромного удовлетворения, которое он испытывал, если при упоминании какого-либо имени, время от времени мелькавшего в газетах, мог небрежно обронить: «Это мой близкий друг», или: «Да я его только вчера видел», или: «Мой друг А. говорит, а мой приятель Б. полагает», — и так подряд до конца алфавита. Знакомые актеры всегда могли рассчитывать на его аплодисменты, знакомым актрисам он звонил утром после премьеры, торопясь поздравить их; не бывало случая, чтобы он позабыл чей-нибудь день рождения; пристально следя за рецензиями, он оставлял без внимания малоприятные, хвалебные же вырезал из газет и от чистого сердца посылал друзьям. В общем, это был неплохой малый, ибо в своем усердии он руководствовался самыми добрыми намерениями и почитал за счастье,



если кто-либо из его именитых друзей обращался к нему с пустячной просьбой или же пополнял его коллекцию новым экземпляром.

Нет нужды подробней описывать нашего друга «при ком-то» — как в насмешку окрестили венцы этих добродушных паразитов из многоликой породы снобов, — любой из нас встречал их и знает, что только грубостью можно отделаться от их безобидного, но назойливого внимания. Итак, покорившись судьбе, я подсел к нему. Не проболтали мы и четверти часа, как в ресторан вошел рослый господин с молажавым, румяным лицом и сединой на висках; по выправке в нем сразу угадывался бывший военный. Поспешно привстав с места, мой сосед с присущим ему усердием поклонился вошедшему, на что тот ответил скорее безразлично, нежели учтиво. Не успел новый посетитель сделать подбежавшему кельнеру заказ, как мой друг «при ком-то», подвинувшись ко мне поближе, тихо спросил:

— Знаете, кто это?

Помня его привычку хвастать любим, даже малоинтересным экземпляром своей коллекции и опасаясь слишком пространных объяснений, я холодно бросил «нет» и занялся тортом. Однако мое равнодушие только подзадорило этого собирателя имен; поднеся ладонь ко рту, он зашептал:

— Это же Гофмиллер из главного интендантства; ну, помните, тот, что в войну получил орден Марии-Терезии.

Поскольку этот факт вопреки ожиданию не произвел на меня ошеломляющего впечатления, господин «при ком-то» с патриотическим пылом, достойным школьной хрестоматии, принялся выкладывать все подвиги, совершенные упомянутым ротмистром сначала в кавалерии, затем в воздушном бою над Пьяве, когда он один сбил три вражеских самолета, и, наконец, когда его пулеметная рота трое суток сдерживала натиск противника. Отчет свой господин «при ком-то» сопровождал массой подробностей (я их здесь опускаю) и то и дело выражал безмерное изумление по поводу того, что я никогда не слышал об этом выдающемся человеке, которому император Карл самолично вручил высшую австрийскую военную награду.

Невольно поддавшись искушению, я взглянул на соседний столик, чтобы с двухметровой дистанции увидеть героя, отмеченного печатью истории. Но я встретился с твердым, недовольным взглядом, который словно говорил: «Этот тип уже что-то напел тебе? Нечего на меня глазеть». И, не скрывая своей неприязни, ротмистр резко передвинул стул и уселся к нам спиной. Несколько смущенный, я отвернулся и с этой минуты избегал даже краешком глаза смотреть на его столик.

Вскоре я распрощался с моим добрым сплетником. При выходе я не преминул отметить про себя, что он уже успел перебраться к своему герою: видимо, не терпелось поскорее доложить ему обо мне, как он докладывал мне о нем.

Вот, собственно, и все. Я бы скоро позабыл эту мимолетную встречу взглядов, но случаю было угодно, чтобы на следующий день в небольшом обществе я оказался лицом к лицу с неприступным ротмистром. В смокинге он выглядел еще более эффектно и элегантно, нежели вчера в костюме спортивного покроя. Узнав друг друга, мы оба постарались скрыть невольную усмешку, словно два заговорщика, оберегающие от посторонних тайну, известную только им. Вероятно, воспоминание о вчерашнем незадачливом своднике в одинаковой мере раздражало и забавляло нас обоих. Сначала мы избегали говорить друг с другом, что, впрочем, все равно не удалось бы, поскольку вокруг разгорелся жаркий спор.

Предмет этого спора можно легко угадать, если я упомяну, что он имел место в 1938 году. Будущие летописцы установят, что в 1938 году почти в каждом разговоре — в какой бы из стран нашей растерянной Европы он ни происходил — преобладали догадки о том, быть или не быть новой войне. При каждой встрече люди, как одержимые, возвращались к этой теме, и порой даже казалось, будто не они, пытаясь избавиться от обуявшего их страха, делятся своими опасениями и надеждами, а сама атмосфера, взбудораженная, насыщенная скрытой тревогой, стремится разрядить в словах накопившееся напряжение.

Дискуссию открыл хозяин дома, адвокат по профессии и большой спорщик.

Общеизвестными аргументами он пытался доказать общеизвестную чушь, будто наше поколение, уже испытавшее одну войну, не позволит так легко втянуть себя в новую: едва объявят мобилизацию, как штыки будут повернуты в обратную сторону — уж кто-кто, а старые фронтовики вроде него хорошо знают, что их ждет.

В тот самый час, когда сотни, тысячи фабрик занимались производством взрывчатых веществ и ядовитых газов, он сбрасывал со счетов возможность новой войны с той же небрежной легкостью, с какою стряхивал пепел своей сигареты.

Его апломб вывел меня из терпения. Не всегда следует принимать желаемое за действительное, весьма решительно возразил я ему. Ведомства и организации, управляющие военной машиной, тоже не дремлют. И пока мы тешим себя иллюзиями, они сполна используют мирное время, чтобы заранее привести массы, так сказать, в боевую готовность. Если уже сейчас, в мирные дни, всеобщий сервизм благодаря самоновейшим методам пропаганды достиг невероятных размеров, то в минуту, когда по радио прозвучит приказ о мобилизации — надо смотреть правде в глаза, — ни о каком сопротивлении и думать нечего. Человек всего лишь песчинка, и в наши дни его воля вообще не принимается в расчет.

Разумеется, все были против меня, ибо люди, как известно, склонны к самоуспокоению, они пытаются заглушить в себе сознание опасности, объявляя, что ее не существует вовсе. К тому же в соседней комнате нас ждал роскошно сервированный стол, и при подобных обстоятельствах мое возмущение неоправданным оптимизмом казалось особенно неуместным.

Неожиданно за меня заступился кавалер ордена Марии-Терезии, как раз тот, в ком я ошибочно предполагал противника.

— Это чистейший абсурд, — горячо заговорил он, — в наше время еще придавать значение желанию или нежеланию людей, ведь в грядущей войне, где в основном предстоит действовать машинам, человек станет не более как придатком к ним. Еще в прошлую войну на фронте мне редко встречались люди, которые безоговорочно принимали или безоговорочно отвергали войну.

Большинство подхватило, как пыль ветром, и закружило в общем вихре. И, пожалуй, тех, кто пошел на войну, убегая от жизни, было больше, чем тех, кто спасался от войны.

Я с изумлением слушал его, захваченный прежде всего страстностью, с которой он говорил:

— Не будем обманывать себя. Начнись сейчас вербовка добровольцев на какую-нибудь экзотическую войну — скажем, в Полинезии или в любом уголке Африки, — и найдутся тысячи, десятки тысяч, которые ринутся по первому зову, сами толком не зная почему — то ли из стремления убежать от самих себя, то ли в надежде избавиться от безрадостной жизни. Вероятность сопротивления войне я оцениваю немногим выше нуля. Чтобы в одиночку сопротивляться целой организации, требуется нечто большее, чем готовность плыть по течению, — для этого нужно личное мужество, а в наш век организации и механизации это качество отмирает. В войну я сталкивался почти исключительно с явлением массового мужества, мужества в строю; оказалось, что за ним скрываются — если разглядывать его в увеличительное стекло — самые неожиданные стимулы: много тщеславия, много легкомыслия и даже скуки, но прежде всего — страх. Да, да! Боязнь отстать, боязнь быть осмеянным, боязнь действовать самостоятельно и главным образом боязнь противостоять общему порыву; большинство из тех, кого считали на фронте храбрецами, были мне лично известны и тогда и потом, в гражданской жизни, как весьма сомнительные герои. Пожалуйста, не думайте, — добавил он, вежливо обращаясь к хозяину, состроившему мину, — что я делаю исключение для себя.

Мне понравилось, как он говорил, и я уже собрался было подойти к нему, но тут хозяйка дома пригласила гостей к столу, и, так как нас усадили далеко друг от друга, нам не удалось побеседовать за ужином. Только когда все стали расходиться, мы столкнулись в прихожей.

— Мне кажется, — сказал он, улыбнувшись, — что наш общий покровитель уже заочно представил нас друг другу.

Я тоже улынулся:

— И весьма обстоятельно.

— Наверно, изображал меня таким Ахиллесом и хвастался моим орденом, как своим?

— Что-то в этом роде.

— Да. Им он чертовски гордится — так же, как и вашими книгами.

— Чудак! Но бывают и хуже. Может быть, пройдемся немного вместе, если вы ничего не имеете против?

Мы вышли. Сделав несколько шагов, он заговорил:

— Не подумайте, что я рисуюсь, но, действительно, ничто мне так не мешало все эти годы, как орден Марии-Терезии — слишком уж он бросается в глаза. Конечно, по совести говоря, когда мне повесили его на грудь там, на фронте, у меня голова пошла кругом. Ведь в конце концов если тебя воспитали солдатом и ты еще в кадетском корпусе слышался об этом легендарном ордено, который в каждую войну достается, быть может, какому-нибудь десятку людей, то он и в самом деле кажется звездой, упавшей с неба. Да, для двадцативосьмилетнего молодца это кое-что значит. Вы только представьте себе: стоишь перед строем, все смотрят, как у тебя на груди вдруг что-то засверкало, будто маленькое солнце, а его августейшее величество, сам император, на глазах у всех поздравляет тебя, пожимая руку! Но, видите ли, эта награда имела смысл и значение только в нашем армейском мире. Когда же война кончилась, мне показалось смешным ходить весь остаток жизни с ярлыком героя только потому, что однажды, всего каких-нибудь двадцать минут, я был по-настоящему храбр, но, наверно, не храбрее, чем тысячи других; просто мне выпало счастье быть замеченным и — что самое удивительное — вернуться живым. Уже через год мне осточертело изображать ходячий монумент и смотреть, как люди из-за кусочка металла на груди взирают на меня с благоговением; меня раздражало постоянное внимание к моей персоне, это и послужило одной из причин того, что я очень скоро после окончания войны ушел из армии.

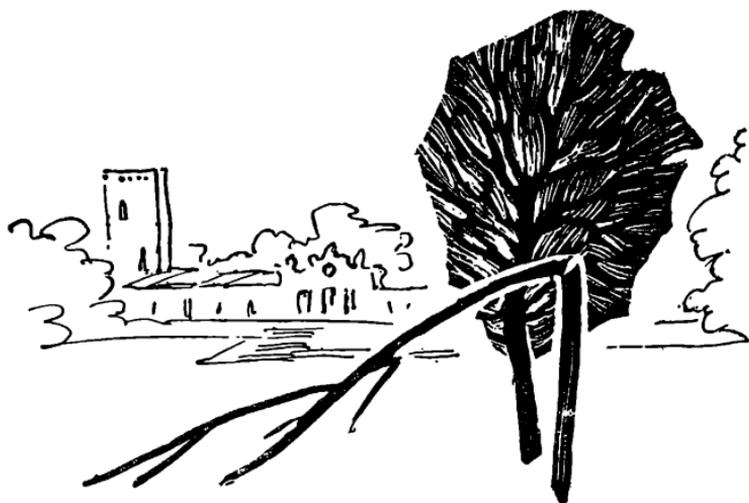
Он немного ускорил шаг.

— Я сказал: одной из причин, главная же была иного порядка, личного, она вам, пожалуй, будет еще понятнее. Главная причина заключалась в том, что я сам слишком сомневался в своем праве называться ге-

роем,— во всяком случае, в своем героизме. Я-то лучше всяких зевак знал, что этим орденом прикрывается человек, меньше всего похожий на героя, скорее наоборот — он один из тех, кто очертя голову ринулся в войну только потому, что попал в отчаянное положение; это были дезертиры, сбежавшие от личной ответственности, а не герои патриотического долга. Не знаю, как вы, писатели, смотрите на это, но лично мне ореол совести кажется противоестественным и невыносимым, и я испытываю огромное облегчение, с тех пор как избавился от необходимости ежедневно демонстрировать на мундире свою героическую биографию. Меня и по сей день элит, когда кто-нибудь занимается раскопками моей былой славы; признаться, вчера я чуть не подошел к вашему столику, чтобы отругать этого болтуна, похвалявшегося мною. Почтительный взгляд, который вы бросили в мою сторону, весь вечер не давал мне покоя; больше всего мне хотелось тут же опровергнуть его болтовню и заставить вас выслушать, какой кривой дорожкой я, собственно, пришел к своему геройству. Это довольно странная история, во всяком случае, она показала бы вам, что иной раз мужество — это слабость наизнанку. Впрочем, я мог бы вполне откровенно рассказать вам ее. О том, каким ты был четверть века назад, можно говорить так, словно это касается кого-то другого. Располагаете ли вы временем, чтобы выслушать меня? И не покажется ли вам это скучным?

Разумеется, я располагал временем; в ту ночь мы еще долго бродили по опустевшим улицам. Встречались мы и в последующие дни.

Передавая его рассказ, я изменил лишь немного: «гусаров» назвал «уланами», предусмотрительно переместил на карте расположение гарнизонов и, уж конечно, не стал упоминать настоящие имена. Но нигде я не присочинил чего-либо существенного и вот теперь предоставляю слово самому рассказчику.



**В**

се началось с досадной неловкости, с нечаянной оплошности, с *gaffe*<sup>1</sup>, как говорят французы. Правда, я поспешил загладить свой промах, но когда слишком торопишься починить в часах какое-нибудь колесико, то обычно портишь весь механизм. Даже спустя много лет я так и не могу понять, где кончалась моя

<sup>1</sup> Бестактного поступка (франц.).

неловкость и начиналась вина. Вероятно, я этого никогда не узнаю.

Мне было тогда двадцать пять лет. Я служил в чине лейтенанта в Н-ском уланском полку. Не скажу, чтобы я испытывал особое влечение или чувствовал внутреннее призвание к военной службе. Но если в семье австрийского чиновника за скудным столом сидят две девочки и четверо вечно голодных мальчуганов, то их не очень спрашивают о наклонностях, а поскорее пристраивают к делу, чтобы они не слишком засиживались у домашнего очага. Моего брата Ульриха, который еще в школе испортил себе глаза зубрежкой, отдали в семинарию; меня же, поскольку я отличался крепким сложением, послали в военное училище: там клубок жизни разматывается сам собой, его уже не надо тянуть за нитку. Все заботы берет на себя государство. За несколько лет оно бесплатно, по установленному казенному образцу, выкраивает из худощавого, бледного подростка безусого прапорщика и в годном к употреблению виде сдает его армии. Мне еще не исполнилось и восемнадцати, когда — по традиции, в день рождения императора — состоялся наш выпуск, и на моем воротнике вскоре засверкала звездочка. Первый этап был пройден; отныне мне предстояло с надлежащими интервалами автоматически продвигаться вверх по служебной лестнице вплоть до пенсии и подагры. В кавалерию, где служба, увы, далеко не всякому по средствам, я попал не по собственному желанию, а по прихоти тетки Дэзи, второй жены старшего брата отца; она обручилась с моим дядей, когда тот перешел из министерства финансов на более выгодную должность председателя правления банка. Эта богачка с аристократическими замашками не допускала и мысли, что кто-либо из ее родственников способен «опозорить» фамилию Гофмиллеров службой в пехоте; а так как за свой каприз она ежемесячно выплачивала мне сотню крон, то при каждом удобном случае я еще должен был покорнейше благодарить ее. Нравилась ли мне служба в кавалерии и вообще в армии, — над этим никто никогда не задумывался и меньше всего я сам. Стоило мне вскочить в седло, как я забывал обо всем на свете и дальше ушей своего коня ничего не видел.



В ноябре 1913 года из одной канцелярии в другую, вероятно, спустили какой-то приказ, и наш эскадрон неожиданно-негаданно перевели из Ярославиче в небольшой гарнизонный городок у венгерской границы. Как он назывался, — не так уж важно, ибо все провинциальные гарнизонные городки в Австрии отличаются друг от друга не больше, чем пуговицы на мундире. Повсюду одна и та же казенная декорация: казарма, манеж, учебный плац, офицерское казино и как дополнение — три гостиницы, два кафе, кондитерская, винный погребок и паршивенькое варьете с потасканными певичками, которые между делом охотно удостаивают своей благосклонности офицеров и вольноопределяющихся. Строевая служба повсюду одинаково пуста и однообразна, час за часом расписаны по незыблемому, веками установленному порядку; в свободное время тоже не происходит ничего интересного. В офицерском казино все те же лица и те же разговоры, в кафе все те же карты и тот же бильярд. Иной раз даже удивляешься, как это еще господь бог удосужился нарисовать разные пейзажи вокруг шестисот или восьмисот домов, насчитывающихся в таких городишках.

Правда, у нового гарнизона было одно преимущество перед прежним, галицийским: он находился близко от Вены и не очень далеко от Будапешта, и тут останавливались курьерские поезда. Те, у кого были деньги — а в кавалерии, как правило, служили люди со средствами, не говоря уже о вольноопределяющихся из высшей знати и сынках крупных фабрикантов, — могли, отбарабанив положенное, уехать с пятичасовым в Вену и к половине третьего ночи вернуться назад. Так что вполне можно было сходить в театр, пошататься по Рингу и завести любовную интрижку; некоторые счастливики даже снимали там постоянные или временные квартиры. К сожалению, подобные освежающие эскапады были мне при моем бюджете недоступны. Я довольствовался кафе и кондитерской, где играл в бильярд (карточные ставки выходили за пределы моих возможностей) или в шахматы, что уж совсем ничего не стоило.

Так вот однажды — это было, кажется, в середине мая 1914 года — я сидел после обеда в кондитерской за шахматами. Моим партнером и на сей раз оказался

местный аптекарь, он же помощник бургомистра. Мы давно окончили наши обычные три партии и сидели просто так, от нечего делать болтая о том, о сем,— куда еще денешься в этой дыре? Разговор уже гаснул, словно догорающая сигарета, как вдруг неожиданно распахнулась дверь и волна свежего воздуха внесла хо-рошенькую девушку в широкой развевающейся юбке; карие миндалевидные глаза, смуглое личико, превосходно одета, ничего провинциального и главное — совершенно новое лицо среди осточертевшего однообразия. Но — увы! — элегантная нимфа не обращает никакого внимания на наши почтительно-восторженные взгляды: гордо и стремительно, упругим спортивным шагом она проходит мимо девяти мраморных столиков прямо к стойке и заказывает en gros<sup>1</sup> торты, пирожные и напитки. Мне сразу же бросается в глаза, как devotissime<sup>2</sup> склоняется перед ней хозяин кондитерской,— я еще никогда не видел, чтобы у него на спине так туго натягивался шов фрака. Даже его жена, грубая, растолстевшая провинциальная Венера, которая обычно со снисходительной небрежностью принимает ухаживания нашего брата (у каждого бывают к концу месяца кое-какие должки), встает из-за кассы и рассыпается в любезностях. Пока господин Гроссмейер записывает заказ, прелестная клиентка беззаботно грызет миндаль в сахаре и переговаривается с фрау Гроссмейер; нас она не замечает, хотя мы до неприличия усердно вытягиваем шею в ее сторону. Разумеется, юная госпожа не утруждает свои нежные ручки покупками: фрау Гроссмейер предупредительно заверяет ее, что все будет доставлено домой. Ей даже не приходит в голову расплатиться наличными, как это делаем мы, простые смертные. Сразу видно: благородная клиентура, экстра-класс!

Но вот, покончив с заказом, она направляется к выходу. Господин Гроссмейер кидается отворить дверь, мой аптекарь тоже вскакивает с места и почтительно кланяется. Она благодарит царственной улыбкой. Черт возьми, какие у нее глаза! Карие, бархатные, совсем как у лани. Едва дождавшись, пока она, осыпан-

<sup>1</sup> Оптом (франц.).

<sup>2</sup> Почтительнейше (итал.).

ная, как сахаром, любезностями, вышла на улицу, я набросился на моего партнера с расспросами. Откуда взялся в нашем курятнике этот лебедь?

Как, разве вы ее никогда не видели? Это же племянница господина фон Кекешфальвы. — (В действительности его звали иначе.) — Ну, вы же их знаете.

Фон Кекешфальва! Он произносит это имя, будто швыряет ассигнацию в тысячу крон, и смотрит на меня, словно ожидая, что я незамедлительно отзовусь почтительным эхом: «Кекешфальва? Ах да! Конечно!» Но я, свежее испеченный лейтенант, всего лишь несколько месяцев в новом гарнизоне, я, в простоте душевной, и понятия не имею об этом таинственном божестве, а потому вежливо прошу дать мне разъяснения, что господин аптекарь и делает со своей словоохотливостью и тщеславием провинциала, разумеется, более пространно, чем это передаю я.

Кекешфальва, сообщает он мне, самый богатый человек в округе. Здесь чуть ли не все принадлежит ему. Не только усадьба Кекешфальва — «Да вы знаете этот дом, его видно с учебного плаца, такое желтое здание с башней в большом старинном парке, ну, слева от шоссе», — но и сахарная фабрика, что по дороге в Р., лесопилка в Бруке и конный завод. Все это его собственность и, кроме того, шесть или семь домов в Будапеште и Вене. «Да, трудно поверить, что в нашем городке есть такие богачи. А как он умеет жить! Настоящий аристократ! Зиму проводит в венском особняке на Жакингассе, лето — на курортах; сюда наезжает только весной, на два-три месяца. Но, боже мой, как он живет! Квартеты из Вены, французские вина, шампанское, все наилучших сортов, лучшее из лучшего». Если угодно, продолжает аптекарь, он с удовольствием представит меня господину фон Кекешфальве, ведь они — самодовольный жест — в приятельских отношениях; в прошлом он часто бывал в усадьбе по делам и знает, что хозяин всегда рад видеть у себя в доме офицеров. Одно его слово — и я приглашен.

А почему бы и не пойти? Гарнизонная жизнь, как трясина, засасывает человека. На Корсо уже знаешь в лицо всех женщин, знаешь, какая у каждой из них зимняя и летняя шляпка и какое воскресное и буднич-

ное платье,— они всегда одни и те же; знаешь их собачек, и служанок, и детей. Уже по горло сыт кулинарными чудесами, которыми потчует нас в казино толстая повариха-чешка, а в ресторане гостиницы тебя начинает мутить при одном взгляде на вечно неизменное меню. Помнишь наизусть каждую афишу, каждую вывеску в любом переулке, знаешь, в каком доме какая лавка и что выставлено на ее витрине. Знаешь не хуже самого обер-кельнера, что господин окружной судья, придя в кафе, непременно усядется слева у окна и ровно в четыре тридцать закажет себе кофе со сливками, между тем как господин нотариус появится десятью минутами позже, в четыре сорок, и по причине несварения желудка выпьет стакан чая с лимоном — все же какое-то разнообразие! — после чего, покуривая свою неизменную виргинскую сигару, будет рассказывать все те же старые анекдоты! Господи, знаешь все лица, все мундиры, всех лошадей, всех извозчиков, всех нищих в округе, знаешь самого себя до отвращения. Почему бы хоть раз не вырваться из чертовой карусели? К тому же эта очаровательная девушка, эти карие, как у лани, глаза! Итак, я заявляю моему доброжелателю с притворным безразличием (нельзя же показать этому хвастливому пилюльщику, как тебя радует его предложение!), что, конечно, мне доставит удовольствие побывать в доме у господина фон Кекешфальвы.

И, представьте себе, мой доблестный аптекарь сдержал слово! Через два дня он приходит в кафе и, пыжась от гордости, покровительственным жестом протягивает мне отпечатанный пригласительный билет, в котором каллиграфическими буквами вписана моя фамилия; в билете говорится, что г-н Лайош фон Кекешфальва приглашает г-на лейтенанта Антона Гофмиллера на обед в среду на следующей неделе к восьми часам вечера. Что ж, наш брат, слава богу, тоже не лыком шит и знает, как следует вести себя в таких случаях. С утра, нещадно выбрившись, надеваю свой лучший мундир, белые перчатки, лакированные ботинки и, надушив усы, отправляюсь с визитом вежливости. Слуга — старый, вышколенный, хорошая ливрея — берет мою карточку и, извиняясь, бормочет: «Господа будут очень сожалеть, что господин лейтенант не застал их, но они

сейчас в церкви. — «Тем лучше, — думаю я, — визиты вежливости — занятие не из приятных, как на службе, так и вне ее». Во всяком случае, я свой долг исполнил. В среду вечером я пойду туда и, надеюсь, не пожалею об этом. Итак, до среды все улажено. Однако через два дня, то есть во вторник, меня ожидает приятный сюрприз: у себя в конуре я нахожу визитную карточку с загнутым уголком, оставленную господином фон Кекешфальвой. «Превосходно, — думаю я, — у этих людей безупречные манеры». Уже через день после моего первого визита нанести ответный мне, младшему офицеришке. Большой чести не удостоился бы и генерал. Охваченный добрым предчувствием, я с радостью ожидаю завтрашнего вечера.

Но судьба, видно, с самого начала решила сыграть со мной злую шутку. Право же, мне следовало бы обращать больше внимания на всякие приметы. В среду, в половине восьмого вечера, я стою уже совсем готовый — парадный мундир, новые перчатки, лакированные ботинки, складки отутюженных брюк острые, как бритва, — и денщик, одернув на мне шинель, еще раз оглядывает, все ли в порядке (это тоже входит в его обязанности, потому что в моей полутемной комнате имеется только маленькое ручное зеркало), как вдруг раздается стук в дверь: посыльный. Дежурный офицер, мой приятель, ротмистр граф Штейнхюбель, просит меня срочно прийти к нему в казарму. Двое улан, видимо вдребезги пьяных, передрались между собой, один ударил другого прикладом по голове. И вот этот дурень лежит без сознания, в крови, с разинутым ртом. Никто не знает, цел ли у него череп или нет. Полковой врач отчалил по увольнительной в Вену, командира полка нигде не могут найти; в растерянности добрейший Штейнхюбель — чтоб ему провалиться! — посылает за мной, именно за мной, и просит помочь ему, пока он займется пострадавшим. И вот я должен составлять протокол и слать во все концы вестовых с наказом разыскать какого-либо штатского врача в кафе или где-нибудь еще. А время уже без четверти восемь, и по всему видно, что раньше чем через четверть, а то и полчаса я отсюда не выберусь. Черт возьми, надо же, чтобы такое безобразие случилось как нарочно сегодня! Как раз в тот день,

когда я приглашен в гости. Все нетерпеливее я поглядываю на часы: нет, я уже не успею вовремя, даже если провожусь здесь не больше пяти минут. Но служба — нам это крепко вбили в голову — превыше всяких личных обязательств. Поскольку удрать нельзя, я делаю единственно возможное в моем дурацком положении: наняв фиакр (удовольствие обходится мне в четыре кроны), посылаю своего денщика к Кекешфальве с просьбой извинить меня, если я опоздаю по непредвиденным служебным обстоятельствам, и т. д. и т. п. К счастью, вся эта суматоха в казарме продолжается недолго, так как собственной персоной появляется полковник, а за ним врач, которого отыскивали где-то; теперь я могу незаметно исчезнуть.

Но тут снова невезение: на площади Ратуши, как назло, нет ни одного фиакра, и мне приходится ждать, пока по телефону вызывают восьмикопытный экипаж. Так что, когда я наконец вступаю в просторный вестибюль, минутная стрелка стенных часов смотрит вниз — ровно половина девятого вместо назначенных восьми, — и я вижу, что вешалка уже полна. По несколько смущенному лицу слуги я чувствую, что опоздал изрядно. Жаль, очень жаль, и надо же случиться такому при первом визите!

Тем не менее слуга — на этот раз белые перчатки, фрак, сорочка и лицо одинаково выютюжены — успокоительно сообщает, что денщик полчаса назад предупредил о моем опоздании, и проводит меня в необычайно элегантную гостиную с четырьмя окнами, обтянутую розовым шелком и сверкающую хрусталем люстр; никогда в жизни я не видел ничего более аристократического. Однако, к своему стыду, я обнаруживаю, что гостиная совершенно пуста, а из соседней комнаты явственно доносится веселый звон тарелок. «Скверно, совсем скверно, — думаю я, — они уже сели за стол».

Ладно, я беру себя в руки и, как только слуга открывает передо мной раздвижную дверь, делаю шаг вперед, останавливаюсь на пороге столовой, щелкаю каблучками и отвешиваю поклон. Все оборачиваются в мою сторону, десять, двадцать пар незнакомых глаз пристально разглядывают запоздалого гостя, в не очень уверенной позе застывшего в дверях. Какой-то пожилой гос-

подин, несомненно, хозяин дома, поспешно вскакивает с места, снимает салфетку и устремляется мне навстречу, любезно протягивая руку. Он совсем не такой, каким я себе его представлял, этот господин Кекешфальва, совсем не толстощекий, раздумявшийся от доброго вина помещик с мадьярскими усами. Сквозь стекла очков на меня смотрят чуть усталые, словно затуманенные глаза, я вижу сероватые мешки под глазами, слегка сутулые плечи, слышу речь с присвистом, изредка прерываемую тихим покашливанием; этого человека с тонкими чертами узкого лица и острой седой бородкой скорее можно принять за ученого. Необыкновенная учти-вость старого господина действует на меня ободряюще. Нет, нет, это он должен извиниться, слышу я, прежде чем успеваю что-либо сказать. Ведь ему отлично известно, что на службе всякое может случиться, а я был настолько любезен, что уведомил его о задержке; лишь потому, что он был не совсем уверен в моем приходе, они сели за стол без меня. А теперь поскорее к столу. После он представит меня всем присутствующим в отдельности, а пока что (он подводит меня к столу) познакомит со своей дочерью. Тонкая, бледная, хрупкая девушка, еще почти ребенок, прервав разговор с соседкой, окидывает меня робким взглядом. Она похожа на отца. Я лишь мельком вижу серые глаза, узкое нервное лицо и сперва кланяюсь ей, затем отвешиваю общий поклон направо и налево; все явно рады, что им не придется откладывать ножи и вилки ради скучной церемонии знакомства.

Первые две-три минуты я еще чувствую себя очень неловко. Здесь нет никого из моего полка, ни одного из моих приятелей, ни одного знакомого. Я даже не вижу здесь никого из отцов города — сплошь чужие, совершенно чужие лица. Как мне кажется, это большей частью помещики из округа со своими женами и дочерьми, а также чиновники. Все штатские, только штатские, ни одного мундира, кроме моего! Господи, как я, молодой человек, неуверенный и застенчивый, буду разговаривать с этими незнакомыми людьми? К счастью, у меня еще приятное соседство. Рядом со мной сидит хорошенькая племянница хозяина, то самое кареглазое задорное создание, которое, видимо, все-таки заметило

мой восторженный взгляд тогда, в кондитерской, потому что она приветливо улыбается мне, как старому знакомому. Глаза у нее словно каштаны, и, честное слово, когда она смеется, мне даже чудится, будто они потрескивают, как на жаровне. У нее прелестные прозрачные ушки, прикрытые прядями густых волос. «Совсем как розовый цикламен во мху»,— думаю я. Ее обнаженные руки, если до них дотронуться, наверно, мягкие и гладкие, как очищенный персик.

Приятно сидеть рядом с такой хорошенькой девушкой; только лишь за ее певучий венгерский говор я уже готов в нее влюбиться. Приятно обедать в сверкающем огнями зале, когда перед тобой превосходно сервированный стол, уставленный тончайшими яствами, а за спиной услужливый лакей в ливрее. Да и моя соседка слева, говорящая с легким польским акцентом, выглядит, при всей своей массивности, вполне *appetissant*<sup>1</sup>. Или мне все это только кажется от вина, сперва светло-золотистого, потом темно-красного и, наконец, искристого шампанского, которое лакеи в белых перчатках щедро наливают из серебряных графинов и пузатых бутылок? Молодчина аптекарь, не соврал: у Кекешфальвы и впрямь угощают по-княжески. Никогда в жизни я не едал таких роскошных блюд, даже не думал, что существует такое обилие вкусных вещей. Все новые и новые деликатесы, один другого отменнее и изысканней, несут нам нескончаемой вереницей: вот в золотом соусе плавают бледно-синие рыбы, увенчанные листьями салата и окруженные ломтиками омаров, вот сидят на горках рассыпчатого риса каплуны, полыхает голубым пламенем пудинг в роме, пестрят на подносе сладкие шарики мороженого, в серебряных корзинках нежно жмутся друг к дружке фрукты, наверняка объехавшие полсвета, прежде чем попасть сюда. И так без конца, без конца, а напоследок целая радуга ликеров — зеленых, красных, белых, желтых, превосходный кофе и ароматные, в палец толщиной сигары.

Великолепный, сказочный дом! Будь трижды благословен, добрый аптекарь! Светлый, радостный, звонкий вечер! Не знаю, оттого ли я чувствую себя так свободно и приподнято, что у моих соседей справа и

<sup>1</sup> *Аппетитно (франц.).*



слева, у моих визави ярче заблестели глаза и громче зазвучали голоса, что они также отбросили всякую чопорность и оживленно заговорили все сразу, — как бы то ни было, от моей застенчивости не осталось и следа. Я непринужденно болтаю, ухаживаю за обеими соседками одновременно, пью, смеюсь, задорно поглядываю вокруг, и если иной раз мои пальцы не случайно скользят по красивой обнаженной руке Илоны — так зовут эту очаровательную особу, — то она, опьяненная и разнеженная, как и все мы, роскошным пиршеством, и не думает обижаться на меня за легкие, едва ощутимые прикосновения.

Мало-помалу я чувствую — уж не дают ли себя знать эти дивные вина: токай вперемежку с шампанским? — как на меня находит какая-то необычайная легкость, готовая перейти в необузданное веселье. Но чего-то недостает мне для полноты блаженства, для взлета, для упоения, к чему-то я неосознанно стремлюсь, а к чему, становится мне ясным уже в следующую минуту, когда откуда-то из третьей комнаты, позади гостиной — слуга незаметно открыл раздвижные двери, — до моего слуха вдруг доносятся приглушенные звуки музыки. Играет квартет, и это как раз та музыка, которую я ждал в душе: танцевальная музыка, легкий, плавный вальс, две скрипки ведут мелодию, им глухо и сумрачно вторит виолончель, а рояль отрывистым стаккато отбивает такт. Музыка, да, музыка, ее-то мне и не хватало! Слушать музыку, быть может, даже танцевать, скользить, парить в вальсе, блаженно упиваясь своей легкостью! Вилла Кекешфальва — это поистине волшебный замок: стоит только задумать что-либо, как желание мгновенно исполняется. Не успеваем мы подняться, отодвинуть стулья и пара за парой — я предлагаю Илоне руку, снова ощущаю ее прохладную, нежную кожу — перейти в гостиную, как там старанием невидимых гномов все столы уже убраны и кресла расставлены вдоль стен. Гладкий коричневый паркет блестит, как зеркало, а из соседней комнаты доносится веселая музыка.

Я поворачиваюсь к Илоне. Она понимающе смеется. Ее глаза уже сказали «да». И вот мы кружимся — две, три, пять пар — по скользкому паркету, меж тем

как гости посOLIDнее и постарше наблюдают за нами или беседуют между собой. Я люблю танцевать, я даже хорошо танцую. Мы летим, слившись в объятии, и мне кажется, что я никогда еще так не танцевал. На следующий вальс я приглашаю другую соседку по столу; она тоже отлично танцует, и, склонившись к ней, слегка одурманенный, я вдыхаю аромат ее волос. Ах, она танцует чудесно, здесь все чудесно, и я счастлив, как никогда прежде! Голова идет кругом, мне так и хочется всех обнять, сказать каждому теплое слово благодарности, до того легким, окрыленным, удивительно юным я себя ощущаю. Я кружусь то с одной, то с другой, разговариваю, смеюсь и, утопая в блаженстве, теряю всякое представление о времени.

Но вдруг, случайно бросив взгляд на часы — половина одиннадцатого! — я в ужасе спохватываюсь: какой же я болван! Вот уже битый час танцую, болтаю, шучу и еще не догадался пригласить на вальс хозяйскую дочь. Я танцевал лишь с соседками по столу да еще с двумя-тремя дамами, которые мне приглянулись, и совсем позабыл о дочери хозяина! Какая невоспитанность, какой афронт! А теперь живо, ошибка должна быть исправлена!

Однако я с испугом убеждаюсь, что совершенно не помню, как выглядит эта девушка. Всего лишь на миг я приблизился к ней, когда она сидела за столом. Мне запомнилось только что-то нежное и хрупкое, а потом еще быстрый и любопытный взгляд ее серых глаз. Но куда же она запропастилась? Ведь не могла же дочь хозяина дома уйти? С беспокойством я пристально разглядываю всех дам и девушек, сидящих вдоль стен, — ни одной похожей на нее! Наконец я вхожу в третью комнату, где, скрытый китайской ширмой, играет квартет, и облегченно вздыхаю. Она здесь — это, несомненно, она, — нежная, тоненькая, в бледно-голубом платье сидит между двумя пожилыми дамами, в углу, за маляхитовым столиком, на котором ваза с цветами. Слегка наклонив голову, девушка как будто совершенно поглощена музыкой, и тут только я впервые, особенно в контрасте с ярким багрянцем роз, замечаю, как прозрачно бледен ее лоб под густыми рыжевато-каштановыми волосами. Но мне сейчас не до праздных наблю-

дений. «Слава богу,— вздыхаю я облегченно,— наконец-то удалось ее отыскать». Еще не поздно наверстать упущенное.

Я подхожу к столу — музыка гремит совсем рядом — и склоняюсь перед девушкой, приглашая ее на танец. Изумленные, полные недоумения глаза смотрят на меня в упор, слова замирают на губах. Но она даже не шевельнулась, чтобы последовать за мной. Быть может, она меня не поняла? Я кланяюсь еще раз, шпоры тихонько звякают в такт моим словам: «Разрешите пригласить вас, фрейлейн?»

И тут происходит нечто чудовищное. Девушка, слегка наклонившаяся вперед, внезапно отшатывается, как от удара; ее бледные щеки вспыхивают ярким румянцем, губы, только что полуоткрытые, сжимаются, а глаза, неподвижно устремленные на меня, наполняются таким ужасом, какого мне еще никогда не приходилось видеть. Затем по ее мучительно напряженному телу пробегает судорога. Пытаясь подняться, она обеими руками упирается в стол так, что ваза на нем покачивается и дребезжит; одновременно какой-то предмет, деревянный или металлический, с резким стуком падает с кресла на пол. А девушка все еще держится руками за шатающийся стол, ее легкое, как у ребенка, тело все еще сотрясается, но она не двигается с места, не убегает, а лишь отчаянно цепляется за массивную крышку стола. И снова и снова этот трепет, эта дрожь, пронизывающая ее всю, от судорожно сжатых пальцев до корней волос. Вдруг у нее вырывается отчаянный, полузадушенный крик, и она разражается рыданиями.

Обе пожилые дамы уже хлопочут над ней, осторожно поддерживают и, ласково успокаивая девушку, отрывают от стола ее руки; она падает в кресло. Но рыдания не прекращаются, они становятся еще более бурными и неудержимыми, как хлынувшая из горла кровь. Если бы музыка за ширмой смолкла хоть на мгновение — но она заглушает все, — плач, наверное, услышали бы танцующие.

Я остолбенел от испуга. Что это, что же это такое? Не зная, что предпринять, я смотрю, как обе дамы пытаются успокоить бедняжку, которая, спрятав лицо, уро-

нила голову на стол. Однако все новые приступы рыданий волна за волной пробегают по ее худенькому телу до самых плеч, и каждый раз ваза на столе тихонько позвякивает. Я же стою в полнейшем смятении, чувствуя, как у меня леденеют ноги, а воротничок тугой петлей сдавливает горло.

— Простите,— бормочу я еле слышно в пустоту.

Обе женщины заняты плачущей, и ни одна из них не достаивает меня взглядом, и я, шатаюсь, как пьяный, возвращаюсь в гостиную. По-видимому, здесь никто еще ничего не заметил. Пары стремительно проносятся в вальсе, и я невольно хватаюсь за дверной косяк, до того все кружится у меня перед глазами. В чем же дело? Что я натворил? Боже мой, очевидно, за обедом я слишком много выпил и вот теперь, опьянев, сделал какую-нибудь глупость!

Вальс кончается, пары расходятся. Окружной начальник с поклоном отпускает Илону, и я тотчас же бросаюсь к ней и почти насильно отвожу изумленную девушку в сторону.

— Прошу вас, помогите мне! Ради всего святого, объясните, что случилось!

Вероятно, Илона подумала, что я увлек ее к окну лишь для того, чтобы шепнуть какую-нибудь любезность. Взгляд ее сразу же становится отчужденным; очевидно, мое непонятное возбуждение вызывает в ней жалость или даже страх. Задыхаясь от волнения, я рассказываю ей все. И странно: глаза Илоны, как у той девушки, расширяются от ужаса, и она, разгневанная, нападает на меня:

— Вы с ума сошли!.. Разве вы не знаете?.. Неужели вы ничего не заметили?..

— Нет,— лепечу я, уничтоженный этим новым и столь же загадочным проявлением ужаса.— Что я должен был заметить?.. Я ничего не знаю. Ведь я впервые в этом доме.

— Неужели вы не видели, что Эдит... хромая... Не видели, что у нее искалечены ноги? Она и шагу ступить не может без костылей... А вы... вы гру...— она удерживает гневное слово, готовое сорваться,— вы пригласили бедняжку танцевать!.. О, какой кошмар! Я сейчас же бегу к ней!

— Нет, нет,— я в отчаянии хватаю Илону за руку,— одну минутку, только одну минуту. Пойдите... Ради бога, извинитесь за меня перед ней. Не мог же я предполагать... Ведь я видел ее только за столом, да и то всего лишь секунду. Объясните ей, умоляю вас!..

Однако Илона, гневно сверкнув глазами, высвобождает руку и бежит в комнату. У меня перехватывает дыхание, я стою в дверях гостиной, заполненной непринужденно болтающими, смеющимися людьми, которые вдруг стали для меня невыносимыми. Все кружится, жужжит, гудит, а я думаю: «Еще пять минут, и все узнают, какой я болван». Пять минут — и насмешливые, негодующие взгляды со всех сторон будут ощупывать меня, а завтра, смакуемый тысячько уст, по городу пройдет слух о моей дикой выходке! Уже спозаранку молочницы разнесут его по всем кухням, а оттуда он расползется по домам, проникнет в кафе и присутственные места. Завтра же об этом узнают в полку.

Как в тумане, я вижу ее отца. Немного расстроенный (знает ли он уже?), Кекешфальва пересекает гостиную. Не направляется ли он ко мне? Нет, все что угодно, но только не встретиться с ним в эту минуту! Меня внезапно охватывает панический страх перед ним и перед всеми остальными. И, не сознавая, что делаю, я, спотыкаясь, бреду к двери, которая ведет в вестибюль, к выходу, вон из этого дьявольского дома.

— Господин лейтенант уже покидают нас? — почтительно осведомляется слуга.

— Да,— отвечаю я и сразу же пугаюсь, едва это слово слетает с моих губ.

Неужели я действительно хочу уйти? И в тот миг, когда слуга подает мне шинель, я отчетливо представляю себе, что своим трусливым бегством совершаю новую и, быть может, еще более непростительную глупость. Однако отступать уже поздно. Не могу же я, в самом деле, снова отдать ему шинель и вернуться в гостиную, когда он с легким поклоном уже открывает передо мной дверь. И вот я, сгорая от стыда, стою перед этим чужим, проклятым домом, подставив лицо ледяному ветру, и судорожно, как утопающий, хватаю ртом воздух.

С той злосчастной ошибки все и началось. Теперь, хладнокровно и по прошествии многих лет, вспоминая нелепый случай, который положил начало роковому сцеплению событий, я должен признать, что, в сущности, впутался в эту историю по недоразумению; даже самый умный и бывалый человек мог допустить такую оплошность — пригласить на танец хромую девушку. Однако, поддавшись первому впечатлению, я тогда решил, что я не только круглый дурак, но и бессердечный грубиян, форменный злодей. Я чувствовал себя так, будто хлыстом стегнул ребенка. В конце концов со всем этим еще можно было бы справиться, прояви я достаточно самообладания; но дело окончательно испортило то, что я — и это стало ясно сразу же, как только в лицо мне хлестнул первый порыв ледяного ветра, — просто убежал, как преступник, даже не попытавшись оправдаться.

Не могу описать, что творилось у меня на душе, пока я стоял перед домом. Музыка за ярко освещенными окнами умолкла, музыканты, по-видимому, сделали перерыв. Но я, мучительно переживая свою вину, уже вообразил сгоряча, что танцы прервались из-за меня и все гости, мужчины и женщины, устремились к обиженной и утешают ее, дружно возмущаясь негодяем, который пригласил на танец хромого ребенка и трусливо сбежал после гнусного поступка. А завтра — я почувствовал, как вспотел лоб под фуражкой, — завтра о моем позоре узнает и будет судачить весь город. Уж обыватели постараются, перемоют мне косточки! Мне рисовалось, как мои товарищи по полку, Ференц Мысливец и, конечно, Йожи, этот заядлый остряк, предвкушая удовольствие, скажут в один голос: «Ну, Тони, и отмочил же ты штуку! Стоило один-единственный раз спустить тебя с привязи — и готово, опозорил весь полк!» Месяцами будет продолжаться зубоскальство в офицерском казино: ведь у нас по десять, по двадцать лет пережевывают за столом каждый промах, когда-либо допущенный кем-нибудь из офицеров, всякое идиотство у нас увековечивается, всякой шутке воздвигают памятник. Еще и поныне, шестнадцать лет спустя, в полку рассказывают нелепую историю, случившуюся с ротмистром Вольнским. Возвратившись из Вены, он прихвостнул,

будто познакомился на Рингштрассе с графиней Т. и первую же ночь провел в ее спальне; а через два дня все узнали из газет о скандальном происшествии с уволенной ею служанкой, которая выдавала себя за графиню в своих аферах и любовных интрижках. Помимо всего, новоявленный Казанова был вынужден пройти трехнедельный курс лечения у полкового врача. Кто хоть однажды попал в дурацкое положение, остается навсегда посмешищем, ему этого не забудут, здесь уж пощады не жди. И чем сильнее я распалял свое воображение, тем больше сумасбродных мыслей лезло мне в голову. В те минуты мне казалось, что в сто раз легче нажать спусковой крючок револьвера, чем целыми днями испытывать адские муки беспомощного ожидания: известно ли уже однополчанам о моем позоре, и не раздается ли за моей спиной насмешливый шепот? Ах, я слишком хорошо знал себя, знал, что у меня никогда не хватит сил устоять, если я сделаюсь мишенью для насмешек и дам повод злословию!

Как я тогда добрался до казармы, мне и самому непонятно. Помнится только, первым делом я распахнул шкаф, где специально для гостей держал бутылку сливовицы, и выпил два-три неполных стакана, стараясь заглушить противное ощущение тошноты. Затем я, как был в одежде, бросился на кровать и попытался хорошенько обо всем поразмыслить. Но, подобно цветам, пышно распускающимся в душной теплице, навязчивые представления буйно разрастаются в темноте. Фантастически запутанные, они раскаленными прутьями обвивают тебя и душат; с быстротою сновидений в разгоряченном мозгу возникают, сменяя друг друга, чудовищные кошмары. Опозорен на всю жизнь, думал я, изгнан из общества, осмеян товарищами, знакомыми, всем городом. Никогда уже не смогу я покинуть эту комнату, не осмелюсь выйти на улицу из страха повстречать кого-либо из тех, кто знает о моем преступлении (ибо в ту ночь, когда я испытал первую душевную тревогу, моя оплошность представлялась мне преступной, а сам я казался себе гонимым и затравленным всеобщими насмешками). Наконец я забылся неглубоким, поверхностным сном, но лихорадка кошмаров продолжалась и во сне. Едва я раскрываю глаза, как снова ви-

жу разгневанное детское лицо, дрожащие губы, судорожно вцепившиеся в край стола руки, слышу стук падающих деревяшек, только теперь поняв, что то были ее костыли, и мне, охваченному безумным страхом, мерещится, что открывается дверь и ее отец — черный сюртук, белая манишка, золотые очки, жидкая козлиная бородка — подходит к моей кровати. В страхе вскакиваю я с постели. И пока я глазею в зеркало на свое вспотевшее от страха лицо, меня обуревают желание дать по морде болвану, который смотрит на меня.

Однако, на мое счастье, уже наступил день; в коридоре громыхают тяжелые шаги, внизу на мостовой тархтят повозки. А когда в окнах светло, мысли проясняются быстрее, чем в зловещем мраке, где рождаются привидения. Быть может, говорю я себе, дело обстоит не так уж безнадежно? Быть может, никто ничего и не заметил? Она-то, конечно, никогда этого не забудет и не простит, бедная хромоножка! И вдруг в моем мозгу молнией вспыхивает спасительная мысль. Я поспешно причесываюсь, надеваю мундир и пробегаю мимо озадаченного денщика, который в отчаянии кричит мне вслед на своем ужасном немецком языке с гуцульским акцентом:

— Пане лейтенант! Пане лейтенант, кофе уже готов!

Я слетаю с лестницы и с такой быстротой пронесусь мимо улан, которые толкуются, еще полуодетые, во дворе казармы, что они едва успевают стать навытяжку. Два-три прыжка — и я за воротами; бегу прямо к цветочной лавке на площади Ратуши. Второпях я, конечно, совершенно забыл, что в половине шестого утра магазины еще закрыты, но, к счастью, фрау Гуртнер, кроме цветов, торгует и овощами. Увидев перед дверью наполовину разгруженную повозку с картофелем, громко стучу в окно и тут же слышу шаги спускающейся по ступенькам хозяйки. Спешно придумываю объяснение: я совсем упустил из виду, что сегодня именины моего друга. Через полчаса мы выступаем, а мне очень хотелось бы послать ему цветы, прямо сейчас. Только самые лучшие, и побыстрее! Толстая торговка, еще в ночной кофте, шаркая дырявыми шлепанцами, отпирает лавку и показывает мне свое сокровище — огромный букет роз. Сколько я возьму? Все, отвечаю я, все! Завернуть про-



сто так или уложить в корзинку? Да, да, разумеется, в корзинку. На роскошный заказ уходит весь остаток моего жалованья, в конце месяца придется обойтись без ужинов, не заглядывать в кафе или брать взаймы. Но сейчас мне это безразлично, более того, я даже рад, что моя оплошность так дорого мне обходится, ибо в душе я испытываю злорадное чувство: так тебе, дураку, и надо, расплачивайся за дважды совершенную глупость!

Ну вот, как будто все в порядке. Самые лучшие розы уложены в корзинку, сейчас их отошлют! Однако фрау Гуртнер выбегает на улицу и что-то кричит мне вслед. Куда и кому должна она доставить цветы? Ведь господин лейтенант ничего не сказал. «Трижды болван!» — мысленно ругаю я себя. От волнения я даже забыл указать адрес.

— Вилла Кекешфальва, — распоряжаюсь я, — фрейлен Эдит фон Кекешфальве.

Мне вовремя вспоминается испуганный возглас Илоны, назвавшей имя моей несчастной жертвы.

— О, конечно, конечно, господа фон Кекешфальвы, — отвечает фрау Гуртнер с гордостью, — наши лучшие клиенты.

Еще один вопрос (я уже собрался уйти): не хочу ли я приписать несколько слов? Приписать? Ах, да! Кто отправитель? Иначе она не будет знать, от кого цветы.

Я снова вхожу в лавку, достаю визитную карточку и пишу на обороте: «Прошу простить меня». Нет, невозможно! Это было бы четвертой глупостью, к чему напоминать о своей бестактности? Ну, а что писать? «С искренним сожалением» — нет, это никуда не годится, еще подумает, что сожаления достойна она. Лучше вообще ничего не писать.

— Вложите в цветы карточку, фрау Гуртнер, просто карточку.

Теперь у меня отлегло от сердца. Я спешу обратно в казарму, глотаю свой кофе и добросовестно провожу утренние занятия, только, пожалуй, более нервозно и рассеянно, чем обычно. Но в армии не очень-то обращают внимание, если какой-нибудь лейтенант является поутру на службу в дурном расположении духа. Многие из наших офицеров, прогуляв ночь в Вене, возвращаются такие усталые, что клюют носом на ходу и засыпа-

ют в седле. Собственно, я даже доволен, что занят привычным делом: произвожу смотр своим уланам, отдаю команды и затем выезжаю на плац. Служба в какой-то мере отвлекает меня от беспокойных мыслей; хотя, признаться, где-то в голове не перестает сверлить неприятное воспоминание, а в горле словно застряла пропитанная желчью губка.

Но вот в полдень, только я направился в казино, как слышу знакомое: «Пане лейтенант, пане лейтенант!» Мой денщик, запыхавшись, догоняет меня и протягивает письмо — продолговатый конверт, на обороте искусно тисненый герб, голубая английская бумага, нежный запах духов; адрес написан тонкими, удлинёнными буквами — женская рука! Нетерпеливо вскрываю конверт и читаю: «От всего сердца благодарю вас, уважаемый господин лейтенант, за чудесные цветы, которые я не заслужила. Они мне доставили и доставляют огромное удовольствие. Приходите к нам, пожалуйста, на чашку чая в любой вечер. Предупреждать не надо. Я — к сожалению! — всегда дома. Эдит ф. К.»

Изящный почерк. Я невольно вспоминаю тонкие детские пальчики, вцепившиеся в крышку стола, и бледное лицо, внезапно вспыхнувшее алым румянцем, словно в бокал плеснули бордо. Еще и еще раз я перечитываю эти несколько строк и с облегчением вздыхаю. Как она тактично умалчивает о моем промахе! И в то же время как умело и деликатно сама намекает на свой недуг. «Я — к сожалению! — всегда дома». Более великодушного прощения и пожелать нельзя. Ни тени обиды. У меня с сердца точно камень свалился. Я почувствовал себя, как подсудимый, который уже думал, что его приговорят к пожизненному заключению, а судья встает, надевает шапочку и объявляет: «Оправдан». Разумеется, я на этой же неделе пойду туда, чтобы поблагодарить ее. Сегодня четверг, значит, пойду в воскресенье. Или нет, лучше в субботу!

**Н**о я не сдержал своего слова. Я был слишком нетерпелив. Желание как можно скорее избавиться от тягостного чувства неопределенности, узнать, что я окончательно прощен, не давало мне покоя, ибо втайне я все время опасался, что в казино, в кафе или где-

либо еще меня спросят: «Послушай, что у тебя там произошло с Кекешфальвами?» Мне хотелось, чтобы я тоном спокойного превосходства смог отпарировать: «Обаятельные люди! Вчера вечером я опять был у них», — и тогда бы каждому стало ясно, что меня вовсе не вытолкали оттуда в шею. Только бы поставить точку на этой досадной истории! Только бы разделаться с нею! В конце концов мое нервное напряжение привело к тому, что уже на следующий день, то есть в пятницу, как раз когда мы с Йожи и Ференцем, моими лучшими друзьями, шатались по Корсо, я вдруг принял решение: нанести визит сегодня же. Несколько озадачив своих приятелей, я внезапно распрощался с ними.

До виллы Кекешфальвы не особенно далеко, самое большее полчаса, если идти хорошим шагом. Сначала пять скучнейших минут через город, затем по немного пыльной проезжей дороге, которая ведет также к учебному плацу и на которой наши кони уже знают каждый камешек и каждый поворот (можно ехать, совсем опустив поводья). Примерно на полпути, у маленькой часовни за мостом, влево отходит, прилежно следуя плавным изгибам тихого ручейка, неширокая аллея старых, тенистых каштанов, которой редко пользуются пешеходы и экипажи.

Но удивительно: чем ближе я подхожу к усадьбе — уже видна ее белая каменная ограда с решетчатыми воротами, — тем быстрее улетучивается мое мужество. Как иногда, стоя перед дверью зубного врача, раздумываешь, не повернуть ли обратно, пока еще не позвонил, так и сейчас мне захотелось ретироваться. В самом деле, разве нужно идти непременно сегодня? И почему бы не считать, что вся эта неприятная история окончательно улажена той запиской? Я невольно замедляю шаг; в конце концов, для отступления еще есть время, а когда не стремишься идти прямым путем, окольный всегда оказывается соблазнительнее; и вот, перейдя через ручей по шаткой доске, я сворачиваю с аллеи на луг, решив сначала прогуляться вокруг усадьбы.

Дом за высокой каменной оградой представляет собой продолговатое одноэтажное здание в стиле позднего барокко; он окрашен на староавстрийский манер: стены — шенбруннской желтой, а оконные ставни — зеле-

ным. В глубине двора, на границе просторного парка, которого я вчера не заметил, виднеется несколько небольших построек — наверно, помещение для прислуги, контора и конюшни. Только сейчас, заглядывая через овальные отверстия в толстой стене — так называемые бычьи глаза, — я убеждаюсь, что «дворец» Кекешфальвы вовсе не похож на современную виллу, как я предполагал вначале, судя по его внутреннему устройству; нет, это настоящий помещичий дом, старинная дворянская усадьба вроде тех, что я не раз встречал в Богемии, когда бывал там на маневрах. Странное впечатление производит лишь четырехугольная башня, нелепо торчащая над усадьбой и своей формой немного напоминающая итальянскую *campanile*<sup>1</sup>; очевидно, она осталась от замка, который стоял здесь много лет назад. Мне вспомнилось, что я часто смотрел на эту диковинную вышку с учебного плаца, принимая ее за колокольню какой-нибудь деревенской церкви; только теперь мне бросилось в глаза, что вместо обычного шпиля у странного сооружения плоская крыша, — вероятно, солярий или обсерватория. Однако чем больше я убеждался в старинном, феодальном происхождении этой дворянской усадьбы, тем неуютнее я себя чувствовал: именно здесь, где на внешние формы, несомненно, обращают особое внимание, я так неуклюже дебютировал.

Наконец, обойдя вокруг ограды, я снова очутился перед воротами. Сбравшись с духом, прохожу посыпанную гравием аллею между шпалерами ровно подстриженных деревьев и поднимаю тяжелый бронзовый молоток, который, по старому обычаю, висит у парадного подъезда. На стук тотчас выходит слуга. Странно, его, кажется, ничуть не удивляет то, что я пришел без предупреждения. Ни о чем не спросив и даже не взглянув на визитную карточку, которую я приготовился ему вручить, он с учтивым поклоном приглашает меня подождать в гостиной — дамы еще у себя в комнате, но придут сию минуту; итак, я буду принят, можно не сомневаться. Как званого гостя, слуга проводит меня дальше; вновь испытывая чувство неловкости, я узнаю красную гостиную, где тогда танцевали, а горький

---

<sup>1</sup> Колокольню (итал.).

вкус во рту напоминает мне, что рядом должна быть та злополучная комната.

Правда, раздвижная дверь кремового цвета с изящным золотым орнаментом поначалу скрывает от меня место столь свежего в моей памяти происшествия, но уже спустя несколько минут из-за этой двери доносится шум отодвигаемых стульев, чьи-то приглушенные голоса и осторожные шаги, выдающие присутствие нескольких человек. В ожидании я рассматриваю гостиную: роскошная мебель в стиле Louis seize<sup>1</sup>, справа и слева старинные гобелены, а в простенке между стеклянными дверьми, ведущими прямо в парк, старые картины с видами Canale grande<sup>2</sup> и Piazza San Marco<sup>3</sup>, которые, хотя я и не знаток, кажутся мне очень ценными. Признаться, я не очень вникаю в достоинства этих сокровищ, так как продолжаю с напряженным вниманием прислушиваться к звукам в соседней комнате. Вот тихо звякнули тарелки, скрипнула дверь, а теперь, мне кажется, я даже различаю неравномерный стук костылей.

Наконец чья-то невидимая рука раздвигает дверь, и ко мне выходит Илона.

— Как это мило, что вы пришли, господин лейтенант! — произносит она и сразу ведет меня в слишком хорошо знакомую комнату. В том же углу, в том же кресле и за тем же малахитовым столиком (зачем же они опять пригласили меня в эту комнату?) сидит больная; ее ноги укутаны пушистым белым меховым одеялом, очевидно, чтобы не напоминать мне о «том». Эдит приветствует меня из своего уголка дружелюбной улыбкой, несомненно, обдуманной. И все же эти первые минуты окрашены воспоминанием о роковой встрече; по тому, как Эдит несколько принужденно протягивает мне через стол руку, я сразу вижу, что и она думает о «том». Ни ей, ни мне не удастся произнести первое слово.

К счастью, Илона поспешно нарушает гнетущее молчание.

— Что позволите предложить вам, господин лейтенант, чай или кофе?

<sup>1</sup> Людовика Шестнадцатого (франц.).

<sup>2</sup> Большого канала (итал.).

<sup>3</sup> Площади св. Марка (итал.).

— О, как вам угодно,— отвечаю я.

— Нет, что вы больше любите, господин лейтенант? Только, пожалуйста, без церемоний, прошу вас.

— Тогда кофе, если можно,— решаюсь я, с радостью отмечая про себя, что голос мой звучит почти твердо.

Своим деловым вопросом эта смуглая девушка чертовски ловко помогла преодолеть натянутость. Но как безжалостно с ее стороны тут же выйти из комнаты, чтобы отдать распоряжение слуге,— ведь я остаюсь с глазу на глаз со своей жертвой, да, неприятное положение. Надо что-то сказать, à tout prix<sup>1</sup> завязать разговор. Но в горле застрял комок, да и взгляд у меня, наверное, несколько смущенный, так как я не осмеливаюсь посмотреть в сторону кресла: не дай бог, она подумает, что я гляжу на одеяло, прикрывающее ее парализованные ноги. К счастью, она владеет собой лучше меня и начинает разговор нервно-возбужденным тоном, который для меня пока еще внове:

— Но присядьте же, господин лейтенант. Подвиньте к себе кресло, вот это. И почему вы не снимете сабля? Ведь мы же не собираемся воевать... Положите ее... вон туда, на стол или на подоконник, все равно, куда хотите.

Я придвигаю кресло, пожалуй, чересчур старательно. Мне все еще никак не удастся придать своему взгляду желательную непринужденность. Но Эдит энергично приходит мне на помощь.

— Я еще не поблагодарила вас за те прелестные цветы... они действительно прелестны, вы только посмотрите, как они хороши в вазе. И потом... потом я должна извиниться перед вами за мою глупую несдержанность... я вела себя просто ужасно... всю ночь никак не могла заснуть: так мне было стыдно. Ведь вы и не думали меня обидеть... откуда же вам было знать? И кроме того...— она вдруг отрывисто засмеялась,— кроме того, вы угадали мое самое сокровенное желание... ведь я нарочно села так, чтобы видеть танцующих, и, как раз когда вы подошли, мне больше всего на свете хотелось потанцевать... я просто без ума от танцев. Я могу

---

<sup>1</sup> Во что бы то ни стало (франц.).

часами смотреть, как другие танцуют,—смотреть так, что начинаю чувствовать каждое их движение... правда, правда... И тогда мне начинает казаться, что это танцую я сама, что это я легко и свободно кружусь в вальсе... Ведь прежде, ребенком, я хорошо танцевала и очень любила танцевать... и теперь мне часто снятся танцы. Да, как это ни глупо, но я танцую во сне, и... может быть, для папы и лучше, что у меня от... что со мной так случилось, иначе я бы наверняка убежала из дому и стала балериной... Это моя самая большая страсть. Я всегда думала: как это, должно быть, чудесно своими движениями, всем своим существом каждый вечер привлекать, волновать, покорять сотни людей... это, должно быть, великолепно!.. Кстати, чтоб вы знали, какая я сумасбродка,—ведь я собираю фотографии великих балерин. У меня есть карточки их всех — Сагарэ, Павловой, Карсавиной, во всех ролях и позах. Подождите, я вам сейчас покажу их... они лежат в шкатулке... вон там у камина... в китайской шкатулке...— От нетерпения ее голос внезапно стал резким.— Да нет, не та, слева около книг... ну какой же вы неповоротливый!.. Да, вот эта! (Я наконец отыскал шкатулку и принес ее.) Та, что сверху,—самая моя любимая карточка: Павлова — умирающий лебедь... Ах, если б я только могла поехать, увидеть ее хоть разок, это был бы счастливейший день в моей жизни!

Задняя дверь, через которую вышла Илона, медленно открывается. Поспешно, словно застигнутая на месте преступления, Эдит захлопывает шкатулку, слышится резкий, сухой щелчок. Ее слова звучат как приказ:

— При них ни слова о том, что я вам говорила! Ни слова!

Человек, осторожно приоткрывший дверь, оказывается старым слугой с аккуратными седыми бакенбардами á la Франц-Иосиф; вслед за ним Илона вкатывает богато сервированный чайный столик. Налив кофе, она подсаживается к нам, и я сразу же начинаю чувствовать себя увереннее. Желанный повод для разговора дает большущая ангорская кошка, которая неслышно проскользнула сюда вместе со столиком и теперь доверчиво трется о мои ноги. Я восхищаюсь кошкой, потом начинаются расспросы: сколько времени я уже здесь и

как мне живется в гарнизоне, не знаю ли я лейтенанта такого-то, часто ли бываю в Вене,—невольно завязывается обычная легкая беседа, в ходе которой незаметно тает первоначальная скованность. Постепенно я даже отваживаюсь искоса поглядывать на девушек, они совершенно не похожи друг на друга: Илона — уже настоящая женщина, сформировавшаяся, цветущая, полная чувственной теплоты и здоровья; рядом с нею Эдит выглядит девочкой, в свои семнадцать-восемнадцать лет она кажется все еще незрелой. Удивительный контраст: с одной хотелось бы танцевать, целоваться, другую — побаловать, как больного ребенка, приласкать, защитить и прежде всего утешить. Ибо от всего ее существа исходит какое-то странное беспокойство. Ни на одно мгновение ее лицо не остается спокойным: она смотрит то вправо, то влево, то вдруг вся напрягается, то, словно в изнеможении, откидывается назад; так же нервозно она и разговаривает — всегда отрывисто, стаккато, без пауз. Быть может, думаю я, эта несдержанность и беспокойство как бы компенсируют вынужденную неподвижность ног или же ее жестам и речи придает порывистость постоянная легкая лихорадка. Но у меня мало времени для наблюдений. Своими быстрыми вопросами и живой, стремительной манерой разговора она полностью приковывает к себе внимание; неожиданно для себя я оказываюсь втянутым в интересную, увлекательную беседу.

Так проходит час, а быть может, и полтора. Вдруг из гостиной бесшумно появляется чья-то фигура; кто-то входит так осторожно, словно боится нам помешать. Это Кекешфальва.

— Сидите, сидите, пожалуйста,—останавливает он меня, видя, что я собираюсь встать, и, наклонившись, касается губами лба дочери. На нем все тот же черный сюртук с белой манишкой и старомодный галстук (я ни разу не видел его одетым иначе); пристальный взгляд за стеклами очков делает его похожим на врача. И действительно, он осторожно подсаживается к Эдит, будто врач к постели больного. Странно, с того момента, как он вошел, на нас словно повеяло грустью. Пытливые и нежные взгляды, которые он время от времени робко бросает на дочь, гасят и приглушают ритм нашей



непринужденной болтовни. Вскоре Кекешфальва сам замечает наше смущение и делает попытку оживить разговор. Он тоже расспрашивает меня о службе, о ротмистре, о нашем прежнем полковнике, который перешел в военное министерство. Он обнаруживает поразительную осведомленность во всех перемещениях в нашем полку за многие годы, и не знаю почему, но мне кажется, что он с каким-то определенным намерением подчеркивает свое близкое знакомство со старшими офицерами.

Еще десять минут, думаю, и я незаметно откланяюсь. Но тут снова кто-то тихо стучится в дверь; бесшумно, словно босиком, входит слуга и что-то шепчет Эдит на ухо. Она тотчас вспыхивает.

— Пусть подождет. Или нет: передайте ему, чтобы сегодня он оставил меня в покое. Пусть убирается, он мне не нужен.

Мы все смущены ее горячностью. Я поднимаюсь, досадуя, что засиделся. Но она прикрикивает на меня так же бесцеремонно, как и на слугу:

— Нет, останьтесь! Все это ерунда.

Собственно, ее повелительный тон свидетельствует о невоспитанности. Отец, видимо, тоже испытывает мучительную неловкость, он беспомощно и озабоченно увещевает ее:

— Но, Эдит...

И вот — то ли по испугу отца, то ли по моей растерянности — она вдруг сама чувствует, что не совладала с собой, и неожиданно обращается ко мне:

— Извините меня, но Йозеф действительно мог бы подождать и не врываться сюда. Ничего особенного, просто ежедневная пытка — массажист, который занимается со мной гимнастикой. Чистейшая ерунда — раз-два, раз-два, вверх, вниз, вниз, вверх — и в один прекрасный день я здорова. Новейшее открытие нашего дорогого доктора, а на самом деле ничего, кроме лишних мучений. Бесполезно, как и все остальное.

Она вызывающе смотрит на отца, точно обвиняя его. Старик смущенно (ему стыдно передо мной) наклоняется к ней.

— Но, дитя мое... ты действительно думаешь, что доктор Кондор...

Он тут же умолкает, потому что губы Эдит начинают дрожать, тонкие ноздри раздуваются. Точь-в-точь как тогда, вспоминается мне, и я уже опасаясь нового приступа, но она, неожиданно покраснев, смиряется и произносит ворчливым тоном:

— Ну ладно, так и быть, пойду. Хотя все это ни к чему, совершенно ни к чему. Извините, господин лейтенант, надеюсь, что скоро увижу вас снова.

Я кланяюсь и собираюсь уходить. Но она уже опять передумала.

— Нет, побудьте с папой, пока я промарширую в другую комнату.

Слово «промарширую» она произносит резко и отрывисто, как угрозу. Потом она берет со стола маленький бронзовый колокольчик и звонит; лишь позднее я заметил, что в этом доме на всех столах были под рукой такие же колокольчики, чтобы она в любой момент могла кого-нибудь позвать. Колокольчик звенит резко и пронзительно. Тотчас же появляется слуга, который незаметно удалился во время ее вспышки.

— Помоги мне! — приказывает она и отбрасывает меховое одеяло. Илона склоняется к ней и что-то шепчет, но Эдит раздраженно обрывает подругу: — Нет, Йозеф только поможет мне приподняться. Я пойду сама.

То, что затем происходит, ужасно. Слуга наклоняется и, явно заученным движением взяв под мышки легкое тело, поднимает его. Встав на ноги и держась за спинку кресла, она вызывающе глядит на каждого из нас по очереди, потом хватает костыли, которые были спрятаны под одеялом, опирается на них и, закусив губы, выбрасывает тело вперед. Тук-тук, ток-ток — качаясь, волоча ноги, скрючившись, словно ведьма, она тащится через комнату, а слуга, широко расставив руки, следует по пятам, готовый в любую секунду подхватить ее, если она поскользнется или ослабеет. Тук-тук, ток-ток, еще шаг, еще один, и каждый раз что-то негромко звякает и скрипит, как металл и натянутая кожа: наверно, она — я не осмеливаюсь смотреть на ее бедные ноги — носит какие-нибудь специальные приспособления. Словно тисками, сдавливает мне грудь, пока я наблюдаю этот «форсированный марш», — я сразу по-

нял, что она нарочно не позволила отвезти себя в кресле или помочь ей: она пожелала продемонстрировать всем нам, в том числе и мне, особенно мне, что она калека. Из какой-то непостижимой жажды мести, порожденной отчаянием, ей хочется, чтобы мы терзались ее мукой; она стремится причинить нам боль, обвинить в своем несчастье нас, здоровых, а не бога. Но чем грубее этот вызов, тем острее я чувствую — в тысячу раз острее, чем тогда, когда я поверг ее в смятение, пригласив танцевать, — как безгранично страдает она от своей беспомощности. Наконец — прошла целая вечность, — с невероятным трудом перебрасывая всю тяжесть своего слабого, измученного, худенького тела с одного костыля на другой, Эдит проковыляла несколько шагов до двери. У меня недостает мужества хоть один-единственный раз прямо взглянуть на нее. Ибо безжалостный, сухой стук костылей, сопровождающий каждый ее шаг, скрип и скрежет механизмов, тяжелое, прерывистое дыхание потрясают меня до такой степени, что сердце готово выскочить из груди. За ней уже закрылась дверь, а я, едва дыша, все еще напряженно прислушиваюсь, как постепенно удаляются, пока наконец не затихают совсем, эти страшные звуки.

И только когда наступает полная тишина, я осмеливаюсь поднять глаза. Старик (я заметил это не сразу) отошел к окну и стоит, внимательно всматриваясь в даль, пожалуй, слишком внимательно. Против света виден лишь его силуэт, но я все же различаю, как вздрагивают поникшие плечи. И он, отец, который каждый день видит мучения своей дочери, раздавлен этим зрелищем, как и я.

Воздух в комнате, казалось, застыл. Через несколько минут темная фигура наконец поворачивается и, неуверенно ступая, словно по скользкому льду, тихо подходит ко мне.

— Пожалуйста, не обижайтесь на девочку, господин лейтенант, если она и была немного резка... ведь вы не знаете, чего только не пришлось ей вынести за все эти годы... Каждый раз что-нибудь новое, а дело движется медленно, страшно медленно... Она теряет всякое терпение, я понимаю ее. Но что поделаешь? Ведь нужно все испробовать, все.

Старик остановился у чайного столика. Он говорит, не глядя на меня, его глаза, полуприкрытые серыми веками, неподвижно устремлены на стол. словно в забытьи, берет он из открытой сахарницы кусок сахара, вертит его в пальцах и кладет обратно; в эту минуту он похож на пьяного. Его взгляд все еще никак не может оторваться от столика, будто что-то особенное приковало там его внимание. Он опять машинально берет ложку, затем кладет ее и начинает говорить, как бы обращаясь к этой ложке:

— Если б вы знали, какой была девочка раньше! Целый день она носилась вверх и вниз по всему дому так, что нам просто становилось не по себе. В одиннадцать лет она галопом скакала на своем пони по лугам, никто не мог догнать ее. Мы, моя покойная жена и я, часто боялись за нее — такой отчаянной она была, такой озорной, подвижной... Нам всегда казалось, стоит только ей раскинуть руки, и она взлетит... и вот именно с ней должно было случиться такое, именно с ней...

Его голова, покрытая редкими седыми волосами, опускается еще ниже. Нервные пальцы по-прежнему беспокойно шарят по столу, задевая разбросанные предметы; вместо ложки они схватили теперь сахарные щипцы и чертят ими на скатерти какие-то загадочные письмена (я знаю: это стыд, смущение, он просто боится посмотреть мне в глаза).

— И все же как легко даже теперь развеселить ее! Любой пустяк радует ее, как ребенка. Она может смеяться всякой шутке и восхищаться каждой интересной книгой. Если б вы видели, в каком восторге она была, когда принесли ваши цветы, она перестала мучиться мыслью, что оскорбила вас... Вы даже не подозреваете, как тонко она все чувствует... она воспринимает все гораздо острее, чем мы с вами. Я уверен, что и сейчас никто так сильно не переживает случившегося, как она сама... Но можно ли без конца сдерживаться... откуда ребенку набраться терпения, если все идет так медленно! Как может она оставаться спокойной, если бог так несправедлив к ней, а ведь она ничего не сделала плохого... никому ничего не сделала плохого...

Он все еще пристально смотрит на воображаемые фигуры, которые его дрожащая рука нарисовала сахар-

ными щипцами. И вдруг, будто испугавшись чего-то, бросает щипцы на стол. Кажется, он словно очнулся и только сейчас осознал, что разговаривает не с самим собой, а с совершенно посторонним человеком. Совсем другим голосом, твердым, но глуховатым, он неловко извиняется передо мной.

— Простите, господин лейтенант... как могло случиться, что я стал утруждать вас своими заботами! Это просто потому... просто что-то нашло на меня... и... я только собирался объяснить вам... Мне не хотелось бы, чтобы вы плохо думали о ней... чтобы вы...

Не знаю, как набрался я смелости прервать его смущенную речь и подойти к нему. Но я вдруг обеими руками взял руку старого, чужого мне человека. Я ничего не сказал. Я только схватил его холодную, исхудалую, невольно дрогнувшую руку и крепко пожал ее. Он удивленно поднял глаза, и за сверкнувшими стеклами очков я увидел его неуверенный взгляд, робко искавший встречи с моим. Я боялся, что он сейчас что-нибудь скажет. Но он молчал; только черные зрачки становились все больше и больше, словно стремились расшириться до бесконечности. Я почувствовал, что мною овладевает какое-то новое, незнакомое волнение, и, чтобы не поддаться ему, торопливо поклонился и вышел.

В вестибюле слуга помог мне надеть шинель. Неожиданно я почувствовал сквозняк. Даже не оборачиваясь, я догадался, что старик, движимый потребностью поблагодарить меня, вышел следом за мной и стоит сейчас в дверях. Но я боялся расчувствоваться. Сделав вид, что не заметил его, я поспешно, с сильно бьющимся сердцем покинул этот несчастный дом.

**Н**а следующее утро, когда легкий туман еще висит над домами и все ставни закрыты, оберегая сон горожан, наш эскадрон, как обычно, выезжает на учебный плац. Сначала мелкой рысдой трусим по неровному булыжнику; мои уланы, сонные и угрюмые, покачиваются в седлах. Вскоре улицы остаются позади, вот и шоссе; мы переходим на легкую рысь, а потом сворачиваем направо — в луга. Я подаю своему взводу команду: «Галопом, марш!» — и кони, захрапев, рывком бросают-

ся вперед. Умные животные уже знают это славное, мягкое, широкое поле; их незачем больше понукать, можно отпустить поводья: едва ощутив прикосновение шенкелей, они пускаются во всю прыть. Им тоже ведома радость напряжения и разрядки.

Я скачу впереди. Я страстно люблю скачку. Я чувствую, как кровь, порывистыми толчками поднимаясь от бедер, живительным теплом разливается по вялому телу, а холодный ветер обвеивает щеки и лоб. Изумительный утренний воздух! Он еще пахнет ночной росой, дыханием вспаханной земли, ароматом цветущих полей, и в то же время тебя обволакивает теплый пар из трепетно раздувающихся ноздрей коня. Меня всякий раз захватывает этот первый утренний галоп, он так приятно взбадривает одеревеневшее, заспанное тело, что вялость сразу исчезает, точно душный туман под порывом ветра; от ощущения легкости невольно ширится грудь, и открытым ртом я пью свистящий воздух.

«Галопом! Галопом!» И вот уже светлеет взор, обостряются чувства, а за спиной слышится ритмичное позвякивание сабель, шумное и прерывистое дыхание лошадей, мягкое поскрипывание седел и ровная дробь копыт.словно огромный кентавр, стремительно мчится эта слившаяся в едином порыве группа людей и коней. Вперед, вперед, вперед, галопом, галопом, галопом! Вот так бы скакать и скакать на край света! С тайной гордостью повелителя и творца этого наслаждения я время от времени оборачиваюсь, чтобы взглянуть на своих людей. И внезапно замечаю, что у моих славных улан уже совсем другие лица. Гнетущая гуцульская подавленность, отупелость, сон — все это смыто с их лиц, как копоть. Почувствовав, что на них смотрят, они еще больше выпрямляются и отвечают улыбкой на мой радостный взгляд. Я вижу, что даже эти забытые крестьянские парни охвачены восторгом стремительного движения — вот-вот взлетят! Как и меня, их пьянит животная радость от ощущения молодости, от избытка рвущихся на волю сил.

И вдруг я отдаю команду: «Сто-о-ой! Ры-сь-ю!» Все разом натягивают поводья, и взвод, затормозив, точно автомобиль, переходит на тяжелый аллюр. Люди косятся на меня чуть озадаченно: ведь обычно — они

знают меня и мою неукротимую страсть к скачке — мы галопом промахивали луга до самого плаца. Но в этот раз словно чья-то невидимая рука рванула мои поводья — я неожиданно о чем-то вспомнил. Слева на горизонте мой взгляд, должно быть, случайно уловил белый квадрат усадебной ограды, деревья парка, башню, и, точно пуля, меня пронзила мысль: «А что, если кто-то смотрит на тебя оттуда? Кто-то, кого ты оскорбил своей страстью к танцам, а теперь снова оскорбляешь страстью к верховой езде? Кто-то со скованными параличом ногами, кому, наверное, завидно глядеть, как ты птицей летишь по полям?» Так или иначе, мне вдруг стало стыдно этой скачки, такой безудержной, здоровой и хмельной, стыдно этой откровенной физической радости, словно какой-то незаслуженной привилегии. Разочарованные, медленной тяжелой рысью трусят за мной уланы. Напрасно ждут они — я чувствую это спиной — команды, которая вернет им прежнее водушевление.

Правда, в ту самую секунду, когда мною овладевает это странное оцепенение, я сознаю, что подобное самобичевание глупо и бесполезно. Я понимаю, что бессмысленно лишать себя удовольствия из-за того, что его лишены другие, отказываться от счастья потому, что кто-то другой несчастлив. Я знаю, что в ту минуту, когда мы смеемся над плоскими шутками, у кого-то вырывается предсмертный хрип, что за тысячами окон прячется нужда и голодают люди, что существуют больницы, каменоломни и угольные шахты, что на фабриках, в конторах, в тюрьмах бесчисленное множество людей час за часом тянет ляжку подневольного труда, и ни одному из обездоленных не станет легче, если кому-то другому взбредет в голову тоже пострадать, бессмысленно и бесцельно. Стоит только — для меня это яснее ясного — на миг охватить воображением все несчастья, случающиеся на земле, как у тебя пропадет сон и смех застрянет в горле. Но не выдуманные, не воображаемые страдания тревожат и сокрушают душу — действительно потрясти ее способно лишь то, что она видит воочию, сочувствующим взором. В разгар скачки близко и осязаемо встало вдруг передо мной, словно видение, бледное, искаженное лицо Эдит, я представил себе, как

она ковыляет через комнату на костылях, и мне опять послышался их стук вместе с позвякиванием и скрипом скрытых механизмов. Не думая, не рассуждая, я, поддавшись внезапному испугу, натянул поводья. Напрасно твердил я себе: «Разве кому-нибудь легче от того, что ты с увлекательного, бодрящего галопа перешел на дурацкую тяжелую рысь?» Неожиданный удар пришелся в ту часть сердца, которая лежит по соседству с совестью; я уже не мог свободно и естественно наслаждаться радостным ощущением бодрости и здоровья. Вялой, медленной рысью добираемся мы до *lisière*<sup>1</sup>, через которую пролегает дорога к учебному плацу; и только когда усадьба скрывается из виду, я встряхиваюсь и говорю себе: «Чушь! Выбрось из головы эти дурацкие сантименты». И командую: «Га-а-лопо-о-ом! Марш!»

С этого неожиданного рывка поводьев все и началось. Он был словно первым симптомом необычного отравления состраданием. Вначале появилось лишь смутное ощущение — так чувствуешь себя, захворав и просыпаясь с тяжелой головой, — что со мною что-то произошло или происходит. До сих пор я жил бездумно в своем ограниченном тесном мирке. Я заботился лишь о том, что казалось значительным или забавным моим начальникам и моим товарищам, но никогда ни к кому не проявлял горячего интереса, да и мною никто особенно не интересовался. Настоящие душевные потрясения были мне неведомы. Мои семейные дела были упорядочены, и беспечность (я понял это только сейчас) царил в моем сердце и в мыслях. И вот неожиданно что-то случилось, что-то стряслось со мной, правда, с виду ничего существенного, ничего такого, что было бы заметно со стороны. И все же в тот короткий миг, когда в полных гнева глазах обиженной девушки отразилась неведомая мне прежде глубина человеческого страдания, словно какая-то плотина рухнула в моей душе, и наружу хлынул неудержимый поток горячего сочувствия, вызвав скрытую лихорадку, которая для меня самого оставалась необъяснимой, как для всякого больно-

<sup>1</sup> Опушки (франц.).



го его болезнь. Вначале я понял лишь, что перешагнул границу замкнутого круга, где моя прежняя жизнь протекала легко и просто, и вступил в иную сферу, которая, как все новое, волновала и тревожила; впервые передо мной разверзлась бездна чувства. Непостижимо, но мне казалось заманчивым броситься в нее и изведать все до конца. И в то же время инстинкт подсказывал мне, что опасно поддаваться столь дерзкому любопытству. Он внушал: «Довольно! Ты уже извинился. Ты покончил с этой глупой историей». Но другой голос во мне нашептывал: «Сходи туда! Ощути еще раз эту дрожь, пробегающую по спине, этот озноб страха и напряженного ожидания!» И опять предостережение: «Не навязывайся, не вмешивайся! Это испытание тебе не по силам. Простак, ты натворишь еще больше глупостей, чем в первый раз».

Неожиданным образом все решилось помимо меня, так как тремя днями позже я получил письмо от Кекешфальвы, в котором он спрашивал, не смогу ли я отобедать у них в воскресенье. На этот раз будут одни мужчины и, между прочим, подполковник фон Ф. из военного министерства, о котором он мне уже говорил; разумеется, его дочь и Илона будут очень рады меня видеть. Я не стыжусь признаться, что меня, застенчивого молодого человека, это приглашение преисполнило гордости. Значит, меня не забыли, а упоминание о подполковнике фон Ф., по-видимому, означало даже, что Кекешфальва (я сразу понял, чем вызвана его признательность) желает тактично оказать мне протекцию по службе.

И в самом деле, мне не пришлось раскаиваться в том, что я тотчас принял приглашение. Это был на редкость приятный вечер, и мне, молодому офицеру, до которого, говоря по совести, в полку никому не было дела, казалось, что эти пожилые знатные господа проявляют ко мне совершенно непривычную для меня сердечность,— видимо, Кекешфальва особо им меня отрекомендовал. Впервые в моей жизни старший офицер разговаривал со мной без высокомерия, диктуемого субординацией. Он спросил, нравится ли мне в полку и как обстоят дела с моим продвижением по службе, предложил заходить к нему без стеснения, когда я буду в Ве-

не или если мне что-нибудь понадобится. Нотариус, веселый лысый человек с добродушным лицом, сияющим и круглым, как луна, тоже приглашал меня к себе в гости. Директор сахарного завода то и дело обращался ко мне. Как все это было не похоже на разговоры в нашем офицерском казино, где я должен был «покорнейше» соглашаться со всяким суждением начальника! Приятная уверенность в себе пришла ко мне скорее, чем я ожидал, и уже через полчаса я с полной неприужденностью принимал участие в общей беседе.

На стол подали новые блюда, известные мне только понаслышке и по хвастливым рассказам богатых товарищей: великолепную икру со льда (я пробовал ее впервые), фазанов, паштет из косули, и снова и снова вина, от которых легко и радостно становится на душе. Я понимаю, что глупо восторгаться подобными вещами, но к чему скрывать? Молодой неизбалованный офицер-ришка, я с детским тщеславием наслаждался тем, что тировал за одним столом с такими видными господами. Черт побери, поглядел бы на меня сейчас Ваврушка и тот заморыш вольноопределяющийся, который без конца хвастается, рассказывая, как они шикарно пообедали в Вене у Захера! Побывать бы им разок в таком доме — вот бы рты разинули! Черт возьми! Если бы они видели, эти завистники, как я непринужденно веду себя здесь, если бы слышали, как подполковник из военного министерства произносит тост за мое здоровье и как я дружески спорю с директором сахарного завода, а он вполне серьезно замечает: «Я просто поражен вашей осведомленностью!»

Кофе мы пьем в будуаре; в высоких рюмках появляется охлажденный на льду коньяк, за ним целый кейдоскоп ликеров и, конечно, великолепные толстые сигары с золотыми этикетками. Во время беседы Кекеш-фальва наклоняется ко мне и доверительно спрашивает, желаю ли я играть в карты или предпочту поболтать с дамами. «Разумеется, последнее», — отвечаю я поспешно; отважиться на роббер с подполковником из военного министерства — затея рискованная. Выиграешь — он, пожалуй, рассердится, а проиграешь — прощай, месячное жалованье! К тому же, вспоминаю я, у меня в бумажнике не больше двадцати крон.

И вот, пока в соседней комнате раскладывают ломберный столик, я подсаживаюсь к девушкам, и странно — вино ли это, или хорошее настроение так преобразует все кругом? — обе они кажутся мне сегодня удивительно похорошевшими. Эдит выглядит не такой бледной, не такой болезненно желтой, как в прошлый раз, — возможно, она чуть нарумянилась ради гостей или в самом деле ее щеки порозовели от оживления; так или иначе, но сегодня не видно нервно-трепещущих линий вокруг ее рта и произвольного подергивания бровей. Она в длинном розовом платье; ни мех, ни плед не скрывают ее увечья, но все мы в прекрасном расположении духа и не думаем об «этом». А Илона, мне кажется, даже немного захмелела: ее глаза так и искрятся, а когда она смеется, отведя назад красивые полные плечи, я отодвигаюсь, чтобы не поддасться искушению и не коснуться — как бы нечаянно — ее обнаженных рук.

Превосходный обед, чудесный коньяк, приятным теплом разлившийся по жилам, ароматная сигара, дым которой так нежно щекочет ноздри, две хорошенькие оживленные девушки по обе стороны — да тут и последний тупица станет красноречивым собеседником; а я и вообще-то неплохой рассказчик, если только не нападет на меня проклятая застенчивость. Но сегодня я особенно в ударе и болтаю с истинным вдохновением. Разумеется, все, что я им преподношу, — это не более как глупые случаи, которые бывали у нас в полку, например, вроде того, что произошел на прошлой неделе. Полковник еще до закрытия почты хотел отослать срочное письмо с венским экспрессом и, вызвав одного улана, деревенского парня из коренных гуцулов, строго внушил ему, что письмо должно быть отправлено в Вену немедленно. Этот дурень опрометью бросается в конюшню, седлает своего коня, выезжает на шоссе и пускается галопом прямехонько в Вену! Если бы по телефону не дали знать в соседний гарнизон, чудак и в самом деле скакал бы восемнадцать часов кряду. Итак, я не утруждаю ни себя, ни своих слушательниц глубокомысленными рассуждениями, это лишь ходячие анекдоты, плоды казарменного остроумия многих поколений, но они — я и сам удивляюсь — бесконечно забавляют

девушек, обе смеются без умолку. Смех Эдит звучит особенно задорно, и, хотя высокие серебристые ноты иной раз переходят в пронзительный дискант, веселье, несомненно, рвется из самой глубины ее существа, потому что кожа ее щек, тонкая и просвечивающаяся, точно фарфор, приобретает все более живой оттенок, отблеск здоровья и даже красоты озаряет лицо, а ее серые глаза, обычно холодные и чуть колючие, искрятся детской радостью. Приятно смотреть на нее в эти минуты, когда она забывает о своем недуге,— ее движения и жесты становятся свободнее и естественнее; она непринужденно откидывается на спинку кресла, смеется, пьет вино, притягивает к себе Илону и обнимает ее; право же, обе от души забавляются моей болтовней. Успех неизменно окрыляет рассказчика: на память мне приходит целая куча давно забытых историй. Всегда робкий и стеснительный, я проявляю неожиданное присутствие духа, смешу их и смеюсь вместе с ними. Словно расшалившиеся дети, веселимся мы трое в своем уголке.

Я шучу без устали и, кажется, позабыл обо всем на свете, кроме нашего веселого трио, но вместе с тем подсознательно я все время чувствую на себе чей-то взгляд. И это теплый, счастливый взгляд, от которого еще более усиливается мое собственное ощущение счастья. Украдкой (я думаю, он стесняется присутствующих) старик время от времени косится поверх карт в нашу сторону и один раз, когда я встречаюсь с ним глазами, одобрительно кивает мне. В этот миг я замечаю, что лицо его светлеет, как у человека, слушающего музыку.

Так продолжается почти до полуночи; наша болтовня не прекращается ни на минуту. Снова подают что-то вкусное, какие-то чудесные сэндвичи, и примечательно, что не один только я набрасываюсь на них с аппетитом. Девушки тоже уплетают за обе щеки и пьют отличный, крепкий, темный, старый английский портвейн рюмку за рюмкой. Но в конце концов пора прощаться. Как старому другу, хорошему, верному товарищу, пожимают мне руку Эдит и Илона. Разумеется, с меня берут слово, что я приду опять — завтра или в крайнем случае послезавтра. Затем вместе с тремя остальными гостями я выхожу в вестибюль. Автомобиль

развезет нас по домам. Пока слуга помогает одеться подполковнику, я сам беру свою шинель и, надевая ее, вдруг замечаю, что кто-то пытается мне помочь,— это господин фон Кекешфальва; я испуганно отшатываюсь: могу ли я, зеленый юнец, допустить, чтобы мне прислуживал пожилой человек! Но он придвигается ко мне и смущенно шепчет:

— Господин лейтенант! Ах, господин лейтенант... вы совсем не знаете... вы даже не представляете себе, какое это для меня счастье — снова слышать, как девочка смеется, по-настоящему смеется. Ведь у нее мало радости в жизни. А сегодня она была почти такой же, как прежде, когда...

В этот момент к нам подходит подполковник.

— Что ж, пошли? — дружески улыбается он мне.

Кекешфальва, конечно, не решается продолжать в его присутствии, но тут я чувствую, как старик робко прикасается к моему рукаву — так ласкают ребенка или женщину. Безграничная нежность и благодарность таятся в самой скрытности и сдержанности этого боязливого движения; в нем столько счастья и столько горя, что я чувствую себя глубоко растроганным, и, когда затем, соблюдая правила субординации, я спускаюсь с подполковником по ступенькам к автомобилю, мне приходится взять себя в руки, чтобы никто не заметил моего смятения.

**С**ильно взволнованный, я не сразу лег спать в тот вечер; казалось бы, какой незначительный повод — старик ласково погладил мой рукав, и только! — но сдержанного жеста горячей признательности было достаточно, чтобы наполнить и переполнить сокровенные глубины моего сердца. В этом поразившем меня прикосновении я угадал искреннюю нежность, такую страстную и вместе с тем целомудренную, какой никогда не встречал даже в женщине. Впервые в жизни я убедился, что помог кому-то на земле; и моему удивлению не было границ: мне, молодому человеку, скромному, заурядному офицеру, дана власть осчастливить кого-то!

Быть может, чтобы объяснить себе то упоение, в которое я пришел после этого неожиданного открытия, я

должен был вспомнить, что с детских лет меня всегда подавляло сознание собственного ничтожества: я лишний человек, никому не интересный, всем безразличный. В кадетском корпусе, в военном училище я всегда принадлежал к посредственным, ничем не выдающимся ученикам, никогда не был в числе любимчиков или особо привилегированных; не лучше обстояло дело и в полку. Я ни на секунду не сомневался, что, если я вдруг исчезну — допустим, свалюсь с лошади и сломаю себе шею, — товарищи скажут что-нибудь вроде: «Жаль его!» или «Бедняга Гофмиллер!» — но уже через месяц ни один из них и не вспомнит об утрате. На мое место назначат кого-нибудь еще, кто-то другой сядет на моего коня, и этот «другой» будет нести службу не хуже (а может быть, и лучше), чем нес ее я. Точно так же, как с товарищами, получалось и с девушками, которые были у меня в двух прежних гарнизонах, — с ассистенткой зубного врача в Ярославле и маленькой швеей в Винер-Нейштадте. Мы вместе проводили вечера, а когда у Аннерль бывали свободные дни, она приходила ко мне; на день рождения я подарил ей нитку кораллов, мы обменялись обычными в таких случаях нежными словами и, надо думать, говорили их от души. И все же, когда меня перевели в другое место, мы оба быстро утешились; первые три месяца, как полагается, переписывались, а потом у каждого появилось новое увлечение; различие было лишь в том, что в приливе нежности она теперь восклицала не «Тони», а «Фердль». Что прошло, то позабыто. Но еще ни разу в мои двадцать пять лет меня не захватывало сильное, страстное чувство, да и сам я, в сущности, хотел от жизни только одного: исправно нести службу и никоим образом не производить неприятного впечатления на окружающих.

Но вот неожиданное случилось, во мне проснулось любопытство, и я с изумлением смотрел на себя. Как? Стало быть, я, обыкновенный молодой человек, тоже располагаю властью над людьми? Я, у которого нет и пятидесяти крон за душой, способен подарить богачу больше счастья, чем все его друзья? Я, лейтенант Гофмиллер, смог кому-то помочь, кого-то утешить! Неужели только оттого, что я один или два вечера посидел и поболтал с больной, расстроенной девушкой, ее глаза за-

блестели, на лице заиграла жизнь, а унылый дом повеселел благодаря моему присутствию?

В волнении я так быстро шагаю по темным переулкам, что мне делается жарко. Хочется распахнуть шинель — до того тесно сердцу в груди, ибо первое изумление внезапно сменяется другим, новым, еще более опьяняющим. Меня поразило то, что я так легко, так невероятно легко приобрел расположение едва знакомых людей. В конце концов, что я сделал особенного? Проявил немного сострадания, побыл в доме два вечера — два веселых, радостных, восхитительных вечера, — и этого оказалось достаточно. Но тогда до чего же глупо изо дня в день все свободное время торчать в кафе, до одури играя в карты с надоевшими приятелями, или шататься взад-вперед по Корсо! Нет, надо положить конец этому безделью! Все быстрее и быстрее шагая сквозь летнюю ночь, я с подлинной страстью молодого, внезапно пробудившегося к жизни человека даю себе слово: отныне я изменю свою жизнь! Буду реже ходить в кафе, брошу дурацкий тарок и бильярд, решительно покончу с идиотской привычкой убивать время, от которой только тупеешь. Лучше буду чаще навещать больную и даже всякий раз нарочно готовиться к тому, чтобы рассказать девушкам что-нибудь милое и забавное, мы станем играть в шахматы или как-нибудь еще приятно проводить время; уже одно намерение всегда помогать другим окрыляет меня. От избытка чувств мне хочется запеть, выкинуть какую-нибудь глупость; человек ощущает смысл и цель собственной жизни, лишь когда сознает, что нужен другим.

**В**от так, и только так, случилось, что в последующие недели я проводил послеобеденные часы, а то и почти все вечера у Кекешфальвов; вскоре эти дружеские посещения стали привычными и даже повлекли за собой небезопасную избалованность. Но зато какой соблазн для молодого человека, которого с детских лет перемещали из одного военного заведения в другое, неожиданно, после мрачных казарм и прокуренных казино, обрести домашний очаг, приют для души! После службы, в половине пятого или в пять, я отправлялся

к ним; не успевал я еще поднести руку к дверному молотку, как слуга уже радостно распахивал дверь, будто он давно выглядывал в какое-то волшебное окошечко, ожидая моего появления. Все здесь осязательно свидетельствовало о том, что меня любят и признают своим человеком в доме. Всякой моей маленькой слабости или прихоти тайно потворствовали: мои любимые сигареты неизменно оказывались под рукой; если накануне я упоминал о новой книге, которую мне хотелось прочитать, то на следующий день она, заботливо разрезанная, лежала, словно случайно, на маленьком табурете; кресло против коляски Эдит непреложно считалось моим. Все это, конечно, мелочи, пустяки, но они согревают стены чужого дома благодатным домашним теплом, неприметно радуют и ободряют. И я держался здесь увереннее, чем когда-либо в кругу товарищей, болтал и шутил от души, впервые осознав, что стеснительность в любой ее форме мешает быть самим собой и что в полной мере человек раскрывается лишь тогда, когда чувствует себя непринужденно.

Но была и еще одна причина, глубокая и тайная, которая способствовала тому, что ежедневное общение с девушками действовало на меня столь окрыляюще. С тех пор как меня еще мальчиком отдали в кадетский корпус, то есть в течение десяти, даже пятнадцати лет, я непрерывно находился в мужском окружении. С утра до вечера, с вечера до рассвета, в спальне училища, лагерных палатках, казармах, за столом и в пути, на манеже и в классах — всегда и везде я дышал воздухом, насыщенным испарениями мужских тел; сперва это были мальчики, потом взрослые парни, но всегда мужчины, только мужчины. И я привык к их энергичным жестам, твердым, громким шагам, грубым голосам, к табачному духу, к их бесцеремонности, а нередко и пошлости. Разумеется, я был искренне расположен к большинству моих товарищей и, право же, не мог пожаловаться на то, что они не отвечают мне взаимностью. Но этой атмосфере недоставало одухотворенности, в ней словно не хватало озона, не хватало чего-то острого, возбуждающего, электризирующего. И подобно тому, как наш великолепный военный оркестр, несмотря на эффектное звучание, оставался всего-навсего духовой



музыкой — резкой, отрывистой, построенной единственно на ритме, ибо в ней не слышалось нежно-чувственной мелодии скрипок, — так и самые веселые часы в казарме были лишены того облагораживающего флюида, который уже одним своим присутствием вносит в любое общество женщина. Еще четырнадцатилетними подростками, когда мы, парами прогуливаясь по городу в своих ладно сшитых кадетских мундирах, встречали других мальчишек, беззаботно болтающих или флиртующих с девочками, мы испытывали смутную тоску, догадываясь, что казарма с ее монастырским режимом безжалостно лишила чего-то нашу юность; в то время как наши сверстники ежедневно на улице, в парке, на катке и в танцзале непринужденно общались с девочками, мы, затворники, смотрели на эти существа в коротеньких юбочках, словно на сказочных эльфов, мечтая о разговоре с ними как о чем-то несбыточном. Такие ограничения не проходят бесследно. В последующие годы мимолетные и чаще всего пошлые связи с легкодоступными дамами ни в коей мере не могли возместить того, чего я был лишен в годы трогательных мальчишеских мечтаний. И по тому, как неловко и застенчиво вел я себя всякий раз, когда мне случалось оказаться в обществе молодой девушки (а ведь я уже успел переспать с добрым десятком женщин), я чувствовал, что естественная непринужденность из-за слишком долгих ограничений утрачена мною навсегда.

И вот случилось так, что неосознанное мальчишеское стремление узнать, какова дружба с молодыми женщинами, а не с усатыми, неотесанными товарищами, неожиданно осуществилось самым наилучшим образом. Каждый день после обеда я сидел этаким баловнем среди двух девушек; звонкая женственность их голосов доставляла мне (не могу выразить это иначе) ощущение почти физической радости. С неописуемым восторгом наслаждался я впервые в жизни обществом молодых девушек, не испытывая при этом ни малейшего смущения. Тем более что в силу особых обстоятельств был разомкнут тот невидимый электрический контакт, который неизбежно возникает при длительном общении двух молодых людей разного пола. Наша часами длившаяся болтовня была совершенно свободна от сладостного томле-

ния, которое делает таким опасным всякий tête-a-tête в полумраке. Признаться, сначала меня приятно волновали полные, чувственные губы Илоны, ее пышные плечи и мадьярская страстность, сквозившая в ее мягких, плавных движениях. Не раз я усилием воли удерживал свои руки, подавляя желание одним рывком привлечь к себе это теплое, нежное существо с черными смеющимися глазами и осыпать его поцелуями. Но Илона в первые же дни нашего знакомства рассказала мне, что она уже два года помолвлена с помощником нотариуса из Бечкерета и только ждет выздоровления Эдит или улучшения в ее состоянии, чтобы с ним обвенчаться, — я догадался, что Кекешфальва обещал бедной родственнице приданое, если она согласится пожениться с замужеством. Кроме того, мы поступили бы жестоко и коварно, если бы за спиной этой трогательной, прикованной к своему креслу девушки стали украдкой обмениваться поцелуями и рукопожатиями, не испытывая настоящей влюбленности. Вот почему вспыхнувшая было чувственность очень быстро угасла, и вся искренняя привязанность, на какую я был способен, все более сосредоточивалась на Эдит, обездоленной и беззащитной, ибо в таинственной химии чувств сострадание к больному неминуемо и незаметно сочетается с нежностью. Сидеть подле больной, развлекать ее разговором, видеть, как горестно сжатые губы раскрываются в улыбке, или иной раз, когда она, поддавшись раздражению, уже готова вспыхнуть, одним прикосновением руки смирять ее нетерпение, получая в ответ смущенный и благодарный взгляд серых глаз, — в едва заметных проявлениях духовной близости с беспомощной девушкой была особая прелесть, доставлявшая мне такое наслаждение, какого не могло бы дать бурное приключение с ее кузиной. И благодаря этим неуловимым движениям души — сколь многое я постиг за каких-нибудь несколько дней! — мне неожиданно открылись совершенно неведомые прежде и несравненно более тонкие сферы чувства.

Неведомые и более тонкие, но, правда, и более опасные! Ибо тщетны все предосторожности и усилия: никогда отношения между здоровым и больным, между свободным и пленником не могут долго оставаться в пол-

ном равновесии. Несчастье делает человека легко ранимым, а непрерывное страдание мешает ему быть справедливым. Как неодолимо тягостное чувство неприязни, которое испытывает должник к кредитору, ибо одному из них неизменно суждена роль дающего, а другому — только получающего, так и больной таит в себе раздражение, готовое вспыхнуть при малейшем проявлении заботливости. Бесперывно надо быть начеку, дабы не переступить едва ощутимый рубеж уязвимости, за которым участие уже не успокаивает боль, а лишь сильнее растравляет рану. Эдит постоянно требовала (и это вошло у нее в привычку), чтобы все прислуживали ей, точно принцессе, и баловали, как ребенка, но уже в следующий миг такое отношение могло ее оскорбить, ибо оно вызывало у нее еще более обостренное ощущение собственной беспомощности. Если, например, предупредительно придвигали столик, чтобы ей не приходилось тянуться за книгой или чашкой, она в ответ метала гневный взгляд: «Думаете, я сама не могу взять, что мне нужно?» И, подобно тому, как зверь за решеткой иной раз без всякого повода бросается на сторожа, к которому обычно ластится, Эдит иногда доставляло злую радость одним ударом разрушить наше безоблачное настроение, внезапно назвав себя «жалкой калекой». В такие напряженные моменты приходилось крепко брать себя в руки, чтобы удержаться от упрека в злобной раздражительности, который вряд ли был бы справедлив.

Но, к моему изумлению, я всякий раз находил в себе силы для этого. Ибо непостижимым образом первое познание человеческой природы влечет за собой все новые и новые открытия, и кто обрел способность искренне сочувствовать людскому горю, хотя бы и в одном-единственном случае, тот, получив чудодейственный урок, научился понимать всякое несчастье, как бы на первый взгляд странно или безрассудно оно ни проявлялось. Вот почему гневные вспышки Эдит, повторявшиеся от случая к случаю, не вводили меня в заблуждение; напротив, чем несправедливее и мучительнее для окружающих бывали эти приступы, тем сильнее они меня потрясали; и я постепенно понял, почему мой приход радовал ее отца и Илону, почему в этом доме мое присутствие было желанным. Долгое страдание изнуряет не

только больного, но и его близких; сильные переживания не могут длиться бесконечно. Разумеется, и отец и кузина всей душой жалели бедняжку, но в их жалости чувствовались усталость и смирение. Ее недуг давно стал для них печальным фактом, больная была для них просто больной, и они покорно переживали, пока отбушует налетевший шквал. Это уже не страшило их так, как страшило меня, я каждый раз пугался. Я был единственным, в ком ее страдания неизменно вызывали взволнованный отклик, и едва ли не единственным, перед кем она стыдилась своей несдержанности. Стоило мне только, когда она теряла самообладание, произнести что-нибудь вроде: «Но, милая фрейлейн Эдит»,— и она сразу же потупляла взор, краска заливала ее лицо, и было видно, что она охотнее всего убежала бы куда глаза глядят, если бы не ее парализованные ноги. И ни разу я не попросился с ней без того, чтобы она не сказала почти умоляющим тоном, от которого меня бросало в дрожь: «Вы придете завтра? Ведь вы не сердитесь на меня за то, что я сегодня наговорила глупостей?» В такие минуты мне казалось необъяснимым и удивительным, как это я, не давая ничего, кроме искреннего сочувствия, обретал такую власть над людьми.

Но такова уж юность: то, что познается впервые, захватывает ее целиком, до самозабвения, и в своих увлечениях она не знает меры. Что-то странное начало твориться со мной, едва я обнаружил, что мое сочувствие не только радостно волнует меня, но и благотворно действует на окружающих; с тех пор как я впервые ощутил в себе способность к состраданию, мне стало казаться, будто в мою кровь проникло какое-то вещество, сделало ее краснее, горячее и заставило быстрее бежать по жилам. Мне вдруг стало чуждым оцепенение, в котором я прозябал долгие годы, точно в серых, холодных сумерках. Сотни мелочей, на которые я прежде просто не обращал внимания, теперь занимали и увлекали меня; я стал замечать подробности, которые меня трогали и поражали, словно первое соприкосновение с чужим страданием сделало мой взор мудрым и пронизательным. А поскольку наш мир — каждая улица и каждый дом — насквозь пропитан горечью нищеты и полон превратностей судьбы, то все мои дни отныне проходили в непре-

рывном и напряженном наблюдении. Так, например, объезжая лошадь, я ловил себя теперь на том, что уже не могу, как бывало, изо всей силы хлестнуть ее по крупу, ибо тут же меня охватывало чувство стыда, и рубец словно горел на моей собственной коже. А когда наш вспыльчивый ротмистр бил наотмашь по лицу какому-нибудь беднягу рядового за то, что тот плохо подтянут, и провинившийся стоял навывтяжку, не смея пошевелиться, у меня гневно сжимались кулаки. Стоявшие кругом солдаты молча глазели или исподтишка посмеивались, и только я, я один видел, как у парня из-под опущенных век выступают слезы обиды. Я не мог больше выносить шуток по адресу неловких или неудачливых товарищей; с тех пор как я, увидев эту беззащитную, беспомощную девушку, понял, что такое муки бессилия, всякая жестокость вызывала во мне гнев, всякая беспомощность требовала от меня участия. С той минуты, как случай заронил мне в душу искру сострадания, я начал замечать простые вещи, прежде ускользавшие от моего взора: сами по себе они мало что значат, но каждая из них трогает и волнует меня. Например, я вдруг замечаю, что хозяйка табачной лавочки, где я всегда покупаю сигареты, считая деньги, подносит их слишком близко к выпуклым стеклам своих очков, и тут же у меня возникает подозрение, что ей грозит катаракта. Завтра, думаю я, осторожно ее расспрошу и, может быть, даже уговорю нашего полкового врача Гольдбаума осмотреть ее. Или вдруг вижу, что вольноопределяющиеся в последнее время откровенно игнорируют маленького рыжего К.; догадываюсь о причине: в газетах писали (при чем тут он, бедный мальчик?), что его дядя арестован за растрату; во время обеда я нарочно подсаживаюсь к нему и завязываю разговор, тотчас ощутив по его благодарному взгляду, что он понимает — я делаю это просто для того, чтобы показать остальным, как несправедливо и плохо они поступают. Или выклянчиваю прощение для одного из своих улан, которого неумолимый полковник приказал поставить на четыре часа под ружье.

Каждый день я нахожу множество поводов вновь и вновь испытать эту внезапно открывшуюся мне радость. И я даю себе слово: отныне помогать любому и каждому, сколько хватит сил. Не быть ленивым и равнодушным.

Возвышаться над самим собой, обогащать собственную душу, щедро отдавая ее другим, разделять судьбу каждого, постигая и преодолевая страдание могучей силой сострадания. И мое сердце, дивясь самому себе, трепещет от благодарности к больной, которую я невольно обидел и несчастье которой научило меня волшебной науке действенного сочувствия.

**Н**о вскоре я был пробужден от этих романтических грез, и притом самым безжалостным образом. Вот как это случилось. В тот вечер мы играли в домино, потом долго болтали, и никто из нас не заметил, как пролетело время. Наконец в половине двенадцатого я бросаю испуганный взгляд на часы и поспешно прощаюсь. Еще в вестибюле, куда меня провожает отец Эдит, мы слышим с улицы шум, словно гудят сто тысяч шмелей. Дождь льет как из ведра.

— Автомобиль довезет вас,— успокаивает меня Кекешфальва.

— Это совершенно излишне,— возражаю я; мне просто неловко, что шоферу ради меня придется в половине двенадцатого ночи снова одеваться и выводить машину из гаража (столь заботливое отношение к людям появилось у меня лишь в последние недели). Но в конце концов уж слишком заманчиво в такую собачью погоду спокойно доехать домой в уютной кабине, вместо того чтобы добрых полчаса шлепать в тонких лаковых ботинках по шоссе и промокнуть до костей; и я уступаю. Несмотря на дождь, старик провожает меня до автомобиля и сам укрывает мне колени пледом. Шофер заводит машину, и мы летим сквозь разбушевавшуюся стихию.

Удивительно приятно и удобно ехать в бесшумно скользящем автомобиле. Но вот мы уже сворачиваем к казарме — как невероятно быстро мы домчались! — и я, постучав в стекло, прошу шофера остановиться на площади Ратуши. В элегантном лимузине Кекешфальвы к казарме лучше не подъезжать! Я знаю, никому не придется по вкусу, если простой лейтенант, словно какой-нибудь эрцгерцог, с блеском подкатит в шикарном автомобиле и шофер в ливрее распахнет перед ним дверь.

цу. На такое бахвальство наши начальники смотрят косо, а кроме того, инстинкт уже давно предостерегает меня: как можно меньше смешивать оба моих мира — роскошный мир Кекешфальвов, где я свободный человек, независимый и избалованный, и мир службы, в котором я должен беспрекословно повиноваться, в котором я жалкий бедняк, каждый раз испытывающий огромное облегчение, если в месяце не тридцать один день, а тридцать. Подсознательно одно мое «я» ничего не желает знать о другом; временами я и сам не могу различить, который же из двух настоящий Тони Гофмиллер — тот, в доме Кекешфальвы, или тот, на службе?

Шофер послушно тормозит на площади Ратуши, в двух кварталах от казармы. Я выхожу, поднимаю воротник и собираюсь побыстрее пересечь широкую площадь. Но как раз в эту секунду дождь хлынул с удвоенной силой и ветер мокрым бичом хлестнул меня по лицу. Лучше несколько минут переждать в какой-нибудь подворотне, думаю я, чем бежать два переулка под ливнем; или, наконец, зайти в кафе, оно еще открыто, и посидеть в тепле, пока проклятое небо не опорожнит свои самые большие лейки. До кафе всего шесть домов, и — смотри-ка! — за мокрыми оконными стеклами тускло мерцает свет. Наверное, приятели еще торчат за нашим постоянным столиком — отличный случай загладить свою вину, ведь мне уже давно бы следовало показаться. Вчера, позавчера, всю эту, да и прошлую неделю я здесь не был, и, по совести говоря, у них есть основания на меня злиться; если уж изменяешь, так хоть соблюдай приличия.

Я открываю дверь. В зале кафе газовые рожки из экономии уже погашены, повсюду валяются развернутые газеты, а маркер Эуген подсчитывает выручку. Но позади, в игровой комнате, я вижу свет и поблескивание форменных пуговиц: ну, конечно, они еще здесь, эти заядлые картежники — старший лейтенант Йожи, лейтенант Ференц и полковой врач Гольдбаум. Видимо, они давно окончили партию, но все еще, лениво развалившись, пребывают в хорошо знакомом мне состоянии ресторанной дремоты, когда страшнее всего двинуться с места. Понятно, что мой приход, прервавший унылое безделье, для них все равно что дар божий.

— Привет, Тони! — Ференц, словно по тревоге, поднимает остальных.

— «Моей ли хижине такая честь?» — декламирует полковой врач, который, как у нас острят, страдает хроническим цитатным поносом. Три пары сонных глаз, прищурившись, улыбаются мне.

— Здорово! Здорово!

Их радость мне приятна. И в самом деле, они славные парни, думаю я, ничуть не обиделись на меня за то, что я столько времени пропадаю, даже не извинившись и ничего не объяснив.

— Чашку черного, — заказываю я кельнеру, сонно шаркающему ногами, и с неизменным «Ну, что новенького?», которым начинается у нас всякая встреча, придвигаю к себе стул.

Широкое лицо Ференца расплывается еще шире, прищуренные глаза почти исчезают в красных, как яблоки, щеках; медленно, тягуче открывается рот.

— Что ж, самая свежая новость, — довольно ухмыляется он, — что ваше благородие опять соизволили пожаловать в нашу скромную лачугу.

А полковой врач откидывается назад и декламирует с кайнцевской<sup>1</sup> интонацией:

Магадев, земли владыка,  
К нам в шестой нисходит раз,  
Чтоб от мала до велика  
Самому изведать нас<sup>2</sup>.

Все трое смотрят на меня с усмешкой, и мне сразу становится не по себе. Лучше всего, думаю я, поскорее начать самому, не дожидаясь, пока они примутся расспрашивать, почему я не показывался все эти дни и откуда явился сейчас. Но не успеваю я открыть рот, как Ференц многозначительно подмигивает Йожи и толкает его локтем.

— Полюбуйся-ка! — показывает он под стол. — Ну, что скажешь? Лаковые штиблеты в такую собачью погоду и новенький мундир! Да, Тони свое дело знает, подыскал тепленькое местечко. Наверное, чертовски здорово там, у старого манихея, а? Каждый вечер пять

<sup>1</sup> Кайнц, Йозеф (1858—1910) — известный австрийский актер-трагик.

<sup>2</sup> Гёте, баллада «Бог и баядера». Перевод А. К. Толстого,



блюды, рассказывал аптекарь, икра, каплуны, настоящий Vols<sup>1</sup> и отборные сигары — это тебе не наша жратва в «Рыжем льве»! Ай да Тони! Ему палец в рот не клади, а мы-то думали — простак!

Йожи тотчас подхватывает:

— Только вот товарищ он никудышный. Да, брат Тони, ну что тебе стоило намекнуть своему старикашке: «Вот, мол, старина, есть у меня два закадычных приятеля, парни что надо, тоже не с ножа едят, я их как-нибудь к вам приволоку!» — а ты вместо этого думаешь: «Пусть их лакают свою пильзенскую кислятину да проперчивают себе глотки ~~ос~~рочертевшим гуляшем». Вот уж товарищ так товарищ, ничего не скажешь! Себе все, а другим — шиш! Ну, а толстого «упмана»<sup>2</sup> ты мне притащить догадался? Если да — то на сегодня я тебя прощаю.

Все трое смеются и причмокивают губами. Я внезапно краснею до корней волос. Черт возьми, откуда этот проклятый Йожи мог узнать, что Кекешфальва, провожая меня, действительно сунул мне в карман мундира одну из своих превосходных сигар (он делает это всякий раз)? Неужели она торчит оттуда? Хоть бы они не заметили! В смущении я деланно смеюсь:

— Еще чего — «упмана»! А подешевле не хочешь? Думаю, что сигарета третьего сорта тоже сойдет! — И протягиваю ему открытый портсигар. Но в тот же миг отдергиваю руку: позавчера мне исполнилось двадцать пять лет, девушки каким-то образом об этом проведали, и за ужином, поднимая со своей тарелки салфетку, я почувствовал, что в ней завернуто что-то тяжелое — это был портсигар, подарок ко дню рождения. Однако Ференц успел заметить новую вещьцу: в нашей тесной компании малейший пустяк — событие.

— Э, а это что такое? — гудит он. — Новая амуниция!

Он спокойно забирает у меня портсигар (что я могу поделаться?), ощупывает его, осматривает и, наконец, взвешивает на ладони.

— Слушай, — поворачивается он к полковому вра-

---

<sup>1</sup> Сорт виски.

<sup>2</sup> Сорт сигар.

чу,— по-моему, это настоящее. Ну-ка погляди как следует, ведь твой почтенный родитель знает толк в таких делах, да и ты, наверное, лицом в грязь не ударишь.

Полковой врач Гольдбаум, сын ювелира из Дрогобыча, водружает пенсне на свой несколько толстоватый нос, берет портсигар, взвешивает в руке, разглядывает со всех сторон и с видом знатока постукивает по крышке согнутым пальцем.

— Золото,— ставит он окончательный диагноз.— Чистое золото, с пробой и чертовски тяжелое. Всему полку можно зубы запломбировать. Семьсот — восемьсот крон цена.

Произнеся свой приговор, изумивший прежде всего меня самого (я был уверен, что это обыкновенная позолота), он передает портсигар Йожи, который берет его уже куда почтительнее (подумать только, какое благоговение мы, молодые парни, испытываем перед драгоценностями!). Йожи рассматривает его, ощупывает, глядится в зеркальную поверхность крышки и, наконец, нажав рубиновую кнопку, открывает его и озадаченно восклицает:

— Ого, надпись! Слушайте, слушайте! «Нашему милому другу Антону Гофмиллеру ко дню рождения. Илона, Эдит».

Теперь все трое уставились на меня.

— Черт побери! — с шумом выдыхает наконец Ференц.— А ты за последнее время неплохо научился выбирать себе друзей. Мое почтение. От меня бы ты получил самое большее латунную спичечницу.

Судорога сдавливает мне горло. Завтра весь полк будет знать о золотом портсигаре, который мне подарили девицы Кекешфальва, и наизусть повторять надпись. «Что ж ты не покажешь свою шикарную коробочку?» — скажет Ференц в офицерском казино, чтобы высмеять меня; и мне придется «покорнейше» предъявлять подарок господину ротмистру, полковнику. Все будут взвешивать его в руке, оценивать и, ухмыляясь, читать надпись; затем неизбежно начнутся расспросы и остроты, а мне в присутствии начальства нельзя быть невежливым.

В смущении, спеша закончить разговор, я предлагаю:

— Ну как, еще партию в тарок?

Тут их добродушные усмешки сменяются хохотом. — Как тебе это нравится, Ференц? — подталкивает его Йожи. — Теперь, в половине первого, когда лавочка закрывается, ему приспичило играть в тарок!

А полковой врач, лениво откидываясь на спинку стула, изрекает:

— Как же, как же, счастливые часов не наблюдают.

Все хохочут, смакуя пошлую шутку. Но вот приближается маркер Эуген и почтительно, но настойчиво напоминает: «Закрываемся, господа!» Мы идем вместе до самой казармы — дождь прекратился — и на прощание пожимаем друг другу руки. Ференц хлопает меня по плечу: «Молодец, что заглянул к нам!» — и я чувствую, что это говорится от чистого сердца. Почему я, собственно, так рассвирепел? Ведь все трое как один хорошие, славные ребята, без тени недоброжелательства и зависти. А если они слегка прошлись на мой счет, так это не со зла.

**В**ерно, зла они мне не желали, эти добрые малые, но своими идиотскими расспросами и насмешками безвозвратно лишили меня уверенности в себе. Дело в том, что необычные отношения с Кекешфальвами удивительнейшим образом укрепили во мне чувство собственного достоинства. Впервые в жизни я ощутил себя дающим, помогающим; и вот теперь я узнал, как смотрят другие на эти отношения, или, вернее, какими неизбежно должны они казаться людям, не знающим всех тайных взаимосвязей. Но что могли понять посторонние в утонченной радости сострадания, которой — не могу выразить это иначе — я отдался, словно неодолимой страсти! Для них было совершенно бесспорно, что я окопался в щедром, гостеприимном доме единственно ради того, чтобы, втеревшись в доверие к богачам, пировать за их счет и выклянчивать подачки. При этом в душе они во все не желают мне зла — славные ребята, они не завидуют ни моему теплему местечку, ни хорошим сигарам; без сомнения, они не видят ничего бесчестного или нечистоплотного — а это как раз и бесит меня больше всего! — в том, что я позволяю «штафиркам» носиться со мной, — по их понятиям, наш брат кавалерийский офицер еще ока-

зывает честь этакому торгашу, сядя за его стол. Без всякой задней мысли Ференц и Йожи восхищались золотым портсигаром — напротив, им даже внушило некоторое уважение то, что я сумел заставить раскошелиться моих покровителей. Но сейчас меня беспокоит другое: я сам начинаю сомневаться в собственных побуждениях. Не веду ли я себя и впрямь как нахлебник? Могу ли я, взрослый человек, офицер, допускать, чтобы меня изо дня в день кормили, поили и обхаживали? Вот, например, этот золотой портсигар — его мне ни в коем случае не следовало брать, точно так же, как и шелковое кашне, которое они недавно повязали мне на шею, когда на дворе дул сильный ветер. Куда это годится, чтоб кавалерийскому офицеру совали в карман мундира сигары «на дорогу», да еще — господи! завтра же поговорю с Кекешфальвой! — еще эта верховая лошадь! Только сейчас меня осенило: позавчера он что-то бормотал, будто мой гнедой мерин (которого я купил, разумеется, в рассрочку, и еще не расплатился) не так уж хорош с виду; в этом он — увы! — не ошибся. Но то, что он хочет одолжить мне со своего завода трехлетку, «отличного коня, на котором вам не стыдно будет показаться», — это уж нет, увольте. Вот именно, «одолжить» — теперь-то я понимаю, что это значит! Старик обещал Илоне приданое при условии, что она всю жизнь будет опекать его больную дочь, а теперь он намерен купить и меня, заплатив наличными за мое сострадание, мои шутки, мою дружбу! А я, простофиля, чуть было не попался на эту удочку, даже не заметив, что все время унижаю себя, превращаюсь в блюдолизца!

«Чепуха!» — тут же говорю я себе, вспоминая, как старик робко дотронулся до моего рукава, как светлеет всякий раз его лицо, едва я переступаю порог. Я знаю — сердечная, братская дружба связывает меня с обеими девушками; нет, они не считают, сколько рюмок я выпил, а если что и заметят — искренне радуются, что мне у них хорошо. «Чушь! Ерунда! — твержу я себе снова и снова. — Глупости! Этот старик любит меня больше, чем родной отец».

Но какой толк уговаривать и убеждать себя, если внутреннее равновесие нарушено! Я чувствую, что Йожи и Ференц своим подтруниванием положили конец чувст-

ву полной непринужденности. «Ты в самом деле ходишь к этим богатым людям только из сострадания, только из сочувствия? — придиричливо спрашиваю я себя. — А нет ли здесь изрядной доли тщеславия и жажды удовольствий? Так или иначе, но ты обязан внести во все это ясность». И, чтобы начать сразу, я решаю сократить отныне свои посещения и завтра же пропустить обычный визит в усадьбу.

**И**так, на следующий день я у них не появляюсь. После службы мы с Ференцем и Йожи вваливаемся в кафе; просмотрев газеты, начинаем неизбежную партию в тарок. Но я играю дьявольски скверно; прямо против меня, в обшитой панелью стене, круглые часы, и вместо того, чтобы следить за картами, я веду счет времени — четыре двадцать, четыре тридцать, четыре сорок, четыре пятьдесят... В половине пятого, когда я обыкновенно прихожу к чаю, все уже бывает приготовлено; и если я запаздываю на какие-то четверть часа, меня встречают возгласом: «Что-нибудь случилось сегодня?» Они настолько привыкли к моему аккуратному появлению, что считают это как бы моей обязанностью; за две с половиной недели я не пропустил ни одного вечера, и должно быть, теперь они смотрят на часы с таким же беспокойством, как я, и ждут, ждут... Надо бы хоть позвонить и сказать, что я не приду. Или, пожалуй, лучше послать денщика?..

— Послушай, Тони, ты сегодня отвратительно играешь! Не зевай! — злится Йожи и бросает на меня свирепый взгляд. Моя растерянность стоила нам партии. Я стряхиваю с себя оцепенение.

— Знаешь что, давай поменяемся местами.

— Пожалуйста, но к чему?

— Сам не знаю, — вру я, — уж очень в лавочке шумно, это мне действует на нервы.

На самом же деле я не хочу видеть часы и неумолимое движение стрелок минута за минутой. Все меня раздражает, я ни на чем не могу сосредоточиться, снова и снова мучаюсь сомнением — может быть, снять телефонную трубку и извиниться? Лишь сейчас я начинаю сознавать, что подлинное сочувствие — не электрический контакт,

его нельзя включить и выключить, когда заблагорассудится, и всякий, кто принимает участие в чужой судьбе, уже не может с полной свободой распоряжаться своею собственной.

«Да пропади оно все пропадом,— злюсь я на самого себя,— ведь не обязан же ты изо дня в день таскаться туда и обратно!» И, повинуясь тайному закону взаимодействия чувств, по которому недовольство собой вызывает желание свалить вину на другого, я, подобно бильярдному шару, передающему дальше полученный им удар, обращаю свое дурное настроение не против Йожи и Ференца, а против Кекешфальвов. Ничего, пусть подождут разок! Пусть увидят, что меня не купишь подарками и любезностями, что я не являюсь в урочный час, точно какой-нибудь массажист или учитель гимнастики. Незачем приучать их, привычка связывает, а я не хочу чувствовать себя обязанным каким-либо обязательством. Так, глупо упорствуя, просиживаю я в кафе три с половиной часа, до половины восьмого, стараясь доказать самому себе, что я свободен приходить и уходить; когда мне вздумается, и что вкусная еда и отменные сигары у этих Кекешфальвов мне совершенно безразличны:

В половине восьмого мы поднимаемся из-за стола.— Ференц предложил пошататься немного по Корсо. Но едва я вслед за приятелем переступаю порог кафе, как чей-то знакомый взгляд мельком задерживается на мне. Постой-ка, да ведь это Илона! Ну конечно! Даже если бы я не восхищался еще позавчера пурпурным платьем и широкополой шляпой с лентами, я бы все равно узнал ее по походке, по мягкому, плавному покачиванию бедер. Но куда ж она так спешит? Это не прогулочный шаг, а стремительный бег; впрочем, как бы там ни было — поскорей за милой пташкой, не дадим ей упорхнуть!

— Pardon,— несколько бесцеремонно бросаю я ошеломленным друзьям и поспешно устремляюсь за платьем, мелькающим уже на другой стороне улицы. Я и в самом деле безмерно рад, что племянницу Кекешфальвы каким-то ветром занесло в мой гарнизонный мирок.

— Илона, Илона! Погодите! Постойте! — кричу я ей вслед, меж тем как она продолжает идти с поразительной быстротой. В конце концов девушка останавливается, и я вижу, что наша встреча ее нисколько не удивляет.

Разумеется, она заметила меня еще тогда, при выходе из кафе.— Это просто замечательно, Илона, что я встретил вас в городе. Я уже давно мечтаю прогуляться с вами по нашим владениям! Или, может, лучше заглянем на минутку в знаменитую кондитерскую?

— Нет, нет,— бормочет она чуть смущенно.— Я тороплюсь, меня ждут дома.

— Не беда, подождут еще пять минут. На всякий случай, чтобы вас не поставили в угол, я выдам вам оправдательный документ. Не смотрите на меня так сурово, пойдемте!

Вот бы взять ее под руку! Я от души рад, что в другом своем мире встретил именно ее, ту из них, с которой не стыдно показаться, а если я попадусь на глаза товарищам с такой красавицей — тем лучше. Но Илона чем-то встревожена.

— Нет, правда, мне нужно домой,— поспешно отвечает она,— вон и автомобиль ждет.

И в самом деле, с площади Ратуши меня почтительно приветствует шофер.

— Но до машины-то вы мне позволите вас проводить?

— Разумеется,— бормочет она с какой-то непонятной тревогой,— разумеется... Кстати... почему вы сегодня не пришли?

— Сегодня? — медленно переспрашиваю я, словно что-то припоминая.— Сегодня?.. Ах да, дурацкая история. Полковник надумал обзавестись новой лошастью, так вот нам всем пришлось идти любоваться покупкой да еще по очереди объезжать коня. (В действительности это произошло еще месяц назад. Да, врать я не умею.)

Илона колеблется, желая что-то возразить. (Почему она все время тербит перчатку и нетерпеливо притопывает ножкой?) Потом вдруг быстро спрашивает:

— Может быть, вы сейчас поедете вместе со мной?

«Держись,— говорю я себе.— Не поддавайся! Хоть раз, хоть один-единственный день!» И я огорченно вздыхаю.

— Как жаль, мне страшно хотелось бы поехать. Но сегодняшний день все равно потерян: вечером у нас собирается компания, я должен быть там.

Она пристально смотрит на меня (странно, в эту ми-

нуту между бровями у нее появляется та же нетерпеливая складка, что и у Эдит) и не произносит ни слова, не знаю — из нарочитой невежливости или от смущения. Шофер распахивает дверцу, Илона с шумом захлопывает ее за собой и спрашивает меня через стекло:

— Но завтра вы придете?

— Да, завтра непременно.

Автомобиль трогается с места.

Я не очень доволен собой. Что означает эта торопливость Илоны, это беспокойство, точно она опасалась, как бы ее не увидели со мной, почему она так поспешно уехала? И потом: мне следовало по крайней мере из вежливости передать привет ее дяде, несколько теплых слов Эдит — ведь они не сделали мне ничего дурного! Но, с другой стороны, я доволен своей выдержкой. Я устоял. Как бы там ни было, а теперь они уже не подумают, что я им навязываюсь.

**Х**оть я и обещал Илоне прийти на следующий день в обычное время, я предусмотрительно заранее извещаю по телефону о своем визите. Лучше строго соблюдать все формальности. Формальности—это гарантии. Мне хочется показать, что я не прихожу в дом незванным гостем; отныне я намерен всякий раз осведомляться, насколько желателен мой визит. Впрочем, можно не сомневаться, что меня ждут,— слуга уже стоит перед распахнутой дверью и, когда я вхожу, угодливо сообщает:

— Барышня наверху, на террасе. Они изволят просить господина лейтенанта подняться к ним.— И добавляет: — Кажется, господин лейтенант еще никогда не были наверху? Господин лейтенант будут удивлены, до чего там красиво.

Он прав, добрый старый Йозеф. Я и в самом деле ни разу не бывал на башне, хотя часто и с интересом разглядывал это странное, нелепое сооружение. Некогда, как я уже упоминал, эта угловая башня давно развалившегося или снесенного замка (даже девушкам история судьбы в точности неизвестна) — громоздкое квадратное строение — долгие годы пустовала и служила складом. В детстве Эдит, к ужасу родителей, часто взбиралась по шатким ступенькам на чердак, где среди старого хлама



метались сонные летучие мыши и при каждом шаге по прогнувшимся балкам взлетало густое облако пыли.

Но именно за его таинственность и бесполезность склонная к фантазиям девочка избрала местом своих игр и сокровенным убежищем это ни к чему не пригодное помещение, из грязных окон которого перед ней открывался бескрайний простор; а когда случилась беда и Эдит уже не смела надеяться — ее ноги в ту пору были совершенно неподвижны — побывать снова на своем романтическом чердаке, она почувствовала себя ограбленной; отец часто замечал, с какой горечью поглядывает она иной раз на неожиданно утерянный рай детских лет.

И вот, чтобы сделать ей сюрприз, Кекешфальва воспользовался тремя месяцами, которые Эдит проводила в Германии в санатории, поручил одному венскому архитектору перестроить старую башню и сделать наверху удобную террасу; когда осенью Эдит после едва заметного улучшения привезли домой, надстроенная башня была уже оборудована просторным лифтом, и больная получила возможность, не покидая кресла, в любой час подниматься наверх; так она вновь обрела мир своего детства.

Архитектор, несколько стесненный во времени, больше заботился о практических удобствах, нежели о сохранении стиля; жесткие прямые формы голого куба, насаженного на четырехугольную башню, были бы гораздо уместнее в портовом доке или на электростанции, чем рядом с уютными и замысловатыми барочными линиями маленькой усадьбы, построенной, вероятно, еще во времена Марии-Терезии. Но так или иначе, желание отца оказалось исполненным: Эдит была восхищена террасой, неожиданно избавившей ее от тесноты и однообразия комнат. С этой наблюдательной вышки, принадлежавшей только ей одной, она могла обозревать в бинокль обширную, плоскую, как тарелка, равнину и все, что творилось вокруг — сев и жатву, труд и забавы. Вновь связанная с миром после многолетнего уединения, она часами глядела на веселые игрушечные поезда, которые пронеслись вдали, оставляя крендельки дыма; ни одна повозка на шоссе не ускользала от ее любопытного взгляда, и, как я потом узнал, она часто наблюдала наши выезды на учебный плац. Но из какого-то странного

чувства Эдит ревниво оберегала от гостей свой наблюдательный пост, словно это был ей одной принадлежащий мир. Увидев, как взволнован добрый Йозеф, я понял, что приглашение в эту обычно недоступную «обсерваторию» следует расценивать как особое отличие.

Слуга хотел поднять меня на лифте; он явно гордился тем, что управление дорогой машиной было доверено только ему одному. Но я отказался, узнав от него, что наверх можно пройти по узкой винтовой лестнице, на которую падал свет из пробитых в наружной стене отверстий; я сразу же представил себе, как интересно, должно быть, поднимаясь с этажа на этаж, обозревать все новые дали; и действительно, каждая из этих узких, незастекленных амбразур открывала чарующую картину. Над летним ландшафтом, точно золотая паутина, лежал безветренный, ясный, горячий день. Почти недвижно застыли струйки дыма над трубами одиноких домов и усадеб; виднелись — каждый контур будто ножом врезан в ярко-синее небо — крытые соломой хижины с неизбежным гнездом аиста на коньке крыши и сверкавшие, как отшлифованный металл, утиные водоемы. Среди восковых нив мелькали крохотные фигурки крестьянок, на пруду женщины полоскали белье, на лугах паслись пятнистые коровы, по тщательно расчерченным квадратам полей тащились запряженные волами тяжелые возы и сновали проворные тележки. Когда я поднялся примерно на девяносто ступеней, моему взору открылась чуть ли не вся Венгерская равнина до подернутого дымкой горизонта, над которым тянулась волнистая синеватая линия — вероятно, Карпаты; слева же, поблескивая луковкой колокольни, уютно расположился наш городок. Я узнал казарму, ратушу, школу, учебный плац; впервые со дня моего приезда в здешний гарнизон я ощутил непритязательное очарование этого заброшенного уголка.

Но предаваться безмятежному и радостному созерцанию мне было некогда — я уже добрался до террасы и должен был приготовиться к встрече с больной. Сначала я ее вообще не обнаружил: передо мной оказалось мягкое соломенное кресло с широкой спинкой, которая, словно пестрая выпуклая раковина, скрывала фигуру Эдит. Лишь по стоявшему рядом столику с книгами и открытому граммофону я понял, что она здесь. Я не ре-

шился подойти к ней без предупреждения — это могло бы испугать девушку, если она задремала или замечталась,— и двинулся вдоль парапета, чтобы оказаться у нее перед глазами. Но, сделав несколько осторожных шагов, я заметил, что она спит. Худенькое тело заботливо уложено в кресло-каталку, ноги укутаны мягким одеялом, голова покоится на белой подушке; обрамленное рыжеватыми волосами овальное детское личико слегка повернуто, и заходящее солнце придает ему янтарно-золотистый оттенок — некую видимость здоровья.

Невольно я останавливаюсь и в нерешительном ожидании разглядываю спящую, как разглядывают картину. Ведь, по правде говоря, несмотря на то, что мы часто бывали вместе, мне еще ни разу не представлялось случая посмотреть на нее в упор, ибо она, как все чувствительные и сверхчувствительные люди, инстинктивно противится таким настойчивым взглядам. Даже если нечаянно во время разговора поднимешь на нее глаза,— сразу же ее лоб между бровями прорезает сердитая складка, взор становится тревожным, губы дрожат; ее лицо не остается спокойным ни на секунду. И только теперь, когда она, беззащитная, неподвижно лежит с закрытыми глазами, я могу впервые (испытывая при этом такое ощущение, будто делаю что-то неподобающее, чуть ли не вору) рассмотреть Эдит. В угловатых, как бы незавершенных чертах ее лица удивительным образом сочетается детское с женственным. Губы полураскрыты, как у жаждущей; она дышит тихо и ровно, но даже это ничтожное усилие вздымает холмики ее детской, едва наметившейся груди; как бы в изнеможении припало к подушке бескровное лицо в рамке рыжеватых волос. Я осторожно подхожу ближе. Тени под глазами, синие жилки на висках, розовато просвечивающие крылья носа выдают, какой тонкой, прозрачной оболочкой защищает ее от окружающего мира алебастрово-бледная кожа. Каким впечатлительным должен быть человек, подумалось мне, если его нервы почти обнажены; как нестерпимо должно страдать это легкое, как пушинка, тело, словно нарочно созданное для бега, для танца, для парения, но беспощадной судьбой навсегда прикованное к жесткой, тяжелой земле! Несчастливая! Я вновь чувствую, как во мне забил горячий источник, вновь ощущаю му-

чительно опустошающий и в то же время невероятно волнующий прилив сострадания; мои пальцы дрожат от желания ласково погладить ее руку, мне хочется наклониться над спящей и сорвать с ее губ улыбку, если она проснется и узнает меня. Порыв нежности, которая неизменно появляется вместе с чувством сострадания, когда я думаю о ней или гляжу на нее, толкает меня ближе к креслу. Только бы не спугнуть этот сон, который уносит ее от самой себя, от суровой действительности. Внутреннюю близость к больным полнее всего ощущаешь, когда видишь их спящими, когда все страхи спят вместе с ними и они совершенно забывают о своем недуге, а на полуоткрытые губы, словно бабочка на трепещущий лист, опускается улыбка — чуждая, совсем несвойственная им улыбка, которая исчезает в первый же миг пробуждения. Какой это дар божий, думаю я, что искалеченные, изуродованные, обиженные судьбой хоть во сне не помнят о своих недугах, что добрый волшебник сон тешит их иллюзией красоты и совершенства, что в мире сновидений страдальцу удастся избавиться от проклятия, тяготеющего над его телом! Но больше всего меня умиляют руки девушки, скрещенные поверх одеяла, — эти нежные, в бледных прожилках, тонкие кисти с хрупкими суставами и заостренными голубоватыми ногтями, бескровные и немощные. Они, быть может, еще достаточно сильны, чтобы приласкать маленького зверька или птичку — кролика, голубя, — но слишком слабы, чтобы схватить, удержать что-нибудь. Можно ли, содрогаясь, думаю я, такими беспомощными руками защищаться от настоящего страдания, бороться, отбиваться? И я почти с отвращением вспоминаю о своих собственных руках, крепких, тяжелых, мускулистых, одним рывком поводьев умиряющих самого строптивого коня. Невольно мой взгляд падает на ворсистое одеяло, которое тяжелым, слишком тяжелым для такого воздушного существа грузом придавило ее острые колени. Под этим непроницаемым для глаз покровом лежат в мертвой неподвижности (я не знаю — размозженные, парализованные или просто ослабшие, — у меня никогда не хватало мужества спросить) бессильные ноги, стиснутые стальными или кожаными шинами. При каждом движении страшные аппараты, словно кандалы, сжимают непослушные

суставы, она вынуждена повсюду волочить за собой эту дребезжащую, скрипучую мерзость,— она, нежная, слабая, та, которой самой природой предназначено не ходить, а бегать и летать, как на крыльях!

Эта мысль заставила меня вздрогнуть так сильно, что даже зазвенели шпоры. Конечно, шум был ничтожный, еле слышное бряцание, и все же оно донеслось к ней сквозь сон, разорвав его тонкую оболочку. Беспokoйно вздохнув, она еще не открывает глаз, но ее руки уже просыпаются; они разжимаются, потягиваются, снова сжимаются, как будто пальцы, пробуждаясь, зевают. Потом ресницы приподымаются, растерянно моргают, а глаза с удивлением ощупывают все вокруг.

Вдруг ее взор останавливается на мне и сразу же делается пристальным; пока это чисто зрительный контакт, еще не включивший определенную мысль или воспоминание. Еще одно усилие, и вот она уже совсем проснулась и узнала меня; кровь пурпурной струей заливает ее щеки, разом отхлынув от сердца. И снова, как в тот раз, мне кажется, будто хрустальный бокал внезапно наполнили алым вином.

— Как глупо,— говорит она, резко сдвинув брови, и нервным движением натягивает на себя сползшее одеяло, точно я застал ее обнаженной,— как глупо получилось! Должно быть, я задремала на минутку.— И уже — мне знаком признак надвигающейся грозы — у нее слегка раздуваются ноздри. Она смотрит на меня с вызовом.— Почему вы меня сразу не разбудили? Нехорошо разглядывать спящего! Это неприлично! Всякий выглядит смешно, когда спит.

Задетый тем, что моя бережность вызвала ее гнев, я пытаюсь отделаться глупой шуткой.

— Лучше выглядеть смешно во сне,— отвечаю я,— чем наяву.

Но она, ухватившись обеими руками за подлокотники, уже уселась повыше, складка между бровями обозначилась еще резче, вокруг губ уже задрожали зарницы. Она впилась в меня взглядом.

— Почему вы вчера не пришли?

Удар нанесен слишком неожиданно, чтобы я мог сразу же отразить его. А она продолжает инквизиторским тоном!

— Надо думать, у вас были особые причины заставить нас понапрасну ждать? Иначе вы бы хоть позволили.

Какой же я идиот! Именно этот вопрос мне следовало предвидеть и заранее приготовить ответ. Я же смущенно переминаюсь с ноги на ногу и уныло пережевываю старую отговорку, что, мол, у нас неожиданно был назначен смотр ремонтных лошадей. В пять часов я еще надеялся, что сумею улизнуть, но полковнику захотелось показать нам своего нового коня... и так далее, и тому подобное.

Она не сводит с меня взгляда — мрачного, строгого, пронизывающего. И чем больше я вдаюсь в подробности, тем пристальнее и недоверчивее становится этот взгляд. Я вижу, как нетерпеливо постукивают по ручкам кресла ее пальцы.

— Вот как, — произносит она наконец сквозь зубы. — А чем кончилась трогательная история с ремонтным смотром? Купил в конце концов господин полковник эту новую-преновую лошадь?

Я чувствую, что страшно запутался. Раз, другой, третий ударяет она перчаткой по столу, словно стремясь этим движением унять внутреннюю тревогу. Затем угрожающе смотрит на меня.

— Довольно, оставьте вашу глупую ложь! Все это неправда от первого до последнего слова. Как вы только смеете угощать меня такими бреднями?

Резче, еще резче хлопает по столу перчатка. Затем Эдит решительно швыряет ее на пол.

— Во всем этом вздоре нет ни капли правды. Ни капельки! Вы не были в манеже, и никакого ремонтного смотра у вас не было! Уже в половине пятого вы сидели в кафе, а там, насколько мне известно, лошадей не объезжают. Нечего водить меня за нос! Наш шофер совершенно случайно видел вас за карточным столом в шесть часов.

Я все еще не могу вымолвить ни слова. Но она вдруг обрывает себя:

— А впрочем, к чему мне вас стесняться? Неужели из-за того, что вы лжете, я тоже должна играть с вами в прятки? Я не боюсь говорить правду. Так вот, знайте же: наш шофер видел вас в кафе не случайно, это я по-

слала его туда, чтобы разузнать, что с вами случилось. Я думала, вы, чего доброго, заболели или с вами стряслась какая-нибудь беда, раз вы даже не позвонили, и... можете считать, если угодно, что у меня шалют нервы... но я не выношу, когда меня заставляют ждать, просто не терплю этого... Вот я и послала шофера. В казарме ему сказали, что господин лейтенант живы-здоровы, сидят в кафе и играют в тарок. Тогда я попросила Илону узнать, почему вы обходитесь с нами столь бесцеремонно... может, я вас чем-нибудь обидела позавчера... иной раз я и в самом деле не владею собой... Вот видите, мне не стыдно во всем этом признаться... А вы сочиняете какие-то дурацкие отговорки... Неужели вы сами не чувствуете, как некрасиво, как низко лгать друзьям?

Я уже собрался ответить, у меня даже хватило бы мужества рассказать ей всю нелепую историю с Ференцем и Йожи. Но она запальчиво приказывает:

— Хватит выдумок!.. Не надо больше лгать, довольно! Я сыта по горло, с утра до ночи меня кормят ложью: «Как хорошо ты сегодня выглядишь, как прекрасно ты сегодня ходишь... просто великолепно! Вот видишь, дело пошло на лад...» С утра до ночи одни и те же сладкие пилюли; никто не замечает, что они мне опротивели! Почему не сказать прямо: «Вчера я был занят, да и не хотелось идти к вам». Ведь у нас же нет на вас абонемента, и я б несколько не огорчилась, если б вы сказали мне по телефону: «Я сегодня не приду, мы хотим пошататься по Корсо». Неужели вы считаете меня дурой, не способной понять, как вам иной раз надоедает разыгрывать здесь изо дня в день доброго самаритянина и что взрослому человеку приятнее прокатиться верхом или размять свои здоровые ноги хорошей прогулкой, чем постоянно торчать возле чужого кресла? Только одно мне противно, и только одного я не переношу: отговорок, пустых слов, вранья — меня давно тошнит от них! Не так уж я глупа, как все вы думаете, и могу выдержать хорошую дозу искренности. Вот, например, несколько дней назад мы взяли новую судомойку, чешку (прежняя умерла), и в первый же день — ее еще не успели предупредить — она увидела мои костыли и как меня усаживают в кресло. От ужаса она выронила щетку

и в голос запричитала: «Господи Иисусе, жалость-то какая! Такая богатая, благородная барышня — и калека!» Илона, словно тигрица, набросилась на честную женщину, бедняжку хотели немедленно уволить, выгнать вон. А я, я обрадовалась... меня ее испуг не обидел, потому что это по крайней мере честно, по-человечески — испугаться, неожиданно увидев такое. Я подарила ей десять крон, и она сразу же побежала в церковь молиться за меня... Весь день я радовалась... да, да, в самом деле радовалась: наконец-то я узнала, что действительно испытывает посторонний человек, когда видит меня впервые... А вы, вы убеждены, что вашей ложной чуткостью «оберегаете» меня, вы воображаете, будто мне легче от вашей проклятой деликатности. Неужели вы думаете, что у меня нет глаз?! Или вам кажется, что я не угадываю за вашим лепетом и болтовней такого же точно ужаса и замешательства, как у той *воистину честной женщины*? Разве я не вижу, как у вас перехватывает дыхание, стоит мне только взяться за костыли, и как вы спешите оживить беседу, лишь бы только я ничего не заметила,— будто я вообще не вижу всех вас насквозь с вашей валерьянкой и сладеньким сиропом, сиропом и валерьянкой—всею этой мерзкой дрянью! О, я знаю наверняка, вы вздыхаете с облегчением каждый раз, когда закрываете за собой дверь, бросив меня здесь, словно падаль... я отчетливо представляю себе, как вы, закатив глаза, вздыхаете: «Несчастное дитя!» — и в то же время вы необычайно довольны собой: ведь вы так самоотверженно пожертвовали час-другой «бедной больной девочке». Но я не хочу никаких жертв! Не хочу, чтобы вы считали своим долгом выдавать ежедневную порцию сострадания! Я плюю на ваше всемиловейшее сочувствие! Раз и навсегда, мне не нужно жалости! Хочется вам прийти — приходите, не хочется — не надо! Но только честно, без всяких басен о смотрах и новых лошадях! Я не могу... не могу больше терпеть ложь и вашу мерзкую снисходительность.

Последние слова она выкрикнула, уже не владея собой, лицо ее побелело, глаза горели. Потом напряжение вдруг иссякло, голова бессильно откинулась на спинку кресла, и кровь стала понемногу приливать к губам, еще дрожащим от возбуждения.



— Ну вот,— выдохнула она едва слышно и словно застыдившись.— Я должна была сказать вам это! А теперь хватит. И не будем больше об этом говорить. Дайте... дайте мне сигарету.

И вдруг со мной случилось что-то небывалое. Обычно я недурно владею собой, рука у меня твердая и уверенная. Но тут эта неожиданная вспышка до того ошеломила меня, что мои руки будто онемели; я был потрясен, как никогда в жизни. С трудом достаю сигарету из портсигара, протягиваю Эдит и зажигаю спичку. При этом пальцы мои дрожат так сильно, что едва удерживают горящую спичку, огонек колеблется и гаснет. Приходится зажигать вторую, но и она мерцает, затухая в моей дрожащей руке, пока Эдит прикуривает. Моя неловкость бросается в глаза, и Эдит, очевидно, угадывает охватившее меня смятение, ибо голос ее звучит уже совсем по-иному, изумленно и взволнованно, когда она тихо спрашивает меня:

— Что с вами? Вы дрожите... Что... что вас так встревожило? Какое вам в конце концов дело до всего этого?

Огонек спички погас. Я молча сел, а Эдит в глубоком смущении пробормотала:

— Как вы можете так огорчаться из-за моей глупой болтовни? Папа прав: вы действительно... действительно необыкновенный человек.

В этот миг за нашей спиной раздается легкое гудение: это поднимается на террасу лифт. Йозеф открывает двери, из кабины выходит Кекешфальва. У него виноватый вид — робость неизменно ссутуливает его плечи всякий раз, когда он приближается к больной.

Я поспешно вскакиваю и кланяюсь ему. Господин фон Кекешфальва смущенно кивает и сразу же наклоняется над Эдит, чтобы поцеловать ее в лоб. Потом наступает тягостное молчание. В этом доме каким-то особым чутьем всегда все узнают; я уверен, старик уже догадался, что между нами что-то неладно; обеспокоенный, он стоит рядом с креслом, не поднимая глаз. Охотнее всего — я это вижу — он бы сейчас же retirовался. Эдит пытается прийти на помощь.

— Знаешь, папа, господин лейтенант сегодня впервые у нас на террасе.

— Да, здесь просто великолепно,—подхватываю я тут же, со стыдом сознавая, что сказал непростительную банальность, и снова умолкаю.

Чтобы разрядить напряжение, Кекешфальва склоняется над креслом:

— Пожалуй, скоро здесь станет слишком свежо для тебя. Может быть, лучше спустимся?

— Хорошо,— отвечает Эдит.

Все мы довольны — каждый отвлекается каким-нибудь пустячным занятием: складывает книги, накидывает на плечи больной шаль, звонит в колокольчик, который и здесь под рукой, как повсюду в этом доме. Через две минуты лифт уже наверху, и Йозеф бережно подкатывает к нему кресло Эдит.

— Мы спустимся вслед за тобой...— Кекешфальва ласково кивает ей вслед.— Может, ты пока приготовишься к ужину? А мы с господином лейтенантом тем временем немного погуляем по саду.

Слуга закрывает дверь лифта. Кабина с парализованной девушкой уходит в глубину, точно в могилу. Невольно мы оба отворачиваемся, старик и я. Мы молчим, но вдруг я замечаю, что он крайне нерешительно приближается ко мне.

— Если вы ничего не имеете против, господин лейтенант, я бы хотел поговорить с вами кое о чем... или, вернее, кое о чем вас попросить... Может быть, пройдем в мой кабинет, он там, в конторе... конечно, если только это вас ни в коей мере не затруднит... А не то... не то мы, разумеется, можем погулять в парке.

— Что вы, я сочту за честь, господин фон Кекешфальва,— отвечаю я.

В это мгновение лифт возвращается за нами. Спустившись вниз, мы проходим через двор к зданию конторы; мне бросается в глаза, как осторожно, прижимаясь к стене, крадется вдоль дома Кекешфальва, как он весь съеживается, точно опасается, что его поймают. Невольно — я просто не могу иначе — такими же бесшумными, осторожными шагами следую за ним и я.

В конце низкого и не очень чисто побеленного здания конторы Кекешфальва открывает дверь; она ведет в его кабинет, который обставлен немногим лучше моей невзрачной комнаты в казарме: дешевый письменный стол, ветхий и расшатанный, старые соломенные стулья, все в пятнах, к выцветшим обоям приколото несколько пожелтевших таблиц, которыми, очевидно, уже много лет никто не пользуется. Даже затхлый запах неприятно напоминает мне наши полковые канцелярии.

Уже с первого взгляда — я многому научился за эти несколько дней! — мне становится ясно, что вся роскошь, весь комфорт, существующие в этом доме, предназначены только для дочери, себя же старик ограничивает до предела, словно прижимистый крестьянин; когда он шел впереди меня, я впервые заметил, как лоснится на локтях его поношенный черный сюртук, должно быть, он носит его уже лет десять, а то и пятнадцать.

Кекешфальва придвигает мне просторное кресло, обитое черной кожей, единственно удобное во всем кабинете.

— Садитесь, господин лейтенант, прошу вас, садитесь, — говорит он мне ласково, но настойчиво, а сам, прежде чем я успеваю что-либо возразить, устраивается на выдавшем виды соломенном стуле.

И вот мы почти вплотную сидим друг против друга; он мог бы, он должен бы уже начать, я жду его слов с вполне понятным нетерпением: о чем ему, богачу, миллионеру, просить меня, бедного лейтенанта? Но он упорно смотрит вниз, будто старательно разглядывает свои туфли. Я только слышу его тяжелое, сдавленное дыхание.

Наконец Кекешфальва поднимает голову — его лоб покрылся бисеринками влаги, — снимает запотевшие очки, и без этого сверкающего заслона его лицо сразу меняется, становится словно обнаженнее, несчастнее, трагичнее; как очень часто у людей близоруких, его глаза оказываются гораздо более тусклыми и усталыми, чем за блестящими стеклами очков. По слегка воспаленным краям век я догадываюсь, что этот старик спит мало и плохо. И я вновь ощущаю, как меня захлестывает теплая волна, это сострадание — я теперь уже знаю — рвется наружу. И вдруг я вижу перед собой не богатого госпо-

дина фон Кекешфальву, а старого, обремененного заботами человека.

Но вот, откашлявшись, он начинает.

— Господин лейтенант,— охрипший голос все еще не повинуется ему,— я хочу попросить вас об одной большой услуге. Конечно, я прекрасно понимаю, что не имею ни малейшего права утруждать вас, мы ведь едва знакомы... Впрочем, вы вольны и отказаться... разумеется, вы можете отказаться... По всей вероятности, это дерзко и навязчиво с моей стороны, но я с первого взгляда проникся к вам доверием. Нетрудно догадаться, что вы... вы добрый, отзывчивый человек. Да, да, да,— трижды повторил он в ответ на мой протестующий жест,— вы в самом деле хороший человек. В вас есть что-то внушающее доверие, и порой... у меня такое чувство, будто вы посланы мне...— он запнулся, и я понял, что он хотел сказать «богом», но не решился,— посланы мне как человек, с которым я могу поговорить откровенно... Моя просьба, впрочем, не столь уж велика... Но что же это я все говорю, даже не спросив, угодно ли вам меня выслушать...

— Что вы, конечно!

— Благодарю вас... Когда ты стар, стоит только взглянуть на человека, и уже видишь его насквозь... Я знаю, что такое хороший человек, знаю это благодаря моей жене, упокой господи ее душу... Когда она покинула меня, это была первая из моих бед, и все-таки я теперь говорю себе: пожалуй, и к лучшему, что ей не пришлось увидеть несчастье своего ребенка... она этого не перенесла бы. Знаете, когда пять лет назад все началось... я сперва не верил, что так оно и останется... Да и можно ли себе представить, что ребенок, такой же, как все, бегаёт, играет, вертится юлой... И вдруг всему этому конец, конец навсегда... И потом каждый из нас привык с благоговением относиться к докторам... то и дело читаешь в газетах, что за чудеса они творят,— зашивают раны на сердце, делают пересадку глаз... стало быть... Кто ж усомнится в том, что они сумеют сделать самую простую вещь на свете... помочь девочке, ребенку, который родился здоровым и всегда был совершенно здоров, быстро встать на ноги? Вот почему я не очень испугался поначалу, я никогда не верил, ни на одну минуту не мог по-

верить, что бог допустит такое, что он покарает ребенка, невинного ребенка, на всю жизнь... Да, если б это случилось со мной — что ж, мои ноги достаточно побродили по свету, я могу и без них обойтись... И потом, я не был хорошим человеком, я немало сделал дурного на своем веку, я даже... О чем это я только что говорил?.. Ах да... так вот, если бы пострадал я, было бы понятно. Но как может бог так *промахнуться*, поразить не того, кого надо, покарать невинного... ведь это невероятно, чтобы у живого человека, у ребенка вдруг отнялись ноги. Да из-за чего? Из-за какой-то *бациллы*, говорят, врачи, думая, что этим все сказано... *Бацилла*... Но ведь это пустой звук, отговорка; правда лишь то, что девочка лежит без движения, не может больше ни ходить, ни бегать, ни резвиться, а ты стоишь рядом и ничем не в силах ей помочь. Это непостижимо, совершенно непостижимо! — Он быстро провел ладонью по спутанным влажным волосам. — Конечно, я обращался ко всевозможным врачам... не пропустил ни одной знаменитости... всех я приглашал. Они приезжали, давали советы, говорили по-латыни и устраивали консилиумы; один пробовал одно, второй — другое; потом они объявляли, что надеются и верят, и уезжали, получив свой гонорар, а все оставалось по-прежнему. То есть ей стало немного лучше, собственно говоря, значительно лучше. Прежде она лежала плашмя на спине, и все тело было парализовано... Теперь же по крайней мере руки и верхняя часть туловища вполне нормальные, она может сама передвигаться на костылях... ей стало немного лучше, нет, надо быть справедливым, — гораздо лучше. Но никто из них не вылечил ее совсем. Все пожимали плечами и твердили: терпение, терпение, терпение... Только один не отступился от нее, только один — доктор Кондор... не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о нем? Ведь вы из Вены?

Я признался, что никогда не слышал этого имени.

— Ну, конечно, откуда вам его знать, вы же здоровый человек, а он не из тех, кто любит кричать о себе... Он не профессор, даже не доцент... и не думаю, чтобы он имел широкую практику... вернее, он ее не *ищет*. Но это удивительный, совершенно особенный человек... не знаю, сумею ли я вам правильно объяснить. Его интересуют не обычные случаи, с которыми справится любой косто-

прав... его интересуют только тяжелые случаи, только такие, перед которыми другие врачи становятся в тупик. Я человек неученый и, конечно, не могу утверждать, что доктор Кондор лучше других врачей, но в одном я совершенно убежден: как человек, он лучше всех... Я познакомился с ним еще давно, когда болела жена, и видел, как он боролся за ее жизнь... Он был единственный, кто до последнего мгновения не хотел уступать, и я тогда еще почувствовал: этот человек живет и умирает вместе с каждым больным. У него — не знаю, так ли я говорю,— прямо какая-то страсть оказаться сильнее болезни... он не то что другие, которые стремятся получить побольше денег, профессорское звание и чин надворного советника... он никогда не думает о себе, а всегда только о других, о тех, кто страдает... О, это замечательный человек!

Старик разволновался, его глаза, недавно усталые, ярко заблестели.

— Замечательный человек, говорю я вам, он никого не бросит на произвол судьбы; в каждом случае он считает себя обязанным вылечить больного... я не умею это выразить как следует... но он словно чувствует себя виноватым, если ему не удастся помочь... он считает себя виновным... и поэтому... вы мне не поверите, но я клянусь вам, это правда,— однажды ему не удалось то, что он задумал... он обещал одной женщине, терявшей зрение, вылечить ее... и, когда она все-таки ослепла, он женился на ней... Вы только представьте себе: молодой человек женился на слепой женщине, на семь лет старше его... ни красоты, ни денег, к тому же еще истеричка... Она камнем висит у него на шее и даже не испытывает к нему никакой благодарности... Вот видите, какой это человек, а?.. Теперь вы понимаете, как я счастлив, что встретился с ним... с человеком, который заботится о моем ребенке так же, как я сам. Я и в завещание его включил... Если кто-нибудь способен помочь ей, так только он. Дай бог! Дай бог!

Некоторое время старик сидит, сложив ладони, как на молитве. Потом резким движением придвигает свой стул поближе ко мне.

— А теперь послушайте, господин лейтенант. Я хотел вас кое о чем попросить. Я уже говорил вам, какой

отзывчивый человек этот доктор Кондор... Но, видите ли... именно потому, что он такой хороший человек, я и тревожусь... Вы понимаете, я боюсь... боюсь, что он, щадя меня, не говорит правды, не говорит всей правды. Он все время обнадеживает меня, что девочке непременно станет лучше, что она совсем поправится... но всякий раз, как я спрашиваю его в упор, когда же наконец это будет и сколько нам еще осталось ждать, он уклоняется от ответа, повторяя снова и снова: «Терпение, терпение!» Но я должен быть уверен... ведь я старый, больной человек, и мне надо знать, доживу ли я... увижу ли ее здоровой, совсем здоровой... Нет, поверьте, господин лейтенант, я больше не могу так жить... я должен знать твердо, вылечится ли она и когда... я не могу дольше выносить эту неопределенность...

Не в силах совладать с волнением, Кекешфальва встал и стремительно подошел к окну. Я знал эту его манеру. Всякий раз, когда у него к глазам подступали слезы, он резко отворачивался, пряча лицо. Старик тоже не хотел, чтобы его жалели, — он был похож на свою дочь! Правая рука его неловко нащупала задний карман унылого черного сюртука, скомкала и вытащила платок; напрасно он пытался сделать вид, будто вытирает пот со лба, — я слишком отчетливо видел его покрасневшие веки. Раз-другой он прошелся по комнате; что-то скрипело и стонало, и я не знал, что это: то ли прогнившие половицы под его ногами, то ли он сам, старый, дряхлый человек. Наконец, точно собираясь погрузиться в воду, он глубоко вздохнул.

— Простите... я не хотел об этом говорить... о чем это я? Ах, да... завтра опять приезжает из Вены доктор Кондор, он предупредил по телефону... он навещает нас регулярно, раз в две-три недели... Если бы это от меня зависело, я бы вообще не отпускал его отсюда... он мог бы жить здесь, у нас, я платил бы ему, сколько он пожелает. Но он говорит, что нужно смотреть больную через определенный промежуток... да... Что это я хотел сказать?.. Ах да, вспомнил... так вот, завтра он приезжает и во второй половине дня будет осматривать Эдит; обычно он остается у нас ужинать, а ночью скорым возвращается в Вену. И вот я подумал: если бы кто-нибудь просто так, между прочим, спросил его... кто-нибудь со-

вершенно посторонний, кого он не знает... спросил бы его просто так... при случае, как осведомляются о знакомых... Спросил бы, как, собственно, обстоит дело с ее болезнью и думает ли он, что девочка вообще когда-нибудь поправится... и будет совсем здорова... вы понимаете? Совсем здорова... и как долго, по его мнению, это еще протянется... У меня предчувствие, что вам он не сожжет... Ведь вас ему незачем щадить, вам он может спокойно сказать правду... от меня он вынужден ее таить — как-никак я отец, к тому же старый, больной человек, и он знает, что все это разрывает мне сердце... Но, конечно, вы заведете этот разговор совершенно невзначай... так, как обычно спрашивают у врача о здоровье знакомого... Вы не откажете?... Вы сделаете это для меня?

Мог ли я отказать? Передо мной сидел старик и со слезами на глазах ждал моего «да», точно трубы Архангела в день Страшного суда. Разумеется, я обещал ему все. Он тут же радостно протянул мне обе руки.

— Я знал это! Я знал это еще в тот раз, когда вы пришли к нам опять и были так добры к девочке после... ну, вы помните... еще тогда я сразу увидел: вот человек, который меня поймет... он, и только он, спросит у доктора... И... я обещаю вам, я вам клянусь, ни одна душа об этом не узнает, ни теперь, ни потом, никто — ни Эдит, ни Кондор, ни Илона... только я буду знать, какую услугу, какую неоценимую услугу вы мне оказали.

— Ну что вы, господин фон Кекешфальва... ведь это же такой пустяк.

— Нет, это не пустяк... вы мне оказываете очень большую... огромную услугу... огромную! И если... — он слегка пригнулся, и его голос, как будто робко прячась, зазвучал тише, — если я, со своей стороны, что-нибудь... чем-нибудь смогу вам помочь... может быть, вы...

Вероятно, я сделал испуганное движение (неужели он хотел сразу же со мной расплатиться?!), ибо он поспешно добавил, несколько заикаясь, что с ним всегда случалось при сильном волнении:

— Нет, нет, поймите меня правильно... я вовсе не думаю... я не имею в виду ничего материального... я хотел лишь сказать, что... я только хотел... У меня хорошие связи... Я знаю многих людей в министерствах и в военном министерстве тоже... а в наше время никогда не ме-



шает, если у тебя есть человек, на которого можно рассчитывать... конечно, только это я и подразумевал... У каждого может наступить такой момент... вот... только это я и хотел вам сказать.

Боязливое смущение, с которым Кекешфальва предложил мне свою помощь, заставило меня устыдиться. За все это время он ни разу на меня не взглянул, а говорил куда-то вниз, как бы обращаясь к собственным рукам. Лишь теперь он беспокойно поднял глаза, нащупал снятые очки и водрузил их на нос дрожащими пальцами.

— Может быть,— пробормотал он,— нам лучше перейти теперь в дом, а то... а то Эдит обратит внимание, что нас так долго нет. К сожалению, с ней приходится быть страшно осторожным: с тех пор как она заболела, у нее какая-то обостренная чувствительность: сидя в своей комнате, она знает все, что делается в доме... обо всем догадывается прежде, чем успеваешь раскрыть рот... И если она, чего доброго... вот почему нам с вами лучше вернуться туда, пока у нее не возникло подозрение!..

Мы перешли в дом. В гостиной нас уже ждала Эдит в своем кресле-каталке. Когда мы вошли, она подняла серые пронизательные глаза, словно желая прочесть на наших лицах то, о чем мы говорили. И так как мы не выдали себя ни малейшим намеком, она весь вечер оставалась замкнутой и неразговорчивой.

**Я** назвал «пустяком» просьбу Кекешфальвы — по возможности непринужденнее расспросить незнакомого мне врача, каковы шансы парализованной девушки на выздоровление; и в действительности, это дело, если смотреть на него со стороны, не требовало больших усилий. Но я даже затрудняюсь объяснить, как много означало это непредвиденное поручение для меня самого. Ведь ничто так не усиливает чувство собственного достоинства у молодого человека, ничто так не способствует формированию его характера, как неожиданно поставленная перед ним задача, осуществление которой зависит всецело от его собственной инициативы и его собственных сил. Разумеется, ответственность выпадала на мою долю и прежде, но всегда лишь служебная, воинская, неизменно сводившаяся к действиям, которые я, как

офицер, должен был совершать, повинуюсь приказу начальника и не выходя за пределы строго очерченного круга обязанностей, — например, принять командование эскадрой, обеспечить доставку груза, закупить лошадей, разрешить спор между нижними чинами. Все эти приказы и их выполнение были положены по уставу, все они предусматривались инструкциями — писаными или печатными; в сомнительных же случаях достаточно было обратиться за советом к старшему и более опытному товарищу, чтобы переложить на чужие плечи бремя ответственности. Но Кекешфальва обратился с просьбой не к офицеру, а к моему внутреннему «я», чьи способности и возможности, пока неведомые мне самому, еще предстояло обнаружить. И когда этот чужой человек, нуждаясь в помощи, из всех своих друзей и знакомых выбрал именно меня, его доверие доставило мне больше радости, чем все прежние похвалы начальства и товарищей.

Правда, радость пришла вместе с некоторым замешательством, ибо она впервые открыла мне, каким нечутким и пассивным было до сих пор мое участие. Как мог я, бывая в этом доме, не задать самого естественного, само собой возникающего вопроса: надолго ли бедняжка останется парализованной? Способно ли врачебное искусство найти средство против этого? Какой поворот! Ни разу я не спросил об этом ни Илону, ни отца, ни нашего полкового врача. Я воспринял недуг Эдит как совершившийся факт, как нечто непоправимое; тревога, которая уже много лет мучила отца, настигла меня внезапно, точно пуля. А что, если этот врач и в самом деле сможет избавить девочку от страданий! Если бы жалкие, скованные неподвижностью ноги снова обрели способность свободно и легко шагать, если бы это обиженное богом создание вновь смогло вихрем носиться по лестнице — вверх, вниз! — подгоняемое собственным смехом, в детском восторге и упоении! Я точно захмелел от этой мысли, представив себе, как мы вдвоем, втроем будем тогда скакать верхом по полям, как она, вместо того чтобы сидеть в ожидании в своей темнице, сможет встретить меня у ворот и пойти со мной на прогулку. Нетерпеливо считал я теперь часы, чтобы поскорее расспросить обо всем незнакомого врача, быть может, даже нетерпе-

ливее, чем сам Кекешфальва; еще ни разу в жизни ни одна задача не представлялась мне такой важной.

На следующий день, быстро освободившись от дел, я раньше обычного явился в усадьбу. Однако на этот раз меня приняла одна Илона. Приехал врач из Вены, объяснила она, сейчас он у Эдит и, по-видимому, осматривает ее сегодня особенно тщательно. Он там уже два с половиной часа, и, надо полагать, Эдит слишком устанет, чтобы выйти к нам. Сегодня мне придется удовольствоваться только ее обществом. «Разумеется, если у вас нет в виду ничего лучшего», — добавила она.

Из этого замечания я с удовольствием заключил (всегда лестно, когда тайна доверена лишь тебе одному), что Кекешфальва не посвятил ее в наш разговор. Однако я и виду не подал. Чтобы чем-то заняться, мы сели играть в шахматы, и все же прошло немало времени, прежде чем в соседней комнате послышались шаги, которых мы с нетерпением ждали. Наконец, оживленно беседуя, вошли Кекешфальва и доктор Кондор. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не обнаружить некоторой растерянности, ибо первое чувство, которое я испытал, поднявшись навстречу доктору Кондору, было полное разочарование. В самом деле, если нам рассказывают много интересного о каком-нибудь незнакомом человеке, наше воображение заранее создает его образ, щедро употребляя на это свои самые драгоценные, самые романтические воспоминания. Чтобы представить себе гениального врача, каковым обрисовал мне Кекешфальва доктора Кондора, я прибег к той схеме, пользуясь которой посредственный режиссер и театральные гримеры выводят на подмостки тип врача: одухотворенное лицо, острые, пронизательные глаза, внушительная осанка, блистательное красноречие. Мы вновь и вновь неизбежно впадаем в заблуждение, полагая, будто природа наделяет своих избранных незаурядной внешностью. Вот почему я просто опешил, когда внезапно очутился лицом к лицу с приземистым полным господином, лысым и близоруким; помятый серый костюм обсыпан табачным пеплом, галстук повязан кое-как, а вместо острого, мгновенно ставящего диагноз взгляда я встретил тусклые глаза, сонно смотревшие сквозь пенсне в дешевой металлической оправе. Еще прежде чем Кекешфальва

меня представил, Кондор сунул мне маленькую влажную руку и, сразу же отвернувшись, взял сигарету с низенького столика. Потом устало потянулся.

— Ну вот! Однако должен признаться, дорогой друг, я страшно голоден; хорошо бы поскорее сесть за стол. Если ужин еще не готов, может быть, Йозеф даст мне пока перекусить — бутерброд или еще что-нибудь. — И добавил, грузно опустившись в кресло: — Каждый раз забываю, что в дневном скором нет вагона-ресторана. Вот вам истинно австрийское равнодушие в государственном масштабе... Bravo, Йозеф, — перебил он себя, видя, что слуга открыл дверь в столовую, — на твою пунктуальность можно положиться! Я охотно окажу честь господину шеф-повару! В дьявольской спешке даже не удалось сегодня пообедать.

Тяжело ступая, Кондор прошел в столовую. Не дожидаясь нас, он уселся и, повязав салфетку, принялся торопливо — и, на мой взгляд, слишком громко — есть суп. Во время этого серьезного занятия он не перемолвился ни единым словом ни с Кекешфальвой, ни со мною. Все его внимание, казалось, сосредоточилось на еде; однако близорукие глаза пристально изучали бутылки с вином.

— Отлично! Ваш знаменитый токай, и к тому же девяносто седьмого года! Я помню его с прошлого лета. Ради одного этого уже стоит к вам наведываться. Нет, Йозеф, подожди, не наливай, сначала стакан пива... вот так, спасибо.

Залпом осушив стакан, он стал не спеша, с аппетитом пережевывать солидные куски, подкладывая себе на тарелку с поданного ему блюда. Так как он, по-видимому, совсем не замечал нашего присутствия, у меня была возможность понаблюдать за пирующим доктором со стороны. Я с разочарованием отметил, что у этого столь восторженно описанного Кекешфальвой человека лицо обыкновенного мещанина, круглое, как полная луна, изрытое ямками и усыпанное прыщами, нос картошкой, рыхлый подбородок, плохо выбритые румяные щеки, толстая, короткая шея — одним словом, вылитый портрет добродушно-ворчливого чревоугодника. Да, он ел, как чревоугодник, усевшись поудобнее и наполовину растянув свой мятый жилет. Мало-помалу нескрываемое

удовольствие, с которым он жевал, стало меня раздражать, быть может, потому, что я вспомнил, как предупредительно вежливо обращались со мной за этим же столом подполковник и фабрикант, быть может, и оттого, что я начал сомневаться, удастся ли мне получить точный ответ на столь конфиденциальный вопрос у этого страстного любителя поесть и выпить, который всякий раз рассматривает на свет бокал с вином, прежде чем, причмокнув, отпить глоток.

— Ну, что в ваших краях новенького? Как урожай? Как погода? Сухо или шел дождь? Я что-то такое читал в газете... А как дела на фабрике? Картель опять вздул цены на сахар?

Время от времени, переставая жевать, Кондор равнодушно, я бы даже сказал, лениво бросал подобные вопросы, не требовавшие ответа. Моей особы он упорно не желал замечать, и, хотя я немало наслышался о свойственной медикам бесцеремонности, этот добродушный грубиян злил меня все больше и больше. С досады я молчал, не проронил ни единого слова.

Однако наше присутствие нисколько не стесняло его, и, когда мы наконец перешли в гостиную, где нас уже ожидал кофе, он, довольно кряхтя, плюхнулся прямо в кресло Эдит, снабженное удобными приспособлениями, вроде вращающейся полочки для книг, пепельницы и откидывающейся спинки... Так как раздражение не только вызывает злость, но и обостряет наблюдательность, я не мог не отметить про себя с чувством некоторого удовольствия его толстый живот, короткие ноги и сползшие носки; стараясь, в свою очередь, показать, как мало меня интересует знакомство с ним, я поставил свое кресло так, что, в сущности, повернулся к доктору спиной. Но Кондор, отвечая полным равнодушием на мое демонстративное молчание и нервозность Кекешфальвы (старик то и дело вскакивал, метался по комнате, поднося ему сигары, спички и коньяк), вытащил из ящика три гаваны сразу, положив две про запас подле своей чашки. Податливое кресло, в которое он глубоко погрузился, все еще казалось ему недостаточно удобным, он вертелся и ерзал до тех пор, пока не отыскал наилучшего положения. Лишь после второй чашки кофе Кондор удовлетворенно вздохнул, как насытившееся животное. «До чего же

противно», — подумал я. Но тут он потянулся и насмешливо подмигнул Кекешфальве.

— Ну, святой Лаврентий на горячих углях, вы готовы вырвать у меня изо рта эту отличную сигару, ведь вам не терпится услышать наконец мой отчет! Но вы же меня знаете: я не люблю смешивать еду с медициной; а потом, я и в самом деле слишком проголодался и слишком устал. Когда с половины восьмого утра на ногах, то голова бывает так же пуста, как и желудок. Итак, — Кондор медленно затянулся и выпустил колечко серого дыма, — итак, дорогой друг, приступим. Все идет хорошо. Она передвигается и делает упражнения вполне прилично. Даже, пожалуй, чуть лучше, чем в прошлый раз. Как я уже сказал, мы можем быть довольны. Однако, — он снова затянулся, — в ее общем состоянии... вернее, в том, что мы называем психикой, я нашел сегодня — только, пожалуйста, не пугайтесь так уж сразу, дорогой друг, — кое-какие изменения.

Несмотря на предупреждение, Кекешфальва безмерно испугался. Я увидел, как ложечка, которую он держал в руке, задрожала.

— Изменения... что вы имеете в виду... какие изменения?

— Что же, изменения — это изменения... я же не сказал, дорогой друг, ухудшение. Как говорил старик Гете: толкуйте, да не перетолковывайте. Я и сам не знаю, что случилось, но... что-то неладно!

Кекешфальва все еще держал ложечку в руке. По-видимому, у него не хватало сил положить ее на место.

— Что... что неладно?

Доктор Кондор поскреб затылок.

— Гм... если бы я знал! Во всяком случае, не тревожьтесь! Я говорю с вами как врач, без всяких эквивалентов, и повторяю еще раз, чтоб вам было ясно: изменилась не картина болезни, изменилось что-то в самой Эдит. Что-то с ней сегодня не так, а что — не пойму. Впервые у меня такое чувство, точно она каким-то образом выскользнула из моих рук. — Он снова затянулся и быстро вскинул свои маленькие глазки на Кекешфальву. — Вот что, давайте-ка говорить начистоту. Нам нечего стесняться друг друга, и мы можем смело выложить карты на стол. Итак... дорогой друг, скажите мне, пожалуйста,

прямо и откровенно: за это время вы, с вашим вечным нетерпением, приглашали другого врача? Кто-нибудь еще осматривал или лечил Эдит в мое отсутствие?

Кекешфальва вскочил, точно его обвинили в неслыханном злодействе.

— Бог с вами, господин доктор! Клянусь жизнью моего ребенка...

— Хорошо... хорошо... только не надо клясть,— быстро перебил его Кондор.— Я верю вам и так. Вопрос исчерпан. *Ressavi!*<sup>1</sup> Промахнулся, ошибся в диагнозе, в конце концов это случается даже с тайными советниками медицины и с профессорами. Как глупо... а я готов был поклясться, что... Да, в таком случае, должно быть, что-то еще... но любопытно, весьма любопытно... Вы разрешите?..— Он налил себе третью чашку черного кофе.

— Да, но все-таки что с ней? Что изменилось? Как вы думаете? — пересохшими губами бормотал старик.

— Дорогой друг, вы, право же, несносны. Для тревоги нет ни малейших оснований, даю вам слово, мое честное слово. Будь что-нибудь серьезное, я бы не стал при постороннем... Пардон, господин лейтенант, я не хочу сказать ничего обидного, я только имею в виду... я не стал бы разглагольствовать, сидя в кресле да еще попивая ваш добрый коньяк, а коньяк и впрямь отличный...

Он снова откинулся назад и на миг прикрыл глаза.

— Да... так, с налету, трудно объяснить, что в ней изменилось, ибо это уже выходит за пределы объяснимого. Но если я сначала предположил, что в дело вмешался еще один врач,— право же, я больше этого не думаю, господин фон Кекешфальва, клянусь вам,— то лишь потому, что сегодня впервые между мною и Эдит что-то нарушилось, не было обычного контакта... Погодите-ка... может быть, я смогу выразиться яснее: я хочу сказать... при длительном лечении неизбежно возникает определенный контакт между врачом и пациентом... пожалуй, будет слишком грубо назвать это взаимодействие «контактом», что означает в конце концов «соприкосновение», то есть нечто физическое... Тут все гораздо сложнее: доверие удивительным образом смешано с недоверием, одно противоречит другому, притяжение и отталкивание...

---

<sup>1</sup> Виноват! (лат.).

и, само собой разумеется, пропорция здесь раз от разу меняется. К этому мы уже привыкли. Порой пациент кажется врачу совсем иным, а бывает, что и пациент не узнает своего врача; иногда они понимают друг друга с одного взгляда, а иногда словно говорят на разных языках... Да, удивительны, в высшей степени удивительны эти колебания, их невозможно понять, а тем более измерить. Пожалуй, лучше всего прибегнуть к сравнению, даже рискуя, что оно окажется очень грубым. Ну... с пациентом дело обстоит так же, как если бы вы на несколько дней уехали, а потом, вернувшись, открыли свою пишущую машинку, — она будто пишет по-прежнему, безупречно, как раньше, но все же что-то неуловимое, не поддающееся определению говорит вам, что кто-то другой писал на ней в ваше отсутствие. Вот вы, господин лейтенант, вы наверняка заметите по своей лошади, если на ней дня два поедит кто-то другой. Что-то необычное появляется в аллюре, в повадке, животное каким-то образом выходит из повиновения, и вы, вероятно, точно так же не можете определить, в чем это, собственно, обнаруживается, столь бесконечно малы происшедшие изменения... Я понимаю, что это очень грубые примеры, ибо отношения между врачом и больным, разумеется, гораздо деликатнее. Я очутился бы в крайне затруднительном положении, — говорю вам откровенно, если бы мне пришлось объяснять, что изменилось в Эдит с прошлого раза. Но перемена есть: меня злит, что я не могу докопаться, какая именно, — но она есть, это бесспорно.

— Но в чем... в чем это проявляется? — проговорил, задыхаясь, Кекешфальва. Я видел, что все заверения Кондора не могли его успокоить, лоб старика блестел от пота.

— В чем проявляется? Только в мелочах, почти неуловимых. Едва начав осматривать ее, я почувствовал скрытое сопротивление; не успел я по-настоящему приступить к делу, как она уже взбунтовалась: «К чему это? Все то же, что и раньше». А ведь прежде она с величайшим нетерпением ждала моего осмотра. Далее... когда я назначил ей определенные упражнения, она небрежно отмахнулась от них, повторяя: «Ах, все равно толку не будет» или «На этом далеко не уедешь». Я допускаю



(само по себе это ничего не значит) дурное настроение, взвинченные нервы, но все же, дорогой друг, до сих пор Эдит ни разу не говорила мне ничего подобного. Впрочем, быть может, и в самом деле дурное настроение... со всяким случается...

— Но ведь... в худшую сторону изменений нет, не правда ли?

— Сколько еще честных слов прикажете вам дать? Случись хоть малейшее ухудшение, я как врач был бы встревожен, ничуть не меньше, чем вы как отец, а я, как видите, совершенно спокоен. Наоборот, я не могу сказать, что эта непокорность мне не по душе. Правда, дочурка стала раздражительнее, вспыльчивее, нетерпеливее, чем две-три недели назад,— вероятно, и вам нередко достается на орехи. Но, с другой стороны, такой бунт свидетельствует о том, что крепнет воля к жизни, воля к выздоровлению; чем энергичнее, чем нормальнее начинает работать организм, тем настойчивее, разумеется, желание раз и навсегда побороть болезнь. Поверьте мне, мы совсем не так горячо, как вам кажется, любим «примерных», послушных пациентов. Они меньше всего помогают себе сами. Энергичный, даже неистовый протест больного мы можем только приветствовать, ибо иной раз такая на первый взгляд неразумная реакция удивительным образом помогает нам больше, чем самые эффективные лекарства. Итак, повторяю: я несколько не встревожен. Если, например, начать сейчас новый курс лечения, то можно потребовать от нее любых усилий; пожалуй, даже следует именно теперь, не упуская момента, использовать ее моральное состояние, которое как раз в ее случае играет решающую роль. Не знаю,— он поднял голову и взглянул на нас,— понимаете ли вы меня?

— Ну, конечно,— откликнулся я невольно; это были первые слова, с которыми я к нему обратился. Все, что он говорил, казалось мне вполне очевидным и ясным.

Но старик не очнулся от своего оцепенения. Совершенно пустым взглядом смотрел он перед собой. Из всего, что пытался объяснить нам Кондор, почувствовал я, он не понял решительно ничего, ибо не хотел понять. Все его внимание, все его страхи были сосредоточены на одном: будет ли она здорова? Скоро ли? Когда?

— Но какой курс лечения? — Волнуясь, старик все-

гда заикался и запинаялся.— Какой новый курс?.. Ведь вы говорили о каком-то новом курсе... Какое новое лечение вы хотите испробовать? (Я сразу заметил, как уцепился он за слово «новый»: в нем заключалась для него частица новой надежды.)

— Это уж предоставьте мне, дорогой друг, что пробовать и когда пробовать; только не надо торопиться; не надо стараться взять силою то, что не поддается никаким заклинаниям. Ваш «случай» — такой уж неприятный термин принят у нас — был и остается для меня главной заботой. Ну ничего, мы с ним справимся.

Старик, подавленный, молча глядел на него. Я видел, что он с большим трудом удерживается, чтобы снова и снова не задать один из своих безрассудно настойчивых вопросов. Должно быть, Кондор тоже ощутил этот безмолвный натиск, потому что вдруг поднялся.

— Однако на сегодня хватит. Своим впечатлением я с вами поделился, все прочее было бы вздором и болтовней... Даже если Эдит в ближайшее время станет еще раздражительней, не бойтесь, я уж разберусь, что там не в порядке. Вас я прошу только об одном: не ходите все время вокруг больной на цыпочках с таким растерянным, испуганным видом. И еще: обратите серьезное внимание на собственные нервы. Вы, видно, не спите ночами, и я опасаюсь, что вы, непрерывно думая об одном и том же, вконец изведете себя, а от этого вашей дочери не будет проку. Лучше всего отправляйтесь-ка сегодня пораньше спать и, перед тем как лечь, примите несколько капель валерьянки, чтобы завтра быть бодрее. Вот и все. На сегодня довольно предписаний! Докурю свою сигару и двинусь.

— Вы... вы в самом деле уже собираетесь уходить?  
Доктор Кондор был неумолим.

— Да, дорогой друг, все! Сегодня вечером у меня еще один последний, достаточно замученный мною пациент, ему я прописал продолжительную прогулку. С половины восьмого я без передышки на ногах, все утро проторчал в больнице, был один занятый случай... Впрочем, не стоит об этом... Потом в поезде, потом здесь — нашему брату тоже надо время от времени проветривать легкие, чтобы голова оставалась ясной. Поэтому, пожалуйста, сегодня никаких автомобилей, я луч-

ше пройдушь пешком! Посмотрите, какая луна! Разумеется, это не значит, что я намерен увести от вас господина лейтенанта; если вы, вопреки запрещению врача, все же пожелаете бодрствовать, он составит вам компанию.

В этот миг я вспомнил о своей миссии.

— Нет,— живо возразил я,— завтра мне очень рано вставать, мне бы давно следовало откланяться.

— Тогда, если вы ничего не имеете против, отправимся вместе.

В потухшем взгляде Кекешфальвы впервые вспыхнула искорка: он тоже вспомнил.

— А я — спать,— сказал он с неожиданной уступчивостью, украдкой делая мне знак за спиною Кондора. Излишнее напоминание: я и без того ощущал у манжеты резкие удары пульса. Я знал: теперь я должен выполнить свое обещание.

**Е**два выйдя из парадного, мы оба, Кондор и я, невольно остановились на верхней ступеньке лестницы— такое удивительное зрелище открылось нам в саду. В те тревожные часы, что мы провели в комнатах, никому из нас и в голову не пришло выглянуть в окно; и теперь нас поразило неожиданное превращение. Огромная луна, словно отшлифованный серебряный диск, недвижимо застыла посреди усыпанного звездами неба, и хотя воздух, разогретый за день жарким солнцем, полетному обдавал нас теплом, в то же время благодаря ослепительному сиянию казалось, что в мире, как по волшебству, наступила зима. Точно свежавыпавший снег, мерцал гравий между ровно подстриженными шпалерами, черные тени которых окаймляли дорожку. На свету и во мраке, то сверкая серебром, то отливая красным, замерли деревья. Я часто бродил ночами, но никогда еще лунный свет не представлялся мне таким призрачным, как здесь, в полной тишине и неподвижности сада, утонувшего в потоке ледяного блеска; мы были настолько зачарованы воображаемой зимой, что с невольной осторожностью спускались по мерцающим ступенькам, как по скользкому льду. А когда вышли на посыпанную гравием снежно-сумеречную дорожку, нас вдруг стало не двое, а четверо: перед нами двигались наши тени, четко очерченные небывало резким светом луны. Я

невольно следил за обоими неотступными спутниками, которые, опережая нас черными силуэтами, повторяли каждое наше движение, и — сколько еще детского подчас в наших чувствах! — я испытывал своего рода удовлетворение оттого, что моя тень была длиннее, стройнее, мне даже хотелось сказать, «лучше», чем та коротенькая и широкая, которая принадлежала моему собеседнику. Мне казалось, я почувствовал себя несколько увереннее благодаря этому превосходству; я знаю, требуется известная смелость, чтобы признаться самому себе в подобной глупости, но ведь как часто самые нелепые случайности влияют на наши побуждения, а самые незначительные обстоятельства воодушевляют нас или лишают мужества.

Молча дошли мы до решетчатой калитки и, закрывая ее за собой, оглянулись. Голубоватым фосфором отсвечивал фасад — монолитная глыба льда, и так неистово слепил глаза непомерно яркий лунный свет, что нельзя было различить, какие из окон освещены изнутри и какие отражают свет луны. Резко звякнула щеколда, расколов тишину, и Кондор, точно ободренный этим земным шумом, нарушившим таинственное молчание, обратился ко мне с откровенностью, которой я не ожидал:

— Бедный Кекешфальва! Все время упрекаю себя за то, что был с ним, пожалуй, слишком груб. Конечно, я знаю, он готов был бы часами расспрашивать меня о сотне разных вещей, или, вернее, сто раз об одном и том же. Но я просто больше не могу. Слишком тяжелый выдался день: с утра до ночи пациенты, и все такие случаи, когда не знаешь, с чего начать.

Мы вышли на шоссе, обсаженное деревьями, густые кроны их почти смыкались над нами, и луна освещала лишь узкую, ярко-белую полосу, по которой мы теперь шагали. Из деликатности я не ответил Кондору, но он, казалось, вообще не замечал меня.

— И потом, бывают дни, когда я просто не в силах выносить его дотошных расспросов. Должен вам сказать, что больные — это еще не самое трудное в нашем деле; со временем приобретаешь какой-то навык в общении с ними. И, наконец, если больные расспрашивают, торопят, жалуются, так это вполне естественно в их состоянии, так же как температура или головная боль. Мы с

самого начала готовы к их атакам, на то мы поставлены и вразумлены, у каждого из нас вместе с болеутоляющим и снотворным припасены успокаивающие слова и спасительная ложь. Но никто так не отравляет нам жизнь, как родные и близкие пациентов: незванные и непрошенные, они становятся между врачом и больным и всегда хотят знать только «правду». Все они ведут себя так, словно в данный момент на земле болен один-единственный человек и только он требует заботы — он и никто другой. Я не упрекаю Кекешфальву за его расспросы, но знаете, когда нетерпение становится хроническим, выдержки иной раз не хватает. Десять раз я ему объяснял, что в Вене у меня сейчас тяжелый случай, речь идет о жизни и смерти. И хотя ему это известно, он звонит чуть ли не каждый день, и просит, и настаивает, и хочет силою вырвать слова надежды. А в то же время я, как его врач, знаю, насколько пагубно для него такое волнение, я гораздо больше встревожен, чем он думает, гораздо больше!.. Счастье, что он не догадывается, как скверно обстоят дела.

Я испугался. Стало быть, плохо! Откровенно и по собственной инициативе Кондор высказал мне то, что я собирался у него выведать. Волнуясь, я переспросил:

— Простите, господин доктор, но вы, конечно, понимаете, что меня это беспокоит... я даже не представлял себе, что с Эдит так плохо...

— С Эдит! — повернулся ко мне Кондор, совершенно изумленный. Казалось, он тут только заметил мое присутствие. — При чем тут Эдит? Ведь я ни слова не сказал об Эдит... Вы меня совсем не поняли... Нет, нет, состояние Эдит без перемен; *к сожалению*, все еще без перемен. А вот он, Кекешфальва, меня беспокоит все больше и больше. Вы не заметили, как он резко изменился за последние несколько месяцев? Как он плохо выглядит, как сдает буквально с каждым днем?

— Я, право же, не могу об этом судить... Я имею честь быть знакомым с господином фон Кекешфальвой всего несколько недель и...

— Ах, да, верно! Извините... В таком случае, конечно, вы не могли этого заметить... Но я-то знаю его много лет и сегодня не на шутку испугался, когда случайно взглянул на его руки. Вы не обратили внимания, какие

они худые и прозрачные? Знаете, когда часто видишь руки умерших, бледная синева живых рук невольно пораживает. И потом... мне не нравится его слабодушие: малейшее волнение — и у него слезы на глазах, ничтожный испуг — и он бледнеет. Как раз в мужчинах, прежде столь цепких и энергичных, как Кекешфальва, подобная неустойчивость заставляет задуматься. К сожалению, если люди жесткие вдруг смягчаются, больше того, добреют, это не предвещает ничего хорошего, это мне не нравится. Что-то в них разладилось. Что-то сломалось. Разумеется, я уже давно собираюсь осмотреть его как следует, но это не так-то просто. Не дай бог навести его на мысль, что он сам болен и может умереть, оставив парализованную девочку одну. Нет, это невысказано! Он и без того изводит себя бесконечными думами и лихорадочным нетерпением... Нет, нет, господин лейтенант, вы меня не поняли, не Эдит, а он — главная моя забота. Боюсь, что старик долго не протянет.

Я был совершенно сражен. Ничего подобного не приходило мне в голову. Дожив до двадцати пяти лет, я еще ни разу не видел смерти близкого человека. Мне просто казалось непостижимым, что кто-то, с кем я сегодня сидел за столом, пил, ел, разговаривал, может завтра лежать одетый в саван. В то же время, внезапно ощутив легкий укол в сердце, я понял, что действительно полюбил этого старика. В замешательстве я попытался хоть что-нибудь возразить.

— Ужасно,— сказал я в полной растерянности,— это было бы просто ужасно! Такой благородный, такой великодушный, такой добрый человек — настоящий венгерский аристократ, первый, с которым мне довелось встретиться...

Тут Кондор так внезапно остановился, что я даже споткнулся от неожиданности. Блеснув стеклами пенсне, он пристально посмотрел на меня. Лишь переведа дух, он спросил, явно озадаченный:

— Аристократ?.. Настоящий к тому же?.. Кекешфальва? Простите меня, дорогой господин лейтенант... но вы это... вполне серьезно?

Я не совсем понял вопрос, у меня только было такое чувство, что я сказал какую-то глупость. Поэтому я смущенно ответил:

— Разумеется, это мое личное впечатление, ведь по отношению ко мне господин фон Кекешфальва всегда проявлял себя с самой благородной, с самой хорошей стороны... У нас в полку говорили, что венгерская знать отличается высокомерием... Но... я... я никогда не встречал человека добрее...

Я умолк, заметив, что Кондор все еще не сводит с меня внимательного взгляда. Его круглое лицо было освещено луной; сверкающие стекла пенсне, за которыми я лишь смутно различал пытливые глаза, показались мне чуть ли не вдвое больше; у меня возникло неприятное ощущение: я почувствовал себя насекомым, которого разглядывают в лупу. Стоя друг против друга на дороге, мы, должно быть, представляли собой странное зрелище, но поблизости не было ни души. Наконец Кондор, опустив голову, двинулся дальше и забормотал, будто про себя:

— Да вы на самом деле... необыкновенный человек,— простите, я это не в плохом смысле. И все же это удивительно, вы сами согласитесь, весьма удивительно... Как я слышал, вы уже несколько недель бываете у них в доме. Кроме того, вы живете в маленьком городишке, на стоящем курятнике, без умолку кудахтающем, и вы принимаете Кекешфальву за аристократа!.. Неужели вы ни разу не слышали в кругу своих товарищей некоторые... я не хочу сказать «непочтительные»... но вообще намеки на то, что, мол, его дворянство немного стоит?.. Ведь какие-то слухи должны были до вас дойти?

— Нет,— возразил я решительно, чувствуя, что начинаю сердиться (не так уж приятно, когда тебя называют «удивительным» и «необыкновенным»).— Сожалею, но никакие слухи до меня не доходили. Я не говорил о господине фон Кекешфальве ни с одним из моих товарищей.

— Странно,— пробормотал Кондор.— Весьма странно! Я был уверен, что он преувеличивает, описывая вашу особу. И скажу вам прямо,— видимо, сегодня действительно день ошибочных диагнозов,— я с некоторым подозрением относился к его энтузиазму... Я никак не мог поверить, что вы стали ходить к ним только из-за того глупого случая во время танцев, а потом приходили просто... ну... просто из симпатии, из сочувствия. Вы понятия

не имеете, как старика эксплуатируют... И я решил докопаться (почему бы и не сказать вам об этом?), что, собственно, влечет вас в дом к Кекешфальве. Я думал: либо это очень — как бы выразиться поделикатнее? — очень целеустремленный малый, желающий нагреть руки, либо, если намерения у него честные, тогда это, должно быть, очень юный душой человек, ибо только юных так удивительно притягивает трагическое и опасное... Впрочем, инстинкт юности почти никогда не обманывает, и вы не ошиблись... этот Кекешфальва и впрямь особенный человек. Мне хорошо известно все, в чем его можно упрекнуть... Лишь одно показалось мне, простите, немного забавным — когда вы назвали его аристократом. Но поверьте человеку, который знает его лучше, чем кто-либо из здешних, — вам нечего стыдиться, что вы проявили так много дружеского участия к нему и к этому несчастному ребенку. Какие бы слухи до вас ни дошли, не позволяйте им сбить себя с толку: они не имеют ни малейшего отношения к сегодняшнему Кекешфальве, трогательному, поразительному человеку.

Кондор говорил все это на ходу, не глядя на меня. Лишь спустя некоторое время он опять замедлил шаг. Я понял, что он что-то обдумывает, и не хотел мешать ему. Минут пять мы шли бок о бок в полном молчании. Навстречу ехала крестьянская повозка, нам пришлось посторониться; кучер с любопытством оглядел странную пару — низенького полного господина в пенсне и лейтенанта, которые в столь поздний час молча прогуливались по шоссе. Мы пропустили повозку; неожиданно Кондор обратился ко мне:

— Послушайте, господин лейтенант. Дела, сделанные наполовину, и полувывисказанные намеки — всегда от лукавого: все зло в этом мире от половинчатости. Пожалуй, я сболтнул лишнее, а мне бы не хотелось поколебать вас в ваших добрых чувствах. С другой стороны, я слишком раздражил ваше любопытство, чтобы вы теперь могли удержаться от расспросов, а у меня, к сожалению, есть все основания предполагать, что от других вы получите далеко не достоверные сведения. И, наконец, немислимо все время бывать в доме, не зная толком, кто его хозяева; вероятно, вы теперь уже не сможете там чувствовать себя так просто и непринужденно, как



прежде. Итак, если вам в самом деле интересно кое-что узнать о наших друзьях, господин лейтенант, я к вашим услугам.

— Ну разумеется!

Кондор вынул часы.

— Без четверти одиннадцать. У нас еще целых два часа. Мой поезд отходит в час двадцать. Но я не думаю, чтобы о таких вещах было удобно рассказывать посреди дороги. Вы, вероятно, знаете какое-нибудь тихое местечко, где можно спокойно поговорить?

Я подумал.

— Лучше всего пойдете в «Тирольский погребок» на Эрцгерцог-Фридрихштрассе. Там есть маленькие лужи, где нам никто не помешает.

— Прекрасно! Так и порешим, — ответил он и снова ускорил шаг.

В молчании мы дошли до конца дороги. Показались первые дома, выстроившиеся рядами в ярком свете луны, и на улицах, уже совсем опустевших, мы, по счастливой случайности, не встретили никого из моих товарищей. Не знаю почему, но мне было бы неприятно, если бы на следующий день они стали расспрашивать о моем спутнике. С тех пор как я запутался в этом клубке событий, я опасливо заметал все следы, ведущие ко входу в лабиринт, который, я это чувствовал, затягивал меня в новые, еще более загадочные глубины.

«Тирольский погребок» был небольшим уютным трактиром с несколько сомнительной славой. Принадлежал он второразрядной гостинице, расположенной на отлете, в одном из старых, кривых переулков. Эта гостиница пользовалась особой благосклонностью наших офицеров из-за снисходительной забывчивости тамошнего портье, который не утруждал гостей, требовавших (случалось, и среди дня) номер с двухспальной кроватью, обязательным заполнением регистрационных листков. Сохранению тайны более или менее продолжительных любовных утех благоприятствовало также и то обстоятельство, что на лестницу, ведущую к укромным гнездышкам, можно было — в маленьком городке ведь тысячи глаз — преспокойно попасть прямо из трактира, минуя парадный

вход. Безупречными в этом сомнительном заведении были зато «терланское» и мускатель, подававшиеся внизу, в зале. Ежевечерне здесь собирались горожане; по-домашнему рассевшись вокруг непокрытых громоздких столов, они с большей или меньшей горячностью обсуждали местные дела и мировые проблемы. Это незатейливое помещение было всецело предоставлено достопримечательным завсегдатаям, приходившим сюда для того, чтобы за вином и болтовней убить время; ступенькой выше вдоль стен тянулась галерея «лож», разделенных довольно толстыми перегородками, на которых в изобилии красовались выжженные по дереву картинки и глуповатые заздравные стишки. Тяжелые портьеры изолировали восемь кабинетов от общего зала настолько, что их можно было рассматривать почти как *chambres séparées*<sup>1</sup>, каковыми они и являлись. Когда офицерам и вольноопределяющимся гарнизо-на хотелось тайком развлечься с девицами из Вены, они абонировали одну из «лож», причем, по слухам, даже сам полковник, обычно строго следивший за нравственностью, явно одобрял эту благоразумную меру, ограждавшую забавы его молодых от излишнего любопытства штатских. Соблюдение тайны было высшим законом и для прислуги ресторана: по категорическому распоряжению владельца гостиницы, некоего господина Ферлейтнера, одетым в тирольские платья кельнершам строго-настрого воспрещалось приподымать священные портьеры без предварительного громкого покашливания или же каким-либо иным способом беспокоить господ военных прежде, чем они сами не позвонят в колокольчик. Таким образом, и честь и удовольствия армии пребывали под надежной охраной.

В истории погребка, видно, не часто случалось, что двое посетителей занимали ложу исключительно с целью поговорить наедине. Но я бы чувствовал себя неловко, если бы посреди долгожданной беседы с доктором Кондором мне пришлось отвечать на приветствия либо поспешно вскакивать при появлении старшего офицера. Меня коробило уже при одной мысли о том, что я буду вынужден пройти через весь трактир с Кондором бок о

---

<sup>1</sup> Отдельные кабинеты (франц.).

бок,— я представлял, какие шуточки будут отпускать завтра по моему адресу, если кто-нибудь увидит, что я пробираюсь в столь интимный уголок с каким-то приезжим толстяком! Однако уже при входе я с глубочайшим удовлетворением отметил, что в «Тирольском погребе» царила та пустота, которая неизбежно наступает в подобных местах к концу месяца в каждом гарнизонном городке. Из полка никого не оказалось, и все ложи были к нашим услугам.

Кондор заказал два литра белого вина и, очевидно, для того, чтобы кельнерша нас больше не беспокоила, тут же рассчитался, дав ей такие щедрые чаевые, что она с возгласом «Премного благодарна!» немедленно исчезла. Портьера опустилась, и мы очутились в надежно изолированной маленькой кабине, куда лишь изредка долетали со стороны зала приглушенные обрывки фраз и смех.

Кондор наполнил высокие бокалы — сначала мне, потом себе; по некоторой замедленности его движений я почувствовал, что все, о чем он намеревался рассказать (а возможно, и умолчать), было продумано им заранее. И когда он обратился ко мне, от его довольного, сытого вида, столь раздражавшего меня прежде, не осталось и следа. Сонный взгляд сразу стал сосредоточенным.

— Пожалуй, лучше всего начнем с самого начала и оставим пока в стороне благородного господина Лайоша фон Кекешфальву, ибо его тогда еще не существовало. Не было ни венгерского аристократа, ни богатого землевладельца в черном сюртуке и в очках с золотой оправой. Был лишь востроглазый, щуплый еврейский мальчишка по имени Леопольд Каниц, который жил в бедной деревушке у венгеро-словацкой границы и которого, кажется, звали не иначе, как Леммель Каниц.

Вероятно, я привстал с места или еще как-либо выдал свое крайнее изумление, так как я был готов к чему угодно, только не к этому. Но Кондор, улыбнувшись, спокойно продолжал:

— Да, да, Каниц, Леопольд Каниц, тут уж ничего не поделаешь. Лишь много лет спустя, по ходатайству одного министра, эту фамилию столь звучно омадьярили и украсили дворянской приставкой. Вы, наверное, упустили из виду тот факт, что человек с влиянием и связями,

проживший здесь долгое время, может faire peau neuve<sup>1</sup>, перекроить свою фамилию на мадьярский лад, а иногда и приобрести титул. Впрочем, откуда вам, молодому человеку, все это знать; да, немало воды утекло с тех пор, когда это тщедушное, остроглазое существо, этот лукавый еврейский мальчуган присматривал за крестьянскими лошадьми и повозками, пока их хозяева сидели в трактире, или же подносил корзины рыночным торговкам, получая в уплату несколько картофелин.

Так что отец Кекешфальвы, или, вернее, Каница, был отнюдь не аристократом, а полунищим евреем с курчавыми пейсами, который арендовал придорожный шинок неподалеку от деревни. Утром и вечером у шинка останавливались лесорубы и возчики, чтобы согреться до или после езды по карпатскому морозу стаканчиком-другим семидесятиградусной водки. Случалось, огненная жидкость ударяла им в головы, и они принимались бить посуду и ломать стулья; во время одной из таких драк отцу Леопольда переломали ребра. Несколько крестьян, вернувшись пьяными с ярмарки, затеяли ссору, и когда шинкарь, пытаясь спасти свою убогую мебель, кинулся разнимать их, какой-то верзила-кучер отшвырнул его в угол с такой силой, что он со стоном повалился на пол. С того дня у него началось кровохарканье, а спустя год он умер в больнице, не оставив семье ни гроша. Мать, мужественная женщина, чтобы прокормиться с детьми, бралась за все: была прачкой, повитухой и, кроме того, занималась торговлей вразнос, причем Леопольд помогал ей, таская товары на спине. Он старался наскрести лишний крейцер где только мог — и на побегушках у купца и посыльным из деревни в деревню. В том возрасте, когда другие дети еще играют в стеклянные шарики, он уже точно знал, сколько стоит каждая вещь, где и что продается или покупается и как становиться незаменимым, исполняя мелкие поручения; сверх того, он находил еще время, чтобы немного подучиться. Грамоту, которой обучал его раввин, он усвоил так быстро, что уже тринадцати лет подрабатывал писцом у одного адвоката и за несколько крейцеров заполнял податные свидетельства мелким лавочникам. Чтобы экономить на освещении — каждая капля керосина в их жалком хозяйстве

<sup>1</sup> Сменить шкуру (франц.).

была на учете, — он ночами просиживал у сигнального фонаря в будке стрелочника (в деревне станции не было), изучая выброшенные рваные газеты. Уже тогда старики общины одобрительно покачивали бородами и предсказывали, что из этого парнишки выйдет толк.

Как ему удалось перебраться из словацкой деревушки в Вену, я не знаю. Но когда двадцатипятилетний Каниц появился в здешних местах, он уже был агентом солидного страхового общества; с присущей ему неутомимостью он совмещал свое официальное занятие со множеством побочных мелких гешефтов. Каниц стал тем, кого в Галиции называют «фактором» — человеком, который всем торгует и всюду посредничает, наводя мосты между спросом и предложением.

Первое время его просто терпели. Но вскоре его начали замечать и даже нуждаться в нем. Ибо он все знал и во всем разбирался; какая-то вдова захотела выдать замуж дочь — Каниц уже тут как тут в роли свата; кто-то собрался эмигрировать в Америку — Каниц достает ему необходимые справки и документы. Кроме того, он перепродавал старую одежду, часы, антикварные вещи, занимался оценкой земельных участков, товаров, лошадей, а если какому-нибудь офицеру требовалось поручительство, то Каниц мог позаботиться и об этом. Его осведомленность и круг его деятельности с каждым годом становились все шире и шире.

Конечно, проявив столько энергии и упорства, можно нажить немало добра. Однако настоящие состояния, как правило, образуются лишь при особом соотношении между доходами и расходами, между прибылью и издержками. И вот в этом и заключался второй секрет преуспевания нашего приятеля: Каниц почти ничего не расходовал, если только не считать того, что он подкармливал кучу родственников и платил за учение брата. Единственное, что он приобрел для себя лично, — это черный сюртук да хорошо известные вам очки в золотой оправе, благодаря которым он прослыл среди крестьян за «ученого». Но, даже разбогатеv, он из осторожности все еще продолжал выдавать себя за мелкого агента. Ибо в слове «агент» есть что-то магическое; это удобная ширма, за которой можно спрятать что угодно, а Каниц скрывал за ней прежде всего тот факт, что из посредника он уже

давно превратился в предпринимателя. Он полагал, что важнее и разумнее быть богатым, нежели слыть им (будто ему были знакомы мудрые слова Шопенгауэра о том, что ты есть и кем ты кажешься).

То, что умный, деятельный и бережливый человек рано или поздно оказывается при деньгах, не требует особых философских доказательств, да и недостойно, на мой взгляд, восхищения — мы, врачи, лучше, чем кто-либо, знаем, что в жизни человека наступают минуты, когда ему не помогает никакая чековая книжка. Что мне с самого начала действительно импонировало в нашем Канице, так это его поистине демоническая воля, с которой он стремился приумножить вместе с богатством и свои знания. Где бы он ни был — на вокзале, в поезде, в гостинице, — днем и ночью, каждый свободный час он читал и учился. Чтобы быть своим собственным адвокатом, он изучал торговое и промышленное право; как профессиональный антиквар, он следил за всеми аукционами Лондона и Парижа и, как банкир, разбирался в любых финансовых операциях; в результате его дела постепенно приобретали все больший и больший размах. От крестьян он перешел к арендаторам, от арендаторов — к крупным землевладельцам; вскоре он уже посредничал при продаже лесных угодий и целых урожаев, поставлял сырье фабрикам, основывал акционерные общества, наконец, ему даже поручили кое-какие поставки для армии. И вот черный сюртук и золотые очки все чаще и чаще можно было видеть в приемных министерств. А здесь, в наших местах, люди все еще считали его мелким агентом (к тому времени у него уже имелось не то четверть, не то полмиллиона крон) и продолжали небрежно кивать при встрече «этому» Каницу — до тех пор, пока он не совершил своей величайшей комбинации и не превратился в один день из Леммеля Каница в господина фон Кекешфальву.

**К**ондор остановился.  
— Ну вот! То, что я сейчас рассказал вам, известно мне лишь из вторых рук. Последующую же историю я слышал от него самого. Он рассказал мне ее в ночь, когда его жене была сделана операция; мы проси-

дели с ним тогда в одной из комнат клиники с десяти часов вечера до рассвета. В такие минуты люди не лгут, и я могу поручиться за каждое слово.

Кондор медленно и задумчиво отпил маленький глоток вина и закурил новую сигару—кажется, уже четвертую за вечер; это непрерывное курение бросалось в глаза. Я начинал понимать, что его подчеркнуто довольный вид, неторопливая речь и кажущаяся вялость были лишь профессиональным приемом, которым он, как врач, постоянно пользовался в разговоре с больными, чтобы иметь время спокойно поразмыслить (а также и понаблюдать). Он несколько раз затянулся сигарой, лениво посасывая ее толстыми губами и провожая взглядом колечки дыма.

— Эта история о том, как Леопольд, или Леммель, Каниц стал владельцем поместья Кекешфальва, началась в пассажирском поезде, который шел из Будапешта в Вену. Несмотря на свои сорок два года и уже появившуюся седину, наш друг в ту пору все еще продолжал ездить преимущественно ночью — скупые экономят и время —, разумеется, только третьим классом. За долгую практику у него выработалась своеобразная техника ночных поездок. Войдя в купе, он прежде всего расстилал на жесткой деревянной скамейке шотландский плед, по дешевке приобретенный на аукционе; затем аккуратно вешал на крючок свой неизменный черный сюртук, прятал в футляр очки и доставал из холщовой дорожной сумки — до чемоданов дело так и не дошло — старую байковую куртку. Покончив с приготовлениями, он усаживался поудобнее в угол и, надвинув на лоб шапку, чтобы свет не падал в глаза, погружался в дремоту. Что для сна не обязательно иметь кровать и прочие удобства, Каниц усвоил еще в детстве.

Но на сей раз наш друг не заснул, так как в купе сидели еще три пассажира и говорили о делах. А деловые разговоры Каниц никогда не пропускал мимо ушей. С годами его любознательность не уменьшалась, равно как и его алчность: то были две половинки клещей.

Собственно говоря, он уже начал дремать, но донесшаяся до его слуха реплика заставила его насторожиться, как сигнал трубы — боевого коня. В этой реплике

упоминалось о какой-то сумме: «Вы подумайте, ведь только благодаря своей неслыханной глупости этот счастливчик одним махом заработал шестьдесят тысяч крон!»

Какие шестьдесят тысяч? Кому? Откуда? С Каница сон как рукой сняло. Кто заработал шестьдесят тысяч и как? Он не успокоится, пока не узнает, в чем дело. Разумеется, попутчики не должны догадываться, что он подслушивает. Каниц поглубже надвинул на лоб шапку, чтобы тень от нее скрывала глаза и остальные думали, будто он спит; в то же время, ловко используя каждый толчок вагона, он стал подвигаться к ним ближе и ближе, чтобы за стуком колес не упустить ни одного слова.

Молодой человек, у которого вырвался возглас негодования, разбудивший Каница, оказался писцом одного венского адвоката. Досадуя по поводу огромного куша, доставшегося его хозяину, он продолжал громко разглаживать:

«И притом он начисто испортил все дело! Из-за какого-то пустякового заседания, принесшего ему не более полсотни крон, он умудрился опоздать в Будапешт на один день, а тем временем эту идиотку обвели вокруг пальца. А ведь все так чудесно складывалось: неопровержимое завещание, безупречные свидетели из Швейцарии, два безукоризненных медицинских заключения о том, что при составлении завещания старуха Орошвар находилась в здравом уме и твердой памяти. Этой шайке внучатых племянников и примазавшихся лжеродственников не досталось бы и медного гроша, даже несмотря на скандальную статейку, которую их адвокат подсунил вечерним газетам. Этот осел, мой шеф, был настолько уверен в успехе — разбор дела-то назначили на пятницу, — что преспокойно отправился к себе в Вену на глупейшее заседание. Между тем пройдоха Вицнер подкатился к этой дуре с дружеским визитом — как-никак, он адвокат противной стороны — и довел ее до истерики. «Мне вовсе не нужно так много денег! Я хочу только, чтобы меня оставили в покое», — произнес он, передразнивая чье-то нижнегерманское произношение. — Да, покой она получила, а те отхватили ни за что ни про что три четверти ее наследства. Не дождавись, пока вернется мой старик, эта полоумная баба подписала соглашение — самое



нелепое из всех, которые когда-либо заключались на свете. Один росчерк пера обошелся ей в полмиллиона».

— Заметьте, господин лейтенант,— сказал Кондор, обращаясь ко мне,— что во время этой филиппики наш друг Каниц молча сидел в своем углу, съежившись, в на-двинутой до бровей шапке и, точно шпик, ловил каждое слово. Он сразу догадался, о чем речь, потому что процесс княгини Орошвар — я называю здесь другую фамилию, так как настоящая слишком известна,— был тогда самой большой сенсацией, о которой кричали все венгерские газеты. Я расскажу вам вкратце об этой поистине скандальной афере.

Княгиня Орошвар появилась в наших краях откуда-то из Прикарпатья, уже будучи обладательницей огромного состояния; старуха пережила своего мужа на добрых тридцать пять лет. С той поры как оба ее ребенка умерли в одночасье от дифтерита, эта злая и своенравная женщина ожесточилась и люто возненавидела всех остальных Орошваров за то, что они пережили ее бедных малюток; я почти не сомневаюсь, что она дотянула до восьмидесяти четырех лет исключительно с целью досадить своим нетерпеливым внучатым племянникам и племянницам. Когда кто-нибудь из алчущей родни являлся к ней с визитом, она не принимала его; даже самое любезное письмо, если только оно исходило от Орошваров, летело под стол без ответа. Став после смерти детей и мужа нелюдимою и чудаковатой, старуха обычно проводила в своем имении Кекешфальва не более двух-трех месяцев в году, ни с кем не встречаясь; остальное время она разъезжала по свету; жила на широкую ногу в Ницце и Монтре, наряжалась, делала прически и маникюр, румянилась, читала французские романы, обзаводилась множеством туалетов, ходила по магазинам, торгуясь и ругаясь, как базарная баба. Вполне понятно, что у ее компаньонки — единственного человека, которого она терпела возле себя,— была нелегкая жизнь. Изо дня в день это тихое, безответное создание было обязательно кормить, чистить щеткой и выводить на прогулку трех противных злых пинчеров, играть старой дуре на рояле, читать ей вслух и безо всякой на то причины выслушивать по своему адресу отборнейшую ругань; когда же почтенной даме случалось перебрать лишнюю рюмку

водки или коньяку — эту привычку она приобрела у себя на родине, — то, по достоверным слухам, бедную компаньонку даже поколачивали. На всех фешенебельных курортах Европы — в Ницце и Каннах, Экс-ле-Бань и Монтре — знали обрюзгшую старуху с лоснящимся лицом мопса и крашеными волосами, которая, нимало не заботясь о том, слышат ли ее посторонние, орала, как фельдфебель, на прислугу и без всякого стеснения корчила гримасы всем, кто пришелся ей не по нраву. И повсюду на этих ужасных прогулках за ней, как тень, следовала компаньонка — она шла с собаками всегда позади, но не рядом, — худая, бледная, светловолосая женщина, с испуганными глазами; можно было заметить, что она стыдилась грубости своей госпожи и в то же время боялась ее, как черта.

Но вот на семьдесят восьмом году жизни княгиня Орошвар, будучи в Территете, заболела тяжелым воспалением легких; между прочим, она лежала в том же отеле, где всегда останавливалась императрица Елизавета. Неизвестно, какими путями, но слух об этом дошел до Венгрии. Со всех сторон, как по команде, в Территет слетелись родственники; оккупировав отель, они днем и ночью осаждали врача расспросами, надеясь дожидаться смерти княгини.

Но злость придает силы. Старая карга поправилась, и в тот день, когда стало известно, что выздоровевшая собирается спуститься в холл, нетерпеливая родня ретировалась. Старуха, конечно, сразу пронюхала о прибытии чересчур заботливых наследников и с присущей ей хитростью подкупила кельнеров и горничных отеля, чтобы те доносили ей каждое слово, сказанное родственниками. Подозрения ее подтвердились. Наследники грызлись между собой, как волки, споря о том, кому достанется Кекешфальва, кому Орошвар, кому бриллианты, кому карпатские поместья, а кому дворец на Орнерштрассе. Месяц спустя пришло письмо от дисконтера из Будапешта; некто Десауэр предупреждал ее, что он возбудит иск против ее внучатого племянника Дешё, если она письменно не подтвердит, что тот является одним из ее наследников. Это письмо переполнило чашу терпения. Старуха, срочно вызвав телеграммой своего адвоката из Будапешта, составила новое завещание в присутствии

двух врачей — от злости становишься прозорливым, — категорически удостоверивших, что княгиня находится в здравом уме и твердой памяти. Адвокат отвез запечатанный конверт в свою будапештскую контору, где он хранился шесть лет, так как завещательница совсем не торопилась умирать. Когда же наконец его вскрыли, все были поражены. Единственной наследницей назначалась компаньонка умершей, фрейлейн Аннета-Беата Дитценгоф из Вестфалии; это имя, которое родственники слышали впервые, поразило их, как гром среди ясного неба. Ей завещали имения Кекешфальва и Орошвар, сахарный завод, конный завод и дворец в Будапеште; лишь украинские поместья и наличные деньги старая княгиня отказала своему родному городу на постройку православной церкви. Ни один из Орошваров не получил и пуговицы; свое решение обойти родственников княгиня специально оговорила в завещании, с циничной откровенностью объясняя его тем, что «они никак не могли дожидаться моей смерти».

Скандал разразился невероятный. Вся родня, возопив, бросилась к адвокатам. Те заявили протест, выдвинув обычные в таких случаях аргументы: завещательница находилась не в здравом уме, так как сделала распоряжение, будучи тяжелобольной; кроме того, она испытывала чувство постоянной зависимости от компаньонки, и той, несомненно, путем внушения удалось в собственных интересах заставить покойную изменить свою волю. Одновременно они пытались раздуть всю историю до масштабов общенационального дела: как, взывали они, исконными венгерскими поместьями, которые со времен Арпадов принадлежали Орошварам, завладеет какая-то иностранка, пруссачка? А остальной частью наследства — вы подумайте только! — православная церковь? Весь Будапешт только об этой сенсации и говорил, газеты посвящали ей целые полосы. Однако, несмотря на весь шум, поднятый обделенными потомками, дела их обстояли скверно. В двух инстанциях они уже проиграли процесс; к их несчастью, оба врача из Территета были живы и подтвердили свое прежнее заключение. Другие свидетели на перекрестном допросе также показали, что старая княгиня в последние годы жизни была в здравом уме, хотя и с причудами. Никакие адвокатские

уловки, никакие запугивания не помогли: было сто шансов против одного за то, что королевская курия не отменит решений первых инстанций, принятых в пользу Дитценгоф.

Разумеется, Каниц читал сообщения о процессе, тем не менее он с интересом прислушивался к разговору, так как в чужих гешефтах всегда находил что-либо поучительное для себя; к тому же имение Кекешфальва он знал еще в те годы, когда был агентом.

«Можете себе представить,— продолжал между тем молодой писец,— что творилось с моим шефом, когда он по возвращении узнал, как околпачили эту дуру. Она уже отказалась от своих прав на имение Орошвар и на будапештский дворец, удовольствовавшись поместьем Кекешфальва и конным заводом. Видимо, на нее особенно подействовало обещание этого прожженного типа Вицнера, что ей больше не придется таскаться по судам и даже платить адвокату,— наследники-де великодушно согласились взять на себя все расходы. Конечно, де-юре их сделку еще не поздно было оспорить, тем более, что ее заключили только при свидетелях, а не в присутствии нотариуса; эту жадную шайку ничего не стоило взять измором — ведь у них больше не осталось ни крейцера, чтобы продолжать тяжбу. Черт возьми, шеф был обязан вывести их на чистую воду и опротестовать соглашение в интересах своей клиентки. Но банда сумела заткнуть ему рот, предложив шестьдесят тысяч крон отступного. Ну а так как он и без того был зол на эту растяпу, у которой за полчаса выманили полмиллиона, то утвердил соглашение и положил денежки в карман. Шестьдесят тысяч крон! Что вы на это скажете? И это за одну дурацкую поездку, из-за которой он прошляпил все дело! Везет же людям, вот и угадай, где найдешь, где потеряешь! А теперь от миллионного наследства у нее не осталось ничего, кроме имения Кекешфальва, да и его она скоро проворонит, уж я ее знаю, второй такой дуры не сыскать!»

«Что она с ним будет делать?» — спросил другой попутчик.

«Проворонит, уверяю вас, проворонит! Ходят слухи, что сахарный картель намерен отхватить у нее фабрику. Послезавтра, кажется, туда поедет главный дирек-

тор из Будапешта. Имение же собирается арендовать некто Петрович, тамошний управляющий, а возможно, что картель приберет его к рукам заодно с фабрикой. Денег у них теперь хватит, один французский банк — вы не читали в газетах? — вероятно, будет финансировать богемскую сахарную промышленность...»

Разговор перешел на общие темы. Но Каницу было достаточно и того, что он услышал. Мало кто знал имение Кекешфальва так основательно, как он; еще двадцать лет назад он приезжал туда страховать движимое имущество. Знал он также Петровича, и даже очень хорошо, по своим первым гешефтам; этот с виду честный малый при посредничестве Каница помещал у некоего Голлингера кругленькие суммы, которые ежегодно прикарманивал, управляя имением. Но Каница больше всего интересовало сейчас другое: он вспомнил про шкаф с китайским фарфором, статуэтками и вышивками, доставшимися княгине от деда, который был русским послом в Пекине. Один Каниц знал их настоящую цену, так как еще при жизни княгини пытался купить их для некоего Розенфельда из Чикаго. Это были уникальные вещи, стоившие не менее двух-трех тысяч фунтов стерлингов; старуха Оршвар и понятия не имела, какие баснословные деньги платили в то время в Америке за восточные древности, но Каницу она ответила, что не продаст ничего, и велела убираться ко всем чертям. Если вещи еще целы, — при мысли об этом Каница охватила дрожь, — то теперь, при смене владельца имения, их можно было бы заполучить почти даром. Еще лучше было бы, конечно, заручиться правом преимущественной покупки всей движимости.

Наш Каниц завозился, делая вид, что внезапно проснулся, — попутчики уже давно говорили о другом, — искусно зевнул, потянулся и, вынув часы, взглянул на них: через полчаса остановка. (Это была ваша гарнизонная станция, господин лейтенант.)

Поспешно уложив куртку, он надел неизменный черный сюртук и привел себя в порядок. Ровно в два тридцать, выйдя из вагона, он направился в гостиницу «Рыжий лев» и заказал номер; как полководец перед битвой, исход которой вызывает сомнение, наш друг в эту ночь почти не сомкнул глаз. В семь утра — нельзя было

терять ни минуты — он уже был на ногах и зашагал к усадьбе по той самой аллее, где только что проходили мы с вами. «Лишь бы прийти первым, опередить всех, — мелькнуло у него в голове. — Обделать дельце прежде, чем налетят эти стервятники из Будапешта. Поскорее заручиться поддержкой Петровича, чтобы он вовремя предупредил о распродаже движимости. На худой конец столкнуться с ним, поднять цену, а при дележе выговорить себе утварь».

После смерти княгини в Кекешфальве осталось мало прислуги; Каницу удалось незаметно приблизиться к дому и по дороге осмотреть всю усадьбу. «Великолепное имение, — думал он, оглядываясь вокруг, — и в отличном состоянии! Стены и жалюзи свежeweыкрашены, ограда новая... Да, Петрович знает, что делает, как видно, немало ему перепадает с каждого счета за ремонт!» Но где же он сам? Главный подъезд заперт, — сколько Каниц ни стучит, никто не отзывается, — во дворе тоже ни души. Черт возьми, неужели он уехал в Будапешт, чтобы договориться с этой простофилей Дитценгоф?

Каниц мечется от одной двери к другой, кричит, хлопает в ладоши — никого, никого! Наконец, пробравшись через маленькую боковую дверь, он замечает в оранжерее какую-то женщину. Сквозь стекло видно, что она поливает цветы. Хоть один живой человек нашелся! Каниц громко стучит по стеклу. «Эй!» — кричит он и хлопает в ладоши. Женщина в оранжерее вздрагивает, словно ее уличили в неблаговидном поступке; проходит некоторое время, прежде чем она, нерешительно приблизившись, остановилась в дверях, держа в руке полураскрытые садовые ножницы. Каниц видит перед собой немолодую худощавую блондинку в простой темной кофте и ситцевом переднике.

— Однако вы заставляете себя ждать! — набрасывается он на нее. — Куда делся Петрович?

— Простите, кого вам? — переспрашивает женщина, смутившись; при этом она невольно отступает на шаг и прячет ножницы за спину.

— То есть как кого? Сколько у вас тут Петровичей? Мне надо Петровича-управляющего!

— Ах, простите, господина... господина управляющего... да... но... я его еще сама не видела... он, кажется,

уехал в Вену... Его жена сказала, что к вечеру он, возможно, вернется.

«Возможно, возможно,— сердито думает Каниц.— Ждать до вечера. Провалиться еще одну ночь в гостинице. Опять лишние расходы, и неизвестно, чем все это кончится».

— Проклятье! Надо же было ему уехать именно сегодня! — ворчит он и, обращаясь к женщине, спрашивает:— Могу я пока осмотреть дом? У кого-нибудь есть ключи?

— Ключи? — повторяет она, растерявшись.

— Ну да, ключи, черт возьми! («Чего она прикидывается? — думает он.— Вероятно, Петрович не велел никого пускать. А, ладно, в крайнем случае дам этой пугливой телке на чай».) Каниц тут же переходит на шутиво-фамильярный тон:— Да не бойтесь меня! Ничего я у вас не утащу. Мне хочется только взглянуть на дом. Ну так как же, есть у вас ключи или нет?

— Ключи... конечно... у меня есть ключи,— лепечет она.— Но... может быть, когда господин управляющий...

— Да я же вам сказал, что обойдусь без вашего Петровича. Ну, полно валять дурака. Вы знаете расположение комнат в доме?

Она еще больше смущается:

— Да, мне кажется... что немного знаю...

«Идиотка,— думает Каниц.— Что за прислуга у этого Петровича!»

— Ну, пошли, а то у меня мало времени,— громко командует он и устремляется вперед.

Она следует за ним, встревоженная и в то же время послушная. У входа в дом она снова останавливается в нерешительности.

— Боже милостивый, да отпирайте в конце концов!

Чего она так растерялась? Каниц уже начинает терять терпение. Пока она вытаскивает из потертого кожного кошелька связку ключей, он на всякий случай осведомляется:

— А вы, собственно, чем занимаетесь здесь?

Испуганное создание смущается и краснеет.

— Я служу...— начинает она, но тут же поправляется:— Я... я была компаньонкой княгини.

У нашего Каница дух захватило. (А смею вас уверить, что такого, каким он был, нелегко вывести из равновесия.) Он невольно отступил на шаг.

— Вы... вы... фрейлейн Дитценгоф?

— Да,— отвечает она, вконец перепугавшись, будто ее обвинили в чем-то преступном.

Что Каницу было совершенно неизвестно до сих пор, так это чувство смущения. Но в ту секунду, когда наш приятель уразумел, что нарвался на легендарную наследницу Кекешфальвы, он впервые в жизни страшно смутился.

— Pardou,— пробормотал он растерянно, поспешно сдергивая шляпу.— Pardou, милостивая фрейлейн... Но... но меня никто не предупредил о вашем приезде... Я и не подозревал... Пожалуйста, извините меня... я приехал лишь для...— Он запнулся: надо было придумать что-либо правдоподобное.— Я приехал по поводу страхования... Дело в том, что мне неоднократно приходилось бывать здесь и раньше, еще при жизни покойной княгини. К сожалению, мне тогда не представился случай познакомиться с вами, фрейлейн... Да... Так вот я пришел по поводу страхования, только из-за этого... удостовериться, в сохранности ли fundus<sup>1</sup>... Служебный долг. Но ничего, это не так уж срочно, в конце концов.

— О, пожалуйста, пожалуйста...— робко произнесла она.— Правда, я в этих вещах очень плохо разбираюсь. Может быть, вам лучше поговорить с господином Петервицем?

— Разумеется, разумеется,— сказал Каниц, он все еще не пришел в себя.— Я непременно дождусь господина Петервица. («К чему ее поправлять?» — подумал он.) Но если вы сочтете возможным, если это не затруднит вас, сударыня, я быстренько осмотрел бы все — и делу конец. Как обстоит с движимостью, что-нибудь изменилось?

— Нет, нет,— поспешно ответила она,— ничего, совершенно ничего не изменилось. Если вам угодно убедиться...

— Это очень любезно с вашей стороны, фрейлейн,— сказал Каниц, поклонившись, и оба вошли в дом.

---

<sup>1</sup> Поместье (лат.).



В гостиной он прежде всего взглянул на четыре картины Гварди,— вы их знаете, господин лейтенант,— а затем, в соседней комнате, где сейчас будуар Эдит, на стеклянный шкаф с китайским фарфором, вышивками и статуэтками из восточного нефрита. «Все на месте! — вздохнул он с облегчением.— Петрович ничего не украл, этот дурень предпочитает наживаться на овсе, картофеле и ремонте».

Между тем фрейлейн Дитценгоф, видимо, стесняясь мешать незнакомому господину, беспокойно озирающемуся по сторонам, открыла ставни. В гостиную хлынул свет. Через высокие застекленные двери террасы был хорошо виден парк. «Надо с ней завести разговор,— подумал Каниц.— Не выпускать из рук! Расположить к себе».

— Какой отсюда красивый вид на парк! — начал он, глубоко вздохнув.— Здесь, наверное, чудесно живет.

— Да, чудесно,— послушно подтвердила она, но ее слова прозвучали не совсем искренне. Каниц сразу почувствовал, что это запуганное создание разучилось открыто возражать.

Немного помолчав, она добавила, как бы поправляясь:

— Правда, госпожа княгиня здесь никогда не чувствовала себя хорошо. Она говорила, что вид равнины нагоняет на нее тоску. По-настоящему ей нравились только море и горы. Здешняя природа казалась ей слишком пустынной, а люди...— Она снова запнулась.

«Ну, поддерживай же разговор,— напомнил себе Каниц.— Старайся установить контакт!»

— Но вы, фрейлейн, надеюсь, останетесь тут?

— Я? — Она невольно подняла руки, как бы желая отстранить от себя что-то неприятное.— Я?.. Нет! О нет! Что мне здесь делать одной в этом огромном доме?.. Нет, нет, сразу же уеду, как только все уладится.

Каниц украдкой рассматривал ее. Какой она кажется маленькой в этом большом зале, бедная хозяйка Кекешфальвы. А ее можно было бы назвать хорошенькой, если бы она не была так бледна и испуганна; это узкое удлиненное лицо с опущенными ресницами напоминает дождливый пейзаж. Глаза нежно-васильковые, мягкие и теплые, но они, не осмеливаясь взглянуть открыто, снова и снова пугливо прячутся за ресницами. Как тон-

кий знаток человеческой природы, Каниц сразу понял, что перед ним надломленное существо. Человек без воли, из которого можно вить веревки. А если так, значит, не упускай случая, заводи разговор! Соболезнующе нахмурив брови, он осведомился:

— Но что тогда будет с вашей прекрасной усадьбой? Ведь тут нужна рука, твердая рука.

— Не знаю, не знаю,— нервно произнесла она. По ее хрупкому телу пробежала дрожь.

И в это мгновение Каниц вдруг совершенно ясно понял, что у нее, годами приученной к беспрекословному повиновению, никогда не хватит мужества на самостоятельный поступок и что тяжкий груз богатства, навалившийся на ее слабые плечи, скорее напугал ее, чем обрадовал. Каниц лихорадочно соображал. Не зря он последние двадцать лет учился продавать и покупать, уговаривать и отговаривать. Памятуя первую заповедь коммерсанта — купить подешевле, продать подороже,— он тут же сообразил, какую педаль лучше нажать, чтобы достигнуть желаемого эффекта. «Надо расписать ей все в самом мрачном свете,— подумал он.— А вдруг удастся заарендовать имение целиком и оставить Петровича с носом? Пожалуй, это и к лучшему, что он уехал в Вену». Изобразив на своем лице сочувствие, он продолжал:

— Да, вы правы! С большим хозяйством большие хлопоты. Нет ни минуты покоя. С утра до вечера воюй то с управляющим, то с прислугой, то с соседями, а тут еще налоги, адвокаты. Стоит лишь людям пронюхать, что вы скопили немного денег, как уже нет отбоя от желающих поживиться за ваш счет. Как бы вы хорошо ни относились к ним, все равно вы для них враг. И тут уж ничем не поможешь, ничем, каждый становится вором, как только почует деньги. К сожалению, вы правы, вы правы. Чтобы совладать с таким имением, нужна железная рука, иначе ничего не получится. К этому надо иметь призвание, но даже и тогда вас ожидает вечная борьба.

— О да,— сказала она, глубоко вздохнув; видно, ей вспомнилось что-то страшное.— Люди становятся такими ужасными, когда дело касается денег. Я никогда не знала этого раньше.

Люди? Какое дело Каницу до людей? Хорошие они или плохие, его это не интересует. Ему надо арендовать

имение, да побыстрее и повыгоднее. Он слушает, вежливо кивает, отвечает и одновременно, каким-то другим уголком мозга прикидывает, как бы полóвчее проверить все это. Может быть, основать компанию и арендовать поместье целиком с угодьями, сахарным и конным заводами? В крайнем случае передать все в субаренду Петровичу, оставив себе движимость. Главное — это сейчас же, не откладывая, сказать об аренде. Если хорошенько нагнать страху, она согласится на все, что ей дадут. Считать она не умеет, как достаются деньги, не знает, а потому и не заслуживает большого богатства. И в то время, как каждый нерв, каждая извилина его мозга заняты напряженной работой, его язык продолжает соболезнующе болтать:

— Но самое ужасное — это тяжба. Как бы вы ни были миролюбивы, вам никогда не отделаться от вечных споров. Это всегда и удерживало меня от покупки какого-либо имения. Нескончаемые процессы, адвокаты, переговоры, судебные заседания, скандалы... Нет, уж лучше жить скромно, зато без всяких тревог и неприятностей. С такой усадьбой вам только кажется, что у вас что-то есть; на самом же деле вас непрерывно травят, ни на минуту не оставляя в покое. Конечно, все это само по себе неплохо — усадьба, красивый старинный дом... все это чудесно... но надо иметь стальные нервы и железный кулак, чтобы управлять поместьем, иначе оно станет вечной обузой...

Она слушала, опустив голову. Вдруг она вскинула на Каница глаза; из ее груди вырвался тяжелый вздох, казалось, он шел из самой глубины души:

— Да, эта усадьба — ужасное бремя... Если бы я только могла ее продать!

**Д**октор Кондор неожиданно остановился.  
— Мне хочется, господин лейтенант, чтобы вы себе ясно представили, что означала эта короткая фраза для нашего друга. Я уже говорил вам, что Кекеш-фальва поведал мне всю историю в самую тяжелую ночь его жизни, в ночь, когда умерла его жена, то есть в такую минуту, которая бывает в жизни человека, пожалуй, два или три раза,— в минуту, когда даже самый скрытный

испытывает потребность обнажить свою душу перед другим человеческим существом, как перед богом. Я еще отчетливо помню, мы сидели с ним тогда внизу, в комнате для посетителей; близко придвинувшись ко мне, он говорил тихо, взволнованно, без передышки. Чувствовалось, что этим непрерывным потоком слов он стремился оглушить самого себя; безостановочно рассказывая, он пытался забыть о том, что этажом выше умирает его жена. Но в том месте своего рассказа, где фрейлейн Дитценгоф воскликнула: «Если бы я только могла ее продать!» — Каниц внезапно умолк. Вы подумайте, господин лейтенант, даже пятнадцать или шестнадцать лет спустя Каниц побледнел, вспоминая то мгновение, когда ничего не подозревавшая стареющая девица простодушно призналась ему, что хочет скорее, как можно скорее продать усадьбу. Дважды или трижды он повторил затем эту фразу, вероятно, с той же интонацией, с какой ее произнесла она: «Если бы я только могла ее продать!» Ибо в ту секунду Леопольд Каниц со свойственной ему сметливостью моментально сообразил, что на него как с неба свалилась величайшая в жизни удача, что ему достаточно лишь протянуть руку, и он схватит ее; вместо того, чтобы арендовать это роскошное имение, он мог купить его сам. И в то время как он притворно-равнодушной болтовней старался скрыть свое волнение, в его мозгу вихрем проносились мысли: «Разумеется, купить,— рассуждал он,— и прежде, чем нагрянет Петрович или будапештский директор. Нельзя выпускать ее из рук. Надо отрезать ей все пути к отступлению. Я не уеду отсюда, пока не стану хозяином Кекешфальвы». И с непостижимой раздвоенностью, присущей нашему интеллекту в минуты большого напряжения, Каниц, про себя думая только о своей выгоде, говорил ей, взвешивая каждое слово, о другом, о совершенно обратном:

— Продать... гм, конечно, фрейлейн, продать можно все и навсегда... продать — это, вообще говоря, нетрудно... но все искусство в том, чтобы продать удачно... Выгодно продать, вот в чем все дело. Найти честного человека, такого, который знает здешние места, землю, людей... человека со связями, но только не из этих адвокатов — боже упаси! — они способны лишь отравить вас в бесполезные тяжбы... И что еще важно — особенно в

этом случае — продать за наличные, а не за какие-то векселя или бонны, с которыми вы будете потом возиться не один год... продать наверняка и за настоящую цену. (В то же время Каниц прикидывал в уме: «На четыреста тысяч крон я могу пойти, ну на четыреста пятьдесят — самое большое: ведь есть еще картины, и стоят они не меньше пятидесяти тысяч, а то и все сто... Дом, конный завод... Надо только выяснить, не заложено ли все это и не опередил ли меня кто-нибудь...») Внезапно, будто его кто-то подтолкнул, он спросил:

— Есть ли у вас, фрейлейн, простите меня за нескромный вопрос, приблизительное представление о цене? Я хочу сказать: имеете ли вы в виду какую-то определенную сумму?

— Нет, — беспомощно ответила она и растерянно взглянула на него.

«Вот это уже не годится! — подумал Каниц. — Никуда не годится! Труднее всего заключать сделки с теми, кто не называет цены, тут начнутся бесконечные хождения за советами, и каждый примется судить да рядить. Если дать ей возможность посоветоваться, все будет потеряно». И пока все эти мысли беспорядочно пронеслись у Каница в голове, он настойчиво продолжал:

— Но какое-то приблизительное представление у вас все же есть, фрейлейн?.. И, кроме того, вам должно быть известно, выдавались ли ипотеки под имение и в каком размере...

— Ипо... ипотеки? — повторила она.

Каниц понял, что это слово она слышит впервые в жизни.

— Я хочу сказать, должна же быть какая-то предварительная оценка... для обложения налогом... Разве ваш адвокат... — простите, возможно, я кажусь навязчивым, но мне искренне хочется помочь вам, — разве ваш адвокат не называл никаких цифр?

— Адвокат? — Она пыталась что-то вспомнить. — Да, да... подождите... адвокат мне что-то написал, что-то насчет оценки... да, да, вы правы, именно в связи с налогами, но... но бумага была составлена на венгерском языке, а я не понимаю по-венгерски. Правильно, вспоминаю, адвокат еще писал мне, чтобы я отдала перевести. Ах, боже мой, в этой суматохе я совсем про нее забы-

ла! Там, в моем бюваре, должны быть все эти бумаги... ну, там, где я живу... в доме управляющего... не могу же я спать в комнате, где жила княгиня... Если вы будете так добры пройти со мной туда, я вам все покажу... только... — Она вдруг запнулась. — Только если я вас, конечно, не очень обременяю своими делами...

Каниц дрожал от возбуждения. Все текло в его руки с такой быстротой, какая бывает только во сне. Она сама хочет показать ему оценочные акты, а это значит, что все преимущества на его стороне! Он смиренно поклонился.

— Что вы, фрейлейн, я буду рад, если хоть что-нибудь смогу вам посоветовать. Скажу вам без преувеличения, в этих вещах у меня есть кое-какой опыт. Княгиня (здесь он смело солгал) всегда обращалась ко мне, когда ей требовалась какая-либо справка по финансовым вопросам: она знала, что я всегда был готов помочь ей самым бескорыстным образом...

Они прошли в дом управляющего. И на самом деле, в ее бюваре лежали в беспорядке все документы по процессу: переписка с адвокатом, налоговые счета, копия последнего соглашения. Она нервно перебирала бумаги, а Каниц, тяжело дыша, не сводил с нее взгляда, и руки у него дрожали. Наконец она вытащила какой-то документ.

— Вот, кажется, то письмо.

Каниц взял письмо, к которому было подколото приложение, написанное по-венгерски. Письмо, оказавшееся короткой запиской от венского адвоката, гласило: «Как мне только что сообщил мой венгерский коллега, ему удалось, используя связи, добиться исключительно заниженной оценки наследства для обложения налогом. Установленная оценочная стоимость соответствует, по-моему, примерно одной трети, а для некоторых объектов даже одной четверти их действительной стоимости...» Дрожащими руками Каниц развернул оценочный реестр. Его интересовал только один пункт в списке: поместье Кекешфальва. Оно было оценено в сто девяносто тысяч крон.

Каниц побледнел. Так же высоко, как раз втрое больше этой искусственно заниженной суммы, — то есть от шестисот до семисот тысяч крон, — оценил поместье он

сам, а ведь адвокат не подозревал о существовании китайских ваз. Сколько же предложить ей? Цифры прыгали и расплывались у него перед глазами.

Но тут голос рядом робко спросил:

— Это та самая бумага? Вы понимаете, что в ней написано?

— Разумеется,— встрепенулся Каниц.— Да, да, конечно... итак... адвокат уведомляет вас, что имение Кекешфальва оценено в сто девяносто тысяч крон. Разумеется, это его оценочная стоимость.

— Оце... оценочная? Простите... но что это означает?

Вот теперь надо рискнуть, сейчас или никогда! Каниц с трудом перевел дыхание.

— Оценочная стоимость... гм... видите ли... оценочная стоимость. Это... это приблизительное... я бы сказал... весьма неопределенное понятие... потому... потому что номинальная цена никогда полностью не соответствует продажной. Вряд ли можно рассчитывать, то есть наверняка рассчитывать на то, что получишь всю сумму, в которую оценено владение. Конечно, иногда ее можно получить, и в некоторых случаях даже больше... но только лишь при известных обстоятельствах... Оценочная стоимость в конечном счете является не более как отправной точкой, разумеется, очень неопределенной... ну, например...— Каница пронизала дрожь: не сбавь и не набавь слишком много! — например... если такое поместье, как ваше, номинально оценено в сто девяносто тысяч крон, то... то вполне можно допустить, что... что за него при продаже дадут... ну... скажем... по меньшей мере сто пятьдесят тысяч, на эту сумму можно рассчитывать во всяком случае!

— Сколько, вы сказали?

У Каница зазвенело в ушах от внезапного прилива крови. Странно, почему она спросила таким резким тоном, будто едва сдерживала гнев? Неужели она разгадала его фальшивую игру? Не накинуть ли еще пятьдесят тысяч, пока не поздно? Но внутренний голос шептал ему: «Рискни!» И Каниц пошел ва-банк... Несмотря на то, что у него стучало в висках от волнения, он со скромным видом произнес:

— Да, это я считаю вполне вероятным. Сто пятьдесят тысяч крон, я полагаю, вы получите наверняка.

Но тут у Каница замерло сердце, и удары пульса в висках сразу стихли, потому что наивное существо рядом с ним воскликнуло с самым искренним изумлением:

— Так много? В самом деле... так много?

Прошло некоторое время, прежде чем к Каницу вернулось самообладание и он смог ей ответить простодушным и убежденным тоном:

— Да, фрейлейн, такую сумму должны заплатить обязательно. За это я готов поручиться.

**Д**октор Кондор снова сделал паузу. Я подумал, что ему хочется закурить. Он вдруг начал заметно нервничать: снял пенсне, опять надел его, пригладил свои редкие волосы, словно они мешали ему, и посмотрел на меня — это был долгий, тревожный, испытующий взгляд, затем он резким движением откинулся в кресле.

— Господин лейтенант, возможно, я сообщил вам слишком много, во всяком случае, больше, чем предполагал. Но, надеюсь, вы поймете меня правильно. Если я откровенно рассказал вам, как Кекешфальва надул тогда эту доверчивую особу, то отнюдь не затем, чтобы настроить вас против него. Несчастный старик, у которого мы сегодня ужинали, больной душой и телом человек, доверивший мне свое дитя и готовый отдать все до последнего гроша, лишь бы увидеть бедняжку исцеленной,— это уже совсем не тот Каниц, который совершил сомнительную сделку, и, поверьте, я последний стал бы обвинять его сегодня в этом. Как раз теперь, когда он в своем отчаянии действительно нуждается в помощи, мне кажется важным, чтобы вы узнали правду от меня, а не слушали, что болтают злые языки. Так вот, прошу вас не забывать одного обстоятельства: Кекешфальва (вернее, тогда еще Каниц) приехал в тот день, не имея намерения выманить по дешевке поместье у доверчивой наследницы. Он собирался лишь *en passant*<sup>1</sup> проверить обычное дельце, не более. Эта невероятная удача буквально свалилась на него, и он был бы не он, если бы не воспользовался ею в полной мере. Но впоследствии, как вы увидите, события приняли несколько иной оборот.

<sup>1</sup> Мимоходом (франц.).



Чтобы не затягивать рассказ, я лучше опущу некоторые подробности. Хочу только подчеркнуть, что в жизни Каница то были самые напряженные, самые азартные часы. Представьте себе ситуацию: человеку, который был до сих пор лишь каким-то мелким агентом, занимавшимся темными делами, вдруг, как в сказке, выпадает шанс разбогатеть за одну ночь. В течение двадцати четырех часов он мог бы заработать больше, чем за все предыдущие двадцать четыре года жалкого торгашества, и — что самое соблазнительное — ему даже не надо было преследовать, оглушать и связывать жертву, — напротив, сама жертва не только добровольно подставила горло, но еще и лизала руку, занесшую нож. Единственная опасность для Каница заключалась в том, чтобы кто-нибудь не опередил его. Поэтому он должен был, не давая фрейлейн опомниться, увезти ее из Кекешфальвы раньше, чем вернется управляющий, и в то же время, принимая все предосторожности, действовать так, чтобы она ни на миг не заподозрила его в личной заинтересованности.

По-наполеоновски дерзким и по-наполеоновски рискованным было его решение взять штурмом осажденную крепость Кекешфальва прежде, чем к ней подоспеет подмога; но тому, кто не боится риска, часто приходит на помощь случай. Каниц и не подозревал, что идет по проторенной дорожке; своей удачей он был обязан весьма жестокому, но тем не менее естественному обстоятельству: став хозяйкой имения, несчастная наследница с первых же часов своего пребывания в нем столкнулась с такой ненавистью и испытала столько унижений, что не чаяла, как оттуда выбраться, да поскорее, поскорее! Нет зависти более низкой, чем та, которую испытывают плебейские натуры к своему собрату, когда тому удается, словно по волшебству, вознестись над ними, сбросив ярмо подневольного существования; мелкие души скорее простят несметные богатства своему повелителю, чем малейшую независимость товарищу по несчастной судьбе. Вся прислуга Кекешфальвы пришла в ярость, когда узнала, что именно эта немка, в которую, как они все хорошо помнили, вспылчивая княгиня швыряла во время туалета щеткой и гребнем, будет хозяйкой поместья и, следовательно, их госпожой. Петрович, получив изве-

стие о прибытии наследницы, сел на первый же поезд и уехал, лишь бы не встречать ее, а его жена, вульгарная особа, работавшая прежде судомойкой, приветствовала ее словами: «Вряд ли вы с нами уживетесь, ведь мы недостаточно благородны для вас». Слуга с грохотом швырнул на порог чемодан, так что ей самой пришлось втаскивать его в комнату, причем жена управляющего даже пальцем не шевельнула, чтобы помочь. Обед приготовлен не был, никто о ней не беспокоился в течение всего дня, а поздно вечером под ее окном велись довольно громкие разговоры о «вымогательнице» и «охотнице за наследством».

По первому приему бедная, слабовольная женщина поняла, что здесь ей и часа не прожить спокойно. Только благодаря этой единственной причине, о которой Каниц и не подозревал, она с радостью приняла его предложение в тот же день отправиться в Вену, где он якобы знал одного надежного покупателя; посланцем неба показался ей этот серьезный, обязательный и сведущий человек с печальным взглядом. Ни о чем больше не спрашивая Каница, она с благодарностью вручила ему все документы и теперь, доверчиво глядя синими глазами, внимала его советам, куда ей следует поместить деньги, которые она получит за имение. Нужно брать только абсолютно надежные бумаги, внушал он ей, государственные бумаги, здесь уж полная гарантия. Никаким частным лицам нельзя доверять ни гроша. Все сразу же положить в банк, поручив вести дела нотариусу, и непременно из государственной нотариальной конторы. Приглашать адвоката сейчас нет смысла, к тому же эта публика обычно из всех возможных путей выбирает самый окольный. Конечно, вставил он тут же, очень может быть, что через три-четыре года за поместье дали бы больше. Но сколько за это время будет расходов и сколько придется бегать по различным канцеляриям и судам! В ее глазах вновь мелькнул испуг. Поняв, какое отвращение питает это мирное существо ко всяким делам и процессам, Каниц снова и снова повторял всю гамму аргументов, каждый раз заканчивая одним и тем же аккордом: скорее! скорее! И в четыре часа дня, прежде чем вернулся Петрович, они в полном согласии отправились скорым поездом в Вену. Все произошло с такой оше-

ломляющей внезапностью, что фрейлейн Дитценгоф даже не успела спросить у незнакомого господина, которому она доверила продажу всего своего наследства, его имени.

Они поехали первым классом; впервые в жизни Каниц сидел на мягком, обитом красным плюшем сиденье. В Вене он отвез Дитценгоф в хороший отель на Кертнерштрассе и там же взял номер для себя. Каницу, с одной стороны, было необходимо в тот же вечер заготовить купчую у своего старого сообщника, адвоката д-ра Голлингера, чтобы на следующий же день юридически узаконить сорванный им куш; с другой стороны, он боялся оставить свою жертву одну хотя бы на минуту. И тут, надо признаться, его осенила поистине гениальная идея. Он предложил фрейлейн Дитценгоф воспользоваться свободным вечером, чтобы посетить оперу, где с шумным успехом выступала приезжая труппа; он же в это время попытается разыскать того господина, который собирался купить большое поместье. Тронутая такой заботой, фрейлейн Дитценгоф с радостью согласилась, и Каниц доставил ее в театр. Теперь он мог быть спокоен: четыре часа она не сдвинется с места. Наняв фиакр — также впервые в жизни, — он понесся к своему закадычному приятелю д-ру Голлингеру. Того не оказалось дома. Отыскав его в одном из баров, Каниц посулил ему две тысячи крон, если он этой же ночью составит подробную купчую и завтра к семи часам вечера принесет ее к нотариусу для подписи.

На время переговоров с адвокатом Каниц, впервые в жизни оказавшийся расточительным, велел кучеру фиакра дожидаться его у бара. Затем, примчавшись обратно в театр, Каниц успел подхватить в вестибюле фрейлейн, которая была вне себя от восторга, и отвез ее в отель. Началась вторая бессонная ночь. Чем ближе он подходил к цели, тем больше нервничал, опасаясь, как бы послушная жертва вдруг не ускользнула из его рук. То ложась на кровать, то вскакивая с нее, Каниц в деталях продумывал план действия на завтра. Прежде всего, ни на секунду не оставлять ее одну. Нанять фиакр на весь день, не делать ни одного шага пешком во избежание случайной встречи на улице с ее адвокатом. Следить, чтобы она не читала газет: какая-нибудь заметка о процессе Оро-

9. Стефан Цвейг. Т. 2. 129

шваров может навести на подозрение, что ее собираются обмануть вторично. На самом же деле все его опасения и меры предосторожности были напрасны, так как жертва и не помышляла о бегстве. Словно ягненок на привязи, она покорно бегала за злым пастухом, и, когда наш друг после изнурительной ночи вошел наутро в ресторан отеля, она уже сидела там в своем старом, ею самой сшитом платье, терпеливо поджидая его. И тут завертелась удивительная карусель: без всякой необходимости Каниц стал возить бедную фрейлейн по разным присутственным местам исключительно для того, чтобы заморочить ей голову ложными трудностями, которые он изобрел бессонной ночью.

Я не буду вдаваться в подробности. Сначала он потащил ее к своему адвокату и принялся звонить оттуда по телефону во все концы по совершенно другим делам; затем повез ее в банк и советовался с прокуристом по поводу вклада и открытия счета на ее имя; под предлогом необходимости получить некоторые справки он побывал с нею в нескольких ипотечных конторах и еще в каком-то подозрительном бюро по продаже недвижимости. И она всюду следовала за ним, молча и терпеливо ожидая в приемных, пока он вел «переговоры». За двенадцать лет рабства у княгини это ожидание за дверью стало для нее привычкой, оно не угнетало и не унижало ее, и она покорно ждала, сложив руки на коленях и пряча синие глаза, когда кто-нибудь проходил мимо. Кроткая и послушная, как ребенок, она делала все, что ей велел Каниц. В банке она ставила свою подпись на формулярах, даже не взглянув на них, и с такой беспечностью расписывалась в получении денег, которых она еще не видела, что Каница даже начало терзать сомнение: может быть, эта дура согласилась бы на сто сорок, а то и на сто тридцать тысяч крон? Она сказала «да», когда прокурист посоветовал ей взять железнодорожные акции, согласилась также, когда он предложил банковские, каждый раз при этом бросая робкий взгляд на своего оракула. Было ясно, что все деловые операции, формуляры, подписи, даже самый вид денег вызывали у нее смешанное чувство благоговения и тягостного беспокойства и что она жаждала лишь одного: быстрее избавиться от этих непонятных формальностей, от необхо-

димости принимать ответственные решения, не имея ни опыта, ни уверенности, и поскорее вернуться в свою тихую комнату, заняться чтением, вязанием или музыкой.

Но Каниц неумоимо продолжал вращать ее по искусственно созданному кругу — отчасти, чтобы действительно, как он обещал, помочь ей надежно поместить капитал, отчасти, чтобы сбить ее с толку; эта карусель продолжалась с девяти часов утра до половины шестого вечера. Наконец оба настолько устали, что Каниц предложил зайти в кафе и передохнуть. С основными формальностями они разделались, продажу имения можно было считать почти свершившейся; оставалось лишь подписать купчую у нотариуса в семь часов и получить деньги. Ее лицо сразу просветлело.

— О, тогда я уже смогу уехать рано утром? — Устремленные на него васильковые глаза засияли.

— Разумеется, — успокоил ее Каниц. — Через час вы станете самым свободным человеком на свете, и вам не придется больше заботиться ни о деньгах, ни о поместье. Ваш вклад обеспечит вам ежегодную ренту в шесть тысяч крон. Теперь вы сможете жить, где и как вам будет угодно.

Из вежливости он осведомился, куда она собирается ехать. Ее лицо, минуту назад засветившееся радостью, снова помрачнело.

— Я решила поехать сначала к родным в Вестфалию. Кажется, утром должен быть поезд на Кельн.

Каниц тут же развил бурную деятельность. Спросив у кельнера железнодорожный справочник, он бегло просмотрел расписание и составил нужный ей маршрут: скорый Вена — Франкфурт — Кельн с пересадкой в Оснабрюке. Удобнее всего утренним, в девять двадцать; вечером она уже будет во Франкфурте, где он советует ей переночевать, чтобы не переутомляться. Остановиться можно — он лихорадочно перелистал указатель гостиниц — в протестантском приюте. О билете ей беспокоиться не надо: он его купит, а также непременно проводит ее на вокзал. В разговорах время прошло быстрее, чем он надеялся; наконец, взглянув на часы, он сказал:

— Ну вот, нам и пора к нотариусу.

Менее чем за час все было кончено. Менее чем за час наш друг выудил у наследницы три четверти ее состоя-

ния. Когда при заполнении купчей д-р Голлингер увидел название поместья да еще ту незначительную сумму в которую оно было оценено, он незаметно для фрейлейн Дитценгоф прищурил один глаз и подмигнул своему старому сообщнику, как бы говоря: «Браво, каналья! Вот это куш!» Нотариус тоже с любопытством взглянул поверх очков на фрейлейн; он, конечно, знал из газет о борьбе за наследство княгини Оршвар и, как юрист, заподозрил в этой спешной продаже что-то неладное. «Бедняжка,— подумал он,— крепко же ты попалась!» Но не обязанность нотариуса предостерегать стороны при подписании купчей. Его долг — заполнить документ, приложить печать и взыскать пошлину. Так что добрый человек опустил глаза,— на своем веку он многое перевидел и скрепил гербовой печатью не одну темную сделку,— аккуратно развернул купчую и вежливо пригласил фрейлейн Дитценгоф первой поставить подпись.

Робкая женщина вздрогнула. Она нерешительно посмотрела на своего ментора и, только после того как он одобряюще кивнул ей, подошла к столу и аккуратными, четкими готическими буквами вывела: «Аннета-Беата-Мария Дитценгоф». Вторым подписался наш друг. Со всеми формальностями было покончено; купчая подписана, нотариусу вручен чек и указан счет в банке, куда на следующий день следует внести деньги. Одним росчерком пера Леопольд Каниц удвоил, а может быть, и утроил свое состояние; с этой минуты не кто иной, как он, стал владельцем поместья Кекешфальва.

Нотариус тщательно промакнул чернила, затем все трое пожали ему руку и направились к выходу; впереди шла Дитценгоф, за нею, затаив дыхание, Каниц. Последним по лестнице спускался д-р Голлингер, который, к вящей досаде Каница, непрерывно тыкал его под ребра концом трости и бубнил пропитым голосом: «Плутус максимум! Плутус максимум!» И все же наш друг не почувствовал облегчения, когда на улице д-р Голлингер, отвесив иронический поклон, распрощался с ним, ибо теперь он остался со своей жертвой один на один, и это пугало его.

Попытайтесь, дорогой лейтенант, понять причину этой неожиданной перемены в его настроении. Я вовсе

не хочу утверждать, что в нашем друге, выражаясь патетически, вдруг заговорила совесть. Но с момента последнего росчерка пера положение обоих участников соглашения резко изменилось. Посудите сами: в течение двух дней между Каницем и несчастной фрейлейн происходило сражение покупателя с продавцом. Она была противником, которого по всем правилам стратегии он должен был настичь, окружить и принудить к капитуляции. Теперь же военно-финансовая операция была завершена. Каниц-Наполеон одержал победу, полную победу, и это означало, что бедная робкая женщина в простеньком платье, двигавшаяся теперь рядом с ним безмолвной тенью по Вальфишгассе, больше не была его врагом. И странно: ничто так не удручало нашего друга в минуту скорой победы, как тот факт, что его жертва сделала для него эту победу слишком легкой. Ибо когда один человек бывает несправедлив к другому, он из необъяснимого побуждения пытается доказать или внушить себе, будто пострадавший в какой-то мере поступил дурно или несправедливо; обидчик облегчает свою совесть, если ему удастся приписать обиженному хоть какую-нибудь пустячную вину. Каниц же ни в чем, даже в самом малом, не мог упрекнуть свою жертву: она сдалась ему, не сопротивляясь и наивно глядя на него благодарными васильковыми глазами. Что он мог ей сказать напоследок? Поздравить ее с благополучной продажей имения или, вернее, с потерей его? Чувство неловкости все больше и больше овладевало им. «Провожу ее до отеля,— мелькнуло у него в голове,— и дело с концом».

Однако и жертва тоже начала проявлять заметные признаки беспокойства. Ее походка постепенно становилась все медленнее. Хотя Каниц шел опустив голову, от его внимания не ускользнула эта перемена: по тому, как она замедлила шаг (глядеть ей в лицо он не осмеливался), он почувствовал, что она что-то напряженно обдумывает. Страх обуял его. «Наконец-то она догадалась,— подумал он,— что покупатель — это я, и сейчас обрушится на меня с упреками; наверное, ругает себя за дурацкую спешку и завтра же помчится к своему адвокату».

Но вот она собралась с духом — к этому времени они

бок о бок прошли в молчании уже всю Вальфишгассе— и, откашлявшись, начала:

— Простите... но так как я завтра уезжаю, мне хотелось бы все уладить и... прежде всего отблагодарить вас за хлопоты. И... пожалуйста, скажите, лучше сейчас, сразу... сколько я должна вам за труды? Ведь вы потеряли из-за меня столько времени, а... завтра утром я уеду... и... мне очень хочется, чтобы все было в порядке.

У нашего друга замерло сердце, отказались повиноваться ноги. Это уж слишком! Ничего подобного он не ожидал. Им овладело тягостное чувство, какое бывает у человека, когда он в гневе ударит собаку, а побитое животное ползет к его ногам и, глядя преданными глазами, лижет безжалостную руку.

— Нет, нет,— запротестовал Каниц, крайне смутившись,— вы мне ничего не должны, совершенно ничего! — Он почувствовал, как тело его покрылось испариной. Привыкший все рассчитывать заранее, умевший предвидеть любую реакцию со стороны клиента, он столкнулся сейчас с чем-то новым, непредусмотренным. В горькие годы его жизни перед ним, мелким агентом, нередко захлопывались двери, на улице люди не отвечали на его приветствия, а в некоторых переулках окраин он вообще предпочитал не показываться.

Но чтобы кто-нибудь его благодарил — такого с ним еще никогда не случалось. И перед этим первым человеком, который, несмотря на все, продолжал ему верить, Каницу стало стыдно. Он ощутил потребность извиниться.

— Нет,— бормотал он,— ради бога, нет! Вы мне ничего не должны... Я ничего не возьму... надеюсь, что я все сделал правильно и так, как вам было угодно... Быть может, лучше было бы подождать... боюсь, что мы могли... могли бы получить несколько больше, если бы вы так не спешили... Но ведь вам хотелось продать побыстрее — что же, я думаю, это и к лучшему. Да, я убежден, что так для вас лучше.— Он снова овладел собой и в эту минуту был почти искренен.— Человеку вроде вас, который ничего не понимает в делах, не стоит впутываться в это. Такой, как вы, лучше... иметь небольшое, но зато надежное состояние... И, пожалуйста,— он проглотил под-



ступивший к горлу комок,— теперь, когда все позади, не позволяйте... я настоятельно прошу вас об этом, не позволяйте никому вводить себя в заблуждение всякими разговорами, что, мол, вы заключили невыгодную сделку и продешевили. Знаете, после того как что-нибудь продано, всегда находятся люди, которые с важным видом уверяют вас, что они дали бы больше, гораздо больше... но как только дело доходит до платежа, то оказывается, что, кроме долговых расписок, векселей и паев, у них ничего нет за душой... Нет, нет, это не для вас, поверьте мне, совершенно не для вас. Ваши деньги помещены в надежный, первоклассный банк, клянусь вам, это так же верно, как то, что я стою перед вами! День в день, час в час вам будут аккуратно выплачивать ренту, без малейшей задержки. Верьте мне... клянусь вам... так будет лучше для вас.

Между тем они подошли к гостинице. Каниц остановился в нерешительности. «Пожалуй, надо бы пригласить ее в ресторан или в театр»,— подумал он. Но она уже протянула ему руку.

— Не смею вас больше задерживать... мне и без того неловко, что вы потратили на меня столько времени. Ведь целых два дня вы занимались исключительно моими делами, и я чувствую, что никто другой не сделал бы этого более самоотверженно. Я... я вам очень благодарна. Еще ни разу,— она слегка покраснела,— ни один человек не был так добр ко мне, так участлив... я никогда не думала, что смогу так быстро освободиться от этого, что все так легко и хорошо обойдется... Я вам очень благодарна, очень!

Прощаясь, Каниц не смог удержаться, чтобы не поднять на нее глаза. Обычное для нее выражение запуганности почти исчезло, оттесненное приливом теплого чувства. Ее всегда бледное, испуганное лицо внезапно оживилось, в синих выразительных глазах и благодарной улыбке было что-то детское. Каниц хотел что-то сказать, но, прежде чем он открыл рот, она произнесла «до свидания» и ушла — легкая, стройная и уверенная; ее походка стала совсем иной — это была походка человека, избавившегося от непосильной ноши, обретшего свободу. Каниц в недоумении смотрел ей вслед. Его не покидало чувство, будто он что-то недосказал. Но пор-

тье уже протянул ей ключ, и бой повел ее к лифту. Все было кончено.

Овечка простилась с мясником. У Каница осталось такое ощущение, словно он ударил обухом самого себя; несколько минут он стоял ошеломленный, уставившись неподвижным взглядом в опустевший вестибюль гостиницы. На улице поток прохожих увлек его за собой, и он побрел, сам не зная куда. Еще ни разу в жизни никто не смотрел на него таким добрым, благодарным взглядом. Никогда еще ни один человек не разговаривал с ним так сердечно. В его ушах продолжала звучать последняя фраза: «Я вам очень благодарна, очень». И как раз этого человека он обманул, именно его он ограбил! То и дело Каниц останавливался и вытирал со лба пот. Неожиданно у большого магазина стеклянных изделий на Кертнерштрассе, по которой он бесцельно брел, шатаясь, словно пьяный, он случайно увидел свое отражение в стоявшем на витрине зеркале; Каниц начал разглядывать свое лицо, как смотрят на фотографию преступника в газете, стараясь определить, что же, собственно, выдает в нем преступные наклонности — выступающий ли подбородок, злобно сжатые губы или холодный взгляд? Пристально изучая свои встревоженные, широко раскрытые глаза, Каниц вдруг вспомнил глаза той, с которой только что расстался. «Вот бы какие глаза иметь! — подумал он сокрушенно. — Не то что у меня — с воспаленными веками, жадные, беспокойные. Вот бы какие мне глаза — синие, лучистые, озаренные верой! (Мать иногда смотрела так — в субботу вечером, вспоминалось ему.) Да, надо быть таким человеком, как она, — порядочным, незлобивым, скорее дать обмануть себя, нежели обманывать самому. Только такие люди благословенны. Все мои ухищрения не принесли мне счастья, я так и остался жалким существом, не знающим покоя». Леопольд Каниц побрел дальше по тротуару, чужой самому себе; и никогда еще у него не было так скверно на душе, как в этот день — день его величайшего триумфа.

Наконец, решив, что ему пора поесть, он зашел в кафе. Но еда вызвала у него отвращение. «Продам Кекешфальву, — размышлял он, — продам немедленно. На что мне именование, ведь я не помещик. Жить одному в восемнадцати комнатах и вечно грызться с шайкой арен-

даторов? Какая глупость, что я купил его на свое имя! Надо было оформить купчую на ипотечный банк... ведь если она узнает, что покупатель я сам... а, впрочем, я и не собирался много заработать! Если она пожелает, я верну ей поместье за вычетом двадцати, нет, даже десяти процентов комиссионных. Может получить его обратно в любое время, если раскаивается в том, что продала.

Эта мысль принесла Каницу облегчение. «Завтра же напишу ей,—решил он,— а впрочем, сам скажу ей это перед отъездом. Да, так будет, пожалуй, правильнее: добровольно предоставить ей право выкупа». Теперь он надеялся, что сможет заснуть спокойно. Однако, несмотря на две бессонные ночи, он и эту, третью, почти не спал, в ушах то и дело раздавалось: «Я вам очень благодарна, очень»,— с чужим, нижегерманским акцентом, но так искренне, что его всякий раз бросало в дрожь. За последние двадцать пять лет ни одна сделка не причинила нашему приятелю столько беспокойства, как эта — самая крупная, самая удачная и самая бессовестная.

В половине восьмого утра Каниц был уже на улице. Он знал, что скорый поезд на Пассау отходит в девять двадцать, и спешил купить фрейлейн Дитценгоф шоколаду или конфет; ему хотелось как-то проявить свою признательность, и, может быть, втайне он жаждал еще раз услышать эти новые для него слова: «Я вам очень благодарна» — с трогательным иностранным акцентом. Каниц купил большую коробку конфет, самую красивую, самую дорогую. Но даже это показалось ему недостаточным для прощального подарка, и в ближайшем магазине он взял еще цветов — огромный алый букет. Нагруженный покупками, он вернулся в отель и попросил портье тотчас же отнести все в номер фрейлейн Дитценгоф. Но портье, по венскому обычаю наградив его титулом, угодливо ответил:

— Прошу прощения, господин фон Каниц, фрейлейн уже изволят завтракать.

Каниц на секунду задумался. Он был так потрясен вчерашним прощанием, что опасался, как бы новая встреча не разрушила приятного воспоминания. Затем он все же решился и с букетом в одной руке и коробкой в другой вошел в кафе.

Она сидела к нему спиной. Еще не видя ее лица, он уже почувствовал что-то трогательное в том, как это хрупкое существо скромно и тихо сидело за пустым столиком: против воли Каниц был захвачен этим ощущением. Неуверенно приблизившись к ней, он поспешно положил букет и конфеты на стол.

— Вот вам в дорогу,— произнес он.

Она вздрогнула и густо покраснела. Впервые в жизни ей дарили цветы. Правда, как-то один из охотников за наследством, в надежде заполучить в ней союзника, прислал ей несколько жалких роз. Но княгиня, старая бестия, приказала немедленно отослать их обратно. А вот сейчас пришел человек, преподнес ей цветы, и никто на свете не мог запретить ей принять их!

— Что вы,— пролепетала она,— зачем это? Они слишком... слишком хороши для меня.

Тем не менее она с благодарностью посмотрела на него. Было ли то отражение цветов или кровь прилила к щекам, во всяком случае, ее смущенное лицо заметно порозовело; стареющая девушка выглядела почти красивой в эту минуту.

— Не хотите ли присесть? — продолжала она в замешательстве.

Каниц неловко опустился на стул против нее.

— Значит, вы в самом деле уезжаете? — спросил он, и в его голосе невольно прозвучала нотка искреннего сожаления.

— Да,— ответила она и опустила голову. В этом «да» не было радости, но не было и печали. Ни надежда, ни разочарование не прозвучали в нем. Оно было произнесено спокойным, покорным тоном, без какого-либо особого оттенка.

От смущения и из желания услужить ей Каниц осведомился, послала ли она родным телеграмму о своем приезде. Нет, нет, это только напугало бы их, ведь они много лет уже не получали никаких телеграмм.

— Но это ваши близкие родные? — продолжал он расспрашивать.

Близкие— нет, напротив. Вроде племянницы — дочь умершей сводной сестры, а ее мужа она вообще не знает. У них там маленькая ферма с пчельником. Они прислали

ей очень любезное письмо, где сообщают, что для нее есть комната и что она может оставаться у них, сколько ей захочется.

— Но что вы собираетесь делать в этом захоlustье? — спросил Каниц.

— Не знаю, — ответила она, не поднимая глаз.

Нашего друга постепенно охватило волнение. Это одинокое, беззащитное создание казалось таким несчастным, а в ее безразличном отношении к себе и своему будущему было столько беспомощности, что Каницу вспомнилась его собственная неустроенная, бездомная жизнь. В бессмысленности ее существования он увидел что-то общее со своей судьбой.

— Но это же неразумно! — почти с жаром сказал он. — Жить у родственников вообще не годится. А потом, зачем вам хоронить себя заживо в какой-то дыре?

Она благодарно и в то же время с грустью взглянула на него.

— Да, — вздохнула она, — я тоже побаиваюсь. Но что же мне делать?

Она произнесла это безучастно и затем вскинула на Каница синие глаза, будто спрашивая совета. Вот бы какие глаза иметь, вспомнилось ему, и вдруг — он сам не мог объяснить, как это с ним случилось, — у него вырвалось.

— Так оставайтесь здесь. — И уже, помимо воли, тише добавил: — Оставайтесь со мной.

Она вздрогнула и изумленно посмотрела на него. Только сейчас Каниц сообразил: он невольно высказал свое неосознанное стремление. Он не продумал, как обычно, не взвесил и не рассчитал этих слов, слетевших у него с языка. Безотчетное желание, значения которого он еще не успел уяснить, неожиданно претворилось в звук, слово. Лишь увидев, как она залилась краской, он понял смысл сказанного и тут же испугался, что она может истолковать это превратно. Наверное, она подумала, что он предлагает ей стать его любовницей. И, чтобы ей не пришлось в голову ничего обидного, он поспешно добавил:

— Я хотел сказать: моей женой.

Она встрепенулась, губы ее дрогнули. Каниц ждал, что она вот-вот разрыдается или накричит на него. Но она внезапно вскочила и выбежала из комнаты.

То была самая страшная минута в жизни нашего друга. Только теперь он осознал всю нелепость своего поступка. Ведь он оскорбил, унизил добрейшее существо, единственного человека, который питал к нему доверие. Да как посмел он, пожилой, некрасивый еврей, жалкий торгаш и скряга, предложить руку такому чуткому, благородному созданию! Он даже оправдывал ее за то, что она в ужасе убежала от него. «Что ж,— мрачно подумал он,— так мне и надо. Наконец-то она распознала меня и удостоила презрения, которого я заслуживаю. Что ж, лучше так, чем благодарность за обман». Каница несколько не обидело ее бегство, напротив, в этот момент, как он мне сам признался, он был даже рад. Он почувствовал, что получил по заслугам и что отныне она станет думать о нем с таким же презрением, какое он испытывает к себе сам.

Но вот она появилась в дверях, очень взволнованная, с заплаканными глазами. Плечи ее вздрагивали. Она подошла к столику и, прежде чем сесть, ухватилась обеими руками за спинку стула. Затем, тихо вздохнув и не поднимая глаз, произнесла:

— Простите... простите меня за неучтивость... за то, что я... убежала. Но я так испугалась... Как же вы могли?.. Ведь вы меня не знаете... Вы меня совсем не знаете...

Каниц был не в силах вымолвить ни слова... Глубоко потрясенный, он видел, что в душе ее не было гнева, а только лишь страх. Она была испугана безрассудством его неожиданного предложения так же, как и он сам. Ни один из них не решался заговорить первым. Оба боялись взглянуть друг на друга. Но в то утро она не уехала. До позднего вечера они не расставались. Через три дня он повторил свое предложение, а спустя два месяца они поженились.

**Д**октор Кондор остановился.  
— Ну, еще по бокалу, я сейчас заканчиваю. Мне только хотелось бы подчеркнуть следующее: здесь болтают, будто наш друг хитростью завлек наследницу и женился на ней исключительно с целью завладеть поместьем. Но я повторяю: это неправда! Как вы теперь

знаете, поместье уже принадлежало Каницу, когда он делал предложение; в его женитьбе не было никакого расчета. Да разве он, мелкий торгаш, осмелился бы посвататься к хрупкой синеглазой девушке из корыстных побуждений? Ни за что. Он решился на это помимо воли, поддавшись внезапно охватившему его чувству, которое было искренним и, как ни странно, искренним осталось.

Ибо следствием этого неожиданного поступка оказался на редкость счастливый брак. Удачное сочетание противоположностей — наиболее благоприятное условие для гармонии, и то, что поначалу вызывает изумление, потом нередко выглядит совершенно естественным. Как и следовало ожидать, в первые дни скоропостижно обручившиеся боялись друг друга. Каниц опасался, что до нее дойдут слухи о его темных махинациях и она в последний момент с презрением оттолкнет его; поэтому он с невероятной быстротой принялся заметать следы своего прошлого, прекратил все сомнительные дела, с убытком для себя ликвидировал долговые обязательства и порвал связи с бывшими сообщниками. Приняв христианство и заручившись поддержкой влиятельного крестного, он за солидную взятку добился разрешения прибавить к фамилии «Каниц» более звучную и аристократическую — «фон Кекешфальва»; и, как это часто бывает в подобных случаях, первоначальная фамилия вскоре бесследно исчезла с его визитных карточек. Тем не менее до самой свадьбы Каниц жил в постоянном страхе, что он вдруг лишится доверия своей невесты. Его нареченная, которой ее прежняя госпожа на протяжении двенадцати лет изо дня в день вдалбливала, что она бестолковая дура и злючка, с дьявольской жестокостью подавляя в ней всякое чувство собственного достоинства, ожидала и от нового повелителя бесконечных придирок и постоянных издевательств; привыкнув жить в неволе, она раз и навсегда примирилась с ней, как с неизбежностью. Но вдруг произошло неожиданное: все, что она делала, заслуживало одобрения. Человек, в чьи руки она отдала свою жизнь; каждый день говорил ей все новые и новые слова благодарности и относился к ней с неизменным робким почтением. Молодая женщина была изумлена: столь нежное обращение казалось ей

просто непостижимым. И почти увядшая девушка постепенно расцвела: ее формы округлились, она похорошела. Прошел еще год или два, прежде чем она окончательно решилась поверить, что и ее, неприметную, униженную, притесненную, могут уважать и любить, как и всякую другую женщину. Но истинное счастье началось для них с рождением ребенка.

В те годы Кекешфальва с особой энергией взялся за работу. Времена мелкого торгового агента Каница миновали безвозвратно, его деятельность приобрела размах. Он модернизировал сахарный завод, стал акционером металлургического предприятия в Винер-Нейштадте и в сговоре с картелем спиртозаводчиков провел блестящую операцию, наделавшую много шума. Но пришедшие к нему богатства — теперь уже настоящие — ничего не изменили в скромном, уединенном образе жизни супругов. Словно стараясь как можно меньше напоминать людям о себе, они редко приглашали гостей, и знакомый вам дом выглядел в прежние времена несравненно проще и провинциальнее, — но тогда его обитатели были счастливы, не то что теперь.

Потом судьба послала ему первое испытание. Желудок Кекешфальвы давно беспокоила боль в желудке. У нее появилось отвращение к еде, она похудела и продолжала слабеть с каждым днем; не желая тревожить крайне занятого супруга, она молчала и только стискивала зубы при очередном приступе. Когда же она не смогла дольше скрывать свою болезнь, было уже поздно. В санитарной машине ее увезли в Вену для операции предполагаемой язвы желудка — в действительности у нее оказался рак. Вот в те дни мы и познакомились с Кекешфальвой. Более страшного, дикого отчаяния, в каком он тогда находился, я еще никогда ни у кого не встречал. Он не желал, он просто отказывался понимать, что медицина бессильна спасти его жену; то, что мы, врачи, ничего больше не делали, ничего больше не могли сделать, он объяснял лишь нашей косностью, равнодушием и неумением. Пятьдесят, сто тысяч крон предлагал он профессору, если тот вылечит ее. За день до операции он вызвал из Будапешта, Мюнхена и Берлина виднейших специалистов, надеясь, что хоть один из них выскажется против вмешательства хирурга. Я в жизни не забуду,



какими безумными глазами смотрел он на нас, крича, что все мы убийцы, когда несчастная умерла вскоре после операции; между тем такой исход был неминуем.

С того дня Кекешфальва словно переродился. Этот жрец наживы отрекся от идола, которому привык поклоняться с детства,— он потерял веру в золото. Отныне он жил лишь для своего ребенка. Он построил дом, нанял слуг и гувернанток; столь бережливому когда-то человеку никакая роскошь не казалась излишней. Девяти-десятилетнюю девочку он возил в Ниццу, Париж, Вену, баловал ее, как принцессу, швыряя деньгами направо и налево с тем же неистовством, с каким прежде копил их. Возможно, вы не так уж неправы, называя нашего друга добрым и благородным; необычайное равнодушие и даже презрение к деньгам овладело им с тех пор, как его миллионы не помогли ему спасти жену.

Время уже позднее, я не стану подробно рассказывать, как он лелеял свою крошку; да это и не удивительно, ибо в те годы она была очаровательным созданием, изящная, стройная, легкая, настоящий эльф с серыми глазенками, ясно и доверчиво глядевшими на мир; от отца девочка унаследовала пронизательный ум, от матери — душевную кротость. Смышленная и ласковая, она росла, как цветок, пленяя окружающих милой непосредственностью, свойственной лишь детям, которые никогда не сталкивались с враждой и жестокостью. И только тот, кто знал, сколь велика была любовь к девочке этого грустного, стареющего человека, который и не чаял, что породит такое светлое, радостное существо,— только тот мог постигнуть глубину его отчаяния, когда судьба нанесла ему второй удар. Он не хотел, он решительно отказывался верить— да и по сей день не верит,— что именно этому ребенку, его ребенку, суждено быть калекой; я уж молчу о множестве нелепых поступков, совершенных им в полубезумном состоянии. Достаточно сказать, что своей настойчивостью он просто выводит из себя врачей всего мира, что он предлагает нам бешеные гонорары, будто от этого зависит немедленное исцеление больной, что, давая волю безудержному нетерпению, он без толку звонит мне через день по телефону. Мало того, как недавно сообщил мне по секрету один коллега, старик каждую неделю посещает университетскую библиотеку

и сидит там часами вместе со студентами, роясь в медицинских учебниках и старательно выписывая из словаря значения непонятных ему терминов,— он, видимо, тешит себя несбыточной надеждой отыскать то, что мы, врачи, упустили или позабыли. Дошли до меня и другие слухи — вы, наверное, будете смеяться, но так уж повелось: о силе страсти всегда судят по совершаемым во имя ее безрассудствам,— что в случае выздоровления ребенка Кекешфальва обещал пожертвовать крупную сумму как местному приходу, так и синагоге; не зная, кому молиться — богу ли своих предков, от которого отрекся, или новому,— он принес клятву обоим, смертельно боясь разгневать каждого.

Вы, конечно, понимаете, что я сообщаю вам эти отчасти смешные детали вовсе не из желания посплетничать. Теперь вы сможете яснее представить себе, что значит для этого подавленного, отчаявшегося, сокрушенного судьбой человека, когда кто-нибудь готов хотя бы *выслушать* его, когда его горю искренне сочувствуют или по крайней мере стараются его понять. Я знаю, с ним нелегко разговаривать: он упрям до одержимости и ведет себя так, будто во всем мире, до краев полном горя, страдает лишь один человек — его дочь. И все же его нельзя покидать в беде, особенно теперь, когда мучительное сознание беспомощности начинает сказываться на его здоровье. Вы действительно делаете доброе дело, действительно, мой дорогой лейтенант, внося в этот трагической дом молодость, живость и беззаботность! Только поэтому, только опасаясь, что вас могут ввести в заблуждение, я, пожалуй, больше, чем следовало, рассказал вам о его личной жизни; но я полагаюсь на вас и уверен, что все останется между нами.

— Безусловно,— машинально подтвердил я; это было первое слово, которое я произнес с той минуты, как он начал свой рассказ. Я был ошеломлен, но не только неожиданными разоблачениями, перевернувшими все мои представления о Кекешфальве,— меня удручало также сознание того, что я оказался наивным до глупости. Подумать, в двадцать пять лет я все еще смотрел на мир глазами младенца. Изо дня в день бывая в доме, я, опьяненный жалостью, по своей дурацкой скромности ни разу не решался расспросить о болезни Эдит, о ее мате-

ри, отсутствие которой нельзя было не заметить, и, наконец, откуда взялось богатство этого странного человека. Как же я не догадался, что печальные, полуприкрытые веками миндалевидные глаза принадлежат вовсе не венгерскому аристократу, что в их взгляде, обостренном и усталом, отражается тысячелетняя трагическая участь иудейской расы? Как я не заметил, что в облике Эдит проглядывают иные, не отцовские черты, как не почувствовал по некоторым признакам, что над этим домом тяготеет загадочное прошлое? Мне сразу же вспомнился целый ряд мелочей, на которые я прежде не обращал внимания: например, как однажды наш полковник при служебной встрече с Кекешфальвой холодно ответил на его поклон, небрежно поднеся два пальца к козырьку фуражки, или как тогда, в кафе, мои товарищи назвали его «старым манихеем». У меня было такое ощущение, будто в темной комнате внезапно подняли штору и яркий солнечный свет хлынул прямо в глаза, ослепляя нестерпимым блеском.

Словно прочитав мои мысли, Кондор наклонился ко мне и маленькой мягкой ладонью успокаивающе коснулся моей руки; в его профессионально-врачебном жесте было поистине что-то целительное.

— Конечно, вы обо всем этом и не догадывались, господин лейтенант, да и откуда вам было знать правду? Ведь вы росли в совершенно особом, изолированном мире и вдобавок находитесь в том счастливом возрасте, когда необычное поражает, не вызывая подозрений. Поверьте мне, как старшему: не надо стыдиться, если жизнь порой оставляет тебя в дураках; знаете, это скорее благодать, когда у тебя еще нет такого сверхострого диагностирующего взгляда и ты с доверием смотришь на людей и на вещи. Будь вы другим, разве смогли бы вы помочь несчастному старику и бедному больному ребенку? Нет, нет, не удивляйтесь и, главное, не смущайтесь: внутренний голос правильно подсказал вам, как поступить наилучшим образом.

Бросив окурок в угол, Кондор потянулся и отодвинул кресло.

— А теперь, я думаю, мне пора.

Я также поднялся, хотя еще чувствовал легкое головокружение. Со мной происходило что-то непонятное.

Я был крайне взволнован, даже взбудоражен услышанным; мысль работала с небывалой ясностью, и в то же время я не мог отделаться от неотвязного ощущения чего-то недодуманного или позабытого. Я хорошо помнил, что в определенном месте рассказа хотел о чем-то спросить Кондора, но не решался его прервать. А теперь, когда уже можно было спрашивать, я позабыл вопрос; его смыло потоком волнующих впечатлений. Напрасно я восстанавливал в памяти весь разговор — так бывает, когда чувствуешь боль, но не понимаешь, где болит. Пока мы проходили через наполовину опустевший зал, я безуспешно силился вспомнить забытое.

Мы вышли на улицу, Кондор взглянул на небо.

— Ага! — улыбнулся он с некоторым удовлетворением. — Так я и знал, уж слишком ярко светила луна. Грозы не миновать, да еще какой! Надо поторопиться.

Он был прав. Хотя между погруженными в сон домами было еще тихо и душно, с востока по небу мчались темные, набухшие тучи, затушевывая бледно-желтый диск. Уже заволокло полнеба; тьма напознала, подобно гигантской черной черепахе, изредка на нее падал отблеск молний, и тогда после каждой вспышки вдали что-то недовольно ворчало, как потревоженный зверь.

— Через полчаса грянет, — предсказал Кондор. — Я-то еще доберусь сухим до вокзала, а вы, господин лейтенант, поворачивайте-ка лучше обратно, не то промокнете до нитки.

Но я смутно сознавал, что должен его о чем-то спросить, только никак не мог вспомнить, о чем; в моей памяти образовался какой-то темный провал, в котором вопрос этот исчез, как луна за тучами. И эта потерявшаяся мысль непрерывно стучала где-то в мозгу беспокойной, сверлящей болью.

— Ничего, — возразил я, — рискну.

— Тогда живо! Чем быстрее мы зашагаем, тем лучше; у меня чуть не отнялись ноги от долгого сидения.

Отнялись ноги — вот оно! Меня словно осенило. Я мгновенно вспомнил, о чем хотел, о чем обязан был спросить Кондора. Поручение Кекешфальвы! Очевидно, я все время подсознательно думал о просьбе старика: узнать, выздоровеет его дочь или нет. И вот, пока мы

шли по обезлюдевшему переулку, я весьма осторожно приступил к делу.

— Прошу прощения, господин доктор... Все, что вы рассказали, разумеется, страшно интересно... я хочу сказать, чрезвычайно важно для меня... Именно потому я и позволю себе задать вам один вопрос... который меня давно беспокоит... Ведь вы ее лечите и лучше кого бы то ни было знаете все о ее болезни... Я же в таких вещах ничего не смыслю... и мне очень хотелось бы услышать ваше мнение... Как вы полагаете, болезнь Эдит пройдет со временем или она неизлечима?

Резко повернув голову, Кондор сверкнул на меня стеклами пенсне. Я невольно уклонился от этого стремительного взгляда, впившегося в мое лицо, как игла. Не догадался ли он о просьбе старика? Не навел ли я его на подозрение? Но он отвернулся и, не замедляя шага, а быть может, даже ускорив его, проворчал:

— Ну, вот! Собственно, следовало ожидать, что этим кончится. Излечимо или неизлечимо, черное или белое? Как вы себе все просто представляете! Да если хотите, ни один врач не должен бы с чистой совестью произносить даже такие слова, как «здоров» и «болен», — кто знает, где кончается здоровье и начинается болезнь? — а тем более решать, что излечимо и что неизлечимо. Не спорю, оба выражения очень распространены, и в нашей практике без них вряд ли можно обойтись. Но от меня вы никогда не дождетесь, чтобы я сказал «неизлечимо». Никогда! Один из умнейших людей прошлого века, Ницше, изрек чудовищный афоризм: «Не пытайся лечить неизлечимое». Но это едва ли не самый лживый из всех опасных парадоксов, которые он предоставил разрешать нам. Я утверждаю, что истина в противоположном: как раз неизлечимое и надо пытаться лечить; более того — только на так называемых «неизлечимых» и проверяется искусство врача. Признавая больного неизлечимым, врач уклоняется от выполнения своего долга, он капитулирует до сражения. Конечно, в некоторых случаях проще, удобнее сказать «неизлечимо» и удалиться со скорбной миной и гонораром в кармане; куда спокойнее и выгоднее врачевать только то, что заведомо излечимо: открыл соответствующую страницу справочника — и все становится ясным. Что же, кто не лю-

бит себя утруждать, пусть живет по готовым рецептам. Мне *ad personam*<sup>1</sup> подобное занятие представляется столь же жалким, как если бы поэт повторял лишь старые мотивы, не стремясь облечь в слова еще не сказанное, мало того — невыразимое, или если бы философ в сотый раз объяснял давно известное, не стараясь постичь еще не познанное, не познаваемое! «Неизлечимо» — понятие относительное, а не абсолютное; для такой непрерывно развивающейся науки, как медицина, неизлечимые случаи существуют лишь в данный момент, в пределах нашего времени, наших познаний и возможностей, в силу нашей, так сказать, «кочки» зрения! Но момент, в который мы живем, вовсе не последний. И для сотен больных, еще сегодня безнадежных, завтра или послезавтра могут быть найдены методы лечения, ибо наука движется вперед гигантскими шагами. Так что заметьте себе, пожалуйста, — он сказал это сердито, будто я обидел его, — я не признаю неизлечимых болезней. Я принципиально никого и ничего не считаю безнадежным, и никому не удастся когда-либо вырвать у меня слово «неизлечимо». Самое большее, что я скажу даже в безнадежном случае, так это то, что болезнь пока еще неизлечима, то есть современная медицина пока еще бессильна помочь.

Кондор шел так быстро, что я с трудом поспевал за ним. Неожиданно он замедлил шаг.

— Быть может, я выражаюсь слишком сложно, слишком абстрактно. О таких вещах, право, нелегко рассуждать по дороге из погребка на вокзал. Постараюсь пояснить вам свою мысль примером, который, впрочем, связан с очень печальным событием в моей жизни. Двадцать два года назад, когда я был студентом второго курса, неожиданно заболел мой отец. Этот человек, которого я глубоко любил и уважал, всегда отличался крепким здоровьем и неутомимой энергией. И вот врачи определили у него диабет, одно из самых страшных и коварных заболеваний, — вы, наверное, слышали об этой болезни, ее обычно называют сахарной. Без видимой причины организм внезапно перестает усваивать пищу, не перерабатывает жиры и сахар, в результате большой

---

<sup>1</sup> Лично (лат.).

слабеет и умирает от истощения, ладно, не стану мучить вас подробностями, достаточно того, что три года моей юности были отравлены этим.

К несчастью, в то время совсем не умели лечить диабет. Больного изводили строжайшей диетой, взвешивали каждый грамм пищи, отмеряли каждый глоток воды, но врачам было известно (и я, как медик, тоже знал, что все это лишь оттягивает неизбежный конец), что в течение двух-трех лет мой отец будет медленно умирать мучительной голодной смертью среди изобилия еды и питья. Вы можете себе представить, как я, будущий врач, бегал тогда от одного специалиста к другому и тщательно изучал всю литературу, старую и новейшую. Но повсюду я наталкивался на один и тот же ответ, на одно и то же невыносимое слово — неизлечимо, неизлечимо. С тех пор я возненавидел это слово. Самый дорогой для меня человек погибал на моих глазах, а я был бессилен помочь ему, предотвратить конец более жалкий, чем смерть бессловесной твари. Отец умер за три месяца до того, как я получил диплом.

А теперь слушайте внимательно: несколько дней назад на заседании медицинского общества один из наших крупнейших фармакологов сообщил, что в Америке и некоторых других странах весьма успешно проводятся опыты по получению экстракта поджелудочной железы для лечения диабета; он утверждал, что в ближайшие десять лет с сахарной болезнью разделаются навсегда. Можете себе представить, как я был взволнован: почему это не случилось двадцатью годами раньше? Имей я в то время сто — двести граммов этого препарата — и самый дорогой мне в мире человек избавился бы от мук, остался бы в живых или по крайней мере была бы надежда на его спасение. Теперь вы понимаете, как меня ожесточил тогда приговор «неизлечимо», ибо днем и ночью я думал только об одном: найдется, обязательно найдется спасительное лекарство, кому-то удастся отыскать его, быть может, и мне. Нашлось же средство против сифилиса, а ведь в ту пору, когда я поступал в университет, нам, студентам, в специальной брошюре внушали, что это заболевание неизлечимо. Значит, Ницше, Шуман, Шуберт и многие другие умерли не от «неизлечимой» болезни, а от болезни, которую тогда еще не

умели лечить,— их смерть, можно сказать, была вдвойне преждевременной. Каждый день наука открывает что-нибудь новое, неожиданное, фантастическое, то, что еще вчера казалось немислимым! Поэтому всякий раз, когда я вижу больного, на котором другие врачи поставили крест, в моем сердце вспыхивает гнев: почему я не знаю спасительного средства завтрашнего, послезавтрашнего дня? Но в то же время не угасает надежда: а вдруг в последнюю минуту это средство найдут — и жизнь человека будет спасена? Все возможно, даже невозможное, ибо там, где перед наукой сегодня заперты все двери, завтра может приоткрыться одна из них. Если старые методы оказываются безуспешными, надо искать новые, а где не помогает наука, там всегда еще можно надеяться на чудо. Да, да, настоящие чудеса случаются в медицине, и в наш век электричества, вопреки всякой логике и опыту, иной раз нам самим удается спровоцировать такое чудо. Поверьте мне, я не стал бы мучить девочку и самого себя, если бы не надеялся добиться решительного улучшения. Признаюсь, это очень трудный, упрямый случай — прошли годы, а я не достиг того, чего ожидал. И тем не менее у меня не опустились руки.

Я слушал его с напряженным вниманием, все понимая, со всем соглашаясь. Но, словно заразившись настойчивостью и страхами Кекешфальвы, я хотел узнать что-нибудь более определенное и потому спросил:

— Значит, вы все же уверены, что улучшение наступит... то есть... что вы уже достигли известного улучшения?

Доктор Кондор промолчал. Мое замечание, казалось, расстроило его. Семена короткими ногами, он шел все быстрее и быстрее.

— Как вы можете утверждать, что я достиг известного улучшения? Вы это сами констатировали? И что вы вообще смыслите в таких вещах? Ведь вы знакомы с больной всего лишь несколько недель, а я лечу ее уже пять лет.

Он внезапно остановился.

— Да будет вам известно раз и навсегда: ничего существенного, сколько-нибудь значительного я не достиг, в этом-то все горе! Я лечил ее, как знахарь, пробовал то



одно, то другое, и все без толку. Ничего я до сих пор не добился, ничего.

Горячность его тона испугала меня: очевидно, я задел самолюбие врача.

— Но господин фон Кекешфальва рассказывал мне, — попытался я успокоить его, — что Эдит очень помогли электрванны, а с тех пор как ей начали делать инъек...

Кондор резко оборвал меня:

— Чепуха! Сущая чепуха! И вы поверили старому дураку! Неужели вы всерьез думаете, что с помощью четырехкамерных ванн можно начисто избавиться от паралича ног? Разве вам не знакома обычная уловка врачей? Если мы не знаем, как быть, то стараемся выиграть время и отвлекаем пациента всякой ерундой, дабы он не заметил нашей беспомощности; к счастью, в большинстве случаев нам на помощь приходит организм самого больного и становится сообщником в этом заговоре. Разумеется, Эдит чувствует себя лучше! Любой вид лечения — лимонами или молоком, горячими ваннами или холодными — вызывает поначалу в организме определенные изменения; в результате появляется новый стимул, и больным, этим неискрашиваемым оптимистам, кажется, будто им стало лучше. Такого рода самовнушение — наш лучший союзник, оно помогает даже величайшим осламам среди врачей. Но тут есть одна загвоздка: как только действие нового раздражителя ослабевает, сразу же наступает реакция, — тогда уж не зевай и поскорее придумывай очередную ложь. Вот так и приходится манипулировать нашему брату в труднейших случаях, пока невзначай не нападешь на верный путь. Ваши комплименты не по адресу. Мне лучше известно, как мало я добился по сравнению с тем, чего хотел. Все, что я испробовал, всякие пустяки вроде электризации и массажа не помогли ей встать на ноги в полном смысле слова. Так что не заблуждайтесь на этот счет.

Кондор обвинил себя столь беспощадно, что мне захотелось защитить его от укоров совести.

— Но... я видел своими глазами, — робко возразил я ему, — как она ходит благодаря вашим приспособлениям... эти вытягивающие...

Теперь уже Кондор не сдерживался, он кричал так громко и гневно, что двое запоздалых прохожих

на опустевших улицах оглянулись на нас с любопытством.

— Я же сказал вам, что это ложь, сплошная ложь! Аппараты помогают мне, а не ей! Ее они только отвлекают, вы понимаете— отвлекают!.. Они понадобились не больной, а мне, когда Кекешфальва потерял всякое терпение. Только потому, что я не устоял перед его напором, пришлось впрыснуть старику очередную дозу надежды. Мне не оставалось ничего другого; чтобы смирить ее нетерпение, я вынужден был надеть ей колодки, словно буйному арестанту, хотя в этом не было никакой необходимости... Возможно, они немного укрепляют связки... Так или иначе, мне нужно было выиграть время... Но я не стыжусь, что прибегнул к подобным фокусам, результаты вы видите сами. Эдит внушила себе, что с тех пор она гораздо лучше передвигается, отец рад, что я сумел ей помочь, все восхищаются великим, гениальным чудотворцем, и даже вы вопрошаете меня, словно оракула.

Он замолчал и, сняв шляпу, вытер пот со лба. Затем искоса посмотрел на меня.

— Боюсь, что вам это пришлось не по вкусу! Еще бы — крушение иллюзий; ведь вы представляете себе врача как друга человечества и правдолюбца! Вам, с вашим юношеским воображением, казалось, что врачебная этика — нечто совсем иное, а теперь — думаете, я не замечаю? — вы разочарованы и даже возмущены действительностью. Что ж, весьма сожалею, но медицина не имеет ничего общего с этикой: всякая болезнь — это анархия, это бунт против природы, и в борьбе с ним все средства хороши, *все!* Никакой жалости к больному — больной сам ставит себя hors de la loi<sup>1</sup>, он нарушил порядок, и, чтобы восстановить порядок, восстановить самого больного, надо действовать беспощадно, как при всяком бунте, бить любым оружием — всем, что попадет под руку; ибо еще не было случая, чтобы добро и правда сами по себе исцелили человечество или хотя бы одного-единственного человека. Если обман помогает больному, то это уже не жалкая ложь, а отличное лекарство, и пока я не в силах оказать реальную помощь, мне волею-неволей приходится поддерживать иллюзии. Это тоже

---

<sup>1</sup> Вне закона (франц.).

нелегкая работа, господин лейтенант,— пять лет подряд менять пластинки, тем более, что сам не получаешь большого удовольствия от такой музыки! Так что покорно благодарю за комплименты.

Мы стояли лицом друг к другу, и мне казалось, что этот маленький тучный человек, крайне возбужденный, вот-вот набросится на меня с кулаками, если я осмеюсь противоречить ему. Но в этот миг на темном горизонте вспыхнула синяя молния, и вслед за ней глухо пророкотал гром, будто кто-то, рассердившись, зарычал. Кондор неожиданно рассмеялся:

— Гнев небес — вот вам ответ. Ну, бедняга, вам сегодня досталось, я резецировал все ваши иллюзии одну за другой: сначала о венгерском аристократе, потом о враче — добром и непогрешимом друге и целителе. Теперь вы понимаете, как дорого обходятся мне панегирики старого глупца! Я вообще не терплю сентиментальностей, а тем более когда это связано с Эдит. У меня на сердце кошки скребут оттого, что все идет так медленно и я до сих пор не придумал ничего радикального.

Некоторое время мы шли молча. Потом он снова заговорил, но голос его звучал мягче, чем прежде:

— Впрочем, мне не хотелось бы, чтобы вы подумали, будто я «отказался» от больной, как у нас выражаются. Напротив, я вовсе не намерен отступить, хотя бы это тянулось еще год или пять лет. Кстати, любопытное совпадение. В тот вечер, после заседания общества, я прочитал в парижском медицинском журнале об одном редкостном случае излечения паралича ног: сорокалетний больной целых два года был прикован к постели, и вот после четырехмесячного лечения у профессора Вьенно он настолько поправился, что стал легко подниматься на пятый этаж. Вы только подумайте: за четыре месяца такой блестящий результат, причем в случае, весьма сходном с тем, над которым я бьюсь уже пять лет! Не скрою, я был буквально сражен, когда прочитал это. Правда, мне не совсем ясны причины болезни и метод лечения; видимо, Вьенно использует своеобразный комплекс: лечебная гимнастика, специальная аппаратура и солнечное облучение. По краткой истории болезни, приведенной в статье, мне, конечно, трудно судить, насколько его метод применим для Эдит, но я немедленно

написал профессору Вьенно, попросив его сообщить мне более подробные сведения; вот почему я так тщательно осматривал сегодня Эдит: надо иметь возможность сравнить. Как видите, я не собираюсь спускать флаг — напротив, я даже хватаюсь за каждую соломинку. Кто знает, может быть, новый метод в самом деле что-то даст, я говорю, может быть, но не более, я и так чересчур разоткровенничался. А теперь довольно о моем проклятом ремесле.

В это время мы находились совсем уже близко от вокзала. Разговор подходил к концу, и я решился на последнюю попытку.

— Вы, следовательно, полагаете, что...

Маленький толстый человечек остановился как вкопанный.

— Ничего я не полагаю, — накинулся он на меня, — и никаких «следовательно»! Что вам всем от меня нужно? У меня нет телефонной связи с господом богом. Я ничего не утверждаю, по крайней мере ничего определенного. Я ничего не думаю, не говорю, не обещаю. Я и так слишком распустил язык. И вообще, хватит, баста! Весьма признателен, что проводили меня. А теперь возвращайтесь, да поскорее, не то промокнете до нитки.

И, не подав мне на прощание руки, он, явно раздраженный (я не понимал, почему), быстро, вразвалку зашагал к вокзалу.

**К** ондор был прав. Надвигалась гроза, приближение которой ощущалось уже давно. Грохоча, словно тяжелые, огромные черные ящики, громоздились над трепещущими кронами деревьев тучи, изредка озаряемые бледными вспышками молний. В насыщенном влагой воздухе, то и дело сотрясаемом резкими порывами ветра, пахло гарью. Я поспешил домой. Улицы города, еще несколько минут назад дремавшие в бледном свете луны, преобразились. Стучали, будто вздрагивая в испуге, вывески лавок, беспокойно хлопали двери, стонали дымоходы; в некоторых домах зажигались тревожные огоньки, и тогда тут и там мелькали белые ночные рубашки горожан, предусмотрительно затворявших перед непогодой окна. Редкие запоздалые прохожие, подгоня-

емые страхом, словно ветром, торопливо пробежали по улицам; даже широкая главная площадь, обычно не пустовавшая и в ночное время, на этот раз была безлюдна. Освещенный циферблат часов на ратуше бессмысленным белым взглядом уставился в непривычную пустоту. Как бы там ни было, а я, вовремя предупрежденный доктором Кондором, успею возвратиться домой до начала грозы. Еще два квартала — и за городским садом наша казарма; там наедине с собой я смогу хорошенько поразмыслить обо всем, что мне неожиданно-негаданно пришлось узнать и пережить за последние несколько часов.

В небольшом садике перед казармой было совершенно темно; из-под шелестящей листвы на меня пахнуло тяжелым, удушливым воздухом; временами ветер, шурша, пробежал по ветвям, но затем шелест взбудораженных листьев сменялся еще более зловещей тишиной. Ускоряя шаг, я уже подошел к воротам, как вдруг от дерева отделилась человеческая фигура и выступила из тени на дорожку. Я замедлил шаг, но не остановился — наверное, это проститутка, подумал я, одна из тех, что здесь в темноте обычно подкарауливают солдат. Однако, к своей досаде, я услышал за спиной быстро приближающиеся, крадущиеся шаги и, желая отделаться от бесстыдных приставаний наглой шлюхи, обернулся. В тот же миг ночную тьму прорезала молния, и в ее свете я с ужасом увидел, что следом за мной, тяжело дыша и спотыкаясь, бежит старик: непокрытая седая голова, сверкающие стекла в золотой оправе — Кекешфальва!

Измученный, я в первую минуту не поверил своим глазам. Кекешфальва — в саду перед нашей казармой? Это невероятно! Ведь мы с Кондором всего три часа назад оставили его дома смертельно усталым! Одно из двух: либо у меня галлюцинация, либо старик действительно сошел с ума, встал в горячке с постели и бродит теперь в тонком сюртуке, без пальто и шляпы. Однако, несомненно, это был он. Среди тысячи людей я узнал бы его по этой пришибленной, сгорбленной фигуре, по этой манере приближаться робко и неслышно.

— Ради всего святого, господин фон Кекешфальва, — в недоумении пробормотал я, — как вы тут очутились? Ведь вы пошли спать?..

— Нет... то есть, собственно... я не мог заснуть... Мне хотелось...

— Ступайте скорее домой! Разве вы не видите: вот-вот разразится гроза. Ваш автомобиль здесь?

— Да, там... слева от казармы... Шофер ждет меня.

— Вот и чудесно! Только поторопитесь! Поезжайте быстрее, вы успеете домой как раз вовремя. Идите же, господин Кекешфальва, идите!

И, так как он в нерешительности продолжал стоять на месте, я подхватил его под руку, чтобы отвести к машине. Но он вырвал руку.

— Хорошо, хорошо... Сейчас иду, господин лейтенант... Только... только скажите мне сначала: что он сказал?

— Кто?

Я искренне удивился, не понимая, о ком идет речь. Над нами все яростнее завывал ветер, деревья стонали и гнулись, словно хотели оторваться от корней, каждую минуту мог хлынуть дождь; и, вполне понятно, меня занимала лишь одна-единственная мысль: как отправить домой этого старого, явно помрачившегося рассудком человека, который, казалось, вовсе не замечал приближения грозы? Однако он проговорил почти возмущенно:

— Как кто? Доктор Кондор... Ведь вы провожали его...

И тут только я сообразил. Разумеется, наша встреча в темноте не случайна. Конечно, охваченный нетерпением, старик поджидал меня здесь, в саду, у самой казармы, где я не мог миновать его: он подстерегал меня, чтобы поскорее узнать правду. Два — нет, больше, — три часа метался он в тени деревьев этого жалкого городского садика, где служанки встречаются по ночам со своими любовниками. Очевидно, он рассчитывал, что я сразу провожу Кондора до вокзала и вернусь в казарму; я же, сам того не подозревая, заставил его ждать целых три часа, пока сидел с доктором в погребке, и этот старый, больной человек ждал меня, как ждал некогда своих должников — терпеливо, настойчиво. Его фанатичное упорство и злило и в то же время трогало меня.

— Все обстоит как нельзя лучше, — успокоил я его. — Все будет хорошо, я в этом совершенно уверен. Завтра я

расскажу вам больше, передав все, что говорил доктор, слово в слово. А теперь скорее в машину, нельзя медлить ни минуты

— Иду, иду.

Кекешфальва нехотя повиновался. Я провел его шагов десять или двадцать, как вдруг почувствовал, что он повис на моей руке.

— Минутку,— с трудом проговорил он.— Одну минутку, посидим вот тут, на скамейке. Я... я больше не могу.

И в самом деле, старика шатало, как пьяного. В темноте, при непрерывных раскатах грома, мне едва удалось дотащить его до скамьи. Задыхаясь, он упал на нее. Несомненно, долгое ожидание изнурило его; да и не удивительно: ведь целых три часа этот старик с больным сердцем пробыл на ногах, три часа он не покидал своего поста, беспокойно выслеживая, высматривая меня, и вот теперь, когда ему наконец-то удалось меня настичь, нервное напряжение дало себя знать. Обессиленный, словно сраженный ударом, откинулся он на спинку деревянной скамьи, где в полдень раскладывают свою нехитрую снедь рабочие, под вечер отдыхают приходские священники и беременные женщины, а ночью зазывают солдат проститутки; старый человек, первый богач в городе, сидел передо мной, и ждал, и ждал. Я знал, чего он ждет, я сразу же почувствовал, что этот упрямец (как неприятно, если кто-либо из товарищей увидит меня в столь странном обществе!) не встанет с места до тех пор, пока я не ободрю его. Прежде всего надо попытаться успокоить старика. И снова мною овладела жалость, снова подступила к сердцу проклятая горячая волна, всякий раз делавшая меня таким беспомощным и безвольным. Наклонившись к нему, я начал говорить.

Все вокруг свистело, скрипело, гудело, но старик ничего не замечал. Для него не существовало ни туч на небе, ни дождя — ничего на свете, кроме собственного ребенка и его здоровья; мог ли я заставить себя, строго придерживаясь фактов, сказать в двух словах обессилевшему от волнения старому человеку, что доктор Кондор совсем не уверен в успехе? Ведь бедняге нужно было за что-то ухватиться, как несколько минут назад он, па-

дая, схватился за мою руку. И вот я стал лихорадочно припоминать все, что сулило надежду, то небольшое, что я с таким трудом вырвал у Кондора; я рассказал, что Кондор узнал о новом методе лечения, который во Франции успешно применил профессор Вьенно. И сразу рядом послышался шорох — это старик, безучастно слушавший до сих пор, придвинулся поближе ко мне, словно желая согреться. Собственно, я не имел права еще больше обнадеживать его, но порыв сострадания увлек меня за пределы допустимого. Да, новый метод оказался необычайно эффективным, снова и снова подбадривал я старика, через три-четыре месяца были получены поразительные результаты, и очевидно, — нет, даже наверняка, — это поможет и Эдит. Мало-помалу я увлекся — уж очень благотворно действовали мои слова. Когда старик жадно спрашивал меня: «Вы в самом деле так думаете?» или: «Он действительно это сказал? Он это сам сказал?», — а я, по слабости и от нетерпения, горячо отвечал уверенным «Да!», его навалившееся на меня тело будто становилось легче. Чувствуя, как от моих слов к нему возвращаются силы, я в эти минуты впервые в жизни испытал нечто похожее на радостное опьянение, присущее всякому творчеству.

Чего я тогда наговорил и насулил Кекешфальве, сидя на скамейке, я не помню, да и никогда не вспомню. Ибо чем жаднее он упивался моими словами, тем сильнее я опьянялся желанием обнадеживать его снова и снова. Не обращая внимания на синие вспышки молний и все настойчивее грохотавший гром, мы сидели, тесно прижавшись друг к другу; он весь обратился в слух, а я говорил и говорил, искренне, с убеждением, заверяя его: «Да, она выздоровеет, скоро выздоровеет, это несомненно», — чтобы вновь и вновь слышать в ответ благодарный вздох: «Ах, слава богу», — и разделять со стариком охватившую его радость. И кто знает, сколько бы мы еще так просидели, если бы вдруг не налетел тот последний порыв ветра, который как бы расчищает путь грозе! Со скрипом и треском пригнулись к земле деревья, градом посыпались каштаны, и взвихренная пыль окутала нас сплошным облаком.

— Домой, вам надо ехать домой! — Я рывком поставил его на ноги.



Старика уже не шатало, как прежде. Наш разговор придал ему силы, с суетливой поспешностью он побежал вместе со мной к автомобилю. Шофер помог ему сесть. Только теперь, когда он оказался под крышей, у меня отлегло от сердца. Я утешил его. Наконец-то он, этот старый, сокрушенный горем человек, сможет заснуть глубоким, спокойным, счастливым сном.

Но в тот момент, когда я укрывал пледом его колени, чтобы он не простыл, случилось нечто ужасное. Неожиданно старик крепко схватил мои руки и, прежде чем я успел опомниться, прижал их к губам и поцеловал, сначала правую, потом левую, и опять правую, и опять левую.

— До завтра, до завтра,— запинаясь, проговорил он, и автомобиль резко взял с места, словно подхваченный порывом ледяного ветра. Я оцепенел. Однако первые капли уже шлепнулись на мостовую, и по моей фуражке сразу застучало, забило, забарабанило; последние полсотни шагов мне пришлось бежать под проливным дождем. Едва я, промокнув до нитки, достиг казарменных ворот, как сверкнула молния, выхватив улицу из мрака непогоды, и вслед за ней прогрехотал гром с такой силой, точно небо обрушилось на землю. Ударило где-то совсем близко; я почувствовал, как дрогнула почва под ногами, а оконные стекла зазвенели, будто рассыпаясь вдребезги. И, хотя я остолбенел, ослепленный этой внезапной вспышкой, во мне не было и сотой доли того ужаса, который обуял меня минуту назад, когда старик в порыве неистовой благодарности схватил мои руки и припал к ним губами.

**П**осле сильных потрясений сон глубокий и крепкий. Только на следующее утро по тому, как я просыпался, мне стало ясно, до какой степени я был оглушен предгрозовой духотой и в не меньшей мере напряженным ночным разговором. Я словно вынырнул из каких-то бездонных глубин и, с удивлением увидев перед собой привычные стены казармы, безуспешно силился вспомнить, когда и каким образом я провалился в эту темную пропасть сна. Однако восстановить в памяти все по порядку у меня не было времени, ибо та часть созна-

ния, которая независимо от моего «я», продолжала нести армейскую службу, сразу подсказала мне, что на сегодня назначены специальные учения. Снизу уже доносились звуки горна, слышался топот лошадей, в комнате суетился денщик, и я понял, что медлигь больше нельзя. Схватив лежавшее под рукой обмундирование, я в два счета оделся, сунул в рот сигарету и кубарем скатился с лестницы во двор. Минуту спустя раздалась команда «Марш!», и эскадрон двинулся в путь.

На марше, в походной колонне, ты не существуешь как самостоятельная личность: под дробный цокот сотен копыт невозможно предаваться размышлениям и грезам; вот и я ощущал сейчас только быструю рысь и наслаждался погожим летним днем, о каком можно лишь мечтать. На омытом дождем небе ни облачка, ни дымки, солнце горячее, но не палящее, все контуры пейзажа очерчены с удивительной рельефностью. Каждый дом, каждое поле, каждое дерево — даже самое дальнее — вырисовывается так ясно и четко, что кажется, стоит лишь протянуть руку, и ты коснешься его; все вокруг: горшок ли цветов на окне, завиток ли дыма над крышей — благодаря прозрачному воздуху и светящимся краскам как будто еще настойчивее заявляет о своем существовании. Я едва узнавал надоевшее нам шоссе, по которому мы каждую неделю трусили одним и тем же аллюром к одной и той же цели, — так пышно распустилась и ярко зазеленела листва, раскинувшаяся над нами точно свежескрашенным сводом. Необыкновенно ловко и свободно сидел я в седле; тревог и сомнений, угнетавших меня последние дни, словно и не бывало; думается, редко когда мне все так удавалось, как в то сверкающее летнее утро. Все шло легко, как бы само собой, все радовало меня: и небо, и луга, и добрые горячие кони, чутко слушавшиеся малейшего движения поводьев, и даже мой собственный голос, когда я отдавал команду.

Но острое ощущение счастья, как и все хмельное, усыпляет рассудок, и мы, наслаждаясь настоящим, забываем о прошлом. Так и мне, когда я под вечер, ослеженный многочасовой скачкой, снова направился в усадьбу, ночная встреча стала казаться чем-то далеким и смутным; я наслаждался блаженным ощущением душев-

ного покоя и радовался счастьем других, ибо, когда человек счастлив, ему кажется, что и все вокруг него счастливы.

И в самом деле, не успел я постучаться в хорошо знакомую дверь, как слуга — обычно бесстрастно почтительный — уже приветствовал меня с какой-то особенной теплотой в голосе.

— Осмелюсь предложить господину лейтенанту подняться на террасу, — сразу же заговорил он. — Барышни уже ждут вас наверху.

Однако почему так дрожат его руки, почему он смотрит на меня такими сияющими глазами? Почему он так суетливо забегает вперед? Что с ним? — невольно спрашиваю я себя, поднимаясь по винтовой лестнице, ведущей на террасу. Что это с ним сегодня, с нашим старым Йозефом? Ему просто не терпится поскорее проводить меня наверх. Что же такое произошло?..

Но как хорошо чувствовать себя переполненным радостью в этот сияющий июньский день и крепкими молодыми ногами бодро шагать вверх по лестнице, рассматривая через боковые окна то с севера, то с юга, то с востока, то с запада уходящий в бесконечность летний пейзаж. Мне остается пройти последние десять — двенадцать ступенек, как вдруг я замираю от неожиданности. Странно, темная спираль лестничной клетки внезапно наполняется чарующей танцевальной мелодией; звуки скрипок и вторящих им виолончелей заглушаются звонкими трелями женских голосов. Я озадачен. Откуда здесь музыка, откуда эта, точно льющаяся с неба модная опереточная ария, такая близкая и вместе с тем далекая, такая призрачная и все же земная? Быть может, по соседству, в саду какого-нибудь трактира, играл оркестр, а ветер донес сюда последний, замирающий аккорд? Но уже в следующий миг мне становится ясно, что оркестр-невидимка играет на террасе: это не что иное, как самый обыкновенный граммофон. «Что за ерунда! — думаю я. — Сегодня мне все кажется заколдованным, и я отовсюду жду чудес; вряд ли на такой маленькой терраске уместился бы целый оркестр!» Однако, поднявшись еще на несколько ступенек, я опять сомневаюсь. Что там, наверху, играет граммофон, бесспорно, но — голоса! Они звучат слишком естественно и непод-

дельно, чтобы их источником мог быть гудящий музыкальный ящик. Нет, это живые девичьи голоса, полные веселого, молодого задора!

Я остановился и прислушался. Сочное сопрано — это, конечно, голос Илоны, полнозвучный, красивый и мягкий, как ее руки; но другой — кому принадлежит другой голос? Я его не знаю. Скорее всего Эдит пригласила в гости одну из своих подруг, совсем молоденькую, бойкую девчонку, — меня так и подмывает быстрее проскочить последние ступеньки и увидеть щебетунью-ласточку, неожиданно залетевшую на старую башню. Каково же было мое изумление, когда я, войдя на террасу, обнаружил там лишь Илону и Эдит, сидевших рядом. Так, значит, это она, Эдит, смеялась и напевала совершенно новым, словно вырвавшимся на волю серебристо-звонким голосом? Я несказанно удивился, особенно потому, что в такой перемене, происшедшей за ночь, было, на мой взгляд, что-то противоестественное: беспечно распевать от избытка счастья способен лишь здоровый, не знающий забот человек, а вместе с тем не могла же больная выздороветь за одну ночь — разве только действительно свершилось чудо! Почему она так возбуждена, недоумеваю я, что привело ее в такой восторг, отчего из ее груди, из ее души так и рвется песня веры и надежды? В первую минуту меня охватило чувство, которое трудно передать словами; это было, я бы сказал, чувство неловкости, точно я застал девушку обнаженной; ведь одно из двух: либо больная до сих пор скрывала от меня свою подлинную натуру, либо — но тогда отчего и каким образом? — она за одну ночь стала совершенно другим человеком.

Однако, к моему удивлению, обе девушки, заметив меня, ничуть не смутились.

— Сейчас! — крикнула Эдит мне и тут же Илоне: — Останови граммофон, скорее! — Затем жестом подозвала меня к себе. — Наконец-то, наконец-то! Я вас совсем заждалась. Ну-ка выкладывайте все, все, и по порядку... Папа все так перепутал, что я совершенно растерялась... Вы же знаете, когда он волнуется, от него не добьешься толку. Вы подумайте, он пришел ко мне среди ночи! Эта ужасная гроза не давала мне спать, из окна дуло, я совсем очочена, а подняться с постели я не

могла. Мне так хотелось, чтобы кто-нибудь проснулся, пришел и закрыл окно, как вдруг я слышу шаги, все ближе и ближе. Сперва я испугалась — время позднее, два-три часа ночи — и даже не сразу узнала папу, он был сам на себя не похож. А он как бросится ко мне... Если б вы видели его в эту минуту, он и смеялся и плакал... Вы только представьте, папа вдруг смеется, громко смеется, да еще приплясывает на месте, как мальчишка! Не удивительно, что, когда он начал рассказывать, у меня голова пошла кругом, сначала я ничему не поверила... Ему, наверное, приснилось, подумала я, или мне самой все это снится. Но тут прибежала Илона, и мы болтали и смеялись до самого утра... Но говорите же наконец, что это за новый метод лечения?

Как человек, захлестнутый мощной волной, напрасно старается устоять на ногах, так и я тщетно пытался преодолеть овладевшее мною смущение. Ее последние слова мгновенно объяснили мне все. Так, значит, я, я один пробудил в ней этот новый, звонкий голос, я один вдохнул в нее эту злосчастную уверенность в выздоровлении. Отец, должно быть, рассказал ей все, чем поделился со мной доктор Кондор. Но что, собственно, он мне сказал?.. И что из услышанного я передал Кекешфальве? Ведь Кондор говорил очень осторожно, а я... что же я, жалостливый дурак, умудрился приплести к его словам, отчего теперь ликует весь дом, старик помолодел, а больная возомнила себя исцеленной? Как же я...

— Ну? В чем дело... что вы там мешкаете? — торопила меня Эдит. — Вы же понимаете, как важно для меня каждое слово. Итак, что вам сказал Кондор?

— Что он мне сказал? — повторил я, стараясь выиграть время. — Да вам и так уж известно... Все обстоит вполне благоприятно... Со временем доктор Кондор надеется на самые лучшие результаты... Он намерен, если не ошибаюсь, испробовать новый метод лечения и уже наводит о нем справки... говорят, это очень эффективный метод... если... если я правильно понял!.. разумеется, я не берусь судить, но, во всяком случае, вы можете смело положиться на доктора, если он... я думаю, я уверен, что он все сделает, как надо...

Но она или не замечала моей уклончивости, или ее нетерпение сметало все преграды.

— Ага! Я всегда говорила, что так мы не далеко уйдем. В конце концов себя-то знаешь лучше всех... Помните, я сказала, что все это чепуха, все эти массажи, электризации и вытягивания?.. Скоро от них толку не дожدهшься, а разве я могу долго ждать?.. Вот видите — я уже сегодня, без его разрешения, сняла дурацкие ходули... Вы просто не представляете, какое это облегчение... Без них мне стало куда удобнее... Я уверена, что они-то, проклятые деревяшки, и мешали мне ходить. Нет, я давно чувствовала, что нужно начинать с другого конца... Но... расскажите поскорей о новом методе французского профессора!.. И разве мне обязательно ехать туда? Нельзя ли проделать все здесь?.. О, как мне опротивели эти санатории! И вообще — я не желаю видеть никаких больных! Хватит с меня самой себя!.. Ну, что ж вы молчите?.. Рассказывайте!.. И прежде всего — сколько потребуется на это времени? Правда, что все проходит так быстро? Папа говорит, что профессор в четыре месяца вылечил одного пациента, и теперь тот может бегать по лестницам... Это... это невероятно! Ну что вы сидите, словно воды в рот набрали, говорите же!.. Когда он думает начать и сколько на это уйдет времени?

«Стоп! — говорю я себе. — Во что бы то ни стало надо помешать ей окончательно поверить, будто успех обеспечен; это было бы безумием». И я осторожно иду на пятый:

— Какой-то определенный срок... разумеется, ни один врач не может сказать наперед, какой именно. Я не думаю, чтобы его можно было определить сейчас... Видите ли... господин доктор говорил о новом способе лечения лишь в самых общих чертах... что оно будто бы дает блестящие результаты, но кто знает, является ли этот способ абсолютно надежным... я хочу сказать, что это нужно испробовать в каждом отдельном случае... и все-таки следует подождать, пока господин Кондор...

Однако в пылу восторга она отвергла мои робкие возражения.

— Ах, вы просто его не знаете! Из него никогда не вытянешь ничего определенного, вечно он осторожничаает. Зато если пообещает хотя бы наполовину, тогда уже все пойдет хорошо. На него можно положиться. Вам не понять, до чего мне хочется покончить со всем этим

или по крайней мере иметь уверенность, что когда-нибудь наступит конец!.. А мне все твердят: терпение и терпение! Но в конце концов должен же человек знать, сколько ему еще надо терпеть. Положим, мне бы сказали: еще полгода, год. Хорошо, ответила бы я, согласна, буду делать все, что от меня потребуют... Ну, да слава богу, наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки! Вы не представляете себе, как легко у меня на душе после разговора с папой. У меня такое ощущение, будто я только начинаю жить. Сегодня утром мы ездили в город. Вас это удивляет? Но теперь, когда я знаю, что цель близка, мне совершенно все равно, что думают и говорят обо мне люди, даже если они смотрят мне вслед с жалостью... Теперь я буду выезжать каждый день, чтобы доказать самой себе, что настал конец всем этим дурацким «потерпи» и «подожди». А завтра, в воскресенье, вы ведь свободны, завтра мы задумали нечто грандиозное. Папа обещал мне, что мы поедем на конный завод. Я не была там почти пять лет... я вообще не хотела выходить из дому. Но завтра мы едем, и вы, конечно, поедете с нами. Вы будете поражены, мы с Илоной приготовили вам сюрприз. Или,— она, смеясь, повернулась к Илоне,— выболтаем уже сейчас нашу великую тайну?

— Да,— засмеялась Илона,— не надо больше никаких секретов.

— Так слушайте же, друг мой: папа хотел, чтобы мы поехали в автомобиле. Но это было бы слишком быстро и скучно. И тут я вспомнила, что наш Йозеф рассказывал о придурковатой княгине — ну та, знаете, которой раньше принадлежала усадьба, такая противная старуха! Она, оказывается, всегда выезжала в огромной разукрашенной карете, что стоит у нас в сарае... Лишь для того, чтобы показать всем, что она княгиня, каждый раз запрягали четверку лошадей, даже если надо было добраться всего-навсего до вокзала. Во всей округе никто не отваживался так ездить... Воображаете, какая будет потеха — мы в экипаже достопочтенной покойницы! К тому же и старый кучер, ее фактотум, еще жив... Ах да, вы не знаете его, он в отставке с тех пор, как мы обзавелись автомобилем. Вам надо было бы видеть его: бедняга от старости еле держится на ногах, но когда ему сказали, что мы хотим прокатиться в карете, он тут же

приковылял и даже всплакнул оттого, что ему еще раз в жизни доведется сесть на козлы... Все уже подготовлено, в восемь утра мы выезжаем... Встать придется рано, и вы, конечно, переночуете у нас. Не вздумайте отказываться! Вам отведут славную комнатку внизу, а Пишта принесет из казармы все необходимое — кстати, завтра он будет наряжен в ливрею, как при княгине... Нет, нет, никаких возражений! Вы непременно должны доставить нам это удовольствие, непременно, и никаких отговорок...

И так без передышки, не умолкая. Я все еще не мог прийти в себя от удивительной перемены, происшедшей в Эдит. Ее голос звучал совсем по-другому; речь, обычно нервная, текла легко и плавно, порывистых жестов как не бывало; хорошо знакомое лицо неузнаваемо преобразилось — болезненная желтизна уступила место свежему, здоровому румянцу. Уж не была ли чуть пьяна эта девушка с искрящимися глазами и смеющимся ртом? Хмель охватившего ее восторга невольно опьянил и меня, ослабив мое внутреннее сопротивление. Быть может, обманывал я себя, все это так и есть или по крайней мере *будет*? Быть может, я вовсе не ввел ее в заблуждение, быть может, ее и в самом деле удастся быстро вылечить? В конце концов то, что я сказал, не было чистой ложью или было ею в очень незначительной мере. Ведь Кондор действительно читал о каком-то поразительном исцелении — так почему бы судьбе не даровать его этому пылкому и трогательно доверчивому ребенку, этому впечатлительному существу, столь осчастливленному и окрыленному одним лишь проблеском надежды на выздоровление? Зачем сдерживать наплыв чувств, переполнивших ее душу радостью, зачем терзать ее сомнениями, когда она, бедняжка, и без того уже намучилась? Подобно тому, как воодушевление, вызванное словами оратора, в свою очередь, передается ему самому, так и чувство уверенности, единственным источником которого была моя жалость и порожденные ею преувеличения, все сильнее и сильнее овладевало мною. И когда наконец пришел Кекешфальва, он застал нас всех в самом радужном настроении: мы болтали и строили всяческие планы, словно больная уже выздоровела. Где она вновь будет учиться верховой езде, спрашивала Эдит, не смо-



гут ли у нас в полку помочь ей в этом? И не следует ли уже сейчас отдать священнику деньги на новую крышу для церкви, которые обещал ему отец? Говорить обо всем этом, как будто ее выздоровление — решенное дело, было безрассудно, дерзко, но девушка смеялась и шутила с такой беззаботностью, что голос протеста во мне окончательно умолк. И только вечером, когда я остался один в своей комнате, в сердце слабыми толчками зашевелилось беспокойство: не слишком ли несбыточными надеждами обольщает она себя? Не лучше ли развеять опасные иллюзии? Однако я тут же отогнал эту мысль. Не все ли равно, сказал ли я слишком много или слишком мало? Пусть даже я обещал больше, чем мне могла позволить совесть, — ведь эта ложь из сострадания сделала ее счастливой, а счастье, подаренное человеку, никогда не может быть виной или несправедливостью.

Уже ранним утром зазвучала веселая увертюра к предстоящей экскурсии. Первое, что я услышал, когда проснулся в своей чистенькой, ярко освещенной солнцем комнате, были смеющиеся голоса. Я подошел к окну и увидел огромный дорожный экипаж старой княгини, окруженный глазеющей дворней, по-видимому, его еще ночью выкатили из каретного сарая; это был великолепный музейный экземпляр, сделанный сто лет или даже полтора ста назад в мастерской венского придворного каретника по заказу одного из предков княгини. Массивные колеса несли на себе кузов, защищенный от толчков искусно поставленными рессорами и разрисованный наивными пасторальными сценками и античными аллегориями в стиле старинных обоев; некогда живые краски заметно выцвели и потускнели. Внутри обитой шелком кареты имелись хитроумные приспособления и всякого рода удобства в виде откидных столиков, зеркалец и парфюмерных флаконов — во время поездки мы получили возможность детально ознакомиться с ними. Гигантская игрушка минувшего века производила впечатление чего-то нереального, маскарадного, но именно это и вызвало то веселое карнавальное настроение, с которым слуги и дворня приводили в готовность тяжеловесный корабль проселочных дорог. Машинист сахарного за-

вода с особым рвением смазывал колеса и стучал молотком по железным ободам, пробуя их прочность, а старый Йонек, бывший кучер, с достоинством поучал дворовых слуг, которые запрягали четверку лошадей, украшенных пышными султанами, словно для свадебного кортежа. Облаченный в выцветшую княжескую ливрею, Йонек с поразительной быстротой передвигался на подагрических ногах и показывал свое умение молодежи, которая могла кататься на велосипедах и управлять мотором, но не имела понятия о том, как запрячь четверку цугом. Тот же Йонек подробно растолковал повару еще накануне вечером, насколько необходимо для поддержания чести дома, чтобы во время пикника на лоне природы — будь то на лугу или в самом отдаленном уголке леса — закуска была сервирована так же пышно и безукоризненно, как и в столовой усадьбы. И вот сейчас под его присмотром слуга укладывал камчатные скатерти, салфетки и столовое серебро в украшенные гербами футляры из бывших княжеских кладовых. Лишь после того, как все это было погружено, сияющий повар в белоснежном колпаке получил наконец разрешение нести провизию: жареных цыплят, ветчину, паштеты, свежеиспеченные булки и целую батарею бутылок, предусмотрительно обернутых соломой, дабы они не пострадали от ухабов на проселочных дорогах. За сервировку стола отвечал помощник повара, молодой парень, который должен был занять место на запятках — там, где в прежние времена рядом с ливрейным лакеем стоял княжеский гайдук в шляпе с яркими перьями.

Благодаря всем этим церемониям подготовка к отъезду приобрела характер веселого театрального представления; а так как весть о необыкновенной экскурсии быстро облетела окрестности, то наш импровизированный спектакль не испытывал недостатка в зрителях. Из ближайших деревень пришли крестьяне в ярких воскресных костюмах, из соседней богадельни притащились сморщенные старушки и седенькие старички с неизменными глиняными трубками в зубах. Но наибольший интерес проявляли босоногие ребяташки, сбегавшиеся со всей округи; зачарованные происходящим, они не сводили глаз с разукрашенных лошадей и кучера, уверенно державшего в своей старческой, но еще крепкой руке

длинные, замысловато переплетающиеся вожжи. Не меньший восторг вызывал у них Пишта, которого все привыкли видеть в синей шоферской форме; сейчас он стоял в старинной княжеской ливрее, держа наготове серебряный охотничий рог, чтобы дать сигнал к отправлению. Выйдя после завтрака в аллею, мы не без удовлетворения отметили, что выглядим гораздо менее торжественно, чем парадная колесница и лакеи в полном блеске. Кекешфальва даже казался смешным, когда он, похожий в своем неизменном сюртуке на черного аиста, прошагал на негнущихся ногах к украшенной чужими гербами карете; юных дам хотелось бы видеть в костюмах эпохи рококо: напудренные парики, мушки на щеках, пестрые веера в руках, да и мне самому скорее бы подошел белоснежный верховой костюм времен Марии-Терезии, чем голубой уланский мундир. Но и без этого маскарада глазам собравшихся открылось достаточно помпезное зрелище, когда мы наконец заняли свои места в неуклюжем ящике на колесах. Пишта поднес к губам охотничий рог, и над толпой, возбужденно кричавшей и махавшей руками, разнесся чистый, высокий звук; бич, взвившись в воздух и описав огромную петлю, хлопнул, точно выстрел. Громоздкая карета рывком двинулась с места, и мы, смеясь, попадали друг на друга, но мгновение спустя наш доблестный кормчий ловко направил четверку лошадей в распахнутые ворота, которые вдруг показались пугающе узкими, и мы благополучно выбрались на шоссе.

Не удивительно, что на всем пути нас провожали не только любопытные, но и почтительные взгляды. Уже десятки лет в округе никто не видел княжеской четверки, и ее неожиданное появление показалось крестьянам чуть ли не сверхъестественным событием. Возможно, они думали, что мы едем ко дворцу, или что прибыл сам император, или случилось еще что-нибудь невероятное, так как повсюду точно ветром сметало шапки с голов, а босоногая детвора бежала за нами с восторженными криками; когда навстречу попадалась груженная сеном телега или легкая бричка, ее владелец проворно спрыгивал с козел и, сняв шапку, придерживал своих лошадей, уступая нам путь. Мы были полновластными хозяевами дороги; нам принадлежало все — как во времена феода-

лов: и эта прекрасная тучная земля с волнующимися тивами, и животные, и люди. Правда, наша гигантская коляска не была приспособлена для быстрой езды, но зато мы имели возможность ко многому приглядеться и волю посмеяться, и этим в полной мере воспользовались обе девушки. Юность всегда находит очарование во всем новом и необычном, а в последнем у нас недостатка не было: нелепая карета, подобострастная почтительность, с какой люди встречали наш старомодный выезд, и десятки других мелких происшествий пьянили обеих девушек не меньше, чем солнце и воздух. Особенно Эдит, которая уже несколько месяцев не выходила понастоящему из дома, шумно радовалась чудесному летнему дню, искрясь безудержным весельем.

Первую остановку мы сделали в небольшой деревеньке, когда колокола зазвонили к воскресной службе. С разных концов по узким полевым тропкам к церкви спешили запоздавшие; над высокой пшеницей виднелись лишь черные шелковые шляпы мужчин и яркие, расшитые чепцы женщин. Цепочки людей среди волнующегося моря золотых колосьев издали напоминали ползущих гусениц. Когда наша карета, распугав встревоженно гогочущих гусей, въехала на пыльную главную улицу, колокола смолкли: воскресная служба началась. И тут Эдит — совершенно неожиданно — потребовала, чтобы мы прослушали мессу.

Трудно описать переполох, вызванный в деревне тем, что необычный экипаж остановился на скромной рыночной площади и что магнат, которого здесь знали лишь понаслышке, вместе со своей семьей — к ней, по-видимому, причисляли и меня — изъявил желание помолиться в деревенской церкви. Служка выбежал нам навстречу, словно бывший Каниц был настоящим князем Оршваром, и угодливо доложил, что священник подойдет с началом мессы; почтительно склонив головы, люди расступались перед нами и растроганными взглядами провожали Эдит, которую вели, поддерживая с двух сторон, Йозеф и Илона. Простых людей всегда поражает, когда они видят, что судьба осмеливается наносить жестокие удары и богачам. По рядам пронесся шепот, несколько женщин куда-то побежали и вскоре вернулись с подушками, чтобы больная могла ус-

троиться поудобнее — разумеется, на передней скамье, которую тут же освободили; казалось даже, что священник из-за нашего присутствия начал службу по-особому торжественно. Меня сильно взволновала трогательная простота этой маленькой церкви; в звонком пении женщин, грубовато и неловко поддерживаемом мужчинами, в наивных голосах детей звучала чистая, идущая от сердца вера; воскресные мессы в соборе св. Стефана или в церкви августинцев, к которым я привык с детства, бывали величественней, но им недоставало того, что я услышал здесь. Однако мое собственное молитвенное настроение сразу же пропало, когда я случайно взглянул на сидевшую рядом Эдит: она молилась с таким неистовым жаром, что мне стало страшно. Никогда прежде не замечал я в ней ни малейшего намека на набожность, но тут я оказался очевидцем молитвы, которая не могла быть привычкой, как у многих. Наклонив голову и вцепившись руками в скамью, девушка словно боролась с ураганным ветром; уйдя в себя и бессознательно бормоча вместе со всеми слова молитвы, она произвела впечатление человека, решившегося во что бы то ни стало — полным напряжением всех сил — добиться желаемого. Временами я чувствовал, как дрожит темная церковная скамья, — мертвое дерево отзывалось на безудержный трепет молитвенного экстаза. Я тотчас понял, что Эдит просила бога о чем-то определенном, она чего-то хотела от него. И нетрудно было догадаться, чего именно жаждала парализованная девушка.

Когда после окончания службы мы усадили Эдит в карету, она еще долго оставалась целиком погруженной в себя. Она больше не поглядывала с радостным любопытством по сторонам; казалось, эти полчаса ожесточенной внутренней борьбы опустошили и утомили ее. Молчали, разумеется, и мы. Так, в навевающей дремоту тишине, мы подъехали перед самым полуднем к конному заводу.

Как и следовало ожидать, здесь нам устроили торжественную встречу. Парни из ближайших деревень, явно предупрежденные о нашем приезде, моментально вскочили на необъезженных лошадей и диким галопом вылетели нам навстречу, будто живая иллюстрация к арабским сказкам. Любо было смотреть на них: опален-

ные солнцем лица, рубахи навывпуск, широкие белые штаны, развевающиеся яркие ленты на низко надвинутых шляпах; с веселым гиканьем неслись они на неоседланных лошадях, словно орда бедуинов, готовая растоптать нас копытами. Уже тревожно прыдали ушами наши коняги, уже старый Йонек, упершись ногами, изо всех сил натягивал вожжи, как вдруг раздался чей-то свист; дикая конница ловко построилась в колонну, и озорной эскорт проводил нас к дому управляющего заводом.

Мне, опытному кавалеристу, было здесь на что посмотреть. Девушкам показали новорожденных жеребят, и они, не переставая, восторгались тем, как пугливые, но любопытные животные, еще нетвердо державшиеся на длинных, тонких ногах, тыкались глупыми мордами в протянутый им сахар. Пока мы все предавались столь интересным занятиям, повар под заботливым руководством Йонекса накрыл роскошный стол на свежем воздухе. Вино оказалось вкусным и крепким, и вскоре наше веселье стало безудержным. Никогда еще мы не болтали так дружески непринужденно; в эти часы, светлые, как голубой шелк раскинувшегося над нами безоблачного неба, мое настроение ни разу не омрачилось мыслью о том, что хрупкую девушку, которая смеялась от всего сердца, громче и веселее всех нас, я прежде видел страдающей и отчаявшейся или что пожилой человек, который, как настоящий ветеринар, осматривал лошадей, шутил с конюхами и совал им чаевые, всего лишь два дня назад, обезумев от страха, подстерегал меня ночью в саду. Да и я самого себя едва узнавал — такую легкость ощущал я во всем теле. После обеда, пока Эдит отдыхала в комнате жены управляющего, я попробовал объезжать лошадей. Я скакал по лугам наперегонки с молодыми парнями и, дав волю коню и себе самому, испытывал неведомое мне до сих пор ощущение свободы. Ах, если бы можно было остаться здесь, среди широкого раздолья, никому не подвластным, вольным, как птица! Мое сердце слегка сжалось, когда донесся (я успел ускользнуть очень далеко) зов охотничьего рога, напомнивший, что мне пора возвращаться.

Предусмотрительный Йонек выбрал для обратного пути другую дорогу, очевидно, не только ради разнообразия, но и потому, что она проходила через небольшой

лесок, тень которого сулила прохладу. И так уж счастливо складывалось все в этот удачный день, что здесь нас ждал еще один, последний, самый неожиданный сюрприз. Въехав в маленькую деревушку, насчитывавшую не более двадцати дворов, мы увидели, что ее единственная улица забита пустыми повозками. Мы остановились в ожидании, пока освободят дорогу; но странно, вокруг не было ни души — все как сквозь землю провалились. Причина загадочного и слишком уж воскресного безлюдья вскоре выяснилась. Едва огромный бич в умелой руке Йонекса со звуком пистолетного выстрела рассек воздух, как сразу же сбежались люди. Оказалось, что в деревне справляли свадьбу: сын местного богатея женился на бедной родственнице из другого села. С противоположного конца улицы, где находилась рига, специально убранная для танцев, примчался отец жениха; запыхавшийся толстяк побагровел от усердия, приветствуя нас. Кто знает, может, он и впрямь вообразил, будто всем известный владелец усадьбы Кекешфальва вознамерился почтить своим присутствием свадебное торжество и ради этого нарочно велел запрячь экипаж четверкой, а может, просто из тщеславия решил использовать наш случайный приезд, чтобы лишний раз поважничать перед односельчанами. Так или иначе, пока расчищали дорогу, он, не переставая кланяться, покорнейше просил господина фон Кекешфальву и других господ сделать милость пожаловать к столу и осушить за здоровье молодых чарку доброго венгерского вина из его собственного погреба; мы же, со своей стороны, были в слишком хорошем расположении духа, чтобы ответить отказом на подобное приглашение. Эдит осторожно вывели из кареты, и мы, сопровождаемые удивленными взглядами и перешептыванием, словно триумфаторы, прошествовали сквозь расступившуюся толпу в импровизированный танцевальный зал.

В обоих концах риги возвышались помосты из досок, положенных на пустые пивные бочки. На правом помосте за длинным столом, накрытым белым домотканым холстом и обильно уставленным бутылками и блюдами, восседали новобрачные, а рядом с ними — ближайšie родственники и, конечно, местная знать: священник и жандарм. Слева устроились музыканты — уса-

тые цыгане весьма романтической наружности: скрипки, контрабас и цимбалы; в центре, на утрамбованной площадке тока, предназначавшейся для танцев, толпились остальные гости, а детвора, для которой не нашлось места в переполненном помещении, заглядывала в дверь или, забравшись в качестве безбилетных зрителей на стропила, сидела там, болтая ногами.

Разумеется, родственники победнее тотчас же ретировались, освободив для нас места на почетном помосте, и мы, к удивлению окружающих, не ожидавших такого от высокопоставленных гостей, непринужденно уселись за стол вместе со всеми. Спотыкаясь от волнения, отец жениха сам принес огромный кувшин с вином, наполнил до краев кружки и гаркнул тост: «За здоровье господина фон Кекешфальвы!» — тотчас же подхваченный многоголосым эхом, прокатившимся чуть ли не по всей улице. Затем он подтащил к нам своего сына и его молодую супругу. Застенчивая, несколько широковатая в бедрах девица выглядела очень трогательно в ярком праздничном наряде и белом миртовом венке; покраснев от смущения, она неумело сделала книксен Кекешфальве и почтительно поцеловала руку Эдит, которую это явно растревожило. Юные девушки всегда ощущают смещение при виде свадебной церемонии, ибо в такие минуты душой их овладевает таинственное чувство солидарности пола. Зардевшись, Эдит притянула к себе новобрачную и обняла ее, потом, словно опомнившись, сняла с пальца кольцо — старинное, тонкое, не очень дорогое — и отдала его девушке, совершенно растерявшейся от этого неожиданного дара. Молодая испуганно посмотрела на свекра, как бы спрашивая у него разрешения принять такой драгоценный подарок, и, едва тот с важностью кивнул в знак согласия, разразилась счастливыми слезами. И снова на нас хлынул поток восторженной благодарности. Со всех сторон теснились люди, простые и не избалованные судьбой; никто из них не осмеливался заговорить с «благородными господами», хотя всем им хотелось — это было видно по их взглядам — чем-нибудь выразить свою признательность. Старая хозяйка, плача от радости, сновала в толпе от одного к другому, ничего не видя перед собой, совершенно ослепленная честью, которая выпала на долю ее сына, а сам жених в



полном замешательстве тарашил глаза то на невесту, то на нас, то на свои начищенные до блеска сапоги «бутылками».

Мы уже начали испытывать неловкость, когда Кекешфальва нашел самый разумный выход из создавшегося положения. Сердечно пожав руку хозяину, жениху и нескольким почетным гостям, он попросил их не прерывать праздника из-за нас. Пусть молодые люди танцуют и веселятся сколько душе угодно, нам это доставит самое большое удовольствие. Он подозвал первую скрипача, который, держа инструмент под мышкой, застыл в почтительном поклоне, и, бросив ему кредитку, велел начинать. Должно быть, кредитка была не маленькой, потому что парень, как ужаленный, бросился к эстраде, моргнул музыкантам, и все четверо ударили по струнам с удалью, свойственной лишь венграм и цыганам. При первом же аккорде цимбал всеобщую скованность как рукой сняло. Моментально образовавшиеся пары пустились в пляс, еще более бурный и неистовый, чем прежде, ибо с неосознанным тщеславием парни и девушки стремились показать нам, как умеют танцевать настоящие венгры. Минуты не прошло, как весь зал, в котором только что царило благоговейное молчание, превратился в сплошной вихрь подпрыгивающих, взлетающих, разгоряченных тел; даже на нашем столе каждый такт отдавался звоном кружек — с таким жаром и самозабвением отплясывала воодушевившаяся молодежь.

Эдит блестящими глазами смотрела на эту сутолоку. Неожиданно она дотронулась до моей руки.

— Вы тоже должны танцевать! — приказала она.

На мое счастье, невеста еще не была втянута в общий водоворот; по-прежнему растерянная, она не сводила глаз с подаренного кольца. Когда я поклонился ей, приглашая на танец, она зарделась, смущенная столь высокой честью, но охотно последовала за мной. Наш пример придал смелости жениху; настойчиво подталкиваемый своим отцом, он решился пригласить Илону. И вот уже цимбалист, словно одержимый, набрасывается на свой инструмент, а первый скрипач, черноусый дьявол, еще безжалостнее терзает струны скрипки; я уверен, что здесь никогда не видели и не увидят больше такой бешеной пляски, как на этой свадьбе.

Но рог изобилия, из которого на нас сыпались всевозможные сюрпризы, еще не опустел. Соблазненная богатым подарком, сделанным невесте, к помосту протиснулась старуха цыганка — одна из тех, без которых редко обходятся подобные празднества, — и стала горячо уговаривать Эдит, чтобы она позволила погадать ей по руке. Эдит смутилась. Ею овладело любопытство, но она стеснялась принимать участие в шарлатанстве на глазах у стольких зрителей. Я быстро пришел ей на помощь, деликатно оттеснив от стола господина фон Кекешфальву и всех остальных, чтобы никто не мог подслушать ни слова из таинственных пророчеств; теперь уж любопытным не оставалось ничего другого, как, посмеиваясь, издали наблюдать за происходящим. Опустившись на колени и бормоча какую-то тарабарщину, гадалка взяла руку Эдит и принялась изучать ее; вряд ли кто в Венгрии не знает уловки, к которой постоянно прибегают эти искусительницы: чем заманчивее предсказание, тем щедрее награда. Однако Эдит, к моему удивлению, казалась взволнованной тем, что хриплой скороговоркой нашептывала ей старая карга, я заметил, как затрепетали ее ноздри, что всегда бывало у нее признаком нервного возбуждения. Эдит внимала, наклоняясь к старухе все ниже и ниже и то и дело испуганно оглядываясь, не подслушивает ли кто; наконец она подозвала отца и что-то повелительно сказала ему, после чего он, как всегда покорно, полез в карман сюртука и сунул цыганке несколько кредиток. Очевидно, это была, по деревенским понятиям, очень большая сумма, потому что жадная старуха как подкошенная упала на колени и быстрыми движениями стала гладить парализованные ноги Эдит, бормоча непонятные заклинания и покрывая безумными поцелуями подол ее платья. Потом она вдруг кинулась прочь, словно испугавшись, что у нее отнимут неожиданно доставшееся ей богатство.

— Теперь пойдемте! — торопливо шепнул я господину фон Кекешфальве, заметив, как побледнела Эдит. Я позвал Пишту, и он помог Илоне отвести к экипажу девушку, с трудом переставлявшую свои костыли. Музыка тотчас смолкла; всем хотелось сказать нам на прощание доброе слово и помахать вслед рукой. Музыканты, окружив карету, сыграли последний туш, а вся деревня про-

кричала троекратное «ура!». Старому Йонеку стоило немалых усилий успокоить лошадей, отвыкших от подобного шума.

Я с тревогой посматривал на Эдит, сидевшую в карете напротив меня. Она дрожала всем телом — казалось, что-то сильно угнетало ее. Неожиданно она разрыдалась. Но это были слезы счастья. Она то смеялась, то плакала. Несомненно, хитрая цыганка напророчила ей скорое выздоровление, а может быть, и еще что-нибудь приятное.

Но плачущая нетерпеливо отмахивалась от всяких расспросов.

— Ах, оставьте, оставьте же меня! — Она как будто находила какое-то странное удовольствие в пережитом ею душевном потрясении. — Оставьте, оставьте же меня, — снова и снова повторяла Эдит. — Я знаю, что она обманщица, эта старуха. Я прекрасно знаю это сама! Но почему бы не поглупеть на минутку? Почему бы разок не поверить в обман?

**Б**ыл уже поздний вечер, когда мы въехали в ворота усадьбы. Все упрашивали меня, чтобы я остался ужинать. Но мне не хотелось. Я чувствовал, что на сегодня с меня более чем достаточно. Весь этот долгий золотой летний день я был совершенно счастлив, а любое «еще» только испортило бы это ощущение. Лучше пойти сейчас домой по знакомой аллее, с душой умиротворенной, как летний воздух после знойного дня. Главное, ничего больше не желать, лучше с благодарностью вспоминать и обдумывать все, что было. Итак, я распрощался раньше обычного. Звезды сияли, и мне чудилось, что они сияют для меня. Над темнеющими полями чуть слышно дул ветерок, напоенный тысячами запахов, и мне чудилось, что его песня предназначена мне. Я находился в том состоянии, когда от избытка чувств все — и природа и люди — кажется хорошим и вызывает восторг; когда хочется обнять каждое дерево и гладить его, словно тело любимой; когда хочется войти в каждый дом, подсесть к незнакомым людям и поведать им все, что у тебя на сердце; когда в груди становится слишком тесно от переполнивших ее чувств и ты жаждешь излить душу, отдать всего себя — только бы с кем-то поделиться, кого-то одарить избытком своего счастья!

Когда я наконец добрался до казармы, мой денщик стоял, дожидаясь меня у дверей комнаты. Впервые я заметил (сегодня я все воспринимал словно впервые), какое преданное, круглое, румяное лицо у этого деревенского парня. Надо и его чем-нибудь порадовать, подумал я. Пожалуй, дам-ка ему денег на пару кружек пива, пусть угостит свою девушку. Отпущу его сегодня погулять, и завтра, и послезавтра! Я уже полез было в карман за серебряной монетой, но тут он вытянул руки по швам и доложил: «Прибыла телеграмма для господина лейтенанта».

Телеграмма? Мне сразу стало не по себе. Кому я понадобился в этом мире? Только плохие вести могли так спешно разыскивать меня. Я быстро подошел к столу, на котором лежало загадочное послание. Непослушными пальцами вскрыл четырехугольный запечатанный конверт. Полтора десятка слов с предельной ясностью сообщали: «Завтра вызван Кекешфальву тчк Предварительно должен непременно увидеться с вами тчк Жду пяти часам тирольском погребке тчк Кондор».

**Ч**то, будучи даже сильно пьяным, можно мгновенно протрезветь, мне уже однажды довелось испытать на себе. Это случилось в прошлом году на прощальной вечеринке в честь одного нашего товарища, который женился на дочери богатого фабриканта из Северной Богемии и перед свадьбой устроил для нас роскошный ужин. Славный парень и впрямь не поскупился: он выставлял батарею за батареей — сначала крепчайшее темно-красное бордо и под конец такое обилие шампанского, что, сообразно темпераменту каждого, одни из нас расшумелись, другие расчувствовались. Мы обнимались, хохотали, пели и орали во все горло. Мы непрерывно чокались друг с другом, опрокидывая коньяки и ликеры рюмку за рюмкой, дымили трубками и сигарами; в душном зале повисла густая пелена табачного дыма, и сквозь сизый туман никто и не заметил, что за окнами уже стало светать. Было, вероятно, три или четыре часа утра, многие уже не могли усидеть на стульях — тяжело навалившись на стол, они смотрели мутным, осоловевшим взглядом, когда провозглашался очередной тост; если

кому-нибудь нужно было выйти, он, шатаясь и спотыкаясь, брел к двери или мешком валился на пол. У всех давно уже заплетались языки.

Тут внезапно распахнулась дверь, и полковник (о нем еще будет речь впереди), бряцая шпорами, вошел в зал, но среди общего гвалта его заметили или узнали лишь немногие. Он резко шагнул вперед и, ударив кулаком по грязному столу так, что задребезжала посуда, властным громовым голосом скомандовал: «Тихо!»

В одно мгновение наступила полная тишина, даже самые захмелевшие заморгали глазами и обрели способность соображать. Полковник коротко сообщил, что утром неожиданно прибывает с инспекцией командир дивизии. Он выразил надежду, что все будет в порядке и никто из нас не опозорит полк. И тут произошло нечто странное: все мы разом пришли в себя. Винный угар улетучился, словно внутри нас распахнулось какое-то окошко, бессмысленные физиономии преобразились, стали сосредоточенными; услышав призыв долга, все ментально подтянулись, и через две минуты за столом уже никого не осталось — каждый ясно и точно знал, что ему делать. Дали сигнал к побудке, забегали вестовые, спешно еще раз выскребли и надраили все до последней пуговицы, и через несколько часов гроза миновала: инспекция прошла без сучка и задоринки.

Едва я вскрыл телеграмму, как столь же молниеносно с меня слетел хмель сентиментальных грез. В одну секунду я осознал то, в чем долго не хотел себе признаваться: что все мои недавние восторги были не чем иным, как опьянением ложной надеждой, и что я, поддавшись злополучному состраданию, ввел в заблуждение и других и самого себя. Я сразу же понял: этот человек явился, чтобы призвать меня к ответу. Настало время расплачиваться за иллюзии, собственные и чужие.

**С** пунктуальностью нетерпения я уже за четверть часа до назначенного срока стоял у погребка. Ровно в пять в экипаже, запряженном парой лошадей, подъехал с вокзала Кондор и сразу же направился ко мне.

— Вы точны, это превосходно! — начал он без обиняков. — Я знал, что на вас можно положиться. Лучше

всего нам, пожалуй, забраться в тот же уголок. Наш разговор лучше вести без посторонних.

Мне бросилось в глаза, что от его обычной флегматичности не осталось и следа. Кондор был взволнован, хотя и владел собой. Тяжело ступая, он прошел вперед и, войдя в бар, почти грубо приказал подоспевшей кельнерше:

— Литр вина. Того же, что тогда. И не беспокойте нас. Я позову, если будет нужно.

Мы сели. Не успела кельнерша подать вино, как он уже начал:

— Буду краток. Я должен поторопиться, иначе они там почуют недоброе и вообразят, что мы устраиваем здесь невесть какие заговоры. Мне уже стоило дьявольского труда отделаться от шофера, который *coûte que coûte*<sup>1</sup> хотел немедленно доставить меня в усадьбу. Но перехожу *in medias res*<sup>2</sup>.

Итак, позавчера утром я получаю телеграмму: «Прошу Вас, глубокоуважаемый друг, приехать как можно скорее. Ждем Вас с величайшим нетерпением. С полным доверием и благодарностью Ваш Кекешфальва». Признаюсь эти «как можно скорее» и «с величайшим нетерпением» не привели меня в восторг. Почему вдруг такая спешка? Ведь я же осматривал Эдит всего несколько дней назад. И потом — к чему эти телеграфные заверения в доверии, за что такая особенная благодарность? Ну, я не стал пороть горячку и, как говорится, приобщил телеграмму *ad acta*<sup>3</sup>; в конце концов у старика такие сумасбродства далеко не редкость. Но то, что случилось вчера, вывело меня из равновесия. Утром получаю длинейшее письмо от Эдит, послание скорым поездом, совершенно безумное и восторженное: она, видите ли, с самого начала знала, что я единственный человек на земле, который может ее спасти, и ей просто не хватает слов выразить, какой она чувствует себя счастливой сейчас, когда мы наконец близки к цели. Она пишет только затем, чтобы заверить меня, что я могу абсолютно на нее положиться. Она готова на все, чего я от нее потребую, даже на самое-самое трудное. Но пусть

<sup>1</sup> Во что бы то ни стало (франц.).

<sup>2</sup> Прямо к сути дела (лат.).

<sup>3</sup> К делу (лат.).

только я скорее, не откладывая, начну этот новый курс, она просто сгорает от нетерпения. И еще раз: я могу требовать от нее все что угодно, я должен лишь скорее начать. И так далее и тому подобное. Однако это упоминание о новом лечении навело меня на мысль: кто-то, должно быть, проболтался старику или его дочке о методе профессора Вьенно — ведь такие вещи не передаются по воздуху, — и это были, разумеется, вы, господин лейтенант, только вы, и никто другой. — Вероятно, я сделал какое-то произвольное движение, ибо он тут же повысил голос: — Пожалуйста, никаких дискуссий по этому поводу! Никому другому я ни словом не обмолвился о статье профессора Вьенно. И если они там поверили, что паралич можно будет теперь смахнуть, как пыль тряпкой, то это на вашей совести. Но, повторяю, воздержимся от взаимных обвинений, наболтали мы оба — я вам, а вы им, и весьма изрядно. Мне следовало быть осторожнее с вами, в конце концов врачевание не ваша профессия. Откуда вам знать, что у больных и их родственников иной лексикон, нежели у нормальных людей, что каждое «может быть» у них тотчас же превращается в «наверняка» и что поэтому им можно давать надежду лишь малыми дозами, по каплям, в противном случае оптимизм ударяет им в голову и они теряют рассудок.

Но хватит об этом. Что случилось, то случилось! Подведем черту под темой «ответственность»! Я не для того просил вас прийти, чтобы читать вам нотации. Просто я считаю своим долгом — раз уж вы вмешались в мои дела — открыть вам глаза на действительное положение вещей. Ради этого я и пригласил вас сюда.

Тут Кондор впервые за все время нашего разговора поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Но во взгляде его не было строгости. Напротив, мне даже показалось, что он жалеет меня. И голос его тоже стал мягче.

— Я знаю, мой дорогой лейтенант, — продолжал он, — вам будет больно выслушать то, что я сейчас скажу. Но у нас нет времени для сантиментов. Я рассказал вам в прошлый раз, что, прочитав ту статью в медицинском журнале, я немедленно написал профессору Вьенно, чтобы узнать подробности, — больше, как мне пом-

нится, я вам ничего не говорил. Так вот, вчера утром пришел его ответ, причем с той же почтой, что и письмо Эдит. На первый взгляд результаты кажутся положительными. Вьенно действительно добился поразительного успеха в лечении больного, упомянутого в статье, и еще в ряде случаев. Но, к сожалению,— и это самое печальное — его метод неприменим к нашей пациентке. Он имел дело с заболеваниями спинного мозга при туберкулезе, когда — не буду утруждать вас специальными подробностями — можно, уменьшив давление, полностью восстановить функцию двигательных нервов. В нашем случае поражена центральная нервная система, и все процедуры профессора Вьенно — неподвижное лежание в корсете, облучение солнцем, комплекс специальных гимнастических упражнений — не имеют никакого смысла. Его метод — к сожалению, к большому сожалению! — нам не подходит. Бедная девочка мучилась бы напрасно, если бы ее заставили заниматься всеми этими утомительными процедурами. Вот что я обязан сообщить вам. Теперь вам известно положение дел, и вы сможете понять, как легкомысленно было с вашей стороны внушить бедняжке надежду, которая свела ее с ума, будто она через несколько месяцев сможет прыгать и танцевать! От меня никто не услышал бы такого идиотского утверждения. Но за вас, опрометчиво наобещавшего им луну с неба, за вас они теперь ухватятся и будут правы. В конце концов вы и только вы заварили всю кашу.

Пальцы мои похолодели. Все это я подсознательно предвидел с того момента, как прочитал его телеграмму; тем не менее, когда Кондор с беспощадной прямоотой объяснил мне истинное положение вещей, меня будто обухом по голове ударило. И сразу же во мне заговорил инстинкт самозащиты. Я не хотел, чтобы на меня возложили всю тяжесть ответственности. Но то, что мне удалось наконец выдать из себя, скорее походило на лепет уличенного в проказах школьника.

— Но как же так?.. Ведь я же с самыми лучшими намерениями... Если я и рассказал что-то Кекешфальве, то сделал это только из... из...

— Знаю, знаю,— перебил Кондор,— разумеется, он вытянул, выжал это из вас, перед его отчаянной настой-



чивостью действительно нелегко устоять. Я понимаю, вы поддались только из сострадания, из самых добрых, самых порядочных побуждений. Но, кажется, я уже предостерегал вас однажды: сострадание, черт возьми,— это палка о двух концах: тому, кто не умеет с ним справиться, лучше не открывать ему доступ в сердце. Только вначале сострадание, точно так же, как и морфий,— благодеяние для больного, целебное средство, помощь; но если его неправильно дозировать и вовремя не отменить, оно тут же превращается в смертельный яд. Первые несколько инъекций приносят облегчение, они успокаивают, снимают боль. Но организму — телу и душе — роковым образом присуще губительное свойство привыкать; как нервная система нуждается во все больших дозах морфия, так и чувство все больше и больше жаждет сострадания, пока не начнет требовать невозможного. В один прекрасный день неизбежно наступает момент, когда нужно сказать «нет», не думая о том, не возненавидят ли тебя за это гораздо сильнее, чем если бы ты вообще ничем не помог. Да, дорогой мой лейтенант, нужно крепко держать в узде свое сострадание, иначе оно принесет больший вред, чем любое равнодушие; мы, врачи, знаем об этом, знают это судьи и судебные исполнители и заимодавцы; если бы они всегда уступали состраданию, мир остановился бы в своем движении. Опасная это вещь — сострадание, очень опасная! Вы сами видите, что вы натворили своей слабостью.

— Да... но нельзя же... просто так оставить человека в отчаянии... да и вообще, что тут такого, если я попытался?..

Кондор неожиданно вспылал:

— Напротив, в этом очень много такого! Очень много, чертовски много ответственности берет на себя тот, кто своим состраданием водит другого за нос! Взрослый человек, прежде чем вмешаться, должен сначала обдумать, как далеко он зайдет,— с чужими чувствами не шутят! Допустим, вы ввели в заблуждение добрых людей из самых лучших, самых честных побуждений, но в этом мире важно не то, как берутся за дело — смело или робко,— а то, чем все это кончается. Сострадание — хорошо. Но есть два рода сострадания. Одно — мало-

душное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; это не *сострадание*, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание — истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их. Если ты готов идти до конца, до самого горького конца, если запасешься великим терпением, — лишь тогда ты сумеешь действительно помочь людям. Только тогда, когда принесешь в жертву самого себя, только тогда.

В его голосе прозвучала нотка горечи. Невольно я вспомнил, что мне рассказывал о нем Кекешфальва: Кондор женился на слепой, словно в наказание себе за то, что не смог ее вылечить, и теперь эта женщина вместо благодарности изводит его. Но тут он участливо, почти ласково коснулся моей руки.

— Ну, ну, я сказал это без злого умысла. Вы просто поддались вашему чувству, это с каждым может случиться. А теперь к делу, моему и вашему. В конце концов я вызвал вас сюда не для того, чтобы заниматься психологией. Надо решить практически, что делать. Разумеется, нам необходимо действовать согласованно. Я не могу допустить, чтобы вы вторично спутали мне карты. Итак, слушайте! Это письмо Эдит заставляет меня, к сожалению, предположить, что наши друзья уже окончательно помешались, уверовав, что с помощью нового метода — в данном случае неприменимого — можно, как губкой, начисто смыть все следы сложного заболевания. Если даже эта сумасбродная идея слишком глубоко засела у них в голове, не остается ничего другого, как немедленно удалить ее оперативным путем, и чем скорее, тем лучше для всех нас. Конечно, это вызовет тяжелый шок, правда — всегда горькое лекарство; безумное заблуждение надо вырвать с корнем, иначе нельзя. Я возьмусь за дело очень бережно, в этом уж положитесь на меня.

Теперь вернемся к вам. Конечно, для меня было бы удобнее свалить всю вину на вас: сказать, что вы меня превратно поняли, что вы преувеличили или присочи-

нили. Этого я не сделаю и лучше возьму всю ответственность на себя. Но предупреждаю заранее, полностью исключить вас из игры я не могу. Вы знаете старика и его страшное упорство. Если я даже сто раз объясню ему истинное положение вещей и покажу письмо, он все равно будет твердить одно и то же: «Но вы же обещали господину лейтенанту... Но ведь господин лейтенант сказал...» Он без конца будет ссылаться на вас, чтобы убедить себя и меня в том, что, вопреки всему, еще есть какая-то надежда. Без вас, как свидетеля, я с ним не справлюсь. Иллюзии не стряхнешь, как ртуть в термометре. Протяните больному, одному из тех, кого так жестоко называют неизлечимыми, соломинку надежды, как он тут же соорудит себе из нее бревно, а из бревна — целый дом. Но больному от этого только вред, вот почему мой долг врача — как можно скорее разрушить воздушный замок, пока в нем не поселились несбыточные мечты. Мы должны взяться за дело всерьез и не терять времени.

Кондор остановился. Он явно ждал моего согласия. Но я не осмеливался смотреть ему в глаза; в моем мозгу, подгоняемые частыми ударами сердца, пронеслись воспоминания о вчерашнем дне: как мы весело ехали по полям и лугам и лицо больной сияло отблеском солнца и счастья; как она гладила маленьких жеребят, как сидела королевой на деревенской свадьбе, как снова и снова скатывались слезы к губам старого Кекешфальвы, дрожащим, но улыбающимся. И все это разрушить одним ударом! Разочаровать очарованную, чудом вырванную из отчаяния, — одним словом, столкнуть в бездну нетерпения! Нет, я знал, что никогда не смогу сделать это своими руками.

— Но разве не лучше было бы... — робко произнес я и тотчас запнулся под испытующим взглядом Кондора.

— Что? — резко спросил он.

— Я только подумал, разве... разве не лучше было бы подождать... хоть несколько дней? Потому что... потому что... вчера у меня создалось впечатление, что она уже полностью поглощена мыслью о новом методе... я хочу сказать: она настроилась на него... и что сейчас у нее есть, как вы говорили тогда... психические силы... Мне кажется, что сейчас она могла бы приложить го-

раздо больше усилий, если... если только еще некоторое время не лишать ее уверенности, что этот новый курс, с которым она связывает все свои надежды, окончательно вылечит ее... Вы... вы не видели... Вы даже не представляете, как подействовало на нее одно лишь упоминание... мне и в самом деле показалось, будто она сразу же стала значительно лучше передвигаться... И я думаю... нельзя ли дать всему этому сыграть свою роль?.. Конечно...— Мой голос упал, потому что я почувствовал на себе удивленный взгляд Кондора.— Конечно, я в этом ничего не понимаю...

Кондор все еще смотрел на меня; потом он проворчал: — Посмотрите-ка на этого Савла среди пророков! Я вижу, вы основательно вникли в суть дела: упомянули даже о «психических силах»! К тому же у вас еще имеются и клинические наблюдения, сам того не подозревая, я приобрел тут ассистента и консультанта! Впрочем,— он в раздумье почесал затылок,— то, что вы тут наговорили, совсем не так уж глупо — прошу прощения, я имею в виду: не глупо в медицинском смысле. Странно, в самом деле странно, когда я получил это экзальтированное письмо Эдит, я и сам спросил себя: а не следует ли, раз уж вы внушили ей, что выздоровление приближается семимильными шагами, воспользоваться ее теперешним настроением?.. Неплохо придумано, дорогой коллега, неплохо! Инсценировать все это было бы проще простого: я посылаю девочку в Энгадин, где у меня есть знакомый врач, мы оставляем ее в блаженной уверенности, что начат новый курс лечения, меж тем как в действительности оно будет прежним. На первых порах эффект был бы, вероятно, поразительным, и мы пачками получали б восторженные, благодарные письма. Иллюзия, перемена климата и обстановки, душевный подъем, так сказать, реальные факторы плюс самообман; в конце концов две недели в Энгадине и нас с вами хорошенько бы встряхнули. Но, мой дорогой лейтенант, как врач, я должен думать не только о начале, но и о том, что будет дальше, и прежде всего об исходе. Я должен принимать в расчет реакцию, которая неизбежно — да, да, неизбежно — наступит после крушения этих неосуществившихся надежд; как врач, я могу быть лишь хлад-

нокровным шахматным игроком, а не азартным картежником, тем более что ставку оплачивает другой.

— Но... но вы же сами считаете, что можно было бы добиться значительного улучшения...

— Безусловно. Поначалу мы бы сделали большие успехи, ведь женщины удивительным образом реагируют на чувства, на иллюзии. Но подумайте сами о том, что будет через несколько месяцев, когда так называемые «психические силы», о которых вы говорили, иссякнут, искусственно подстегнутая воля ослабеет, пыл угаснет, а выздоровление, то полное выздоровление, на которое, учитите, она сейчас твердо рассчитывает, так и не наступит,— и это после долгих недель изнурительного напряжения. Прошу вас, представьте себе катастрофические последствия подобного эксперимента для впечатлительного существа, и без того уже совершенно измученного нетерпением! Ведь речь идет не о том, чтобы достигнуть незначительного улучшения, а о чем-то более основательном; об отказе от длительного и испытанного метода, где главное — терпение, во имя дерзкой и рискованной поспешности! Как она сможет потом доверять мне, другому врачу, любому человеку, если узнает, что ее умышленно обманули? Нет, лучше правда, какой бы жестокой она ни была; в медицине нож хирурга часто оказывается самым гуманным средством. Только не откладывать! С чистой совестью я не взял бы на себя ответственность за такое молчание. Подумайте сами! Хватило бы у вас мужества на моем месте?

— Да,— ответил я, не раздумывая, и тут же сам испугался вырвавшегося у меня слова.— То есть...— осторожно добавил я,— только тогда, когда ее состояние хоть немного улучшится, я признался бы ей во всем... Простите, господин доктор... Это довольно нескромно с моей стороны... но в последнее время у вас не было возможности, как у меня, постоянно наблюдать, насколько необходимо этим людям что-то такое, что помогло бы им продержаться и... конечно, ей нужно сказать правду, но только тогда, когда она сможет ее вынести... не теперь, господин доктор, умоляю вас... только не сейчас... только не сразу.

Я запнулся. Его откровенно любопытный взгляд смутил меня.

— Но когда же?... — произнес он задумчиво. — И прежде всего кто из нас должен это сделать? Ведь рано или поздно сказать надо, а разочарование будет тогда во сто крат опаснее, более того, оно будет смертельно опасным. Вы действительно взяли бы на себя такую ответственность?

— Да, — твердо ответил я (скорее всего эта внезапная решимость была вызвана страхом, что иначе мне сейчас же придется ехать туда вместе с ним). — Эту ответственность я беру на себя целиком и полностью. Я убежден, что надо временно оставить Эдит надежду на полное, окончательное выздоровление, это ей очень поможет. Если потом окажется необходимым объяснить, что мы... что я обещал, быть может, слишком много, то я честно признаюсь ей в этом; и я уверен, она все поймет.

Кондор пристально посмотрел на меня.

— Черт возьми, — пробормотал он, — вы на себя много берете! Но самое странное то, что своей верой вы заражаете всех — сначала их, а теперь, боюсь, и меня. Ну что ж, если вы действительно готовы взять на себя ответственность за то, что вернете Эдит душевное равновесие в случае кризиса, тогда... тогда это, конечно, меняет дело... тогда, пожалуй, можно рискнуть и подождать несколько дней, пока ее нервы немного успокоятся... Но уж, коль вы берете такое обязательство, господин лейтенант, вам нельзя идти на попятный. Мой долг — серьезно предостеречь вас. Мы, врачи, перед операцией обязаны предупредить всех, кто имеет отношение к больному, об опасностях, которые ему грозят, а обещать девушке, у которой столько лет парализованы ноги, что в очень короткий срок она будет совершенно здорова, — означает вмешательство не менее ответственное, чем хирургическое. Поэтому подумайте хорошенько, на что вы решаетесь. Нужно затратить очень много сил, чтобы вернуть веру человеку, однажды обманутому. Я не люблю неясностей. Прежде чем я откажусь от своего намерения — сегодня же честно объяснить Кекешфальве, что метод профессора Вьенно нельзя рекомендовать Эдит и что, к сожалению, они должны запастись терпением, — я хочу знать, могу ли я на вас положиться. Могу ли я быть уверенным, что вы меня потом не подведете?

— Безусловно.

— Хорошо! — Кондор резко отодвинул от себя бокал. Ни один из нас так и не выпил ни капли. — Или, вернее, будем надеяться, что все кончится хорошо, потому что мне, признаться, не по душе эта отсрочка. Скажу вам, что я сделаю, не слишком отступая от правды. Я посоветую ей провести курс лечения в Энгадине, но растолкую, что метод Вьенно еще далеко не проверен, и добавлю, что им нечего ждать чуда. Если же, несмотря на это, они, веря вам, будут тешить себя бессмысленными надеждами, то тогда уже настанет ваш черед — вы дали мне свое согласие — улаживать дело, ваше дело. Возможно, я иду на некоторый риск, доверяя больше вам, чем своей врачебной совести, — ну, это я беру на себя. В конце концов мы оба одинаково желаем несчастной добра. — Кондор поднялся. — Как мы договорились, я рассчитываю на вас в том случае, если наступит кризис отчаяния; будем надеяться, что ваше нетерпение достигнет большего, чем мое терпение. Итак, подарим бедной девочке еще несколько недель счастливой уверенности! И если за это время у нее наступит улучшение, то это будет вашей заслугой, а не моей. Все! Пора идти. Меня ждут.

Мы вышли из бара. Фиакр ждал у дверей. В последний момент, когда Кондор уселся, мои губы дрогнули, готовые окликнуть его. Но лошади уже тронули. Экипаж умчался, а вместе с ним и то, чего уже нельзя было вернуть.

Три часа спустя я нашел в своем столе в казарме записку, написанную второпях и доставленную шофером: «Приходите завтра как можно раньше. Ужасно много новостей. Только что здесь был доктор Кондор. Через десять дней мы уезжаем. Я страшно счастлива. Эдит».

**Н**адо же было случиться, чтобы как раз в этот вечер мне попала в руки та книга. Должен признаться, вообще-то я читал мало и редко, и на расшатанной полке в моей конуре стояло шесть-семь томов военных уставов: альфа и омега нашего бытия, да десятка два классиков, в которые я так и не заглянул, хотя таскал с собой после училища по всем гарнизонам, быть может, лишь для того, чтобы пустые казенные комнаты, где мне приходилось жить, обрели хоть какую-то

видимость домашнего уюта; попеременно с ними стояли наполовину разрезанные, плохо отпечатанные и переплетенные книжки, доставшиеся мне не совсем обычным путем. В нашем кафе время от времени появлялся маленький сторбленный лоточник, с удивительно печальными, слезящимися глазами; с навязчивостью, против которой невозможно было устоять, он предлагал нам почтовую бумагу, карандаши и дешевые бульварные книжонки, как, например, любовные приключения Казановы, «Декамерон», воспоминания оперной певицы или сборник армейских анекдотов; очевидно, он рассчитывал, что так называемая «галантная литература» найдет спрос у кавалеристов. Из жалости — вечно эта жалость! — а также, быть может, желая оградить себя от его меланхолической назойливости, я изредка покупал три-четыре замызганные книжки, и они валялись на полке без употребления.

Но в тот вечер, усталый и взволнованный, не в силах ни спать, ни сосредоточиться на чем-либо серьезном, я решил полистать какую-нибудь книгу, надеясь отвлечься и в конце концов уснуть. Думая, что замысловато наивные сказки «Тысячи и одной ночи», которые я еще смутно помнил с детства, окажутся лучшим сновидением, я взял их с полки, улегся и начал читать в том особом состоянии полудремы, когда уже лень перелистывать страницы подряд и, чтобы не утруждать себя, предпочитаешь пропускать неразрезанные. Кое-как осилив первую сказку о встрече Шахразеды с царем, я стал читать дальше. Натолкнувшись на необыкновенную историю о юноше, который встречает лежащего посреди дороги хромого старика, я неожиданно вздрогнул: слово «хромой» отозвалось во мне острой болью, занял какой-то нерв, пораженный внезапной ассоциацией, как ударом тока. В сказке старик умоляет юношу, чтобы тот взял его на плечи и понес дальше, сам он не может больше сделать ни шагу. И юноша, охваченный жалостью (дурак, зачем ты поддался жалости? — подумал я), наклоняется и сажает хромого себе на спину.

Но этот беспомощный с виду старец на самом деле — джин, злой дух; едва взобравшись на плечи юноши, он тут же голыми волосатыми ногами цепко обвил его шею. Оседлав своего благодетеля, беспомощный старик не



дает ему передышки; безжалостный снова и снова погоняет милосердного. И несчастный вынужден нести джина, куда тому захочется, отныне у него нет собственной воли: он выучный осел, раб злого погонщика; и пусть у него от усталости подгибаются ноги, а во рту пересохло от жажды, он должен, одураченный собственной жалостью, бежать все вперед и вперед, неся на плечах свою судьбу — злобного, бесчестного, коварного старика.

Я больше не мог читать. Сердце бешено колотилось, словно хотело выскочить из груди. Я вдруг с невыносимой ясностью увидел этого изворотливого старика, увидел, как он, лежа на земле, смотрит снизу вверх полными слез глазами, моля милосердного о помощи, а затем садится на него верхом. У него, у этого джина, седые, расчесанные на пробор волосы и очки в золотой оправе. С быстротой, которая бывает лишь во сне, когда картины и образы молниеносно сменяют друг друга в самых причудливых сочетаниях, старик из сказки приобрел в моем воображении черты Кекешфальвы, а сам я превратился в несчастного юношу, которого он беспрестанно погонял; я почти физически ощутил, как он сжал мне горло. Книга выпала из моих рук, я лежал в холодном поту, прислушиваясь к гулким ударам сердца; даже во сне свирепый погонщик гнал меня все дальше и дальше, неведомо куда. Проснувшись на рассвете со слипшимися от пота волосами, я чувствовал себя измученным и разбитым, как после изнурительного марша.

Не помогло и то, что с утра мы выехали на учения и я добросовестно и внимательно исполнял служебные обязанности; едва я вечером отправился по неизбежному пути, как снова ощутил на своих плечах незримую ношу, ибо взбудораженная совесть подсказывала мне, что ответственность, которую я взвалил на себя, совсем иного рода и неизмеримо тяжелее прежней. Когда я той ночью, на скамье в саду, подал старику надежду, это было только преувеличением, но не умышленным обманом; невольно, даже против воли поддавшись жалости, я лишь не сказал всей правды, но не солгал. Теперь же, когда мне известно, что о скором выздоровлении не может быть и речи, я должен буду все время притворяться, хладнокровно, упорно, расчетливо; я должен буду, не моргнув глазом, лгать так уверенно, как лжет закор-

нелый преступник, задолго до злодеяния придумавший способ оправдаться. Тут только я начал понимать, что в самом худшем, что случается на свете, повинны не зло и жестокость, а почти всегда лишь слабость.

Мои опасения сбылись, когда я пришел к Кекешфальвам; едва я вступил на террасу, меня встретили восторженными приветствиями. Я нарочно принес Эдит цветы, чтобы в первую минуту отвлечь от себя внимание. Но уже после бурного: «Боже мой, зачем вы принесли цветы? Ведь я же не примадонна!» — она нетерпеливо усадила меня рядом и начала говорить без передышки с какой-то лихорадочной поспешностью. Доктор Кондор — «этот чудесный, бесподобный человек!» — снова вселил в нее мужество. Через десять дней они отправляются в Швейцарию, в Энгадин, — разве можно сейчас, когда все пошло на лад, терять хотя бы один день? Она всегда говорила, что за дело брались не с того конца, что от одной электризации, массажа и этих дурацких аппаратов толку мало. Давно пора, еще немного — и было бы поздно, ведь дважды, что греха таить, она пыталась наложить на себя руки, — дважды, и оба раза безуспешно. В конце концов жить так, как живет она, нельзя: ни минуты наедине с собой, ни шагу без помощи других, вечно за тобой шпионят, вечно надзирают, и к тому же сознание, что ты всем только в тягость, всем опротивела. Да, давно пора, давно! Но теперь я увижу, как быстро пойдет на поправку. Стоит лишь правильно взяться за дело. Что ей все эти глупые признаки улучшения, если от них ей не легче! Она должна выздороветь полностью, иначе о каком здоровье может быть речь? Ах, уже одна мысль о том, как это будет чудесно, как чудесно!..

И так далее и тому подобное; это был водопад слов, бурный, клокочущий, неиссякаемый. Я сидел подле нее, как врач, который слушает горячечный бред больного и недоверчиво считает лихорадочный пульс, глядя на неподвижную секундную стрелку и с тревогой усматривая в пылкой восторженности несомненное клиническое доказательство душевного расстройства. И всякий раз, когда веселый смех, подобно легкой пене, взлетал над стремительным потоком ее слов, что-то мучительно сжималось во мне, ибо я знал то, чего не знала она: она обма-



«НЕТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА»



«НЕТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА»

нывает себя, а мы обманываем ее. И, когда она наконец остановилась, я почувствовал испуг, словно, проснувшись ночью в поезде, не услышал стука колес.

— Ну, что вы на это скажете? — продолжала она. — Почему у вас такой глупый, pardon, испуганный вид? Почему вы молчите? Неужели вы ни капельки не радуетесь за меня?

Я был застигнут врасплох. Теперь или никогда. Говорить так, чтобы она поверила, — сердечным, задушевым тоном. Но я — всего-навсего жалкий новичок во лжи — еще не владел искусством сознательного обмана.

— Как вам не стыдно? — насилу выдавил я из себя. — Я просто растерялся... Должны же вы понять, что у меня... как говорится, от радости язык отнялся... Разумеется, я страшно рад за вас.

Мне самому было противно слушать, как фальшиво и холодно прозвучали мои слова. Очевидно, она почувствовала мое замешательство, ибо ее поведение резко изменилось. Сияющее лицо омрачилось досадой, как у человека, которого внезапно разбудили, не дав досмотреть приятный сон; глаза, только что сверкавшие воодушевлением, стали жесткими, брови изогнулись, точно туго натянутый лук.

— Я что-то не заметила, чтобы вы особенно радовались!

Я знал, что она права, и все же попытался ее успокоить:

— Но, детка...

— Не смейте твердить мне все время «детка»! — взорвалась она. — Вы же знаете, что я этого не выношу. Намного ли вы старше меня? В конце концов разве я не имею права удивиться, что вы все принимаете как должное, а главное, не очень... не очень... мне сочувствуете? А почему бы вам и не радоваться? Ведь вы получаете отпуск — наше «заведение» временно закрывается. Никто не помешает вам преспокойно сидеть в кафе и дуться в карты, вместо того чтоб играть скучную роль милосердного самаритянина. Еще бы, как тут не радоваться, для вас теперь наступают золотые деньки!

Ее слова, откровенные до грубости, прозвучали как удар, который я болезненно ощутил своей нечистой со-

вестью. Итак, я выдал себя с головой. Чтобы перевести разговор — я знал, как опасно раздражать ее в такие минуты, — я попытался перейти на непринужденно-шутливый тон.

— Золотые деньки? Ну и понятие же у вас! Золотые деньки для нас, кавалеристов, в июле, августе, сентябре, когда нам больше всего задают жару и допекают разносам! Разве вы не знаете? Сперва подготовка к маневрам, потом поход в Боснию или Галицию, а затем маневры и большие парады! Издерганные офицеры, загнанные рядовые — сплошная муштра с зари до отбоя. И так до конца сентября...

— До конца сентября?.. — Она вдруг задумалась, казалось, какая-то мысль неотступно занимает ее. — Но в таком случае, когда же вы приедете? — добавила она.

Я не понял. Я в самом деле не понял, о чем она говорит, и наивно спросил:

— Куда приеду?

Ее брови снова гневно взметнулись.

— Да не задавайте же все время таких дурацких вопросов! Навестить нас! Меня!

— В Энгадин?

— А куда же еще?

Тут только до меня дошло, что она имеет в виду. Действительно, что могло быть смехотворнее предположения, будто я, бедный армейский офицер, который купил ей цветы на последние семь крон и для которого каждая поездка в Вену была уже своего рода роскошью, хотя билет обходился нам в половину стоимости, будто я ни с того ни с сего могу позволить себе путешествие в Энгадин!

— Вот теперь-то мне ясно, — рассмеялся я, на этот раз вполне искренне, — как вы представляете себе военную службу. Кафе, бильярд, променады, а вздумалось побродить по свету — надел штатское, и «честь имею»! Ничего нет проще такой прогулочки! Прикладываешь два пальца к козырьку и говоришь: «Адье, господин полковник, мне что-то надоело играть в солдаты! До скорого, когда будет настроение, вернусь!» Ничего себе, хорошенькое представление у вас об армейской каторге! Известно ли вам, что если наш брат захочет отлучиться хоть на часок, он обязан доложить по всей форме, шелк-

нув каблуками, и «покорнейше» изложить свою просьбу? Да, да, столько церемоний ради одного-единственного часа. Ну, а для целого дня надо, чтоб у тебя по меньшей мере умерла тетка. Хотел бы я видеть лицо полковника, если б в разгар маневров я пришел к нему и доложил, что мне взбрело в голову взять отпуск и поболтаться недельку в Швейцарии. Вы б услышали тут такие выражения, каких не найти ни в одном приличном словаре. Нет, милая фрейлейн, вы слишком просто все себе представляете.

— Ах, что там! Все это легко, было бы желание! Не разыгрывайте из себя такого уж незаменимого! Кто-нибудь другой прекрасно управится с вашими оболтусами. А что касается отпуска, то папа устроит все за полчаса. У него куча знакомых в военном министерстве, одно слово сверху — и вы получите то, что попросите. Кстати, и вам самому не повредит повидать что-нибудь еще, кроме вашего манежа и плаца. Итак, никаких отговорок, это решено! Отпуск вам устроит папа.

Глупо, конечно, но ее пренебрежительный тон раздражал меня. Видно, чувство сословной чести уже крепко засело во мне за долгие годы службы, ибо я почувствовал что-то унижительное в том, как молоденькая, совсем неопытная девушка распоряжалась генералами из военного министерства, словно они состояли в услужении у ее отца, — ведь для нас это были боги. Однако, несмотря на раздражение, я продолжал держатьсь того же непринужденно-шутливого тона.

— Ну ладно. Швейцария, отпуск, Энгадин — не возражаю! Очень хорошо, если, судя по вашим словам, мне подадут все это на подносе и мне не придется унижаться. Но было бы также весьма желательно, чтобы ваш достойнейший папа вместе с отпуском выцарапал в министерстве и путевое пособие для господина лейтенанта Гофмиллера.

Теперь настал ее черед удивляться. Она угадывала в моих словах какой-то скрытый смысл, но не могла проникнуть в него. Резче изогнулись ее брови над нетерпеливыми глазами. Я понял, что должен выразиться яснее.

— Будем же благоразумны, детка... Pardon, будем говорить разумно, фрейлейн Эдит. К сожалению, дело обстоит не так просто, как вы полагаете. Скажите, вы ко-

гда-нибудь задумывались над тем, во что обходится подобная эскапада?

— Ах, вот что вы имеете в виду! — нисколько не смутившись, воскликнула она. — Не думаю, чтоб очень дорого. Самое большее — несколько сот крон. Разве это имеет значение?

Тут я не смог больше сдерживать свое негодование... Она задела мое самое больное место. Кажется, я уже упоминал, сколько мучений доставляло мне сознание, что среди офицеров полка я принадлежу к тем, у кого нет ни гроша за душой, и вынужден жить исключительно на жалованье да на скудные подачки тетки; даже в кругу приятелей меня всякий раз коробило, когда о деньгах говорили так пренебрежительно, будто они валяются под ногами. Да, это было мое больное место. Здесь я был беспомощен. Здесь я хромал на обе ноги. Но более всего меня возмущал тот факт, что именно это избалованное, капризное существо, которое само безмерно страдало от собственной неполноценности, не понимало меня. Невольно я стал почти груб.

— Всего лишь несколько сот крон? Ерунда, не правда ли? Сущий пустяк для офицера! И уж, разумеется, вы считаете неприличным, что я вообще заговорил о такой безделице! Низко, мелочно, не правда ли? Но вы хоть раз задумались над тем, на какие гроши мы перебиваемся? Как лезем из кожи, чтобы свести концы с концами?

Оттого, что Эдит продолжала глядеть на меня сощурившись и, как я по глупости полагал, презрительно, меня вдруг охватило желание показать ей всю глубину моей бедности. Однажды она проковыляла на костылях по комнате, чтобы этим зрелищем отомстить нам за наше завидное здоровье, а теперь я с нескрываемым злорадством решил обнажить перед ней все убожество моего зависимого существования.

— А знаете ли вы вообще, какое жалованье получает лейтенант? — накинулся я на нее. — Вы когда-либо задумывались над этим? Так вот: на двести крон он должен прожить целый месяц, и прожить не как-нибудь, а «сообразно своему званию». Он должен заплатить за стол, за комнату, портному, сапожнику да еще выкроить на «сообразные званию» развлечения. А не дай бог



что случится с конем! И вот, если он экономно ведет свое хозяйство, у него остается еще несколько геллеров, чтобы провести вечерок в том райском уголке, которым вы меня вечно попрекаете; там, за чашкой кофе с молоком, он обретает истинное блаженство, если только все тридцать дней дрожал над каждым грошом, как обыкновенный поденщик.

Теперь я понимаю, как глупо, как преступно было то, что я дал волю своей злости. Это семнадцатилетнее дитя, выросшее в полном уединении, это хромая девочка, прикованная к постели,— могла ли она знать цену деньгам, иметь понятие о жалованье, о нашей блистательной нищете? Но я был как одержимый: мной овладело неодолимое желание отомстить кому-то за бесчисленные маленькие обиды, и я молотил без разбору, наотмашь, как бьет ослепленный гневом человек, не отдавая себе отчета в том, сколь тяжкие удары наносит его рука.

Наконец, случайно подняв глаза, я понял, до чего жестоки были мои слова. Обостренное, как у всех больных, чутье подсказало ей, что она, сама того не желая, задела мое самое уязвимое место. Предательский румянец — я видел, как она, пытаясь овладеть собой, быстро прикрыла рукой лицо,— залил ее щеки; вероятно, какая-то мысль заставила ее покраснеть.

— И вы... вы покупаете мне дорогие цветы?

Этой минуте, тягостной для нас обоих, казалось, не будет конца. Мне было стыдно перед ней, а ей передо мной. Мы, сами того не желая, обидели друг друга и теперь боялись заговорить. Во внезапно наступившей тишине слышался даже мягкий шелест листьев; внизу во дворе кудахтали куры, и время от времени откуда-то издалека доносился легкий шум катившейся повозки. Но вот Эдит взяла себя в руки.

— Надо же быть такой дурой — принять всерьез подобную чепуху! И еще расстроиться из-за этого. Нет, я действительно дура! Да какое вам дело, сколько стоит поездка? Уж если вы к нам приедете, то, разумеется, как гость. Неужели вы думаете, папа допустит, чтобы вы, согласившись приехать к нам... еще несли какие-то расходы? Что за нелепость! А я-то уши развесила... Итак, ни слова больше об этом, говорят вам — ни слова!

Но тут я не мог пойти на уступки. Ибо ничто, я уже говорил об этом, не претило мне больше, чем мысль превратиться в нахлебника.

— Нет, вы выслушайте меня. Я хочу, чтоб не было никаких недоразумений. Итак, коротко и ясно: я не стану отпрашиваться в отпуск, не позволю платить за себя. Мне не нужны поблажки. Мое место в строю рядом с товарищами, я не желаю быть исключением и отказываюсь от всяких протекций. Не сомневаюсь, что у вас и вашего отца самые лучшие намерения, но не всем блага жизни подносятся на блюдечке... Не будем больше говорить об этом.

— Итак, вы не хотите приехать?

— Я не сказал: не хочу. Я вам ясно объяснил, почему не могу этого сделать.

— Даже если вас попросит об этом отец?

— Даже тогда.

— И даже... даже если я попрошу вас? Если я по дружески, очень попрошу вас?

— Не надо, Эдит. Это было бы бесполезно.

Она опустила голову. Но ее губы вздрагивали, и я знал, что это предвещало грозу. Бедное избалованное дитя, желания которого были законом для всего дома, натолкнулось на сопротивление, и это было для нее ново. Ей сказали «нет», и это ее ожесточило. Быстрым движением она схватила со стола принесенные мною цветы и швырнула их за балюстраду.

— Ну ладно,— проговорила она сквозь зубы.— Теперь я хоть знаю, чего стоит ваша дружба. Хорошо, что я ее проверила. Только потому, что ваши приятели в кафе будут зубоскалить, вы сочиняете столько отговорок! Только оттого, что боитесь подмочить свою репутацию в полку, вы отравляете радость друзьям!.. Ну ладно! Хватит! Не стану больше вас упрашивать. Ладно! Не хотите — не надо!

Я чувствовал, что ее волнение все еще не улеглось; с упорством снова и снова повторяя это «ладно», она приподнялась в кресле и вцепилась обеими руками в подлокотники, будто готовясь к нападению. Внезапно она повернулась ко мне.

— Ладно. Вопрос исчерпан. Наша покорнейшая просьба отклонена. Вы не приедете к нам. Не хотите

приехать. Это вас не устраивает. Ну что ж, как-нибудь переживем. Обходились же раньше без вас... Но мне еще хотелось бы знать... Вы скажете правду?

— Разумеется.

— Только честно! Дайте мне честное слово!

— Если вы так настаиваете на этом, даю честное слово.

— Ладно. Ладно.— Она без конца повторяла это жесткое, резкое «ладно», словно отрубала им что-то, как ножом.— Ладно! Успокойтесь, я больше не настаиваю на высочайшем визите. Мне хотелось бы знать только одно — вы дали мне слово! — только одно... Итак, вы не желаете к нам приехать, потому что вам это неприятно, потому что вас это стеснит... или же еще по каким-либо причинам — мне все равно! Что ж, ладно... С этим покончено. Но теперь скажите мне честно, откровенно: зачем вы вообще бываете у нас?

Я ждал какого угодно вопроса, только не этого, и, чтобы выиграть время, смущенно пробормотал:

— Но... но ведь тут все очень просто... для этого не надо никакого честного слова...

— Вот как? Очень просто? Тем лучше! Говорите!

Я был приперт к стене. Самое простое — сказать правду, но я понимал, что нужно обдумать каждое слово. И вот я заговорил с наигранной непринужденностью:

— Только не ищите каких-либо таинственных побуждений, милая фрейлейн Эдит. Вы достаточно долго знакомы со мной и знаете, что я не из тех, кто любит копаться в себе. Клянусь вам, я ни разу не задумывался, почему хожу к тем или другим и почему одни люди мне нравятся, а другие нет. Честное слово, уж не знаю, глупо это или умно: я бываю у вас потому лишь, что мне просто нравится здесь и я нигде больше не чувствую себя так хорошо. Похоже, что жизнь нашего брата кавалериста вы представляете себе как-то уж очень по-опереточному: для вас это нечто лихое и беззаботное, не служба, а сплошной праздник. Но так кажется только со стороны, на самом деле все выглядит куда прозаичней, да и так называемая солдатская дружба зачастую только видимость. Когда десятки людей тянут одну лямку, кто-то из них всегда налегает сильнее, а там, где речь

идет о продвижении по службе и повышении в чине, впереди идущему можно легко наступить на пятки. Все время приходится быть начеку, чтоб не сболтнуть лишнего; никогда не знаешь, довольно ли тобой начальство; в воздухе постоянно пахнет грозой. Слово «служба» происходит от «служить», а служить — значит быть зависимым. К тому же казарма и кабачок никогда не заменят дома; никто там никому не нужен, ни до кого никому нет дела. Конечно, с приятелями иной раз бывает весело, но все же чувства окончательной уверенности недостает. Зато когда я прихожу к вам, вместе с саблей я расстаюсь со всеми своими опасениями, и когда я вот так, не спеша, болтаю с вами...

— Ну? Что тогда? — нетерпеливо выкрикнула она.

— Тогда... быть может, мое признание покажется вам несколько дерзким, но... тогда я внушаю себе, что я у вас желанный гость, что здесь я свой, что я здесь во сто крат более «дома», чем где-либо еще. И всякий раз, когда я вот так на вас гляжу, мне кажется...

Я невольно запнулся, но она с прежней горячностью спросила:

— Ну, так что же вам кажется?

— ...что кому-то здесь, в отличие от моих приятелей, далеко не безразлично, существую я или нет... Разумеется, я понимаю, что дело не в моей персоне, порой меня удивляет, как это я еще не надоел вам... Часто — вы даже не представляете себе, как часто, — я со страхом думаю, не наскучил ли я вам. Но потом я вспоминаю, как одиноко вам в этом большом пустом доме и как вы радуетесь, если кто-нибудь заходит навестить вас. Это и придает мне всегда мужества... Всякий раз, видя вас на террасе или в комнате, я внушаю себе: все-таки хорошо, что я пришел, иначе она просидела бы в одиночестве целый день. Неужели вам это не понятно?

Ее реакция была совершенно неожиданной. Взгляд серых глаз застыл, как если бы зрачки от моих слов окаменели. Ее пальцы, напротив, беспокойно зашевелились, они ощупывали ручки кресла и барабанили по гладкому дереву, сперва тихонько, а затем все сильнее и сильнее. Рот искривился в легкой гримасе, и она отрывисто произнесла:

— Понимаю вас! Вполне понимаю... Сейчас... сейчас, мне кажется, вы действительно сказали правду. Вы изъяснились учтиво, очень учтиво, хотя и весьма замысловато. Однако я поняла вас, отлично поняла... Вы приходите, как вы объяснили, потому, что я так «одинока», или, проще говоря, оттого, что я пригвождена к проклятому креслу. Значит, вы только из-за этого каждый день таскаетесь сюда, только как милосердный самаритянин навещаете «бедного больного ребенка» — так, кажется, все вы зовете меня за глаза? Знаю, знаю. Стало быть, ходите только из жалости. Да, да, я вам верю — к чему вам теперь отрицать это? Ведь вы так называемый «добрый человек» и охотно позволяете моему отцу считать вас таковым. «Добрым людям» жалко всех побитых собак и шелудивых кошек, отчего бы им не пожалеть и калеку?

Она судорожно выпрямилась.

— Но благодарю покорно! Я не нуждаюсь в подобной дружбе из милосердия... Да, да, и не делайте, пожалуйста, такой сокрушенной физиономии! Я понимаю, вы расстроились оттого, что выболтали правду. Еще бы, признались, что ходите сюда потому лишь, что вам меня «жалко», — точь-в-точь, как говорила та служанка, только она сказала это прямо, по-честному. Вы же, как «добрый человек», выражаетесь намного тактичнее, намного «тоньше», вы говорите обиняками: потому, что я, мол, торчу здесь в одиночестве целый день. Только из жалости, я уже давно чувствую это всеми косточками, только из жадости приходите вы ко мне, да еще хотите, чтоб вами восторгались за такую самоотверженность. Но должна вас огорчить: я не терплю, чтобы мне приносили жертвы! Я ни от кого не приму их, и меньше всего от вас... я запрещаю вам это! Слышите, запрещаю!.. Неужели вы действительно думаете, что я не могу обойтись без вас с вашими «соболезнующими», слезливыми взглядами и «тактичной» болтовней? Нет, слава богу, не нужны вы мне все... Уж как-нибудь справлюсь с собой сама, переживу все одна. А когда станет невмоготу, я сумею от вас избавиться... Вот! — Она неожиданно повернула руку кверху ладонью и показала мне. — Видите шрам? Однажды я уже пробовала, но по неловкости не сумела добраться до вены тупыми ножницами; все вышло страшно глупо, они прибежали вовремя и успели пере-

вязать меня, не то бы я давно уже избавилась от всех вас и вашей омерзительной жалости! Но в следующий раз я сделаю это лучше, будьте спокойны! Не думайте, что я совершенно беспомощна против вас! Лучше сдохнуть, чем принимать сожаления! Вот! — Она вдруг засмеялась, и ее пронзительный смех, как пила, разрезал тишину. — Смотрите! Мой предусмотрительный отец забыл об одной вещи, когда строил для меня башню... Он заботился лишь о том, чтобы я могла любоваться отсюда прекрасным видом... «Солнца, побольше солнца и свежего воздуха», — сказал доктор. Но какую отличную службу она мне когда-нибудь сослужит, эта терраса, им всем и в голову не приходило — ни отцу, ни врачу, ни архитектору... Взгляните-ка туда... — Внезапно приподнявшись, она отчаянным толчком перебросила свое тело и впилась обеими руками в перила террасы. — Здесь четыре, нет, пять этажей, а внизу каменные плиты... вполне достаточно... И, слава богу, в руках у меня хватит силы перелезть через это, ходьба на костылях укрепляет мускулы. Один только рывок — и я навсегда избавлюсь от вашего проклятого сожаления... тогда всем будет хорошо — отцу, Илоне и вам, — всем, кому я отравляю жизнь! Вот видите, как это легко, стоит лишь чуть-чуть нагнуться, и...

Не на шутку встревоженный, я вскочил, когда Эдит, сверкая глазами, слишком перегнулась через парапет, и быстро схватил ее за руку. Но мое прикосновение словно обожгло ее, она вздрогнула и закричала:

— Прочь!.. Как вы смеете меня трогать!.. Прочь!.. Я вправе делать то, что хочу. Отпустите!.. Сейчас же отпустите!..

И когда я, не слушая, попытался силой оттащить ее от перил, она резко повернулась ко мне всем телом и толкнула меня в грудь. Тут случилось ужасное. Нанося мне удар, Эдит потеряла точку опоры, слабые ноги ее подогнулись, и она как подкошенная рухнула на пол. И хотя в последний момент я протянул руки, чтобы поддержать ее, было уже поздно. Падая, она ухватилась за крышку стола и опрокинула его — с прохотом разлетелась в куски ваза, застывли тарелки и чашки, а большой бронзовый колокольчик с трезвонном покотился по террасе.

Больная лежала на полу беспомощным гневным комочком, плача от стыда и злости. Я нагнулся, чтобы поднять ее легкое тело, но она оттолкнула меня.

— Прочь! Прочь отсюда!..— рыдая, повторяла она.— Низкий, бесчувственный вы человек!..

Снова и снова Эдит пыталась подняться сама, но все усилия ее были тщетны. Каждый раз, когда я приближался к ней, чтобы помочь, она съеживалась и кричала в бессильном гневе:

— Прочь!.. Не трогайте меня... Уходите прочь!

Никогда я не переживал ничего более ужасного.

Но тут позади нас что-то тихо загудело. Это был лифт. Вероятно, Йозеф, который всегда стоит настороже, услышал звон упавшего колокольчика. Тактично потупив взор, слуга быстро подошел к нам и, стараясь не глядеть на меня, привычным движением поднял плачущую и отнес ее в кабину. Еще минута, и они спустились вниз. Я остался один возле опрокинутого стола, среди осколков посуды и разбросанных вещей; они лежали в таком беспорядке, что казалось, будто гром грянул с ясного неба и вихрь разметал все вокруг.

**Н**е могу сказать, как долго я простоял на террасе, ошеломленный этим бурным взрывом чувств, совершенно непонятным мне. Какую глупость я сказал? Чем вызван этот необъяснимый гнев? Но вот за моей спиной снова раздался знакомый, похожий на гудение вентилятора звук поднимающегося лифта. Из кабины опять вышел Йозеф; его, как всегда, гладко выбритое лицо было необыкновенно печально. Сначала я подумал, что он поднялся лишь затем, чтобы прибраться на террасе, и я буду только мешать ему. Однако слуга бочком-бочком приблизился ко мне с опущенными глазами, мимоходом подобрав с пола салфетку.

— Простите, господин лейтенант,— начал он, понизив голос, который, казалось, тоже кланялся вместе с ним (это был слуга старой австрийской выучки).— Разрешите, господин лейтенант, я оботру вас.

Тут только, проследив взглядом за его рукой, я заметил два больших темных пятна у себя на одежде: одно на мундире, другое на светлых брюках. Очевидно, ко-

гда я нагнулся, чтобы подхватить Эдит, на меня вылился чай из опрокинутой чашки; стоя на коленях, слуга старательно тер и осушал салфеткой влажные места, а я, глядя на его добрую седую голову, не мог отделаться от мысли, что старик нарочно склонился так низко, чтоб я не видел его глаз и расстроенного лица.

— Нет, это не годится,— огорченно произнес он, не поднимая головы.— Лучше всего, господин лейтенант, послать шофера в казарму за другим мундиром. В таком виде господину лейтенанту никак нельзя показываться на улице. Но смею заверить господина лейтенанта, через час все высохнет, и я хорошенько проглажу брюки.

Он констатировал это как бы между делом, профессионально бесстрастным тоном, в котором, однако, предательски прорывались сочувственные нотки. Когда же я сказал, что не стоит хлопотать, а лучше вызвать по телефону экипаж, тем более что мне и без того пора домой, он неожиданно откашлялся и поднял свои добрые, чуть усталые глаза.

— Не изволят ли господин лейтенант остаться еще ненадолго? Было бы ужасно, если бы господин лейтенант сейчас ушли. Я точно знаю, что фрейлейн Эдит страшно огорчится, если господин лейтенант не обождут немного. Сейчас при ней фрейлейн Илона... они.... уложили ее в постель. Однако фрейлейн Илона просила передать, что она скоро придет, пусть господин лейтенант непременно дождутся.

Я был глубоко тронут. Как ее здесь все любят! Как ласковы и снисходительны к ней! Мною овладело неодолимое желание сказать что-нибудь теплое, сердечное этому доброму старику, который, словно испугавшись собственной дерзости, снова старательно принялся чистить мой китель; я легонько похлопал его по плечу.

— Не надо, Йозеф, не трудитесь! Все это быстро просохнет на солнце, а ваш чай, надеюсь, не так уж крепок, чтобы оставить заметное пятно. Займитесь лучше посудой. Я дождусь фрейлейн Илону.

— О, как хорошо, что господин лейтенант согласились обождать,— с облегчением вздохнул он.— Господин фон Кекешфальва тоже скоро вернутся и будут ра-



ды видеть господина лейтенанта. Они строго-настрого наказывали мне...

Тут на лестнице послышались чьи-то легкие шаги. Это была Илона. Подойдя ближе, она, точь-в-точь как Иозеф, потупила взор.

— Эдит просит вас заглянуть к ней в спальню. Всего лишь на минутку! Она очень просит вас об этом.

Не проронив более ни слова, мы спустились по винтовой лестнице и так же молча прошли через гостиную и будуар в длинный коридор, который, очевидно, вел в спальни. Порою мы сталкивались плечами в узком темном проходе, быть может, потому, что я был взволнован и шел неуверенно. У второй двери Илона остановилась и горячо зашептала:

— Будьте с ней сейчас поласковее. Не знаю, что там у вас случилось, но эти внезапные вспышки для меня не новость. Нам они знакомы. И все же не следует сердиться на нее, право, не следует. Мы, здоровые, и представить себе не можем, что значит изо дня в день с утра до вечера быть прикованной к креслу. Раздражение все накапливается, накапливается и, наконец, прорывается помимо ее воли. Но, поверьте мне, бедняжка сама больше всех страдает от этого. Как раз сейчас, когда ей так стыдно и тяжело, мы должны быть особенно добры к ней.

Я промолчал. Да отвечать было и незачем, Илона не могла не заметить моего смятения. Она осторожно постучала в дверь и, едва из комнаты донеслось тихое, застенчивое «войдите», быстро проговорила:

— Не задерживайтесь долго. Минутку, не больше!

Бесшумно отворив дверь, я вошел. В просторной комнате я сперва не увидел ничего, кроме красноватого сумрака, так как окна были плотно занавешены оранжевыми гардинами; лишь через несколько мгновений я разглядел в глубине светлый прямоугольник кровати. Оттуда несмело прозвучал хорошо знакомый голос:

— Сюда, пожалуйста, присядьте. Я задержу вас всего на одну минуту.

Я подошел ближе. Среди подушек мерцало узкое лицо, обрамленное волосами. Из-под пестрого, с вышитыми цветами одеяла выглядывала тонкая детская шея.

Эдит с некоторым опасением выждала, пока я уселся, и лишь тогда робко произнесла:

— Простите, что я принимаю вас здесь, но мне стало дурно... так долго нельзя лежать на солнце, потом всегда кружится голова... Я совершенно не сознавала, что делала, когда... Но... но вы забудете все это... не правда ли? Вы больше не сердитесь на меня за мою невоспитанность?

В ее голосе было столько мольбы и тревоги, что я перебил ее:

— Ну что вы... Во всем виноват я... мне не следовало разрешать вам так долго сидеть на жаре.

— Значит... значит, вы на меня не обиделись?

— Нисколько.

— И опять придете... как приходили всегда?

— Непременно. Но только при одном условии.

Она с беспокойством взглянула на меня.

— При каком?

— Что вы станете чуточку больше доверять мне и не будете постоянно думать, что обидели или оскорбили меня! Разве настоящие друзья придают значение таким пустякам? Если б вы знали, как вы преображаетесь, когда у вас легко на сердце, сколько радости доставляете всем нам: отцу, Илоне, мне, всему дому! Посмотрели бы вы на себя, какой веселой вы были позавчера на прогулке! Я весь вечер вспоминал об этом.

— Вы думали обо мне весь вечер? — Эдит нерешительно посмотрела на меня. — Правда?

— Правда. Какой это был день! Я никогда его не забуду. Чудесная, изумительная прогулка!

— Да, — мечтательно повторила она, — это было чудесно, чудесно... и дорога через поля, и маленькие жеребята, и свадьба в деревне... все было чудесно, с начала до конца! Почаще бы так выезжать! Быть может, как раз это дурацкое сидение дома, это идиотское затворничество и расшатало вконец мои нервы. Вы правы, я в самом деле слишком недоверчива... вернее, стала такой с тех пор, как со мной это случилось. Господи, я не помню, чтобы прежде кого-либо боялась... Но с той поры я стала мнительной... Все время внушаю себе, что каждый смотрит на мои костыли, жалеет меня... Я понимаю, что это нелепо, что это глупая ребяческая

гордость, из-за которой ожесточаешься против самой себя... знаю, что от этого лишь становится хуже, нервы совсем не выдерживают. Но как тут не быть мнительной, когда это тянется целую вечность! Ах, поскорее бы кончился весь этот ужас, ведь так можно превратиться в несносную злюку!

— Но конец уже близок. Вам надо лишь набраться мужества и терпения, еще немного, чуть-чуть.

Она слегка приподнялась.

— Вы убеждены... вы действительно убеждены, что новый метод лечения поможет?.. Вы понимаете, позавчера, когда папа пришел ко мне, я несколько в этом не сомневалась... Но сегодня ночью, сама не знаю почему, на меня вдруг напал страх, что доктор ошибся и сказал мне неправду, потому что я вспомнила... Видите ли, раньше я верила доктору Кондору, он был для меня как бог. Но ведь всегда бывает так: сначала врач наблюдает больного, а потом, со временем, и больной — врача. И вот вчера, — я рассказываю это только вам, — вчера, когда он осматривал меня, мне показалось... как бы это вам объяснить... ну, что он просто разыгрывает комедию... Он был какой-то нерешительный, неискренний, совсем не такой сердечный, откровенный, как обычно... Не знаю, отчего, но у меня было такое чувство, что ему почему-то стыдно передо мной... Конечно, я страшно обрадовалась, когда он сказал, что хочет немедленно отправить меня в Швейцарию... и все же... где-то в глубине души... — признаюсь в этом только вам — я испытывала все тот же безотчетный страх... только, ради бога, не говорите ему об этом!.. Мне казалось, будто с новым лечением не все ладно... и он водит меня за нос... или все-навсего хочет успокоить папу. Вот видите, я никак не могу справиться со своей недоверчивостью. Но что же мне делать? Как тут не стать подозрительной к самой себе, к другим, когда мне столько раз твердили, что мои мучения вот-вот кончатся, а между тем все тянется по-прежнему страшно медленно. Нет, я не могу, я больше не могу выносить этого вечного ожидания!

В возбуждении она приподнялась еще выше, ее руки дрожали. Я быстро наклонился к ней.

— Нет, нет... не надо волноваться! Вспомните, ведь вы только что обещали мне...

— Да, да, вы правы! Незачем понапрасну изводить себя и других. Чем другие-то виноваты? И без того ви- сишь у них камнем на шее... Нет, нет, я вовсе не хотела этого сказать, нет... я только хотела поблагодарить вас за то, что вы простили мне мою глупую раздражитель- ность... и вообще... за то, что вы всегда добры ко мне... так трогательно добры, хотя я этого вовсе не заслужи- ваю. И как раз вас-то я и... Но не будем больше гово- рить об этом, ладно?

— Не будем. Никогда. А теперь вам надо хорошень- ко отдохнуть.

Я встал, чтобы пожать ей на прощание руку. Эдит была очень мила в эту минуту, когда еще чуть боязли- во и вместе с тем успокоенно улыбалась мне с поду- шек,—совсем как ребенок перед сном. Все было ула- жено, гроза прошла, и небо очистилось. Непринужден- но, почти весело подошел я к постели. Но Эдит вдруг воскликнула в испуге:

— Боже мой, что это? Ваш мундир...

Заметив большие влажные пятна на моем мундире, она, должно быть, догадалась, что причиной этой ма-ленькой неприятности мог быть только чай из опроки- нутых ею чашек. Глаза ее тотчас спрятались за опустив- шимися веками, протянутая рука пугливо отдерну- лась. Однако именно то, что она приняла так близко к сердцу подобную мелочь, тронуло меня больше всего. Чтобы успокоить ее, я перешел на шуточный тон.

— Пустяки,— сказал я.— Ничего серьезного. Непо- слушный ребенок облил меня чаем.

Все еще глядя на меня смущенно, она с благодар- ностью приняла этот игривый тон.

— И вы, конечно, отшлепали непослушного ребенка?

— Нет,— ответил я, войдя в роль,— в этом не было необходимости. Ребенок уже ведет себя хорошо.

— И вы в самом деле больше не сердитесь на него?

— Нисколечко. Разве вы не слышали, как он мило сказал: «Я больше не буду»?

— Стало быть, вы не обиделись?

— Нет, я все простил и забыл. Только, разумеется, он впредь должен слушаться взрослых и делать все, что от него требуют.

— Что же ему делать?

— Набраться терпения, быть всегда приветливым и веселым. Не сидеть слишком долго на солнце, почаще выезжать на прогулки и в точности исполнять все, что говорит доктор. А сейчас ребенок должен спать, не разговаривать и ни о чем не думать. Покойной ночи.

Я протянул ей руку. Сияя звездочками глаз, она счастливо улыбнулась, ее теплые тонкие пальцы доверчиво легли в мою ладонь.

С легким сердцем направился я к выходу. Я уже взялся за ручку двери, как позади прожурчал нетроумкий, переливчатый смех.

— А как теперь ведет себя ребенок?

— Безупречно. Он получил за это пятерку по поведению. Но сейчас спать, спать и не думать ни о чем плохом!

Я наполовину открыл дверь, но мне вслед опять вспорхнул этот по-детски лукавый смех. И снова голос с подушек:

— А вы забыли, что полагается пай-детке на ночь?

— Что же?

— Пай-детку полагается на ночь поцеловать.

Мне стало не по себе. В ее голосе дрожала и прорывалась какая-то дразнящая нотка, и это мне не нравилось; еще раньше я заметил, что ее глаза блестят слишком лихорадочно. Но я не хотел давать ей повода для раздражения.

— Ах, да, конечно,— ответил я нарочито небрежным тоном.— Я совсем позабыл.

Несколько шагов обратно — и я снова у ее кровати; по внезапно наступившей тишине я почувствовал, что Эдит затаила дыхание. Ее глаза были устремлены на меня, голова неподвижно покоилась на подушке. Она лежала не шелохнувшись, и только ее взгляд, не отрываясь, следил за мной и не отпускал меня.

«Скорее, скорее!» — думал я с возрастающим чувством неловкости и, быстро нагнувшись, слегка дотронулся губами до ее лба, на миг ощутив смутный аромат волос. Но тут ее руки, выжидающе лежавшие поверх одеяла, взметнулись и, прежде чем я успел уклониться, крепко обхватили мою голову. Страстным, порывистым движением она прильнула ко мне и прижала мой

рот к своим губам так горячо и жадно, что зубы коснулись зубов. Ни разу в жизни меня никто не целовал так иступленно, так отчаянно, как это искалеченное дитя.

А ей все было мало, мало! С какой-то хмельной силой Эдит обнимала меня, пока у нее не перехватило дыхание. Наконец она ослабила объятия, и ее руки начали блуждать от висков к затылку, ероша мои волосы. Но она не отпускала меня. Лишь на мгновение откинувшись, она, как замороженная, посмотрела мне в глаза, а затем вновь привлекла меня к себе. Самозабвенно, с какой-то бессильной яростью покрывая поцелуями мои щеки, губы, глаза, лоб, она бессвязно лепетала, нет — стонала: «Глупый... глупый... Какой ты глупый!..» и еще горячее: «Ты, ты, ты...» Все сильнее, все безумнее становился ее натиск, все жаднее и жарче ее объятия и поцелуи, но вдруг по ее телу пробежала судорога... Эдит отпустила меня, ее голова упала на подушку, и только глаза сияли торжествующим блеском.

Внезапно застыдившись, она быстро отвернулась и прошептала в изнеможении:

— А теперь уходи... уходи, глупый!

**Ш**атаясь, я вышел из комнаты. В темном коридоре последние силы оставили меня. Мне пришлось ухватиться за стену — голова кружилась, перед глазами все плыло. Так вот в чем дело! Вот в чем тайная причина (слишком поздно ставшая явной) ее беспокойства, ее непонятной агрессивности. Испуг мой был неописуем. Такое чувство, наверное, испытывает человек, который доверчиво наклонился над цветком и вдруг увидел змею. Если б эта обидчивая девушка плюнула в меня, обругала или ударила, я был бы менее обескуражен, так как при ее неуравновешенном характере я каждую минуту был готов ко всему — ко всему, кроме одного: что она, больная, несчастная, могла любить и хотела быть любимой. Что этот ребенок, это незрелое и беспомощное создание посмеет (я не нахожу другого слова) желать и любить чувственной любовью зрелой женщины. Я ждал чего угодно, только одно не приходило мне в голову: что обиженная судьбой калека, у которой нет сил даже волочить ноги, может мечтать о любимом, воз-

любленном, что она так превратно истолкует мои частые посещения, вызванные исключительно жалостью и ничем другим. Но уже в следующую секунду меня вновь охватило отчаяние: я понял, что всему виной мое горячее сочувствие, если эта обреченная на затворничество девушка ожидала от меня, единственного мужчины, изо дня в день навещавшего узницу в ее «тюрьме», иного, более нежного чувства. А я, жалостливый дурак, я, по неизлечимой простоте своей, видел в ней только страдалицу, больного ребенка, но не женщину. Ни на одно мгновение я не допускал и мысли, что под этим одеялом скрывается обнаженное тело женщины, испытывающее желание и жаждущее быть желанным! Никогда мне, двадцатипятилетнему, даже и не снилось, что больные, увечные, незрелые и преждевременно состарившиеся, отверженные и презираемые также смеют любить. Ибо каждому молодому человеку, еще незнакомому с настоящей жизнью и переживаниями, мир представляется почти всегда лишь как отражение услышанного и прочитанного; мечты юноши, не имеющего собственного опыта, неизбежно питаются чужим опытом и примером. В книгах, на сцене и в кино (так упрощающем и опощающем действительность) любовь всегда была уделом молодых, красивых избранников; поэтому я полагал — отсюда моя робость в некоторых случаях, — что надо быть особенно привлекательным, особенно щедро одаренным судьбой, чтобы снискать расположение женщины. Ведь я оставался простым и непринужденным в общении с обеими девушками только потому, что с самого начала исключал из наших отношений всякую эротику, нисколько не сомневаясь, что я для них не больше чем славный парень, хороший друг. И если Илона все же иногда пробуждала во мне чувственность, то об Эдит я никогда не думал как о существе другого пола; никогда (я могу сказать это с полной уверенностью) у меня не мелькала даже смутная мысль, что ее хилое тело — такое же, как и у других женщин, а в ее душе теснятся те же желания. Лишь теперь я начал понимать (писатели чаще всего обходят это молчанием), что уродливые, искалеченные, увядшие и отвергнутые намного опаснее в своих вожделениях, чем счастливые и здоровые, что они любят фанатической, горькой, губитель-

ной любовью, и ни одна земная страсть не бывает столь ненасытной и столь отчаянной, как безнадежная, безответная любовь этих пасынков господина бога, которые видят смысл в жизни лишь тогда, когда могут любить и быть любимыми. Чем глубже бездна отчаяния, в которую погружается человек, тем яростнее вопль его души, жаждущей счастья. Наивный и неискушенный, я и не подозревал о существовании этой страшной тайны — и вот сейчас случайная разгадка обожгла меня раскаленным железом.

«Глупый!» Теперь я понял, почему именно это слово сорвалось с ее губ в смятении чувств, когда ее полудетская грудь прижималась к моей. «Глупый!» Да, она была права, называя меня так! Все, конечно, давно уже догадывались, в чем тут дело, — и отец, и Илона, и Йозеф, и остальные слуги. Все, конечно, давно уже подозревали о ее страсти — быть может, со страхом и, наверное, с дурными предчувствиями; и только я, одержимый состраданием, ничего не видел, продолжая разыгрывать из себя доброго друга, хорошего товарища; я с дурацкой самоуверенностью шутил и паясничал, не замечая, как больно ранит ее пылкую душу моя бестолковая, необъяснимая непонятливость. Я вел себя, как жалкий герой плохой комедии: все в зрительном зале давно уже знают, что этот глупец опутан интригами, и только он сам с полной серьезностью беззаботно продолжает игру, не ведая, что попался в сети (хотя остальные с самого начала видят каждую ниточку и каждый узелок). Столь же беспомощно на глазах у всего дома я топтался на месте, играя в жмурки с ее чувством, пока Эдит не сорвала наконец повязку с моих глаз. Но как одной вспышки света достаточно, чтобы осветить в комнате сразу десяток предметов, так и я, пристыженный, понял теперь — слишком поздно! — многое из того, что происходило прежде. Только теперь я понял, почему она всякий раз раздражалась, когда я шутиво говорил ей «детка», именно я, в глазах которого ей хотелось быть не ребенком, но женщиной, желанной и любимой. Только теперь я понял, почему ее губы начинали дрожать, если она замечала, что я потрясею ее несчастьем, почему ее озлобляло мое сострадание, — вещный женский инстинкт безошибочно подсказывал ей,



что сострадание — это лишь теплое братское чувство, лишь жалкий суррогат настоящей любви. Бедняжка, с каким мучительным нетерпением ждала она хоть какого-нибудь отклика, хоть одного слова или взгляда — а их все не было; как страдала она от моей непринужденной болтовни, какой пыткой были для нее наши встречи, когда ее измученная душа ждала первого знака нежности, ждала, что я наконец замечу ее чувство. А я — я ничего не говорил, ничего не делал, но приходил снова и снова, поддерживая в ней надежду ежедневными посещениями и в то же время убивая ее своей душевной глухотой. Можно ли удивляться, что она, не выдержав, «атаковала» меня сама!

Все это проносилось в моем мозгу, пока я стоял, прислонившись к стене тесного коридора, словно огушенный взрывом; мне не хватало воздуха, ноги не слушались меня, будто и я был парализован. Дважды пытался я сдвинуться с места, но только в третий раз мне удалось сделать несколько нетвердых шагов и ощупью отыскать дверную ручку. «Эта дверь в гостиную, — быстро соображал я, — налево другая, ведущая в вестибюль, там моя сабля и фуражка. Прочь, скорее прочь, пока не пришел слуга! Вниз по лестнице — и прочь, прочь, прочь! Бежать из этого дома, пока не встретился кто-нибудь, с кем придется разговаривать, отвечать на вопросы. Только бы не попасться на глаза ее отцу, Илоне, Йозефу — никому из тех, кто позволил мне запутаться в этой паутине! Прочь, скорее прочь отсюда!»

Но слишком поздно! В гостиной ждала Илона, она, без сомнения, услышала мои шаги. Едва увидев меня, она изменилась в лице:

— Иисус Мария, что с вами? Вы бледны, как мел!.. Эдит?.. С ней опять что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке, — пробормотал я на ходу. — Думаю, она сейчас спит. Прошу прощения, мне нужно домой.

Но в моей резкости было, вероятно, что-то пугающее, так как Илона решительно схватила меня за руку и буквально толкнула в одно из кресел.

— Да посидите вы немного. Вам надо прийти в себя... И ваши волосы... что с вашими волосами? Они

совсем растрепаны...—Я попытался вскочить.—Нет, сидите. Сейчас я достану коньяк.

Она подбежала к буфету, налила рюмку коньяку, и я торопливо осушил ее. Илона с беспокойством следила, как я дрожащей рукой поставил рюмку (ни разу в жизни я не чувствовал себя таким беспомощным, таким обессиленным). Потом она тихо подседа ко мне и стала молча ждать, украдкой бросая на меня тревожные взгляды, словно я внезапно заболел. Наконец она спросила:

— Эдит вам... что-нибудь сказала? Я имею в виду — что-нибудь, что... касается вас самого?

По ее участливому тону я понял, что она обо всем догадывается. Я был слишком слаб, чтобы защищаться. И потому лишь тихо ответил:

— Да.

Илона ничего не сказала. Она даже не пошевелилась. Я только заметил, что у нее участилось дыхание. Немного погодя она осторожно произнесла:

— И вы... вы действительно только сейчас это узнали?

— Но как же я мог догадаться о таком... таком сумасшедшем вздоре!.. Как могло ей прийти в голову?.. И почему я... почему именно я?..

Илона вздохнула.

— О боже! Да она все время думала, что вы приходите только ради нее... что вы только поэтому и бываете у нас. Я... я, конечно, не предполагала... ведь вы вели себя так... так непринужденно и... так сердечно, но... по-другому. Я с самого начала боялась, что у вас это страдание, и только. Но как мне было предостеречь бедную девочку, разве могла я безжалостно объяснить ей, что она заблуждается, если это заблуждение делало ее счастливой?.. Уже несколько недель она живет одной-единственной мыслью, что вы... И потом, когда Эдит все спрашивала и спрашивала меня, верю ли я, что она вам действительно нравится, разве могла я так жестоко... ведь я должна была ее успокоить.

Я больше не мог себя сдерживать:

— Нет, напротив, вы должны разубедить ее, непременно разубедить! Это же безумие, бред, детский каприз... обычная влюбленность девочки в военных, а если

завтра придет другой, он ей тоже понравится. Вы должны... вы должны ей это объяснить. Это же чистая случайность, что именно я оказался здесь, что я пришел сюда, а не кто-либо другой из моих товарищей, более достойный. В ее возрасте такое проходит очень быстро...

Илона грустно покачала головой.

— Нет, дорогой друг, не надо себя обманывать. У Эдит это серьезно, страшно серьезно, и день ото дня становится опаснее... Нет, дорогой друг, все это слишком тяжело, и я не в состоянии так, сразу, облегчить вам это бремя. Ах, если бы вы только знали, что творится у нас в доме... По три, по четыре раза за ночь мы просыпаемся от звона колокольчика. Эдит бесцеремонно будит нас всех, а когда мы прибегаем к ней в страхе, не случилось ли чего-нибудь, она сидит в своей кровати, растерянно глядя перед собой, и спрашивает без конца: «Как ты думаешь, я ему хоть немножко, хоть чуточку нравлюсь? Ведь не такая уж я страшная». Потом она требует зеркало, но тут же отбрасывает его и уже в следующий миг сама понимает, что это безумие; а через два часа все начинается сначала. В отчаянии она спрашивает и отца, и Йозефа, и служанок; вчера же она тайком позвала к себе ту цыганку — помните? — и заставила ее снова повторить предсказание — снова... Уже пять раз она писала вам письма, длинные письма, но потом рвала их. С утра до вечера, с утра до поздней ночи она думает и говорит только об одном. То она вдруг требует, чтобы я пошла к вам и спросила, любите ли вы ее, любите ли хоть капельку или... или она вам в тягость? Ведь вы ей не говорите ни да, ни нет, вы уклоняетесь от разговора. Тотчас же, немедленно, я должна ехать к вам, найти вас, где бы вы ни были. По три, по четыре, по пять раз повторяет она мне каждое слово, которое я должна сказать вам, спросить вас. А в последний момент, когда я уже спустилась вниз и шофер ждет в машине, — снова заливается колокольчик, и я, в пальто и шляпе, возвращаюсь назад и клянусь ей жизнью своей матери, что в вашем присутствии никогда не позволю себе ни малейшего намека. Да что вы знаете? Ведь для вас все кончается, как только вы закрываете за собой дверь. Но не успеваете вы уйти, как она

начинает пересказывать мне все, что вы ей говорили, спрашивает, что я думаю, верю ли я. И если я говорю ей: «Ну видишь, как он тебя любит», — она кричит на меня: «Ты лжешь! Это неправда! Он не сказал мне сегодня ни одного доброго слова», — но тут же опять хочет услышать все, что я ей говорила; трижды должна я повторять ей одно и то же и клясться, что это правда... И потом еще дядя... Несчастный совершенно растерялся; к тому же он любит и боготворит вас, как сына. Посмотрели бы вы на старика, когда он часами сидит подле дочери, не сводя с нее усталых глаз, ласкает и успокаивает ее, пока она наконец не уснет. А сам потом всю ночь без сна ходит взад-вперед по комнате... И вы... вы действительно ничего не замечали?

— Нет! — громко крикнул я в отчаянии, забыв о всякой сдержанности. — Нет, клянусь вам, ничего! Абсолютно ничего! Неужели вы думаете, что я продолжал бы ходить сюда, что я сидел бы с вами обеими, играл в шахматы и домино или слушал пластинки, если бы догадывался, что тут творится?.. Но как могла она вбить себе в голову, что я... что именно я... Как она может требовать, чтобы я принял всерьез такой вздор, такое ребячество?.. Нет, нет и нет!

Я снова попытался вскочить. Мысль, что я любим против своей воли, была невыносима. Но Илона решительно схватила меня за руку.

— Спокойно! Я заклинаю вас, дорогой друг, не волнуйтесь! И умоляю — немного потише! У нее такой слух, что она слышит сквозь стены. И, ради бога, не будьте несправедливы. Бедняжка восприняла как знак свыше, что желанную весть принесли именно вы, что вы первый сообщили отцу о новом лечении. Он тогда прибежал к ней среди ночи и разбудил ее. Представьте, как они рыдали и благодарили бога, что кончилось страшное время и что — они оба уверены в этом, — как только Эдит выздоровеет и станет такой же, как и все, то вы.. ну, мне не надо вам объяснять, что это значит. Именно поэтому вы не должны разочаровывать бедное дитя сейчас, когда новое лечение потребует от нее много сил. Мы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы она, упаси бог, не заподозрила, что это для вас так... так ужасно.

Но отчаяние сделало меня беспощадным.

— Нет, нет, нет! — стучал я кулаком по ручке кресла.— Нет, я не могу... я не хочу, чтобы меня любили, так любили!.. Я уже не в силах притворяться, будто ничего не замечаю, я больше не могу сидеть здесь и любезничать с нею как ни в чем не бывало... Вы не знаете, что произошло... там, в ее комнате, и... она совершенно превратно понимает меня. Ведь я испытываю к ней только сострадание. Только сострадание, и ничего больше, абсолютно ничего!

Илона молча смотрела прямо перед собой. Потом она вздохнула.

— Да, я этого боялась с самого начала! Я все время чувствовала... Но, боже мой, что же теперь будет? Как сказать ей об этом?

Наступило молчание. Все было сказано. Мы оба знали, что выхода нет. Вдруг Илона выпрямилась, напряженно прислушиваясь к чему-то, и почти в тот же момент я услышал скрежет тормозов подъехавшего автомобиля. Это, наверное, Кекешфальва. Илона вскочила.

— Вам лучше сейчас не встречаться.... Вы слишком возбуждены, чтобы разговаривать с ним спокойно... Подождите, я принесу вам саблю и фуражку, проще всего вам выйти через заднюю дверь прямо в парк. Я придумаю, как объяснить, почему вы не смогли остаться.

Она мигом принесла мои вещи. К счастью, слуга поспешил к автомобилю, так что я смог уйти незамеченным.

Очутившись в парке, я ускорил шаг, подгоняемый страхом, что кто-нибудь встретится и заговорит со мной. Во второй раз бежал я, точно вор, из этого рокового дома.

**П**о своей молодости и неопытности я всегда полагал, что для сердца человеческого нет ничего мучительнее терзаний и жажды любви. Но с этого часа я начал понимать, что есть другая и, вероятно, более жестокая пытка: быть любимым против своей воли и не иметь возможности защищаться от домогающейся тебя страсти. Видеть, как человек рядом с тобой сгорает в огне желания, и знать, что ты ничем не можешь ему помочь, что у тебя нет сил вырвать его из этого пламени. Тот, кто безнадежно любит, способен порой обуздать

свою страсть, потому что он не только ее жертва, но и источник; если влюбленный не может совладать со своим чувством, он по крайней мере сознает, что страдает по собственной вине. Но нет спасения тому, кого любят без взаимности, ибо над чужой страстью ты уже не властен и, когда хотят тебя самого, твоя воля становится бессильной. Пожалуй, только мужчина может в полной мере почувствовать безвыходность такого положения, только он, вынужденный противиться, чувствует себя при этом и жертвой и преступником. Потому что, если женщина обороняется от нежеланной страсти, она подсознательно повинуется инстинкту своего пола: кажется, сама природа вложила в нее этот изначальный жест отказа, и даже когда она уклоняется от самого пылкого вожделения, ее нельзя назвать бесчеловечной. Но горе, если судьба переставит чаши весов, если женщина, преодолев стыдливость, откроет сердце мужчине, если она предложит ему свою любовь, еще не будучи уверена во взаимности, а он, предмет ее страсти, останется холодным и неприступным! Это тупик, и выхода из него нет — ибо не пойти навстречу желанию женщины означает нанести удар ее гордости, ранить ее стыдливость; отвергая любовь женщины, мужчина неизбежно оскорбляет самые высокие ее чувства. Тут уже никакого значения не имеет деликатность отказа, бессмысленны все вежливые, уклончивые слова, оскорбительно предложение простой дружбы; если женщина выдала свою слабость, всякое сопротивление мужчины неминуемо превращается в жестокость; отказываясь от ее любви, он всегда становится без вины виноватым. Страшные, нерасторжимые узы! Только что ты еще был свободен, принадлежал самому себе и никому ничем не был обязан, и вот внезапно тебя подстерегают, преследуют, как добычу, ты становишься целью чужого, нежеланного желания. Потрясенный до глубины души, ты знаешь: теперь днем и ночью кто-то ждет тебя, думает о тебе, тоскует и томится по тебе, и этот кто-то — женщина. Она хочет, требует, она жаждет тебя каждой клеточкой своего существа, всем своим телом, своей кровью. Ей нужны твои руки, твои волосы, твои губы, твое тело и твои чувства, твои ночи и твои дни, все, что в тебе есть мужского, и все твои мысли и мечты. Она хочет

все делить с тобой, все взять у тебя и впитать в себя. Спишь ты или бодрствуешь — где-то в мире есть теперь существо, которое беспокойно ожидает тебя, ревниво следит за тобой, мечтает о тебе. Что толку, если ты стараешься не думать о той, которая всегда думает о тебе, что толку, если ты пытаешься ускользнуть, — ведь ты принадлежишь уже не себе, а ей. Чужой человек теперь, как зеркало, хранит твое отражение — нет, не так, ведь зеркало отражает твой лик только тогда, когда ты сам, по своей воле подходишь к нему; она же, эта любящая тебя женщина, она вобрала тебя в плоть и кровь свою, ты всегда останешься в ней, куда бы ты ни скрылся. Ты теперь навечно заточен в другом человеке и никогда больше не будешь самим собой, никогда больше не будешь свободным, и тебя, неповинного, всегда будут к чему-то принуждать, к чему-то обязывать; ты все время чувствуешь, как эта неотступная дума о тебе жжет твое сердце. Охваченный ненавистью и страхом, ты вынужден терпеть страдания чужого человека, тоскующего по тебе; и я знаю теперь: для мужчины нет гнета более бессмысленного и неотвратимого, чем быть любимым против воли, — это пытка из пыток, хотя и вина без вины.

Мне и не снилось, что женщина может так безгранично любить меня. Не раз слышал я хвастливые рассказы товарищей о том, как та или другая «бегала» за ними; слушая эти нескладные истории о чьей-то навязчивости, я, быть может, даже смеялся вместе со всеми, ибо тогда еще и не подозревал, что любовь, в какой бы форме она ни проявлялась, пусть даже самой смешной и абсурдной, неотделима от судьбы человека, и равнодушные к любви — это уже вина перед нею. Но ведь все услышанное и прочитанное скользит мимо, не оставляя следов, и только пережитое самим тобою открывает сердцу истинную природу чувства. Лишь сам испытал, как тяжело бремя безрассудной любви нелюбимой женщины, я проникся сочувствием и к тем, кто насильно хочет быть мил, и к тем, кто всеми силами защищается от немилых. Но сколь неизмеримо больше была ответственность, лежавшая на мне! Ведь если подобный отказ женщине уже сам по себе жестокость, то каким ужасным будет мое «нет», мое «я не хочу», обращен-

ное к этому пылкому ребенку! Я оскорблю больную, глубоко раню человека, и без того уже тяжело раненного жизнью, отниму у обездоленной надежду, последнюю опору, которая еще как-то поддерживает ее. Я сознаю, какой вред, быть может, непоправимый, нанес я девушке, которую одно лишь мое сострадание потрясло до глубины души, тем, что уклонился, бежал от ее любви; я сразу же с ужасающей ясностью понял, что, сам того не желая, совершил преступление, когда, будучи не в состоянии ответить на ее любовь, не попытался хотя бы притвориться влюбленным.

Но у меня не было выбора. Еще прежде, чем рассудок осознал опасность, мое тело уже начало обороняться от внезапных объятий. Наши инстинкты всегда оказываются более мудрыми, чем наша бодрствующая мысль; в первую секунду, когда я испуганно рванулся, спасаясь от нежеланной ласки, я уже смутно предвидел все, что последует. Я знал, что чуда не случится, что у меня никогда не хватит самоотверженности любить эту калеку так, как любит меня она, и что я, вероятно, даже не найду в себе достаточно сострадания, чтобы по крайней мере терпеливо выносить эту обезоруживающую меня страсть. И в тот миг, когда я отпрянул, я уже предчувствовал: здесь нет выхода, нет среднего пути. Кого-то одного из нас эта нелепая любовь сделает несчастным, а быть может, и обоих.

**Н**е помню, как я тогда добрался до города. Знаю только, что я шел очень быстро и в мозгу моем билась лишь одна мысль: «Прочь! Прочь! Вон из этого дома, из этих сетей! Уйти, убежать, исчезнуть! Никогда больше не переступать этого порога! Никогда не видеть этих людей, вообще никаких людей! Спрятаться, сделаться невидимым, никому не быть обязанным, ни во что больше не впутываться!» Помню, что мысленно я пытался пойти еще дальше: подать в отставку, раздобыть денег и уехать далеко, далеко, куда-нибудь, где эта безумная страсть не сможет меня настичь; но то были уже фантазии, а не трезвые размышления, потому что в висках у меня непрерывно стучало лишь одно: прочь, прочь, прочь!



Взглянув некоторое время спустя на запыленные сапоги и колючки репейника на брюках, я понял, что мчался напрямик через луга и поля; когда я очутился на главной улице города, солнце уже спряталось за крышами домов. Кто-то неожиданно хлопнул меня сзади по плечу, и я вздрогнул, словно очнувшийся от сна лунатик.

— Эй, Тони, вот ты где! Наконец-то попался! Мы обшарили весь город и уже хотели звонить тебе в твой рыцарский замок.

Я увидел вокруг себя трех товарищей: Йожи, графа Штейнхубеля и, конечно, Ференца, без которого никогда ничего не обходилось.

— А теперь живо! Ты только подумай, приехал Балинкай, свалился как снег на голову не то из Голландии, не то из Америки, в общем, бог знает откуда. Сегодня в половине девятого он устраивает вечеринку в «Рыжем льве» и пригласил всех офицеров и вольноопределяющихся. Придут полковник, майор, будет пир горой. Хорошо, что мы тебя поймали, старик бы разворчался, если б тебя не оказалось! Ведь ты знаешь, что Балинкай — его слабость, и, когда тот приезжает, мы должны являться, как на перекличку.

Я все еще не мог собраться с мыслями и озадаченно спросил:

— Кто приехал?

— Балинкай, тебе говорят! Чего уставился? Ты что, не знаешь Балинкай?

Балинкай... Балинкай... В моем мозгу все еще царит полнейшая сумятица; с большим трудом, словно вытаскивая его из груди старого хлама, вспоминаю я это имя. Ах, да, Балинкай — ведь он когда-то был *mauvais sujet*<sup>1</sup> в нашем полку. Еще задолго до моего прибытия он служил здесь сначала лейтенантом, потом оберлейтенантом; лучший наездник, сорвиголова, заядлый картежник и ловелас. Потом с ним произошла какая-то неприятная история — я так и не поинтересовался, какая именно, — но, что бы там ни было, он в двадцать четыре часа распрощался с мундиром и отправился на все четыре стороны; о его приключениях ходили самые неве-

---

<sup>1</sup> Здесь; «притчей во языцех» (франц.).

роятные слухи. В конце концов он опять выплыл на поверхность, подцепив в Каире, в отеле Шепперд, богатую вдову, голландскую миллионершу, владелицу семнадцати судов и множества плантаций на Яве и Борнео; с тех пор он стал нашим незримым покровителем.

Должно быть, полковник Бубенчич помог Балинкай выпутаться из той неприятной истории, потому что привязанность Балинкай к нему и к нашему полку была поистине трогательной. Всякий раз, бывая в Австрии, он специально заезжал в гарнизон и так швырял деньгами, что весь город говорил об этом еще много недель спустя после его отъезда. Для него стало своего рода внутренней потребностью хоть на один вечер надеть мундир и побыть со старыми товарищами, равным среди равных. Когда он весело и непринужденно сидел за офицерским столом, было видно, что его дом здесь, в этом грязном, прокуренном зале «Рыжего льва», а не во дворце на одной из амстердамских набережных; мы были и оставались для него детьми, его братьями, его настоящей семьей. Ежегодно он учреждал призы на наших скачках, на рождество неизменно прибывало два-три ящика bols'a всех сортов и корзина шампанского, а под Новый год полковник с абсолютной уверенностью мог предъявить в банке солидный чек и пополнить нашу офицерскую кассу. Каждый, кто носил уланский мундир и петлицы нашего полка, попав в затруднительное положение, мог рассчитывать на Балинкай: стоило написать ему, и все улаживалось.

Во всякое другое время возможность встретиться с такой знаменитостью меня бы искренне обрадовала. Но сейчас одна мысль о шумном веселье, криках, тостах и застольных речах повергла меня в трепет. И я тут же попытался ускользнуть, сославшись на нездоровье. Но Ференц, прикрикнув: «Не выйдет! Сегодня не отвертись!» — уже подхватил меня под руку, и мне пришлось покориться. Пока они тащили меня с собой, я тупо слушал Ференца, рассказывавшего о том, как и кому Балинкай уже помог выпутаться, как он пристроил его шурина и что, может быть, наш брат быстрее сделал бы карьеру, если бы пошел служить к нему на корабль или отправился в Индию. Йожи, этот тощий, угрюмый парень, время от времени вставлял ехидные замечания,

— Вряд ли полковник принял бы своего любимчика с таким радушием,— явил Йожи,— если бы тот не подцепил на крючок эту жирную голландскую треску. Кстати, говорят, что она на двенадцать лет старше его.

— Если уж продавать себя, так подороже,— рассмеялся в ответ граф Штейнхюбель.

Сейчас мне кажется странным, что, несмотря на мое подавленное состояние, каждое слово этого разговора запало мне в память. Впрочем, усталость часто сопровождается сильным возбуждением, и когда мы пришли в большой зал «Рыжего льва», мне благодаря гипнозу дисциплины удалось более или менее справиться с порученной работой. А дел было много. Притащили весь арсенал транспарантов, знамен и эмблем, которые обычно блистали лишь на полковых балах; вестовые с азартом вколачивали в стены гвозди; в соседней комнате Штейнхюбель дрессировал горниста, внушая ему, когда и как тот должен заиграть туш; Йожи, у которого был самый красивый почерк, получил задание написать меню, в котором все блюда носили шуточные названия; а на меня взвалили обязанности распорядителя. Между тем кельнеры уже сдвигали столы и стулья и расставляли звонкие батареи вин и шампанского, которые Балинкай привез из Вены от Захера в своем автомобиле. Как ни странно, но вся эта суматоха благотворно подействовала на меня, заглушив в мозгу тупую боль нерешенных вопросов.

Наконец к восьми часам все было готово. Оставалось лишь сбегать в казарму и привести себя в порядок. Денщика я предупредил заранее. Мундир и лаковые сапоги были наготове. Быстро окунаю голову в холодную воду, потом бросаю взгляд на часы: у меня еще есть десять минут. Надо торопиться — наш полковник чертовски пунктуален. Мигом раздеваюсь, снимаю пыльные ботинки... и как раз в тот момент, когда я в нижнем белье стою перед зеркалом, причесывая взлохмаченные волосы, раздается стук в дверь. «Меня нет дома», — приказываю Кузьме. Он проворно выскакивает в переднюю и с кем-то шепчется. Потом возвращается, держа в руке письмо.

Письмо? Мне? Я, как был в сорочке и кальсонах, беру голубой прямоугольный конверт, пухлый и тяжелый,

цельный пакет, и он словно обжигает мне руки: даже не глядя на почерк, я уже знаю, от кого это письмо.

«После, после,— мгновенно подсказывает инстинкт,— не сейчас!» Но против воли пальцы сами уже вскрывают конверт, и я погружаюсь в чтение, нетерпеливо перелистывая шуршащие листки.

Это было письмо на шестнадцать страницах, испитых стремительным, взволнованным почерком,— письмо, какое пишут только раз в жизни и только раз в жизни получают. Будто кровь из открытой раны, безудержно текли строчки, без абзацев, без точек; без запятых; слова спотыкались, догоняли, опережали друг друга. Даже теперь, спустя много лет, каждая строка и каждая буква все еще стоят у меня перед глазами, даже сейчас я мог бы наизусть повторить это письмо с начала до конца, страницу за страницей, в любое время дня и ночи — столько раз я его перечитывал. С того дня я месяцами не расставался с пачкой голубой бумаги, вновь и вновь вынимая ее из кармана — дома, в казармах, землянках и окопах; и лишь при отступлении на Волыни, когда наша дивизия попала в окружение, я уничтожил письмо, опасаясь, что эта исповедь любящего сердца попадет в чужие руки.

«Я написала тебе уже шесть писем,— начиналось оно,— и разорвала на клочки все до одного. Потому что я не хотела выдать себя, ни за что не хотела. И я сдерживалась, пока у меня были силы. Неделю за неделей я боролась с собой, скрывая свои чувства. Всякий раз, когда ты к нам приходил, приветливый, ничего не подозревающий, я приказывала своим рукам успокоиться, глазам — смотреть равнодушно, чтобы не растревожить тебя. Часто я даже нарочно бывала с тобой резка и насмешлива,— я все испробовала, все, что в человеческих силах и даже свыше их, лишь бы ты не догадался, как рвется к тебе мое сердце.

Но сегодня я не выдержала — это случилось, клянусь тебе, помимо моей воли, совершенно внезапно. Я сама не знаю, как это могло произойти; я готова была избить



«ИТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА»



«НЕТЕРПЕНИЕ СЕРЦА»

себя, так нестерпимо стыдно было мне потом. Ведь я понимаю, я очень хорошо понимаю, как безрассудно, как до безумия глупо с моей стороны навязываться тебе. Калека, парализованная тварь не имеет права на любовь. Да и могу ли я — разбитое, искалеченное существо — не быть в тягость тебе, когда я самой себе противна? Я сознаю, что такое существо, как я, не имеет права любить и тем более — быть любимой. Оно должно отползти в угол и подохнуть, а не отравлять другим жизнь своим ничемным существованием. Да, все это я отлично знаю, знаю — оттого и гибну, что знаю. Я никогда не посмела бы потревожить тебя, но ведь ты сам вселил в меня уверенность, что мне уже недолго оставаться жалким уродом. Я смогу двигаться, смогу ходить, как все, как миллионы людей, которым и невдомек, что каждый свободно сделанный шаг — это блаженство и милость божия. Я поклялась себе хранить молчание, пока все это не свершится, пока я не стану человеком, женщиной, как другие, и, может быть... может быть! — достойной тебя, любимый. Но безумное нетерпение и неутомимая жажда поскорее выздороветь оказались сильнее меня, и в тот миг, когда ты склонился надо мной, я вдруг в самом деле поверила, искренне и глупо поверила, что я уже другая, новая, исцеленная! Я слишком долго ждала этой минуты, мечтая о ней, а теперь ты был рядом со мной, и я забыла про свои проклятые ноги, я видела только тебя и чувствовала себя такой, какой хотела быть для тебя. Неужели ты не можешь понять, что если год за годом днем и ночью лелеешь одну-единственную мечту, то на какой-то миг она может показаться явью? Поверь мне, любимый: только то, что я вообразила, будто уже избавилась от своего увечья, и привело меня в такое смятение; я дала волю своему обезумевшему сердцу лишь потому, что больше не хватило терпения оставаться отверженной, калеккой. Пойми же, пойми — ведь я так давно, так томительно долго тоскую по тебе.

Но теперь ты знаешь то, о чем никогда бы не узнал, пока я по-настоящему не встала бы на ноги, и знаешь также, для кого я хочу выздороветь: для единственного на свете — для тебя! Только для тебя! Прости мне, бесконечно любимый, эту любовь. Умоляю тебя только об одном — не пугайся, не страшись меня! Не думай, что

если я однажды оказалась навязчивой, то стану снова тревожить тебя, что жалкая и противная себе самой калека попытается удержать тебя. Нет, клянусь, я ничем не буду докучать тебе, ты даже не почувствуешь, что я существую. Только ждать хочу я, терпеливо ждать, пока господь сжадется надо мной и исцелит меня. И прошу тебя, любимый, умоляю — не страшись моей любви! Подумай только, как я ужасающе беспомощна, прикованная к своему креслу, бессильная сделать хоть один шаг, пойти за тобой, поспешить тебе навстречу, и ты все поймешь, ты, который, как никто другой, проявил ко мне сострадание! Пойми же, пойми, что я пленница, которая осуждена терпеливо сидеть в темнице, с нетерпением ожидая, пока ты придешь и уделишь ей час, позволишь на тебя взглянуть, услышать твой голос, ощутить твоё дыхание, твоё присутствие. И это — единственное счастье, впервые дарованное мне за многие годы. Ты только представь себе: я все лежу и лежу, день и ночь, я жду тебя, и каждый час тянется так невыносимо долго, что едва хватает сил выдержать напряжение до конца. И вот приходишь ты, а я даже не могу вскочить с места, как это может сделать любая женщина, броситься к тебе навстречу и обнять тебя. Я должна сидеть неподвижно и, укрощая свои порывы, беспрестанно таиться, следить за каждым своим словом, взглядом, интонацией, лишь бы ты не догадался, что я осмелилась полюбить тебя. Но, поверь мне, любимый, — даже эти мучительные минуты всегда бывали для меня счастьем, и я гордилась собой каждый раз, когда мне снова удавалось сдержаться и ты, свободный и беззаботный, уходил, ни о чем не догадываясь, ничего не зная о моей любви; и только мне одной предстояла пытка — знать, сколь безнадежна моя любовь к тебе.

Но вот это случилось. И теперь, любимый, когда мне больше нечего скрывать, когда мне уже не отречься от своего признания, теперь я умоляю тебя — не будь со мной жестоким. Ведь даже у самого обездоленного, самого несчастного существа есть своя гордость, и я не снесу, если ты станешь презирать меня за то, что я не смогла укротить своё сердце! Не ответной любви жду я от тебя — о нет! Видит бог, который исцелит и спасет меня, об этом я и не помышляю. Даже во сне я не смею



надеяться, что ты сможешь полюбить меня сейчас, такой, какая я есть; я не хочу от тебя — ты знаешь это — ни жертв, ни жалости! Я прошу только об одном: позволь мне ждать, молча ждать, пока наступит срок! Я сознаю, что даже эта просьба слишком велика. Но разве так уж много подарить человеку самую маленькую, самую ничтожную крупицу того счастья, в котором не отказывают даже собаке, — счастье изредка безмолвно взирать на своего господина? Неужели ее надо тут же ударить хлыстом и прогнать? Одного, только одного не перенесу я: если ты оттолкнешь меня — жалкое создание — за то, что я выдала себя, если мне, кроме собственного стыда и отчаяния, суждено испытать еще и твое презрение. Тогда у меня останется только один путь — ты знаешь какой. Я тебе его показала.

Нет, нет, не бойся. Это не угроза! Я вовсе не собираюсь пугать тебя, вымогать вместо любви жалость — единственное, что дарило мне твое сердце. Ты должен чувствовать себя совершенно свободным и беззаботным — видит бог, я не хочу обременять тебя своей ношей, не хочу, чтобы ты мучился виной, в которой неповинен. Единственное, чего я хочу, — чтобы ты простил меня и забыл все, что произошло, забыл, что я сказала, в чем я призналась. Только успокой меня, дай мне хоть маленькую, совсем крохотную надежду! Ответь мне сразу же — я пойму с одного слова, — что я тебе не противна, что ты опять придешь к нам, будто ничего не случилось. Ты даже не представляешь себе, как я боюсь потерять тебя. С той минуты, когда за тобой захлопнулась дверь, мною овладел — сама не знаю почему — смертельный страх, что это было в последний раз. Ты тогда так побледнел, в твоих глазах мелькнул такой испуг, что я, вся охваченная жаром, вдруг содрогнулась от ледящего холода. И я знаю, слуга мне рассказывал, что ты тут же скрылся из дому, схватив фуражку и саблю; он тщетно искал тебя повсюду. Вот видишь, я знаю, что ты убежал от меня, как от чумы, как от прокаженной. Это не упреки, любимый, нет, нет, — я тебя понимаю. Ведь я сама себя пугаюсь, когда вижу колодки на своих ногах, никто, кроме меня, не знает, какой злой, капризной, грубой и несносной становлюсь я от нетерпения. Я сама лучше, чем кто-либо другой, понимаю, почему меня из-

бегают — о, как я это понимаю! — почему отшатываются в ужасе, когда наталкиваются на такое чудовище, как я! И все же я умоляю: прости меня! Без тебя нет мне покоя ни днем, ни ночью — одно лишь отчаяние. Всего несколько слов жду от тебя, пришли мне маленькую записку или просто чистый листок бумаги, цветок — все равно что, — только дай какой-либо знак! Что-нибудь, чтобы я знала, что ты меня не отвергаешь, что я тебе не противна. Подумай, ведь через несколько дней я уеду, и твоя пытка кончится. И если моя пытка — не видеть тебя неделями, месяцами — будет потом во сто крат сильнее, ты не думай об этом, думай только о себе самом, как я всегда думаю о тебе, только о тебе!

Через неделю ты будешь свободен, так приди еще хоть один раз. А сейчас не медли, дай о себе знать, хоть одним словом. Я не смогу думать, не смогу дышать, пока не увижу, что ты простил меня. Я не могу, я не хочу больше жить, если ты откажешь мне в праве любить тебя».

Мои руки дрожали, в висках стучало все сильнее и сильнее. Снова и снова перечитывал я письмо, до ужаса потрясенный тем, что меня любят с такой безнадежностью.

— Хорошенькое дело! Он тут прохлаждается в подштанниках, а мы ждем его, как дураки! Ребята уже давно собрались, и Балинкаи тоже, всем не терпится поскорее начать. Вот-вот должен прийти полковник — ты же знаешь, как он беснуется, когда кто-нибудь опаздывает. «Слетай-ка, — говорит мне Фердль, — взгляни, что там такое стряслось», — и вот тебе на, он даже не одет и почитывает любовные записочки! Ну-ка пошевеливайся, да живо, не то нам обоим намылят шею!

Это Ференц. Я и не заметил, как он ввалился в комнату. Но тут его здоровенная лапа хлопнула меня по плечу. Сначала я ничего не понимаю. Полковник? За мной? Балинкаи? Ах, вот оно что, вспоминаю я наконец: торжественный банкет в честь Балинкаи! Я поспешно хватаю мундир и заученными еще в кадетском училище движениями машинально натягиваю его на себя, ду-

мая в это время о другом. Ференц пристально глядит на меня.

— Что с тобой? Ты вроде малость не в себе. Или получил из дому плохие вести?

Я мотаю головой.

— Нет, ничего особенного. Пошли!

В три прыжка мы оказываемся у лестницы. И вдруг я бросаюсь обратно в комнату.

— Черт подери, что ты там потерял? — свирепо рычит Ференц. Я беру забытое на столе письмо и сую его в карман мундира. Мы приходим действительно в последний момент. За большим столом, формой напоминающим подкову, уже собралась вся компания, но никто не осмеливается дать волю веселью, пока старшие по званию не займут свои места; точь-в-точь как школьники, когда звонок уже прозвенел, а учителя еще нет, но он войдет с минуты на минуту.

Наконец ординарцы распахивают двери, и в зале, по звякивая шпорами, появляются штабные офицеры. Мы, как один, вскакиваем с мест и вытягиваемся по стойке «смирно». Полковник усаживается справа, старший по должности майор — слева от Балинкаи, и за столом сразу же наступает оживление, гремят тарелки, звенят рюмки, все болтают и потягивают вино. Один только я, как посторонний, сижу среди развеселившихся товарищей, то и дело прикладывая руку к груди, где под мундиром что-то колотится и стучит, словно второе сердце. Каждый раз, когда я прошупываю под мягким сукном письмо, мне чудится легкое потрескивание, будто раздувают костер. Да, письмо здесь, на груди, оно движется, оно шевелится, как живое, и пусть другие пьют, едят и болтают в свое удовольствие, я не могу думать ни о чем, кроме этого письма и человека, писавшего его в безысходном отчаянии.

Напрасны старания кельнера услужить мне. Я ни к чему не притрагиваюсь, я ушел в себя, я сплю наяву. Слева и справа слышатся неясные голоса, но я не различаю слов, как будто говорят на чужом языке. Перед собой, рядом с собой я вижу лица, усы, глаза, носы, губы, мундиры, но так смутно, словно смотрю через стекло витрины на выставленный в магазине товар. Я здесь и в то же время далеко отсюда, оцепеневший, но не за-

стывший; мои губы снова и снова беззвучно повторяют отдельные фразы письма, а иногда, когда память изменяет мне, рука судорожно тянется к карману, как в годы учения, когда на уроках тактики мы тайком доставали из-за пазухи шпартгалки.

Но вот раздается энергичное постукивание ножа по рюмке; будто перерезанный острой сталью, шум разом смолкает, наступает тишина. Полковник встает и начинает говорить. Он крепко держится обеими руками за край стола, а его приземистая фигура покачивается, словно он сидит в седле. «Друзья!» — провозглашает полковник резким, скрипучим голосом; четко выговаривая каждый слог и рассыпая барабанной дробью «р», он начинает свою хорошо подготовленную речь. Я напряженно вслушиваюсь, однако голова отказывается повиноваться мне. Лишь отдельные грохочущие, громяющие слова доносятся до меня: «Честь армии... дух австрийского воинства... Верность полку... старрый соратник...» — но сквозь них еле слышным шепотом, призрачно-нереальным, точно из иного мира, прорываются другие, тихие, молящие, нежные: «Бесконечно любимый... не бойся... я не смогу жить, если ты отнимешь у меня право любить тебя»; и опять это раскатистое «р»: «...на чужбине он не забыл своих товарищей... свое отечество... свою Австрию...» — и снова тот, другой голос, как рыдание, как сдавленный крик: «Лишь позволь мне любить тебя... Умоляю, дай мне знак...»

Вот уже гремит троекратным залпом «ура». Все вскакивают и вытягиваются в струнку, будто рука полковника, поднявшего бокал, сорвала их с места; раздается заздравный туш, его по команде протрубил горнист в соседней комнате. Все чокаются и провозглашают тосты в честь Балинкаи, а он, выждав, пока иссякнет обрушившийся на него поток приветствий, легко и свободно, в юмористическом тоне произносит ответное слово. Нет, он не будет многоречивым, он скажет всего лишь несколько слов, самых простых. Что бы там ни было, а ему никогда и нигде не бывает так хорошо, как среди старых товарищей. «Да здравствует полк! Да здравствует его величество император, наш все милостивейший государь!» — заканчивает он здравицей свою речь. Штейнхюбель опять подает знак горнисту, снова звучит туш,

и все хором затягивают государственный гимн, а затем неизбежную в таких случаях песню всех австрийских полков, в которой каждая часть гордо величает себя:

Мы храбрые уланы  
Н-ского полка.

Тут Балинкай с бокалом в руке обходит стол, чтобы чокнуться с каждым в отдельности. Сосед по столу больно толкает меня в бок, и я неожиданно встречаю светлый взгляд дружелюбных глаз: «Сервус, товарищ!» Я растерянно киваю в ответ, Балинкай подходит к соседу, и лишь тогда я соображаю, что забыл чокнуться с ним. Но уже опять все расплывается в тумане, то тут, то там мелькают лица и мундиры. Черт возьми, откуда вдруг этот сизый дым перед глазами? Или уже закуривают? Не оттого ли мне так душно и жарко? Выпить, поскорее выпить! Я опрокидываю рюмку, вторую, третью, не зная, что же я пью. Лишь бы избавиться от горького привкуса во рту! И немедленно закурить! Но едва я лезу в карман за портсигаром, как мне снова чудится какой-то хрустящий звук: письмо! Я невольно отдергиваю руку и опять сквозь невообразимый галдеж слышу плачущие, молящие слова: «Лишь позволь мне любить тебя... Конечно, я понимаю, какое безумие — навязываться тебе...»

Но вот снова раздается постукивание вилок по бокалу, призывающее к тишине. На этот раз просит внимания майор Вондрачек. У него поэтический «дар», и он не упустит случая отвести душу в юмористических виршах или разбитных куплетах. Всем известно, что стоит только Вондрачеку подняться, привалиться к столу respectableм брюшком, подмигнуть — «увеселительную часть» вечера можно считать открытой.

Итак, он уже стал в позу, нацепил на нос пенсне и, торжественно развернув большой лист бумаги, приготовился читать. Это стишки на случай, которыми Вондрачек старается непременно украсить наши вечеринки; на сей раз он задумал порадовать нас жизнеописанием Балинкай, густо сдобренным забористыми шутками. То ли из подобострастия, то ли спьяну, кое-кто из офицеров сопровождает веселым смехом каждый игривый намек; но вот наконец-то действительно удачная острота, не в бровь, а в глаз; и по всему залу бурно прокатывается: «Браво! Браво!»

А меня охватывает ужас. Словно когтистая лапа, этот грубый смех сжимает мне сердце. Как можно смеяться, если в эту минуту кто-то стонет, кто-то безмерно страдает? Как можно смаковать сальные шуточки, если в эту минуту кто-то гибнет? Сейчас Вондрачек кончит свою галиматью, и тогда — мне это доподлинно известно — все загалдят, задвигаются, начнется безудержный кутеж. Будут непременно петь модную песенку «Ланская трактирщица», будут рассказывать анекдоты и смеяться, смеяться, смеяться. Мне вдруг становятся противны эти добродушно сияющие лица. Разве она не просила послать ей хотя бы записочку, черкнуть хотя бы одно-единственное слово? Быть может, пойти к телефону и позвонить? В конце концов нельзя же заставлять человека столько ждать! Ты должен что-то сказать ей, должен.

«Браво! Брависсимо!» Гром аплодисментов, шум отодвигаемых стульев, сорок или пятьдесят развеселившихся, подвыпивших мужчин разом вскакивают с мест, паркет трещит у них под ногами, пыль вздымается к потолку. Майор так и пыжится от гордости. Он снимает пенсне, складывает свою писульку, снисходительно кивая обступившим его офицерам. Я же, пользуясь всеобщей сумятицей, убегаю, не простившись. Быть может, никто не заметит моего ухода. А если даже и заметят, все равно я уже не в силах все это выносить — этот смех, это самодовольное, словно похлопывающее себя по животу веселье. Я больше не могу, не могу!

«Господин лейтенант уже уходит?» — изумленно спрашивает меня ординарец в гардеробе. «Чтоб тебя черт побрал!» — бормочу я, проходя мимо. Бегом через улицу, за угол, вверх по лестнице: остаться наедине с собой, совсем одному!

Коридоры пусты, где-то ходит взад-вперед часовой, урчит водопроводный кран, падает сапог; в помещении для солдат уже погашен свет, но оттуда доносятся какие-то мягкие, незнакомые мне звуки. Я невольно прислушиваюсь: несколько гуцульских парней напевают вполголоса печальную песню. Перед сном, сбросив с себя столь чуждый им пестрый мундир с медными пуговицами и снова став людьми, которые когда-то спали на соломе, они всегда вспоминают о родине, о полях, быть может, о девушке, которую любили, и поют, чтобы за-

быть, как далеко они от родного дома. Никогда прежде я не прислушивался к их пению — ведь я не знаю их языка, — но на этот раз чужая печаль, сродни моей собственной, волнует меня. Эх, подсесть бы к такому вот деревенскому парню! Заговорить с ним, но он ничего не поймет. А кто знает, может быть, он, с его добрыми, доверчивыми глазами, понял бы меня куда лучше тех, кто веселится сейчас за столом. Хоть бы нашелся кто-нибудь, кто бы помог...

На цыпочках, чтобы не разбудить Кузьму, — он храпит что есть мочи в передней, — я прохожу в комнату и в темноте срываю с себя шапку, саблю и галстук, он давно уже душит меня. Потом зажигаю лампу и подхожу к столу, чтобы наконец-то спокойно прочесть письмо, первое в моей жизни письмо от женщины, которое меня, молодого, неуверенного в себе человека, потрясло до глубины души.

Но что это? Я испуганно вздрагиваю. На столе, в кругу света от лампы — уж не обманывает ли меня зрение? — то самое письмо, которое — я был в этом уверен всего лишь минуту назад — спрятано у меня в кармане. Да, это оно, синий четырехугольный конверт, хорошо знакомый почерк.

На мгновение все плывет у меня перед глазами. Уж не пьян ли я? Не вижу ли сон наяву? В своем ли я уме? Ведь только что, распахивая мундир, я слышал, как оно шуршит у меня в кармане. Неужто я настолько потерял голову, что положил его на стол и тут же забыл? Я сую руку в карман. Нет — да иначе и быть не могло, — вот оно, лежит себе преспокойно в кармане. И тут только я понимаю, в чем дело. Письмо на столе — да это же другое, второе, новое, пришедшее позже, и добрый Кузьма заботливо положил конверт возле наполненной фляги, чтобы я сразу же увидел его, вернувшись домой.

Еще одно письмо! Два письма за два часа! От злости и гнева у меня перехватывает дыхание. Теперь так и пойдет изо дня в день, из ночи в ночь, письмо за письмом, одно за другим. Ответишь ей — она снова напишет, не ответишь — потребует ответа. Теперь она каждый день станет от меня чего-нибудь требовать, каждый день! Она будет присылать ко мне слуг и звонить мне, будет выслеживать каждый мой шаг, будет допытывать-

ся, когда я выхожу и когда возвращаюсь, с кем я встречаюсь, чем занимаюсь, что говорю. Ясное дело, я конченный человек, они теперь меня не отпускают, этот джинстарик и она, калека! Никогда больше не быть мне свободным — эти жаждущие, эти отчаявшиеся не отстанут от меня до тех пор, пока кто-либо из нас, я или она, не погибнет из-за ее безумной, злосчастной страсти.

Не читать, говорю я себе. Во всяком случае, не сегодня. И вообще положить всему конец. Ты недостаточно тверд, чтобы выдержать все это, тебе не устоять. Лучше всего просто-напросто уничтожить письмо или отослать обратно нераспечатанным. Вообще не думать, изгнать из сознания и из совести мысль о том, что какой-то чужой человек любит тебя! Да пошли они все к черту, эти Кекешфальвы! Я их не знал и знать не хочу! Но тут же меня охватывает ужас: а вдруг она, раз я ей не ответил, что-нибудь сделала с собой! Вдруг она что-нибудь сделает с собой! Нельзя же не ответить вконец отчаявшемуся человеку! Не разбудить ли в самом деле Кузьму, не послать ли ей записку — несколько слов, успокаивающих, обнадеживающих? Только не брать на себя никакой вины! Только никакой вины! Я вскрываю конверт. Слава богу, на этот раз короткое письмо. Одна-единственная страница, всего десять строк, даже без обращения:

«Немедленно уничтожьте мое предыдущее письмо.

Я сошла с ума, совершенно сошла с ума. Все, что я написала, неправда. И не приходите к нам завтра! Ни в коем случае не приходите! Я должна наказать себя за то, что так жалко унизилась перед вами. Нет, только не завтра, я не хочу, я запрещаю! И никакого ответа! Никакого! Уничтожьте мое предыдущее письмо, забудьте его! Не думайте больше об этом».

**Н**е думать об этом... Наивный приказ, как будто можно держать в узде вздыбленные чувства! Не думать об этом... — а мысли так и мечутся в узком пространстве между висками, как лошади, которые понесли с испугу и бьют копытами землю. Не думать об этом... — а память лихорадочно нагромождает воспоминание на воспоминание, нервы напряжены



до предела, обостренные чувства готовы к отпору! Не думать об этом...— а письмо жжет мне руку своими пылающими словами: два письма, первое и второе, их берешь и откладываешь, читаешь и перечитываешь, пока каждое слово не выжигается в мозгу, как клеймо! Не думать об этом...— а в голове только одна мысль: куда бежать, где спрятаться? Как устоять против отчаянного натиска, как спастись от непрошенной любви?

«Не думать об этом»,— твердишь ты себе и гасишь свет, ибо при свете мысли становятся слишком яркими. Ты хочешь скрыться, спрятаться в темноте, ты срываешь с себя одежду, чтобы легче дышать, и бросаешься на постель, чтобы оглушить себя сном. Но мысли не желают уgomониться, они мечутся, словно призрачные тени летучих мышей, тревожа истомленные чувства, они прожорливыми крысами врываются в свинцовую усталость. И чем неподвижнее лежишь во мраке, тем быстрее сменяют одна другую волнующие картины; я встаю и снова зажигаю лампу, чтобы отогнать видения, но первое, что свет враждебно выхватывает из темноты,— это прямоугольник письма, затем мундир, весь в пятнах, висящий на спинке стула. Все предостерегает, все напоминает. «Не думать об этом»,— твердишь ты себе, но ничего не можешь с собой поделаться. И вот ты, как слепой, тычешься по комнате, открываешь буфет и перерываешь все полки, одну за другой, пока не находишь маленькую склянку со снотворным и не валишься снова на постель. Однако и это не приносит спасения. Даже во сне, прогрызая черную пелену забытья, неугомонными крысами копошатся мысли — одни и те же, все время одни и те же,— и ты просыпаешься утром опустошенный и измученный, словно вампиры за ночь высосали из тебя всю кровь.

После этого даже служба кажется избавлением — это тоже плен, но насколько он легче, насколько он лучше! Какое счастье — вскочить на коня и пуститься рысью вместе с другими, весь внимание и подтянутость. Тут приказывают и повинуются! На три, быть может, на четыре часа можно позабыть обо всем, уйти от самого себя.

Поначалу все идет хорошо. Сегодня, слава богу, у нас горячий денек, учения перед маневрами, репетиция заключительного марша, когда эскадроны развернутым строем проходят мимо командира, строго держа рав-

нение. Репетиция к параду — чертовски хлопотливое занятие, иной раз приходится десять, двадцать раз начинать все сначала, не упускать из виду ни одного улана, а это требует от тебя такого напряженного внимания, что, поглощенный делом, ты забываешь обо всем остальном. И слава богу!

Но вот, когда наступает десятиминутный перерыв — надо дать лошадям передохнуть, — мой взгляд бездумно скользит по горизонту. Вдали синеют луга с копнами и косарями, кругом, куда ни кинешь взгляд, гладкая равнина, плавно сливающаяся с небом, и только за опушкой торчит похожий на зубочистку, причудливый силуэт башни. Да ведь это же (я испуганно вздрагиваю), это же ее башня с террасой: и вновь мною овладевают те же мысли, против воли я опять смотрю в ту сторону и вспоминаю: сейчас восемь часов, она давно проснулась и думает обо мне. Быть может, к ее постели подошел отец, и они говорят обо мне, или она не дает покоя Илоне и слуге, без конца спрашивая, нет ли ей долгожданной весточки (все-таки я должен был написать ей), или, быть может, она уже поднялась на террасу и сейчас, вцепившись в перила, глядит сюда, точно так же, как я, не отводя глаз, смотрю на башню. И едва я успеваю подумать, что кто-то там тоскует обо мне, как уже чувствую хорошо знакомое, жаркое биение в груди, — я знаю, это неумолимые когти жалости; и хотя в этот миг все опять приходит в движение, со всех сторон несутся слова команды и взводы то галопом, то карьером мчатся вперед, а сам я в невообразимой сутолоке тоже выкрикиваю: «Напра-во!», «На-лево!» — мысли мои уже далеко: в глубине души я думаю только об одном, о чем не хочу и не должен думать.

«**П**роклятие! Что за свинство? Отставить. Назад, болваны!» Это полковник Бубенчик с побавровевшим от злости лицом скачет к нам, ругаясь на весь плац. И он не так уж не прав, наш полковник. По-видимому, кто-то неправильно подал команду, ибо два взвода — один из них мой, — которым полагалось разворачиваться параллельно, на полном карьере наскочили друг на друга и смешали ряды. Некоторые лошади с испугу понесли, другие встали на дыбы, один

улан попал под копыта, и над всем этим яростная брань, лязг, звон, ржанье, топот — настоящий бой, да и только. Но вот офицеры, чертыхаясь, кое-как растаскивают шумную свалку, эскадроны выстраиваются и по сигналу горниста смыкают ряды. Воздается грозная тишина; всем понятно, что теперь придется держать ответ. Взмыленные кони, еще не успокоившись после столкновения и, быть может, чувствуя скрытую нервозность всадников, переступают, дрожа, с ноги на ногу, длинная линия киверов чуть колеблется, как телеграфный провод на ветру. И вот в эту тревожную тишину въезжает полковник. Уже по тому, как он, привстав на стременах, раздраженно постукивает хлыстом по сапогу, мы чувствуем, что сейчас разразится гроза. Еле заметное движение поводьев, и его лошадь останавливается. Затем над всем плацем раздается резкое, отрывистое, как удар топора: «Лейтенант Гофмиллер!»

И только тут до моего сознания доходит то, что произошло. Без всякого сомнения, это я подал неправильную команду. Должно быть, я отвлекся, поглощенный своими мыслями, и забыл, где нахожусь. Во всем виноват я один, и мне одному придется отвечать. Взяв коня в шенкеля, я рысью проезжаю мимо товарищей, которые стараются не глядеть на меня, и направляюсь к полковнику, неподвижно ожидающему шагах в тридцати перед строем. На предусмотренной уставом дистанции я останавливаюсь. За спиной сразу все стихает — не слышно ни скрипа, ни лязга. Воздается та бездыханная, поистине могильная тишина, какая наступает в последнюю минуту перед расстрелом, когда вот-вот прозвучит команда: «Огонь!» Все, вплоть до последнего улана, понимают, что меня ждет.

Не хочется даже вспоминать о том, что последовало. Хотя полковник старается понизить свой резкий, скрипучий голос, чтобы рядовые не слышали отборнейших ругательств, которыми он меня осыпает, все же некоторые смачные выражения, вроде «болван» или «командуешь, как осел», вырвавшись из его глотки, разносятся по замершему плацу. А его побагровевшее лицо и удары хлыста по голенищу, сопровождающие каждую фразу, ни у кого не оставляют сомнения в том, что меня разделяют под орех; я чувствую, как сотни любопытных,

а быть может, и насмешливых глаз впиваются мне в спину, пока разгневанный служака изливает потоки брани на мою голову. Уже много месяцев в полку не бывало такой грозы, какая разразилась надо мной в тот июньский день под сияющим голубым небом, где беззаботно сновали ласточки.

Мои руки, сжимающие поводья, дрожат от злости и нетерпения. Охотнее всего я бы сейчас хлестнул коня и галопом умчался куда-нибудь. Но, согласно уставу, я должен, не шелохнувшись и не моргнув глазом, выслушать Бубенчича до конца, включая его последнюю тираду: он не потерпит, чтобы какой-то растяпа портил ему всю игру. Завтра разговор будет продолжен, а сегодня он больше не желает видеть моей физиономии. Затем вместе с заключительным ударом хлыста по сапогу раздается презрительное «кругом!», жесткое и резкое, как пинок.

Я почтительно вскидываю руку к козырьку и поворачиваю коня; никто из товарищей не решается взглянуть мне в лицо, все смущенно прячут глаза, наклонив головы. Всем стыдно за меня, или по крайней мере мне так кажется. К счастью, раздается новая команда, и на этом кончаются мои мытарства. По сигналу трубы полк рассыпается повзводно, и учения начинаются сначала. Этот момент использует Ференц (почему всегда так бывает, что чем человек глупее, тем он доброжелательнее?). Как бы случайно поравнявшись со мной, он бурчит:

— Не горюй, Тони! С каждым может случиться.

Но доброму малому не повезло.

— Не твоя забота! — грубо обрываю я его и тут же прищпориваю коня. В эту секунду я впервые на самом себе почувствовал, как можно нечаянно ранить состраданием. Впервые и слишком поздно.

«К черту! Все к черту! — думаю я, возвращаясь обратно в город.— Прочь, прочь отсюда, куда-нибудь, где тебя никто не знает, где ты будешь свободен от всего и всех! Прочь, уйти, убежать! Никого не видеть, чтобы никто не боготворил и никто не унижал тебя! Прочь, прочь, прочь!» — бессознательно повторяю я под стук копыт. В казарме, бросив поводья улану, я тотчас уожу со двора. В офицерское

казино я сегодня не пойду, чтобы не слышать ни насмешек, ни соболезнований.

Но куда идти? У меня нет ни плана, ни цели; в моих обоих мирах — в усадьбе и казарме — жизнь стала невыносимой. «Прочь, только прочь! — непрерывно стучит в висках. — Куда-нибудь, все равно куда, главное, вон из этой проклятой казармы, из этого города! Поскорее пройти эту опротивевшую главную улицу, а дальше — куда глаза глядят!» Неожиданно рядом раздается чей-то приветливый голос: «Сервус!» Я невольно оборачиваюсь. Кто же это так тепло приветствует меня? Высокий мужчина в штатском — бриджи, серая спортивная куртка, шотландская шапочка. Не узнаю, не помню, чтобы встречался с ним прежде. Незнакомец стоит около автомобиля, в котором копаются два механика в синих куртках. Явно не замечая моего замешательства, он подходит ко мне. Это Балинкай, ну, конечно, он, ведь я видел его только в форме.

— Опять у нее запор, — смеясь, говорит Балинкай, показывая на машину, — и так всякий раз. Я думаю, пройдет еще лет двадцать, пока на эти тарахтелки можно будет положиться. С четырехкопытным мотором куда проще, в нем наш брат по крайней мере кое-что смыслит.

Я невольно проникаюсь симпатией к этому незнакомому человеку. У него такая уверенность в каждом движении, а к тому же еще и теплый, ясный взгляд, какой бывает у легкомысленных баловней судьбы. И едва я услышал его неожиданное приветствие, как меня осенило: вот кому ты можешь довериться! В течение одной секунды к этой мысли присоединилась целая цепочка других — в такие напряженные мгновения мозг работает с поразительной быстротой. Он вольный человек, рассуждал я, сам себе господин, сам пережил что-то в этом роде, он помог шурина Ференца, он охотно помогает любому, почему бы ему не помочь и мне? Не успел я перевести дух, как весь этот каскад молниеносных размышлений вылился в окончательное решение. Собравшись с мужеством, я делаю шаг навстречу Балинкай.

— Извини меня, — начинаю я, сам удивляясь своему непринужденному тону, — ты не смог бы уделить мне минут пять?

Он озадаченно смотрит на меня, потом широко улыбается.

— С удовольствием, дорогой Гоф... Гоф...

— Гофмиллер,— подсказываю я.

— Весь к твоим услугам. Чтобы у меня да не нашлось времени для товарища! Пойдем в ресторан или поднимемся ко мне в номер?

— Лучше к тебе, если ничего не имеешь против. Больше пяти минут я тебя не задержу.

— Да сколько угодно, старина. Все равно драндулет не починят раньше чем через полчаса. Только у меня не очень уютно. Хозяин всякий раз предлагает мне шикарный номер на первом этаже, но я из сентиментальности всегда беру свой старый, где я когда-то... впрочем, не стоит об этом.

Мы поднимаемся наверх. В самом деле, для такого богача комната чересчур скромна. Ни шкафа, ни кресла, только кровать и два жалких соломенных стула. Вынув золотой портсигар, Балинкаи предлагает мне сигарету и, к моему величайшему облегчению, прямо приступает к делу.

— Итак, дорогой Гофмиллер, чем могу служить?

«Только покороче», — думаю я про себя и говорю без обиняков.

— Мне нужен твой совет, Балинкаи. Я хочу уволиться и уехать из Австрии. У тебя не найдется для меня чего-нибудь подходящего?

Лицо Балинкаи становится серьезным и сосредоточенным. Он отбрасывает сигарету.

— Чепуха! Такой парень, как ты, и вдруг!.. Что это взбрело тебе в голову?

Но мною внезапно овладевает упрямство. Мгновенно принятое решение становится бесповоротным.

— Дорогой Балинкаи,— говорю я не допускающим возражений тоном,— сделай одолжение, не расспрашивай меня. Каждый знает, чего он хочет и что он должен. Со стороны этого не понять. Короче, мне необходимо сейчас подвести черту.

Балинкаи испытующе смотрит на меня. Видимо, он понял, что мне не до шуток.

— Не хочу вмешиваться в твои дела, Гофмиллер, но, поверь мне, ты делаешь глупость. Ты не знаешь, на что

идешь. Ведь тебе сейчас двадцать пять—двадцать шесть, недолго и до обер-лейтенанта, а это уже кое-что. Здесь у тебя есть чин и ты что-то собой представляешь. Но как только ты захочешь начать все сначала, последний прохвост, самый паршивый лавочник будет иметь перед тобой преимущество уже потому, что он не таскает за собой, как ранец на спине, наши нелепые предрассудки. Поверь мне, когда наш брат снимает мундир, он уже не тот, кем был раньше, и я прошу тебя только об одном: не очень-то надейся, что тебе повезет так же, как когда-то повезло мне. Это был счастливый случай, такой выпадает один на тысячу. Даже подумать страшно, что стало с теми, к кому господь бог не был так милостив, как ко мне.

Его решительный тон звучит убедительно. Но я чувствую, что уступать нельзя.

— Я понимаю, что впереди наклонная дорожка,—соглашаюсь я.— Но я вынужден уехать. Ничего особенного я собой не представляю и ничему особенному не учился, но если ты дашь мне рекомендацию, можешь быть уверен, я не подведу тебя. Знаю, я не первый, кто к тебе обращается, ведь ты устроил шурина Ференца?

— Йонаша? — Балинкаи презрительно щелкает пальцами.— Но ты подумай, кем он был. Мелким провинциальным чиновником. Такому помочь легко. Пересади его с одной табуретки на другую, немного получше, и он уже возомнит себя чуть ли не господом богом! Не все ли ему равно, где протирать штаны,— ни на что большее он не способен. Но вот найти что-нибудь подходящее для того, кто однажды носил звездочку на воротнике,— это уже совсем другое дело. Увы, дорогой Гофмиллер, верхние этажи всегда оказываются занятыми. Кто хочет начинать в гражданской жизни сначала, должен устраиваться внизу, и даже в подвале, где пахнет не розами, а кое-чем похуже.

— Мне все равно!

Должно быть, я произнес это запальчиво, потому что Балинкаи посмотрел на меня сперва с любопытством, а потом как-то отчужденно, словно издалека. Придвинув свой стул поближе, он положил руку мне на плечо.

— Послушай, Гофмиллер, я тебе не опекун и не собираюсь читать наставлений. Но поверь товарищу, кото-

рый испытал все это на собственной шкуре. Нет, дорогой, совсем не все равно, когда ты со всего маху летишь вниз, с офицерского седла в самую грязь... Можешь поверить человеку, который однажды сидел вот здесь, в этой комнатушке, с полудня до темноты и точно так же говорил себе: «Мне все равно». Около половины двенадцатого я подал рапорт об увольнении. Идти в офицерское казино, туда, где все, мне не хотелось, показываться среди бела дня на улице в штатском — тоже. И вот я снял этот номер — теперь ты понимаешь, почему я всякий раз останавливаюсь в нем, — и ждал тут, пока стемнеет, чтобы никто не провожал соболезнующим взглядом Балинкай, улепетывающего в поношенном сером пиджаке и старой шляпе. Вот тут, у окна, я стоял тогда и в последний раз смотрел на улицу. Там прогуливались мои товарищи, все в форме, стройные, честные, свободные, каждый словно маленький бог, и каждый знал, кто он такой и где его место. Только тогда я понял, что теперь я ничто в этом мире; у меня было такое чувство, будто вместе с мундиром я содрал с себя кожу. Сейчас ты, конечно, думаешь: наплевать, какое на тебе сукно — голубое, черное или серое, и какая разница, гуляешь ли ты с саблей или с зонтиком. Но я до сих пор не могу забыть, как я тогда вечером выскользнул из гостиницы и встретил по дороге на вокзал двух улан, а они, не козырнув, прошли мимо меня; и как я потом сам втащил свой чемоданчик в вагон третьего класса и сидел там среди потных крестьянок и рабочих. Я, конечно, понимаю, все это глупо и несправедливо, наша так называемая сословная честь выеденного яйца не стоит, но ведь после четырех лет военного училища и восьми лет службы этого уже не вытравишь, это у нас в крови. Знаешь, на первых порах у тебя такое чувство, словно ты безногий калека или урод. Сохрани тебя бог от такой беды! Ни за какие сокровища я не согласился бы снова пережить тот вечер, когда пробирался на вокзал, обходя каждый фонарь. А ведь это было только начало.

— Но, Балинкай, именно потому я и хочу уехать куда-нибудь подальше, где ничего этого нет и где меня никто не знает.

— Вот-вот, точно так же и я тогда думал, Гофмиллер! Только бы уехать подальше, а там все быльем порастет!



Лучше чистить ботинки или мыть посуду за океаном, как начинали все миллионеры, если верить газетам! Но, мой милый, чтобы добраться до Америки, нужны немалые деньги, а ведь ты еще не представляешь себе, каково нашему брату бить поклоны! Как только офицер перестает чувствовать вокруг шеи воротник со звездочками, он уже и ходит и разговаривает не так, как раньше. Сидишь, смущаясь, как дурак, в кругу своих лучших друзей, и как раз в ту минуту, когда нужно о чем-то попросить, гордость не дает открыть тебе рот. Да, старина, лучше не вспоминать позор и унижения, которые мне тогда пришлось пережить! О них я еще никому не рассказывал.

Балинкаи встал и резко повел плечами, словно куртка вдруг стала ему тесна.

— Впрочем, тебе я могу рассказать все. Теперь я уже не стыжусь этого, да и не мешает охладить твой романтический пыл, пока еще не поздно.

Он снова сел.

— Надо полагать, ты уже слышал историю, как я поймал золотую рыбку: познакомился в отеле Шепперд с моей женой. Я знаю, об этом раструбили по всей армии и, видимо, больше всего жалеют, что такое событие не вошло в хрестоматию, что о нем не напечатано как о подвиге офицера его императорского величества. Разумеется, героического здесь ничего не было; верно лишь то, что я действительно познакомился с ней в отеле Шепперд. Но как я с ней познакомился, знаем только мы двое — ни она, ни я никогда об этом никому не говорили. И тебе я расскажу только затем, чтобы ты понял: нашему брату нечего ждать, что на него посыплется манна небесная. Короче говоря, когда я встретил ее в отеле Шепперд, я служил там — только не пугайся! — официантом; да, да, мой дорогой, самым обыкновенным номерным официантишкой. Конечно, я стал им не потому, что мне это доставляло удовольствие, а просто по глупости, по своей неопытности. В Вене, в убогом пансионе, где я приютился, жил один египтянин, и этот парень наболтал мне, будто его свояк — директор королевского полуклуба в Каире и он может устроить меня туда тренером за двести крон комиссионных. Там, видите ли, много значат имя и хорошие манеры. Ну, в поло я всегда иг-

рал недурно, а жалованье, которое он мне назвал, было отменным — за три года я смог бы сколотить достаточную сумму, чтобы заняться чем-нибудь более подходящим. Кроме того, Каир отсюда далеко, а в поло играют люди порядочные. И я с восторгом согласился. Не стану утомлять тебя рассказом о том, как я обивал пороги и выслушивал смущенные отговорки так называемых старых друзей; в конце концов я наскреб пару сотен на переезд и экипировку: ведь в аристократическом клубе без фрака и костюма для верховой езды не обойдешься. И хотя я взял билет на палубу, денег едва хватило, в Каире я сошел с семью пиастрами в кармане. Когда же я позвонил у дверей королевского клуба, то вышел какой-то негр и, выпучив на меня глаза, заявил, что никакого господина Эфдопулоса он не знает и ни о каком свояке не слышал; тренер им не нужен, и вообще их клуб закрывается. Ты уже, конечно, догадался, что этот египтянин был просто-напросто мошенником, который обманом выудил у меня двести крон, а я не удосужился взглянуть на письма и телеграммы, якобы полученные им от свояка. Да, дорогой Гофмиллер, против таких каналов мы бессильны, а ведь я уже не раз попадал впро�ак, когда подыскивал место. Но это был настоящий нокаут. Я стоял на улице Каира с семью пиастрами в кармане, не зная ни одной собаки в городе, а там, помимо жары, еще и дороговизна. Избавлю тебя от подробностей, где я жил и что ел первые шесть дней. Видишь ли, будь на моем месте кто-нибудь другой, уж он, конечно, потащился бы в консульство и кланчил, чтоб его отправили на родину. Но тут-то и загвоздка — наш брат не способен на такое. Он не может сидеть в передней на скамье вместе с портовыми рабочими и уволенными кухарками, не может выносить взгляда, которым его окидывает какая-нибудь канцелярская крыса в консульстве, прочтя в паспорте по слогам: «барон Балинкаи». Наш брат лучше подохнет с голоду. Теперь можешь вообразить, как я обрадовался, когда узнал, что отелю Шепперд на время требуется официант. А так как у меня был фрак, и даже новый (костюм для верховой езды я проел в первые дни), да еще знание французского языка, то они милостиво взяли меня на пробу. Ну, со стороны это выглядит вполне сносно: ты стоишь в бело-

снежной манишке, накрываешь на стол, прислуживаешь, — одним словом, имеешь вид; но то, что ты — номерной, живешь под раскаленной крышей в клоповнике, где, кроме тебя, еще двое, и что по утрам все по очереди умываются в одном и том же жестяном тазу, что чаевые каждый раз как огнем жгут твою руку и так далее... В общем, довольно, точка! Хватит того, что я пережил это, что я это выдержал!

А потом произошла та самая история с моей женой. Недавно овдовев, она приехала в Каир вместе со своей сестрой и деверем. Этот ее деверь — на редкость вульгарный тип, толстый, расплывшийся, чванливый. Что-то во мне, видимо, раздражало его. То ли я был для него слишком элегантным, то ли недостаточно гнул спину перед этим мингером, не знаю, но вот однажды случилось так, что я чуть-чуть запоздал с завтраком, и он зарорал на меня: «Болван!..» Знаешь, у того, кто был когда-то офицером, это получается само собой: недолго думая я сразу же взвился на дыбы, словно пришпоренная лошадь, еще немного, и я хватил бы его по физиономии. Но в последний момент я все-таки сдержался, потому что, видишь ли, мое официантство всегда было для меня чем-то вроде маскарада, а потом — не знаю, поймешь ли ты меня: я даже испытал нечто вроде наслаждения от того, что я, Балинкаи, вынужден сносить наглые выходки какого-то грязного торговца сыром. Поэтому я только выпрямился и слегка улыбнулся ему — знаешь, так свысока, чуть-чуть, уголком рта, но толстяк позеленел от злобы, сразу почуяв, что я взял над ним верх. Потом я совершенно спокойно удалился, отвесив ему холодный, подчеркнуто вежливый поклон, — он едва не лопнул от ярости. Моя жена, то есть моя теперешняя жена, была при этом; она видела, как я вспылил, и, должно быть, догадалась, что тут что-то неладно, — потом она сама призналась мне. Она поняла, что со мной так никогда не обращались. Выйдя вслед за мной в коридор, она рассыпалась в извинениях: ее деверь, мол, немного взволнован и не стоит на него обижаться... Ну, а чтобы ты знал уж всю правду, дорогой мой, она даже попыталась всучить мне кредитку и тем все уладить.

Когда я отказался взять эти деньги, она, должно быть, окончательно убедилась, что с моим официант-

ством что-то не так. Этим бы дело и кончилось, потому что за несколько недель я наскреб достаточно денег, чтобы вернуться на родину, не попрошайничая в консульстве. Я отправился туда навести некоторые справки. И тут мне на помощь пришел случай, тот самый выигрыш, который выпадает один на сто тысяч билетов: пока я ждал, через переднюю прошел сам консул, и это был не кто иной, как Элемер Юхаш, с которым мы бог знает сколько раз сживали вместе в жокейском клубе. Он тут же заключил меня в объятия и пригласил в здешний клуб, а там, опять-таки благодаря случаю,— видишь, случай плюс случай; я рассказываю тебе все это только затем, чтобы ты понял, сколько сумасшедших случайностей должны назначать друг другу randevu, чтобы вытащить нашего брата из грязи,— ...да, так вот в клубе была моя теперешняя жена. Когда Элемер представляет меня ей как своего друга, барона Балинкаи, она краснеет до корней волос. Конечно, она узнала меня, и ей стало не по себе: она вспомнила про чаевые. Я сразу почувствовал, что это за человек; она благородная, порядочная женщина, потому что не стала делать вид, будто ничего не произошло, а по-честному попросила прощения за свою ошибку. Все остальное решилось быстро, и не о том сейчас речь. Но поверь мне, такое стечение обстоятельств повторяется не каждый день, и, несмотря на мои деньги, несмотря на жену, за которую я сто раз на день благодарю бога, я не хотел бы еще раз пережить все сначала.

Я невольно протянул Балинкаи руку.

— Искренне благодарю тебя за предостережение. Теперь мне ясно, что меня ждет. Но даю тебе слово, у меня нет другого выхода. Ты действительно ничего не можешь предложить мне? Ведь вы, наверное, ведете крупные дела?

Балинкаи помолчал несколько секунд, потом сочувственно вздохнул.

— Бедняга, тебя, кажется, здорово припекло! Не бойся, я не буду тебя допрашивать, я и сам уже вижу, что к чему. Когда дело заходит так далеко, не помогают никакие уговоры. Остается лишь помочь, как товарищ товарищу, а за этим дело не станет, можешь не сомневаться. Только одно, Гофмиллер: надеюсь, ты парень рассудительный и понимаешь, что я не смогу сразу же по-

дыскать тебе завидное местечко. Так дела не делаются, других только озлобит, если какой-то чужак ни с того ни с сего вдруг прыгнет через их головы. Ты должен начать с самых низов, тебе, может быть, придется несколько месяцев заниматься дурацкой писаниной в конторе, прежде чем удастся послать тебя на плантации или придумать что-нибудь еще. Во всяком случае, как я уже сказал, я проверну это дело. Завтра мы с женой уезжаем в Париж дней на восемь-девять, потом съездим ненадолго в Гавр и Антверпен, проверим работу агентов. Но не позднее чем через три недели мы вернемся домой, и, как только прибудем в Роттердам, я сразу же напишу тебе. Не беспокойся — я не забуду! На Балинкай можешь положиться.

— Не сомневаюсь,— сказал я,— и очень благодарен тебе.

Но Балинкай, видимо, почувствовал в моем тоне легкое разочарование. (Наверное, с ним самим случилось нечто подобное — только собственный опыт помогает улавливать такие оттенки.)

— Или... это будет слишком поздно для тебя?

— Нет,— нерешительно начал я,— раз уж я знаю это наверняка, тогда, конечно, нет. Но... но для меня все-таки было бы лучше, если б...

Балинкай что-то быстро обдумывал.

— А сегодня у тебя не найдется времени?.. Видишь ли, моя жена еще в Вене, и поскольку дело все-таки принадлежит не мне, решающее слово остается за ней.

— Ну, разумеется, я свободен,— поспешил заверить я. Мне как раз вспомнилось, что полковник не желает видеть мою «физиономию».

— Вот и хорошо! Замечательно! В таком случае тебе лучше всего поехать сейчас со мной. Место рядом с шофером свободно. К сожалению, сзади не могу тебя посадить, так как я пригласил моего старого друга барона Лайоша с семьей, он из здешних. В пять часов мы уже будем у подъезда «Бристоля», я сразу переговорю с женой, и все будет сделано: еще не было случая, чтобы она отказала мне, когда я просил за товарища.

Я пожал ему руку. Мы спустились вниз. Механики уже сняли свои синие рабочие куртки, машина была готова и через две минуты затарахтела по шоссе.

**С**корость оказывает одинаковое воздействие на душу и тело — она возбуждает и оглушает одновременно. Едва наша машина вырвалась из узких улиц на простор полей, как я почувствовал удивительное облегчение. Шофер гнал вовсю; словно подрубленные, падали назад деревья и телеграфные столбы, дома, шатаясь, налезали друг на друга, точно на смазанной фотографии, белые километровые камни то и дело появлялись по сторонам и исчезали прежде, чем можно было прочесть цифры, и по тому, как яростно бил в лицо ветер, я ощущал бешеную скорость, с которой мы мчались вперед. Но еще большее удивление вызывала во мне та быстрота, с которой сейчас летела куда-то моя собственная жизнь: какие только решения не были приняты за эти несколько часов! Ведь обычно между смутным желанием, неопределенным замыслом и его окончательным исполнением едва уловимо мелькают бесчисленные оттенки противоречивых чувств, и наше сердце находит тайное удовольствие в робком заигрывании с намерениями, осуществить которые оно пока еще не решается. Но в этот раз все налетело на меня со стремительностью сменяющих друг друга сновидений, и, как по обеим сторонам нашего авто проносились мимо дома и села, деревья и луга, окончательно и безвозвратно оставаясь позади, точно так же в один миг исчезло все, что до сих пор составляло мою жизнь, — казарма, манеж, карьера, товарищи, Кекеш-фальвы, их усадьба, моя комната, все мое существование, казавшееся таким устойчивым и упорядоченным. Один-единственный час перевернул весь мой внутренний мир.

В половине шестого мы остановились у отеля «Бристоль», разбитые тряской, с ног до головы в пыли и все-таки удивительно освеженные этой гонкой.

— В таком виде тебе нельзя появляться перед моей женой, — смеясь, сказал мне Балинкай. — На тебя словно вытряхнули мешок муки. И потом, лучше я сам поговорю с ней, мне это удобнее, да и тебе не придется смущаться. А ты сходи в гардеробную, хорошенько почистись и жди меня в баре. Я вернусь через несколько минут и сообщу тебе результаты. Не волнуйся. Я сделаю все, как ты хочешь.

И действительно, Балинкаи не заставил себя долго ждать. Через пять минут он, улыбаясь, вошел в бар.

— Ну что, разве я не говорил? Все в порядке — конечно, если тебя это устраивает. Можешь размышлять сколько угодно и отказаться в любую минуту. Моя жена — вот уж действительно голова! — придумала самый лучший вариант. Итак: ты отправишься в плавание, выучишь языки и посмотришь, что делается за океаном. Будешь помогать казначею вести счета, получишь форму, обедать станешь в кают-компании, в общем, сделаешь несколько рейсов в Голландскую Индию. Ну а потом уж мы найдем тебе место, здесь или за океаном, как ты пожелаешь, жена твердо обещала мне это.

— Благо...

— Благодарить не за что. Само собой разумеется, я помог бы тебе, разве могло быть иначе. Но прошу, Гофмиллер, не руби сплеча! По мне, ты можешь отправляться на судно хоть послезавтра, я все равно дам телеграмму капитану, чтобы он записал тебя; и все-таки тебе не помешает еще раз хорошенько все обдумать. Я лично был бы доволен, если бы ты остался в полку, но *chacun à son goût*<sup>1</sup>. Как я уже сказал, приедешь — значит, приедешь, а нет — так нет. Итак, — он протянул мне руку, — да или нет, как бы ты ни решил, я искренне рад оказать тебе услугу. Привет!

Я с восторгом смотрел на этого человека, которого послала мне судьба. Легкость, с какой он думал и действовал, освободила меня от самого тяжелого: от просьб и мучительных колебаний. Так что мне самому осталось только выполнить небольшую формальность: написать прошение об отставке. Тогда я свободен и спасен.

**Т**ак называемая «канцелярская бумага» — лист строго определенного формата, раз и навсегда установленного соответствующим предписанием, — была, вероятно, самым необходимым реквизитом австрийского бюрократического аппарата, как гражданского, так и военного. Всякое прошение, всякий деловой документ или донесение полагалось составлять на этой аккуратной

---

<sup>1</sup> У каждого свой вкус (франц.).

обрезанной бумаге, которая благодаря уникальности своей формы сразу же отделяла все служебное от личного; огромные залежи миллионов и миллиардов таких листков, хранящихся в архивах, вероятно, явятся когда-нибудь единственно достоверной летописью жизни и страданий габсбургской империи. Никакой официальный документ не признавался действительным, если не был написан на белом прямоугольном листке. И поэтому первое, что я сделал, — зашел в ближайшую табачную лавку, купил два таких листа, в придачу так называемую «лентяйку» (разлинованную бумагу, которую подкладывают вниз) и соответствующий конверт. Теперь перейди через улицу в кафе — место, где в Вене улаживаются все дела, от самых серьезных до самых легкомысленных. Через двадцать минут, к шести часам, прошение будет написано; тогда я снова буду принадлежать самому себе, и только себе.

Память с поразительной ясностью сохранила каждую мелочь — ведь принималось самое важное решение в моей жизни. Я помню маленький круглый мраморный столик и кафе на Рингштрассе, помню картонную папку, на которую я положил бумагу, и как я осторожно разглаживал линию сгиба, чтобы она была безукоризненно ровной. Словно на контрастном фотоснимке, вижу я сейчас перед собой иссиня-черные, немного разбавленные чернила и ощущаю тот легкий внутренний толчок, с которым я начал выводить первую букву, стараясь, чтобы она выглядела изящно и значительно. Мне очень хотелось особенно тщательно выполнить эту мою последнюю служебную обязанность; а поскольку форма прошения была с математической строгостью определена уставом, торжественность момента можно было выразить только красотой почерка.

Но не успел я написать несколько строк, как мной овладела какая-то странная мечтательность: держа в руках перо, я начал воображать, что́ будет завтра, когда мое прошение получат в полковой канцелярии. Сначала, наверно, озадаченный взгляд фельдфебеля, потом удивленное перешептывание младших писарей — ведь не каждый день случается, чтобы лейтенант так просто отказывался от своего жалованья. Потом бумага следует по инстанции из комнаты в комнату и наконец попа-



дает к полковнику; я вдруг вижу его перед собой, как живого, — вот он вооружает свои дальнорюкие глаза очками, недоуменно перечитывает первые слова, а затем, как всегда, бьет кулаком по столу, — этот грубиян слишком привык к тому, что его подчиненные, которых он облил грязью с ног до головы, на следующий день уголиво виляют хвостом, как только он даст им понять развязным словечком, что гроза миновала. Но теперь он увидит, что коса нашла на камень, что есть такой человек, который не позволяет орать на себя, и этот маленький человек — лейтенант Гофмиллер. И когда потом станет известно, что Гофмиллер распрощался с полком, двадцать, а то и сорок однополчан призадумаются, качая головами. Все товарищи мысленно скажут: «Черт возьми, вот это парень! Он за себя постоит!» И даже полковника Бубенчика это крепко заденет за живое — как-никак более достойно еще никто не уходил из полка, никто еще не сбрасывал с себя мундир подобным образом, насколько мне известно.

Не стыжусь сознаться, что в то время, как я рисовал себе все эти картины, я все больше нравился самому себе. Ведь что бы мы ни делали, нами чаще всего руководит именно тщеславие, и слабые натуры почти никогда не могут устоять перед искушением сделать что-то такое, что со стороны выглядит как проявление силы, мужества и решительности. Сейчас мне впервые представилась возможность доказать товарищам, что и у меня есть чувство собственного достоинства, что и я настоящий мужчина! Все быстрее и, как мне казалось, все более энергичным почерком писал я эти двадцать строк; то, что сначала было для меня досадной необходимостью, внезапно превратилось в наслаждение.

Теперь еще подпись — и все. Взгляд на часы — половина седьмого. Подозвать кельнера и расплатиться. Потом еще раз, в последний раз, прогуляться в мундире по Рингу — и домой с ночным поездом. Завтра утром отдать эту бумажонку, и возврата к прошлому уже не будет, начнется новая жизнь.

Итак, я взял свое прошение, сложил его сначала вдоль, потом поперек, чтобы аккуратно спрятать этот решающий мою судьбу документ в нагрудный карман. Но тут случилось нечто неожиданное.

**А** случилось вот что: в ту секунду, когда я с чувством удовлетворения и даже радости (окончание любого дела всегда приятно) укладывал в карман довольно объемистый конверт, я почувствовал — мне что-то мешает. «Что это там хрустит?» — подумал я и глубже засунул руку. Но мои пальцы тут же отдернулись, словно раньше меня самого вспомнили, что это такое. Это были письма Эдит, оба ее вчерашних письма, первое и второе.

Не могу точно описать охватившее меня чувство. Кажется, это был не столько испуг, сколько безграничный стыд. Ибо в один миг — словно дым вдруг развеялся — пришел конец обману или, вернее, самообману. Я сразу понял, что все мои мысли и поступки были сплошной ложью — и досада на полковника и гордость оттого, что я героически решился уйти в отставку. Если я хотел удрасть, то совсем не потому, что полковник дал мне нагоняй (в конце концов это случалось у нас каждую неделю), — в действительности я бежал от Кекешфальвы, от своего обмана, от своей ответственности, я убежал потому, что быть любимым против воли стало для меня невыносимой пыткой. Как безнадежно больной человек из-за внезапной зубной боли забывает о мучительном, быть может, смертельном недуге, так и я забыл (или попытался забыть) все то, что на самом деле терзало мою душу и заставляло трусливо спасаться бегством, и постарался найти удобный повод уехать — происшествие на учебном плацу. Но теперь я сознавал: мой уход не был благородным жестом оскорбленного человека. Это было трусливое, жалкое бегство.

Однако сделанный шаг придает силы. Теперь, когда прошение об отставке было уже написано, я не хотел отступать. «К черту, — сказал я себе со злостью, — какое мне дело до того, что она там хнычет? Они достаточно издевались надо мной. Какое мне дело до того, что кто-то меня любит? Она со своими миллионами найдет себе другого, а если и нет, меня это не касается. Достаточно того, что я бросаю все, даже мундир! Какое мне дело до этой истеричной особы, выздоровеет она или нет? Я не врач...»

Но стоило мне произнести про себя слово «врач», и мысль разбилась о него, как волна о скалу. Слово «врач»

напомнило мне о Кондоре. «А впрочем, это его дело,— тут же сказал я себе.— Ему платят за то, что он лечит больных. Она его пациентка, а не моя. Сам заварил всю кашу, пусть сам и расхлебывает. Лучше всего мне сейчас же пойти к нему и сказать, что я умываю руки».

Я смотрю на часы. Без пятнадцати семь, а мой поезд отходит после десяти. Времени вполне достаточно, тем более что сказать придется немного: только то, что я выбываю из игры. Но где он живет? Он не говорил мне своего адреса, или я забыл? Да, но поскольку он практикующий врач, его фамилия должна быть в телефонной книге. Я спешу к телефонной будке, перелистываю список абонентов. Ик... Ир... Ис... Ка... Ко... вот они, Кондоры — «Кондор Антон, торговец», «д-р Кондор Эммерих, практикующий врач, VIII, Флориангассе, девяносто семь», больше ни одного врача на всей странице,— это он. Выбегая из будки, я повторяю про себя адрес (у меня нет карандаша, в этой сумасшедшей гонке я ничего не взял с собой), окликаю ближайший фиакр, и в то время как экипаж быстро и мягко катится на резиновых шинах, я вырабатываю окончательный план. Главное — выложить все энергично и коротко. Ни в коем случае не проявлять нерешительности. Не дать ему заподозрить, что я удираю из-за Эдит, сразу представить свою отставку как *fait accompli*<sup>1</sup>. Дело, мол, началось еще несколько месяцев назад, но только сегодня я получил это замечательное место в Голландии. Если он все же начнет расспрашивать — не отвечать! В конце концов он тоже не все сказал мне. Нужно наконец перестать считаться с окружающими.

Экипаж останавливается. Может быть, кучер ошибся или я в спешке дал ему неверный адрес? Неужели Кондор действительно живет в этой трущобе? Одни Кекешфальвы платят ему, наверное, бешеные деньги, а врач с именем не может жить в таком доме. Но нет, он живет именно здесь, в подъезде висит табличка: «Д-р Эммерих Кондор, вход со двора, третий этаж, прием от двух до четырех». От двух до четырех, а сейчас уже почти семь. Ну, меня-то он должен принять. Я торопливо расплачи-

---

<sup>1</sup> Свершившийся факт (франц.).

ваюсь и пересекаю плохо вымощенный двор. Какая грязная винтовая лестница, стертые ступени, ободранные, исписанные стены, запах бедной кухни и нечистот, женщины в грязных халатах, бранящиеся в коридорах и провожающие подозрительными взглядами офицера, который смущенно пробирается мимо них в полумраке, звеня шпорами!

Наконец третий этаж, длинный коридор, двери справа и слева, одна посередине. Я уже полез было в карман за спичками, чтобы отыскать дверь Кондора, но тут слева выходит служанка весьма неопрятного вида, с пустым кувшином в руке — она, вероятно, идет за пивом к ужину. Я спрашиваю, где живет доктор Кондор.

— Вот тут они и живут,— отвечает она с сильным чешским акцентом.— Только их еще нет дома. Они поехали в Мейдлинг, но скоро будут обратно. Сказали хозяйке, что непременно приедут к ужину. Да вы входите, входите!

Не успел я обдумать это предложение, как она уже ввела меня в прихожую.

— Повесьте вот тут вашу саблю,— указывает она на старый гардероб, единственный предмет мебелировки в этой маленькой темной передней. Потом она открывает дверь в приемную, которая выглядит несколько более внушительно: вокруг стола стоят четыре-пять стульев, слева вдоль стены — множество книг.

— Можете присесть вот сюда,— с некоторым пренебрежением кивает она на один из стульев. И я сразу дегадываюсь: Кондор лечит бедняков. Богатых пациентов не принимают в такой обстановке. «Станный человек, очень странный,— говорю я себе.— При желании он мог бы разбогатеть на одних Кекешфальвах».

Итак, я жду. Обычное нервное ожидание в приемной врача, когда ты снова и снова перелистываешь растрепанные старые журналы, не потому, что хочется читать, а для того, чтобы обмануть самого себя видимостью какого-нибудь занятия. То и дело встаешь, опять садишься и поглядываешь на часы, сонно тикающие в углу: семь часов двенадцать минут, семь четырнадцать, семь пятнадцать, семь шестнадцать— и, словно загипнотизированный, смотришь на звонок над дверью в кабинет. Наконец в семь часов двадцать минут я не выдерживаю

этого безмолвного сидения то на одном, то на другом стуле. Я встаю, подхожу к окну. Внизу во дворе хромой старик, по всей вероятности, разносчик, смазывает колеса своей ручной тележки; за освещенными окнами кухни женщина гладит белье, другая, видимо, купает маленького ребенка в корыте; кто-то — не знаю, на каком этаже, но, должно быть, прямо надо мной или подо мной — разучивает гаммы, снова и снова повторяя одно и то же. Я опять смотрю на часы: семь часов двадцать пять минут, семь тридцать. Почему он не приходит? Я не хочу, не хочу больше ждать! Я чувствую, как это ожидание делает меня все более нерешительным, беспомощным.

Наконец — я перевожу дух — слышится стук хлопнувшей двери. Тотчас принимаю скучающий вид. Выдержат тон, говорить как можно непринужденнее, повторяю я себе. Небрежно сказать, что я зашел en passant<sup>1</sup> — проститься, как бы между прочим попросить его съездить на днях к Кекешфальвам и, чтобы у них не возникло никаких подозрений, сообщить им, что мне пришлось уйти со службы и уехать в Голландию. Господи, какого черта он еще заставляет меня ждать! Я отчетливо слышу звук передвигаемого стула в соседней комнате. Не хватает еще, чтобы эта корова в юбке позабыла доложить обо мне!

Я уже намереваюсь выйти и напомнить служанке о себе. Но вдруг я останавливаюсь. Человек, который ходит в соседней комнате, не может быть Кондором. Походку Кондора я хорошо знаю: я запомнил с той ночи, когда провожал его, как он, коротконогий и страдающий одышкой, тяжело и неуклюже шагает в своих скрипящих башмаках; а шаги, которые раздаются в соседней комнате, то удаляясь, то приближаясь, совсем иные — робкие, неуверенные, скользящие. Я не могу понять, чем, собственно говоря, так волнуют меня эти незнакомые шаги, почему я так напряженно прислушиваюсь к ним. Но меня не покидает ощущение, будто другой человек так же взволнованно и настороженно, как и я, прислушивается к тому, что происходит здесь, в этой комнате. Внезапно я слышу неясный шорох за дверью,

---

<sup>1</sup> Мимоходом (франц.).

словно кто-то нажимает с той стороны дверную ручку или балуется с ней; и верно — она уже повернулась, блеснув в сумерках светлой латунной полоской. Дверь приоткрывается, образуя узкую черную щель. Вероятно, это сквозняк, ветер, говорю я себе, потому что никто не открывает дверь так вкрадчиво, разве что ночной вор. Но нет, щель становится шире. Чья-то рука очень осторожно отворяет изнутри дверь, и вот я различаю наконец в темноте неясные очертания человеческой фигуры. Оцепенев, я смотрю на нее. В дверях раздается тихий женский голос:

— Здесь... есть кто-нибудь?

Ответ застревает у меня в горле. Я сразу понял: так спрашивать может лишь тот, кто не видит. Только слепые ходят таким неуверенным, робким, скользящим шагом, только в их голосе слышится такая нерешительность. И в ту же секунду я вспоминаю: разве Кекешфальва не говорил, что Кондор женился на слепой? Это она, и никто иная, это жена Кондора, стоя в дверях и не видя меня, обращается ко мне с вопросом. Я напряженно всматриваюсь, стараясь разглядеть в темноте эту тень, и наконец смутно различаю худощавую женщину в просторном халате, с седыми, слегка растрепанными волосами. Боже, и такая непривлекательная, некрасивая женщина — его жена! Ужасно чувствовать на себе взгляд незрячих глаз и знать, что они не видят тебя; в то же время я замечаю, как она, вытянув шею, чтобы лучше слышать, старается обнаружить присутствие постороннего человека в невидимом для нее пространстве; от усилия она кривит большой рот, и это делает ее еще более некрасивой.

Секунду я молчу. Потом встаю и кланяюсь — да, кланяюсь, хотя понимаю, что нет никакого смысла кланяться слепой, — и бормочу:

— Я... я жду здесь господина доктора.

Сейчас дверь уже открыта настежь.левой рукой женщина все еще держится за ручку, словно ища опоры в темноте. Потом она выступает вперед, ее брови над потухшими глазами сердито хмурятся, а голос звучит уже по-другому, твердо и повелительно.

— Сейчас приема нет. Когда муж вернется, ему надо поесть и отдохнуть. Не могли бы вы прийти завтра?

С каждым словом лицо ее мрачнеет; видно, что она едва сдерживается. «Истеричка,— думаю я.— Не надо ее раздражать». И еще раз, как дурак, кланяюсь в пустоту.

— Прошу прощения, сударыня... я, конечно, не собираюсь консультироваться с господином доктором в столь поздний час. Я только хотел сообщить ему... об одной из его больных.

— Больные! Всегда больные! — Ее ожесточение сменяется плаксивостью. — Сегодня его подняли с постели в половине второго ночи, в семь утра он опять ушел и до сих пор не возвращался. Ведь он сам заболел, если ему не дадут отдохнуть! Но теперь хватит! Сейчас приема нет, я вам сказала. Прием до четырех. Напишите ему, что вам нужно, а если это очень срочно, пойдите к другому врачу. В городе врачей полно, найдете их на каждом углу.

Она подходит еще ближе, и я, словно чувствуя свою вину, отступаю перед ее гневно возбужденным лицом, на котором внезапно вспыхивают белыми огнями широко раскрытые глаза.

— Уходите, я вам говорю. Уходите! Пусть он поест и выспится, как все люди! Что вы все впились в него! И ночью, и утром, и целый день без конца больные, он изводит себя ради них, и все даром! Вы чувствуете его слабость, и поэтому вы цепляетесь за него, только за него... ах, какие вы все жестокие! Только *ваша* болезнь, только *ваши* заботы, до остального вам дела нет! Но я этого больше не потерплю. Уходите, говорят вам, сейчас же уходите! Оставьте же его наконец в покое, дайте ему вечером отдохнуть хоть часок!

Она добирается до стола. Каким-то шестым чувством она угадывает, где я стою, и глаза ее неподвижно устремлены прямо на меня, словно они видят. В ее гнев так много искреннего и в то же время болезненного отчаяния, что мне невольно становится стыдно.

— Разумеется, сударыня,— извиняюсь я.— Я прекрасно понимаю, что господину доктору нужен отдых... и я не буду вам больше мешать. Позвольте только написать ему несколько слов или, может быть, позвонить через полчаса.

Но она отчаянно кричит:

— Нет! Нет! Никаких звонков! Целый день эти телефонные звонки, всем от него что-то нужно, все выпытывают, все жалуются! Он и куска не успеет проглотить, как уже должен бежать к телефону. Я вам сказала: приходите завтра на прием, за одну ночь ничего не случится. Должен же он когда-нибудь отдохнуть. Уходите! Уходите, я вам говорю!

И слепая, сжав кулаки, неуверенно ступая, приближается ко мне. Это ужасно. Мне кажется, что ее протянутые руки вот-вот схватят меня. Но в этот момент наружная дверь открывается и с треском захлопывается. Это, наверное, Кондор.

Слепая прислушивается, вздрагивает. Ее лицо моментально меняется. Она начинает дрожать всем телом, руки, только что сжатые в кулаки, умоляюще прижимаются к груди.

— Не задерживайте его, — шепчет она. — Не говорите ему ничего! Он очень устал, он целый день был на ногах... Прошу вас, подумайте о нем! Имейте же состра...

В эту секунду дверь открылась, и Кондор вошел в комнату.

Он, без сомнения, с первого взгляда понял, что происходит, но ни на миг не потерял самообладания. — Ах, ты здесь составила компанию господину лейтенанту, — оживленно начал он; я давно заметил у него привычку скрывать свое волнение нарочитой бодростью тона. — Как это любезно с твоей стороны, Клара!

Он подошел к слепой и нежно погладил ее седые спутанные волосы. Это прикосновение сразу преобразило ее. Выражение страха, только что искажавшее ее лицо, исчезло от этой нежной ласки; едва почувствовав близость Кондора, она тут же повернулась к нему с беспомощной, застенчивой улыбкой: отблеск света упал на ее чистый, слегка покатый лоб. Поражительным был этот внезапный переход от гневного возбуждения к спокойствию и уверенности. В присутствии мужа она совсем забыла обо мне. Ее рука, словно притягиваемая магнитом, потянулась к нему, мягко ощупывая пустоту, и как



только ее ищущие пальцы коснулись его рукава, они начали нежно скользить вверх и вниз по его руке. Понимая, что она всем существом тянется к нему, он подошел к ней вплотную, и она прислонилась к мужу, словно обесилевший путник, в изнеможении опускающийся на землю. Он, улыбаясь, обнял ее за плечи и повторил, не глядя на меня:

— Как это любезно с твоей стороны, Клара! — Его голос, казалось, тоже ласкал ее.

— Извини меня,— начала она,— но я должна была все-таки объяснить этому господину, что тебе сначала надо поесть, ведь ты очень голоден. Весь день в разъездах, а здесь тебе уже звонили раз пятнадцать... Прости, но я попросила господина зайти завтра, потому что...

— Вот тут-то, детка, ты и попала впросак,— рассмеялся он, снова погладив ее волосы (я понял: он сделал это, чтобы не обидеть ее своим смехом).— Этот господин, лейтенант Гофмиллер, к счастью, не пациент, а друг, который уже давно обещал навестить меня, когда попадет в город. Ведь он свободен только по вечерам, а весь день торчит на службе. Теперь главный вопрос: найдется у тебя для него что-нибудь вкусное на ужин?

На ее лице промелькнул испуг, и я понял, что она мечтала побыть наедине с тем, кого она так долго ждала.

— Нет, нет, спасибо,— поспешно отказался я.— У меня совсем нет времени. Мне никак нельзя пропустить вечерний поезд. Я хотел лишь передать привет от наших общих знакомых.

— У них все в порядке? — спросил Кондор, пристально глядя мне в глаза. И, каким-то образом догадавшись, что «не все» благополучно, быстро прибавил: — Так вот, дорогой друг, моя жена всегда знает, что мне нужно, и даже лучше, чем я сам. Я действительно страшно голоден и никуда не гожусь, пока не проглочу что-нибудь и не закурю вечернюю сигару. Если ты не возражаешь, Клара, пойдем-ка поужинаем, а господин лейтенант немного подождет. Я дам ему какую-нибудь книжонку, или он просто отдохнет. У вас, наверное, был сегодня тяжелый день,— обратился он ко мне.— Потом, с сигарой, я приду к вам, правда, в домашней куртке и

шлепанцах, но вы, господин лейтенант, не будете требовать от меня вечернего туалета, не так ли?

— Я действительно пробуду не больше десяти минут, сударыня... Мне нужно спешить на вокзал.

От этих слов лицо ее прояснилось, и она сказала почти дружеским тоном:

— Как жаль, что вы не хотите поужинать с нами, господин лейтенант! Но я надеюсь, вы еще зайдете к нам.

Она протянула мне руку, очень нежную, узкую и уже слегка увядшую. Я почтительно поцеловал ее. С неподдельным волнением я смотрел, как бережно уводил ее Кондор из комнаты, так умело направляя ее движения, что она ничего не задела в дверях: казалось, он несет в руках что-то чрезвычайно хрупкое и драгоценное.

Две-три минуты дверь оставалась открытой, я слышал, как удалялись тихие, скользящие шаги. Кондор вернулся в комнату. Его лицо было теперь другим — внимательным, сосредоточенным, каким оно делалось у него в моменты внутреннего напряжения. Он, несомненно, понял, что лишь крайняя необходимость могла заставить меня явиться к нему в дом без приглашения.

— Я вернусь через двадцать минут, и мы быстро все обсудим. Вам пока лучше прилечь на диване или устроиться вот здесь в кресле. Вы выглядите очень переутомленным. А нам обоим нужна ясная голова.— И внезапно громко прибавил уже совершенно иным голосом, чтобы было слышно в задней комнате:— Да, милая, я сейчас иду. Я только достал господину лейтенанту книгу, чтобы он не очень скучал.

**Н**аметанный глаз Кондора не ошибся. Только сейчас, когда он это сказал, я почувствовал, как меня измучила кошмарная ночь и перегруженный событиями день. Следуя его совету и чувствуя, что уже целиком подчиняюсь его воле, я вытянулся в кресле, откинув голову на спинку и уронив руки на подлокотники. На улице за время моего тоскливого ожидания совсем стемнело; в комнате я различал лишь блеск инструментов в высоком стеклянном шкафу; из противоположного угла, окружая мое кресло черным куполом, надвигался мрак. Я неволь-

но закрыл глаза, и тотчас, словно в *Laterna magica*<sup>1</sup>, возникло передо мною лицо слепой и этот незабываемый переход от испуга к мгновенной радости, едва лишь рука Кондора прикоснулась к ней, обняв ее плечи. «Удивительный врач,— думаю я,— если бы ты и мне сумел так помочь...» — и смутно сознаю, что мне хочется вспомнить о ком-то, кто так же, как и эта слепая, встревожен и расстроен, так же испуганно смотрит... Ради кого я пришел сюда. Но я не успел вспомнить...

Кто-то тронул меня за плечо. То ли Кондор неслышно вошел в темную комнату, то ли я действительно заснул. Я хотел встать, но он мягко удержал меня.

— Сидите. Я подсяду к вам. В темноте как-то лучше разговаривать. Прошу вас только об одном: говорите тихо! Совсем тихо! Вы, вероятно, знаете, что у слепых иногда развивается необычайно острый слух и к тому же какая-то мистическая способность угадывать. Итак,— его рука, словно гипнотизируя, медленно скользнула от моего плеча по рукаву до самой ладони,— рассказывайте и не робейте. Я сразу увидел, что с вами что-то случилось.

Как странно, подумал я. В кадетском училище у меня был товарищ, его звали Эрвил, светловолосый и нежный, точно девушка; боюсь, что я был немного влюблен в него, хотя и не признавался себе в этом. Днем мы почти не разговаривали, а если и говорили, то лишь о самых обыденных вещах: возможно, мы оба стыдились нашего тайного влечения друг к другу. Только ночью, в дортуаре, когда гасили свет, мы иногда набирались смелости — темнота защищала нас,— и, когда все засыпали, мы, лежа в кроватях, стоявших рядом, подперев рукой голову, делились нашими детскими впечатлениями и думами, а наутро опять смущенно избегали друг друга. Годами не вспоминал я об этих ночных признаниях, которые были счастьем и тайной моих детских лет. Но сейчас, полулежа в темноте, в низком кресле, я совершенно забыл о том, что хотел притвориться перед Кондором. Сам того не желая, я заговорил с полной откровенностью; так же, как когда-то я посвящал товарища в мелкие огорчения и несбыточные мечты моего детства,

---

Волшебный фонарь (лат.).

так и теперь я рассказывал Кондору об Эдит, о неожиданной вспышке ее страсти ко мне, о моем ужасе, страхе, смятении. Я испытывал какое-то внутреннее наслаждение от этой исповеди, роняя слово за словом в безмолвную темноту, в которой лишь изредка, когда Кондор поворачивал голову, тускло поблескивали стекла его пенсне.

Наступило молчание, потом я услышал какой-то странный звук: Кондор так сильно сжал пальцы, что суставы хрустнули.

— Так вот в чем было дело, — сердито проворчал он. — И я, болван, просмотрел все это! Вечная история — за болезнью уже не видишь самого больного. Возишься с обследованиями, приглядываешься к симптомам и не замечаешь главного — того, что происходит в человеке. Правда, кое-какие подозрения у меня возникли с самого начала; помните, как я тогда сразу после осмотра спросил старика, не лечит ли ее еще кто-нибудь, — меня насторожило это внезапное и пылкое желание выздороветь немедленно, сию же минуту. Я тогда правильно предположил, что тут не обошлось без постороннего вмешательства. Но я, глупец, думал только о каком-нибудь знахаре или гипнотизере; мне казалось, что ей задурили голову. И только самое простое, самое естественное не пришло мне на ум. Ведь влюбленность присуща девушкам в переходном возрасте. Досадно только, что это случилось именно теперь, да еще в такой сильной форме. О господи, бедная девочка!

Он поднялся. Я слушал его короткие шаги, туда-обратно и снова туда-обратно. Потом он вздохнул:

— Ужасно, и надо же было этому случиться именно теперь, когда мы затеяли историю с поездкой. Теперь, когда она внушила себе, что должна выздороветь для вас, а не для самой себя. Тут уж и господь бог ничем не поможет. Что будет, когда наступит отрезвление? Какой ужас! Теперь, когда она надеется на все и требует всего, ее уже не удовлетворит легкое улучшение, незначительный прогресс! Господи, какую тяжкую ответственность мы на себя взяли!

Во мне вдруг проснулся дух сопротивления. Меня раздражало это «мы». Ведь я же пришел сюда, чтобы стать свободным. И я решительно перебил его:

— Полностью разделяю ваше мнение. Последствия могут быть очень опасными. Нужно вовремя пресечь этот безумный бред. Вы должны энергично взяться за дело. Вы должны сказать ей...

— Что сказать?

— Ну... что эта влюбленность — простое ребячество, бессмыслица. Вы должны отговорить ее.

— Отговорить? От чего? Отговорить женщину от ее страсти? Сказать ей, что она не должна чувствовать того, что чувствует? Не должна любить, когда любит? Это было бы самое ошибочное из всего, что можно сделать, и вдобавок самое глупое. Вы слышали когда-нибудь, чтобы логика могла осилить страсть, чтобы можно было сказать: «Лихорадка, не лихорадь» или: «Огонь, не гори»? Вот уж действительно прекрасная, поистине гуманная мысль! Больной, парализованной крикнуть в лицо: «Ради бога, не воображай, что ты тоже имеешь право любить! Это дерзость с твоей стороны — выдать свое чувство да еще ждать ответа; твое дело молчать, потому что ты калека! Марш в угол! Не смей надеяться ни на что, откажись от всего! Откажись от самой себя!» Я вижу, вы хотите, чтобы я именно так разговаривал с бедняжкой. Не будете ли вы столь любезны представить себе, какое великолепное воздействие это окажет на нее?

— Но именно вы должны....

— Почему я? Ведь вы безоговорочно взяли всю ответственность на себя! Почему это вдруг именно я?

— Но ведь не могу же я сам признаться ей в том, что...

— И не должны! Не имеете никакого права! Хорошенькое дело, сначала свести человека с ума, а потом потребовать от него рассудительности! Только этого еще недоставало! Само собой разумеется, вы ни в коем случае ни словом, ни жестом не должны навести бедную девочку на подозрение, что ее чувство тягостно для вас,— ведь это все равно, что ударить человека обухом по голове!

— Но...— голос отказывается мне служить,— ведь кому-то придется в конце концов объяснить ей...

— Что объяснить? Будьте добры выразаться точнее!

— Я хочу сказать... что... что это совершенно незна-

дежно, совершенно абсурдно... и чтобы она потом не... когда я...

Я запнулся. Кондор тоже молчал. Он явно ждал чего-то. Потом, неожиданно шагнув к двери, повернул выключатель. Ярко вспыхнула люстра, ее резкий, беспощадный свет невольно заставил меня зажмуриться. В одно мгновение в комнате стало светло, как днем.

— Так,— резко сказал Кондор.— Так, господин лейтенант! Я вижу, вам нельзя предоставлять таких удобств. В темноте слишком легко спрятаться, а в некоторых случаях лучше смотреть человеку прямо в глаза. Итак, покончим с этой уклончивой болтовней, здесь что-то неладно. Я не поверю, что вы пришли только для того, чтобы показать мне это письмо. Тут что-то другое. Я чувствую, что вы намерены сделать какой-то вполне определенный шаг. Или вы будете говорить честно, или я должен буду поблагодарить вас за визит.

Стекла его пенсне ослепительно сверкнули; я боялся их зеркального блеска и опустил глаза.

— Не очень-то благородно ваше молчание, господин лейтенант. Вряд ли оно свидетельствует о чистой совести. Но я уже приблизительно догадываюсь, в чем дело. Прошу без уверток: может быть, после этого письма... или после того, другого, вы решили покончить с вашей так называемой дружбой?

Он ждал. Я не поднимал глаз. В его голосе зазвучали требовательные нотки экзаменатора.

— Вы знаете, что будет, если вы сейчас удерете? Сейчас, после того, как вскружили девушке голову своим прекраснодушным состраданием?

Я молчал.

— Ну, в таком случае я позволю себе высказать свою личную оценку вашего образа действий: если вы удерете, это будет трусостью... Ах, что там, бросьте замашки военного! Оставим в стороне господина офицера и кодекс чести! В конце концов дело серьезнее, чем все эти штучки. Дело в живом, юном, достойном человеке, и к тому же человеку, за которого я в ответе,— при таких обстоятельствах у меня нет охоты быть с вами особенно вежливым. А чтобы вы не обманывались насчет того, какое пятно ложится на вашу совесть, я скажу вам прямо: ваше бегство в столь критический момент было бы — прошу

не пропускать мои слова мимо ушей! — подлым преступлением по отношению к невинному человеку, и, я боюсь, даже больше того — оно было бы убийством.

Низенький толстяк напирал на меня, сжав кулаки, точно боксер. Возможно, при других обстоятельствах он в своей суконной домашней куртке и шлепанцах производил бы комическое впечатление. Но искренний гнев, с которым он вновь обрушился на меня, придавал ему что-то величественное.

— Да, да, убийством! И вы сами это знаете! Или вы думаете, что такое впечатлительное, такое гордое создание сможет перенести подобный удар? Ведь она впервые открыла свое сердце мужчине, а этот джентльмен вместо ответа бежит от нее прочь, как черт от ладана! Немного воображения, дорогой! Или вы не читали ее письма, или ваше сердце действительно очерствело? Даже нормальная, здоровая женщина не перенесла бы такого оскорбления! Ее такой удар вывел бы из равновесия на долгие годы! А это девушка, живущая одной лишь несбыточной надеждой на выздоровление, которой вы ее одурманили, это обманутый, введенный в заблуждение человек! Неужели вы думаете, что для нее все пройдет незаметно? Если этот удар не убьет ее, она покончит с собой. Да, она сделает это: отчаявшемуся человеку не вынести такого унижения. Я убежден, что ваша жестокость убьет ее, и вы, господин лейтенант, знаете это не хуже меня. И именно потому, что вы это знаете, ваше бегство будет не только слабостью, не только трусостью, но и убийством, подлым, намеренным убийством!

Я невольно отшатнулся. В ту самую секунду, когда он произнес «убийство», я, словно при вспышке молнии, увидел руки Эдит, судорожно вцепившиеся в перила террасы. Мысленно я опять схватил ее за плечи и удержал в последнее мгновение. Да, я знал, Кондор не преувеличивает: именно так она и сделает — бросится с террасы; я видел глубоко внизу каменные плиты, видел все так ясно, будто это происходит сейчас, будто это уже произошло, и воздух свистит у меня в ушах, точно я сам лечу вниз с пятого этажа.

А Кондор продолжал наступать на меня.

— Ну? Попробуйте отрицать! Проявите же наконец хоть каплю вашего профессионального мужества!

— Но, господин доктор... что же мне делать?.. Ведь не могу же я насиловать себя... не могу говорить то, чего не хочу говорить... притворяться, будто разделяю ее безумие?..— И вдруг меня прорвало: — Нет, я этого не вынесу, не могу вынести! Я не могу, не хочу и не могу!

Последние слова я, кажется, выкрикнул уже совсем громко, потому что пальцы Кондора, словно тиска-ми, сжали мою руку.

— Тише, ради бога, тише! — Он бросился к выключателю и снова повернул его. Теперь только настольная лампа под желтоватым абажуром отбрасывала в темноту конус неяркого света.

— Черт возьми! С вами и вправду нужно разговаривать, как с больным. Сядьте-ка поудобнее. Здесь, в этой комнате, обсуждались и не такие проблемы.

Он придвинулся ближе.

— Итак, пожалуйста, спокойней и, прошу вас, не торопитесь, обсудим все по порядку! Во-первых, вы все время хнычете: «Я не смогу этого вынести!» В чем дело? Я должен знать, чего вы не можете вынести? Что, собственно, вы находите ужасного в том факте, что бедная девочка по уши влюбилась в вас?

Я набрал воздуха, чтобы ответить, но Кондор перебил меня:

— Не спешите, сначала подумайте! И главное — не стесняйтесь! Вообще говоря, не мудро испугаться, когда тебя ошеломляют страстным признанием, это я могу понять. Только болвана восхищает так называемый «успех» у женщин, только дурак хвалится им. Настоящий человек скорее растеряется, когда почувствует, что какая-то женщина от него без ума, а он не в силах ответить на ее чувство. Все это мне понятно. Но поскольку вы пребываете в состоянии необычайной, совершенно необычайной растерянности, я вынужден задать вам один вопрос: не играет ли в вашем случае определенную роль что-то особое, я имею в виду особые обстоятельства...

— Какие обстоятельства?

— Ну... что Эдит... такие вещи трудно сформулировать... я хочу сказать... не внушает ли вам ее... ее телесный изъян некоторого... ну, что ли, физического отращения?



— Нет... ничего подобного! — с жаром протестую я. Ведь как раз ее беспомощность и незащищенность неотразимо влекли меня к ней, и если в какие-то минуты у меня появлялось чувство, удивительно похожее на нежность любящего, то именно оттого, что ее страдания, ее одиночество и болезнь потрясали меня до глубины души.— Нет! Никогда! — повторил я почти оскорбленно.— Как могли вы подумать!

— Тем лучше. Это несколько успокаивает меня. Ведь врачам нередко приходится наблюдать случаи подобных психических торможений у внешне нормальных людей. Я, правда, никогда не понимал мужчин, у которых малейший дефект в женщине вызывает что-то вроде идиосинкразии, но таких мужчин очень и очень много, какая-нибудь родинка величиной с пятак на теле женщины полностью исключает для них возможность физической близости. К сожалению, такое отвращение, как и все инстинкты, непреодолимо, поэтому я вдвойне рад, что у вас этого нет и что, следовательно, вас отпугивает не ее хромота, а что-то другое. Но тогда мне остается лишь предположить, что... могу я говорить откровенно?

— Конечно.

— Что вас пугает вовсе не факт сам по себе, а его последствия... я хочу сказать, что вас приводит в ужас не столько влюбленность бедного ребенка, сколько то, что другие узнают и посмеются над этим... По моему мнению, ваша безграничная растерянность есть не что иное, как боязнь — простите меня — показаться смешным в глазах других, в глазах ваших товарищей.

У меня было ощущение, точно он вонзил мне в сердце тонкую острую иглу. То, о чем он говорил, я давно чувствовал подсознательно, но не осмеливался думать об этом. С самого первого дня я опасался, что странная дружба с парализованной девушкой может стать предметом насмешек моих товарищей, предметом их беззлобного, но беспощадного солдатского зубоскальства; я слишком хорошо знал, как издевались они над каждым, кого им удавалось «поймать» с какой-нибудь «хилой» или непрезентабельной особой. Именно поэтому я инстинктивно воздвиг в своей жизни стену между моими двумя мирами — между полком и Кекешфальвами. Нет, Кондор не ошибся в своем предположении: с той мину-

ты, когда я узнал о страсти Эдит, меня больше всего мучил стыд перед ее отцом, перед Илоной, перед слугами, перед товарищами. Даже перед самим собой я стыдился своего злосчастного сострадания.

Тут я почувствовал, что рука Кондора успокаивающе гладит меня по колену.

— Не надо, не стыдитесь! Я, как никто другой, понимаю, что можно бояться людей, когда твое поведение не укладывается в их понятия. Вы видели мою жену. Никто не понимал, почему я женился на ней, а все, что выходит за рамки узкого и, так сказать, нормального кругозора обывателей, делает их сначала любопытными, а потом злыми. Мои уважаемые коллеги незамедлительно начали перешептываться, что я, дескать, допустил ошибку в лечении и женился с перепугу, мои так называемые друзья тоже не отставали и распустили слух, что она богата или ожидает большого наследства. Моя мать, моя собственная мать, два года отказывалась принимать ее потому, что уже имела на примете другую партию, дочь университетского профессора, знаменитого в то время терапевта; если б я женился на ней, то был бы через три недели доцентом, потом профессором и всю жизнь катался бы как сыр в масле. Но я знал, что эта женщина погибнет, если я брошу ее на произвол судьбы. Она верила только в меня, отними я у нее эту веру — ей нечем было бы жить. Признаюсь вам откровенно, я не раскаиваюсь в своем выборе. Дело в том, что у врача, именно потому, что он врач, совесть редко бывает совсем чиста. Мы знаем, как мало нам удастся помочь на самом деле. Разве одному справиться со стихией повседневных бедствий? По каплям, наперстком черпаем мы из этого бездонного моря, и те, кого мы сегодня считаем исцеленными, завтра опять приходят к нам с новыми недугами. Тебя никогда не покидает чувство, что ты был слишком небрежен, слишком медлителен, и вдобавок еще промахи, ошибки, неизбежные в каждом ремесле; а тут по крайней мере остается утешение, что хотя бы одного человека ты спас, одно доверие не обманул, одно дело сделал так, как надо. В конце концов человек должен знать, была ли его жизнь напрасной или он жил ради чего-то. Поверьте мне, — и я вдруг услышал в его голосе теплоту, почти нежность, —

все-таки стоит обременить себя тяжелой ношей, если другому от этого станет легче.

Его глубокий, проникновенный голос тронул меня. Внезапно я ощутил в груди слабое жжение, то хорошо знакомое мне чувство, когда сердце точно переполнилось, и я почувствовал, как воспоминание об отчаянном одиночестве несчастной девушки вновь пробуждает во мне сострадание. Я знал: еще минута — и на меня хлынет тот бурный поток, устоять против которого я не в силах. «Нет, не уступать! — сказал я себе. — Ты уже выпутался, не позволяй опять втягивать себя в эту историю». И я решительно взглянул на Кондора.

— Господин доктор, каждый знает предел своих сил хотя бы приблизительно. Поэтому я обязан предупредить вас: пожалуйста, не рассчитывайте на меня! Теперь вы, а не я должны помочь Эдит. Я и так зашел уже гораздо дальше, чем собирался вначале, и честно говорю вам: я вовсе не такой благородный и самоотверженный, как вы думаете. Мои силы на исходе! Я больше не могу выносить, чтобы на меня молились, да еще делать вид, что мне это приятно. Лучше ей все объяснить сейчас, чем разочаровывать потом. Даю вам честное слово солдата, что мое предупреждение искренне: не рассчитывайте на меня, не переоценивайте меня!

Должно быть, я говорил очень твердо, потому что Кондор озадаченно посмотрел на меня.

— Это звучит так, словно вы уже решились на какой-то шаг. — Вдруг он поднялся. — Пожалуйста, всю правду, без недомолвок! Вы уже сделали что-то... чего нельзя изменить?

— Да, — сказал я, в свою очередь, вставая с места и вынимая из кармана прошение об отставке. — Вот. Прошу вас, прочтите сами.

Кондор неуверенно взял листок и, бросив на меня встревоженный взгляд, отошел к письменному столу, где горела лампа. Потом тщательно сложил бумагу и обратился ко мне совершенно спокойным, деловым тоном, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся:

— Я считаю, что после всего сказанного мною сегодня вы полностью отдаете себе отчет в последствиях: мы только что пришли к выводу, что ваше бегство равносильно убийству бедной девочки, убийству или самоубийст-

ву... Поэтому вам, я полагаю, абсолютно ясно, что этот лист бумаги является не только вашим прощением об отставке, но и... смертным приговором Эдит.

Я не ответил.

— Я задал вам вопрос, господин лейтенант! И я повторяю его: отдаете ли вы себе отчет в последствиях? Берете ли вы на себя ответственность?

Я опять промолчал. Он подошел и протянул мне сложенный листок.

— Благодарю! Я не желаю иметь ничего общего с этим. Возьмите!

Но рука моя висела, как парализованная. У меня не было мужества выдержать его испытующий взгляд.

— Следовательно, вы не намерены давать ход этому... этому смертному приговору?

Я отвернулся и спрятал руки за спину. Он понял.

— Итак, я могу порвать это?

— Да, прошу вас.

Он вернулся к письменному столу.

Я услышал резкий звук разрываемой бумаги — раз, два, три — и шелест обрывков, падавших в корзину. Как это ни странно, но я вдруг почувствовал облегчение. Опять — уже во второй раз за этот роковой день — решалась моя судьба. Решалась без моего участия.

Кондор подошел и, мягко положив мне руку на плечо, снова усадил в кресло.

— Ну вот, я думаю, что сейчас мы предотвратили большое несчастье... очень большое несчастье! А теперь к делу! Как бы там ни было, но благодаря этому случаю я получил возможность до некоторой степени узнать вас... Нет, не спорьте. Я не переоцениваю вас, я не согласен с Кекешфальвой, который восхваляет вас как необыкновенного, доброго человека, напротив, для меня вы, с вашими неустойчивыми чувствами, с вашим каким-то особенным нетерпением сердца, весьма ненадежный партнер; и как бы ни радовался я тому, что предотвратил вашу безумную выходку, мне ни в коей мере не может импонировать поспешность, с какой вы принимаете решения и тут же отказываетесь от своих замыслов. На людей, чьи поступки до такой степени зависят от настроения, нельзя возлагать никакой серьезной ответственности. Если бы мне понадобилось поручить ко-

му-нибудь дело, требующее терпения и упорства, вас я выбрал бы в последнюю очередь. Так вот, слушайте! Я хочу от вас немногого. Только самого необходимого, без чего никак нельзя обойтись. Ведь мы уговорили Эдит начать этот новый курс — вернее, курс, который она считает новым. Ради вас она решилась уехать, уехать на несколько месяцев, и, как вы знаете, до отъезда осталось восемь дней. Ну так вот, в эти восемь дней мне потребуется ваша помощь, и, чтобы облегчить вам задачу, скажу сразу: через восемь дней все кончится. Мне ничего от вас не нужно, кроме обещания, что за неделю, которая остается до отъезда, вы не сделаете ничего опрометчивого, ничего неожиданного и прежде всего ни словом, ни жестом не выдадите своего страха перед нежным чувством бедной девочки. Пока я больше ничего не хочу от вас, я думаю, что самое меньшее, чего можно потребовать: восемь дней самообладания, когда на карту поставлена жизнь другого человека.

— Да... но потом?

— Пока не будем думать об этом. Когда я удаляю опухоль, то не спрашиваю, не появится ли она вновь через несколько месяцев. Когда меня зовут на помощь, я должен действовать не колеблясь. В жизни это всегда самое правильное, потому что самое человеческое. Все остальное — воля случая, или, как сказал бы верующий, божья воля. За несколько месяцев может произойти все что угодно! Может быть, улучшение действительно наступит скорее, чем я ожидаю, может быть, в разлуке ее страсть угаснет — я не могу заранее предусмотреть все возможности, а вам это и подавно ни к чему! Сосредоточьте все ваши силы только на одном — пусть она в эти решающие дни не почувствует, что ее любовь так... так пугает вас. Все время говорите себе: восемь дней, семь дней, шесть дней — и я спасу человека, не оскорблю, не разочарую, не обижу его, не отниму у него последнюю надежду. Восемь дней мужественного поведения — вы действительно считаете, что это вам не под силу?

— Напротив! — вырвалось у меня. И я добавил еще убежденнее: — Я выдержу! — Едва я услышал об определенном сроке, в меня словно влились новые силы.

Кондор глубоко вздохнул.

— Слава богу! Теперь я могу признаться вам, что был сильно встревожен. Поверьте, Эдит не пережила бы, если в ответ на ее письмо, на ее признание вы бы попросту удрали. Потому-то ближайшие несколько дней — самые решающие. Все остальное уладится потом. А сейчас позволим бедной девочке немного побыть счастливой — подарим ей восемь дней безмятежного счастья; ведь за одну эту неделю вы ручаетесь, не так ли?

Вместо ответа я протянул ему руку.

— Ну-с, теперь, я думаю, все в порядке, и мы можем присоединиться к моей жене.

Но он продолжал сидеть. Я почувствовал, что в нем зародилось какое-то сомнение.

— Еще одно,— негромко сказал он.— Нам, врачам, всегда приходится иметь в виду непредвиденные обстоятельства, мы должны быть готовы ко всяким случайностям. Если, не дай бог, хотя это маловероятно, что-нибудь случится... я хочу сказать, если силы покинут вас или подозрительная недоверчивость Эдит приведет к какому-нибудь кризису — немедленно поставьте меня в известность. Ничего непоправимого не должно произойти за этот срок, короткий, но решающий. Если вы почувствуете, что не можете справиться со своей задачей, или произвольно выдадите себя — не стыдитесь, ради бога, не стыдитесь меня, я видел достаточно обнаженных людей и надломленных душ! Вы можете прийти или позвонить мне в любое время дня и ночи, я всегда готов помочь вам — я знаю, что поставлено на карту. А сейчас,— кресло, стоявшее рядом с моим, сдвинулось, и Кондор поднялся,— переберемся лучше туда. Наш разговор немного затянулся, а мою жену легко разволновать. Прошли годы, но я должен все время быть начеку, чтобы не тревожить ее. Кого однажды жестоко ранила судьба, тот навсегда остается легко ранимым.

Кондор опять подошел к выключателю, вспыхнула люстра. Когда он повернулся, его лицо, освещенное ярким светом, показалось мне иным, ибо я впервые заметил глубокие морщины на лбу этого человека, усталого до изнеможения. «Он всегда жертвовал собой для других»,— подумал я. Мне вдруг представилось жалким мое намерение спастись бегством от первой же неприятности, и я посмотрел на него с чувством благодарности.

Он, видимо, заметил это и улыбнулся.

— Как хорошо, — он похлопал меня по плечу, — что вы пришли ко мне и мы поговорили обо всем. Только представьте, что было бы, если б вы, не подумав как следует, сбежали. Всю жизнь вы бы несли эту тяжесть, потому что можно сбежать от чего угодно, только не от самого себя. А теперь пойдите туда. Идемте, мой друг...

Слово «друг», подаренное мне Кондором в этот час, растрогало меня. Он знал, каким слабым, каким трусливым я был, и все же не испытывал ко мне презрения. Одним этим словом старший ободрил младшего, умудренный жизненным опытом вселил уверенность в новичка, робко вступающего в жизнь. Легко, словно сбросив тяжелую ношу, я последовал за ним.

Сначала мы прошли приемную, потом Кондор открыл дверь в следующую комнату. Его жена сидела за еще не убраным обеденным столом и вязала. Глядя на эту кропотливую работу, никак нельзя было предположить, что руки, так ловко и уверенно играющие спицами, принадлежат слепой; коробка с шерстью и ножницы были аккуратно разложены на столе. Ее слепота стала явной, только когда она подняла голову и в пустых зрачках заблестело миниатюрное отражение лампы.

— Ну, Клара, мы сдержали слово? — подходя к ней, сказал Кондор тем глубоким, проникновенным голосом, которым он всегда обращался к жене. — Не правда ли, мы совсем недолго? Если бы ты знала, как я рад приходу господина лейтенанта! Да, ты еще не знаешь — но присядьте же, дорогой друг! — ведь он служит в гарнизоне, в том самом городе, где живут Кекешфальвы, помнишь мою маленькую пациентку?

— Ах, это та бедная парализованная девочка, да?

— Вот-вот. Ты понимаешь, через господина лейтенанта я время от времени узнаю, что у них там нового, так что мне не надо самому ежедневно ездить туда. Он бывает у них почти каждый день, чтобы немного скрасить бедняжке ее одиночество.

Слепая повернула голову в ту сторону, где предполагала найти меня. Жесткие черты ее лица вдруг смягчились.

— Как вы добры, господин лейтенант! Могу себе представить, какая это для нее радость,— кивнула она мне; ее рука, лежавшая на столе, невольно приблизилась к моей.

— Да, мне это очень кстати,— продолжал Кондор,— иначе пришлось бы гораздо чаще ездить туда, чтобы поддерживать в ней присутствие духа, ведь нервы ее совершенно расшатаны. Для меня это громадное облегчение, что как раз сейчас, когда до ее отъезда в Швейцарию осталась всего неделя, лейтенант Гофмиллер немного присмотрит за девочкой. Правда, с ней не всегда бывает легко, но он действительно превосходно заботится о бедняжке, я знаю, что вполне могу на него положиться, больше, чем на любого из моих ассистентов и коллег.

Я сразу понял, что Кондор хочет еще крепче связать меня, напоминая о моих обязательствах в присутствии другого беспомощного существа; тем не менее я охотно пошел ему навстречу.

— Разумеется, вы можете положиться на меня, господин доктор. Конечно, все эти восемь дней, от первого до последнего, я буду ходить к ним и тотчас позвоню вам, если произойдет даже самый пустячный инцидент. Однако полагаю,— я многозначительно посмотрел на Кондора поверх головы слепой,— что никаких инцидентов, никаких затруднений не будет. Я уверен в этом.

— Я тоже,— подтвердил он с легкой улыбкой; мы хорошо поняли друг друга.

Но тут губы его жены слегка дрогнули. Было видно, что ее что-то тревожит.

— Я еще не извинилась перед вами, господин лейтенант. Боюсь, что я была сегодня не совсем... не совсем любезна. Но эта глупая девчонка о вас не доложила, и я не имела ни малейшего представления о том, кто ожидает в приемной, а Эммерих еще ни разу не говорил мне о вас. Я подумала, что это кто-нибудь посторонний и что мужу опять не дадут отдохнуть, а ведь он всегда приходит домой смертельно усталый.

— Вы были совершенно правы, сударыня, и вам следовало проявить еще больше строгости. Простите за



нескромность, но я боюсь, что ваш супруг слишком много отдает своей работе.

— Все,— с жаром перебила она, придвигаясь ко мне вместе с креслом.— Все, говорю я вам,— время, нервы, деньги. Из-за своих больных он не ест и не спит. Каждый эксплуатирует его, а я с моими слепыми глазами ничем не могу помочь ему, ни от чего не могу его уберечь. Если бы вы знали, как я тревожусь за него! Весь день я только и думаю: вот сейчас он все еще ходит голодный, сейчас он снова сидит в поезде, в трамвае, а ночью они его опять разбудят. У него для всех есть время, только не для себя. А кто благодарит его за это? Никто! Никто!

— В самом деле никто? — с улыбкой наклонился Кондор к разволновавшейся жене.

— Конечно,— покраснела она.— Ведь я абсолютно ничего не могу для него сделать! Пока он придет домой с работы, я вся изведусь от страха. Ах, если бы вы смогли повлиять на него! Ему нужен кто-то, кто бы хоть немного сдерживал его. Ведь нельзя же помочь всем...

— Но попытаться надо,— сказал он и посмотрел на меня.— Ведь для этого и живешь. Только для этого.— Его слова заставили мое сердце забиться сильнее. Но я спокойно выдержал его взгляд — и принял решение.

Я поднялся. В эту минуту я дал обет. Услышав, что я встал, слепая подняла голову.

— Вам в самом деле уже пора? — спросила она с искренним сожалением.— Как жаль! Но вы скоро опять придете, не правда ли?

У меня было какое-то странное чувство. В чем же дело, с удивлением спрашивал я себя, все доверяют мне, вот эта слепая восторженно устремляет на меня свои незрячие глаза, а этот человек, почти чужой, дружески кладет мне руку на плечо? Спускаясь по лестнице, я уже не понимал, что привело меня сюда час назад. Почему я, собственно, хотел бежать? Потому что какой-то свирепый начальник грубо обругал меня? Потому что какое-то бедное, искалеченное существо сгорало от любви ко мне? Потому что кто-то ждал от меня утешения и помощи? Ведь это прекрасно — помогать, это единствен-

ное, что действительно имеет цену и приносит награду. И когда я понял это, для меня стало внутренней необходимостью то, что еще вчера казалось невыносимой жертвой: быть благодарным человеку за его большую, пылкую любовь.

**В**осемь дней! С тех пор как Кондор ограничил выполнение моей задачи определенным сроком, я вновь почувствовал уверенность в себе. Я боялся только одного часа, одной минуты — той, когда мне придется встретиться с Эдит в первый раз после ее признания. Я знал, что после того, что между нами произошло, прежняя непринужденность уже невозможна, — первый взгляд после того жгучего поцелуя должен заключать в себе вопрос: простил ли ты меня? — и, возможно, даже более опасный: позволишь ли ты мне любить тебя, ответишь ли ты мне на мою любовь? Этот первый взгляд сквозь краску стыда, взгляд скрытого, но неудержимого нетерпения, мог — я отчетливо сознавал это — оказаться самым опасным и вместе с тем решающим. Одно неловкое слово, один фальшивый жест — и сразу же станет явным то, что должно оставаться тайным, а это значит, что свершится непоправимое, грубое и оскорбительное, против чего так настойчиво предостерегал Кондор. Но стоит мне выдержать этот взгляд, и я спасен, а может быть, навсегда спасена и Эдит.

Едва я на следующий день переступил порог усадьбы, как мне стало ясно, что Эдит, которую те же самые опасения сделали предусмотрительной, приняла необходимые меры, чтобы не встретиться со мною с глазу на глаз. Уже в вестибюле я услышал звонкие голоса нескольких женщин, болтавших между собой; очевидно, на те часы, когда наше общество обычно не нарушалось приходом гостей, она пригласила знакомых, чтобы с их помощью пережить критический момент.

Не успел я войти в гостиную, как навстречу мне — то ли следуя инструкциям Эдит, то ли по собственному побуждению — с наигранной веселостью устремилась Илона. Она представила меня супруге окружного начальника и ее дочери — веснушчатой дерзкой девчонке (которую, кстати, Эдит терпеть не могла), а затем подтолкнула к столу: благодаря этому все сошло незаметно. Мы

пили чай и болтали. Я с жаром втолковывал что-то задорному веснушчатому провинциальному гусенку, в то время как Эдит беседовала с ее матерью. Такое, отнюдь не случайное размещение гостей ослабило двумя изолирующими прослойками незримый контакт между мной и Эдит, я получил возможность не смотреть в ее сторону, хотя временами ощущал на себе ее тревожный взгляд. И даже когда гости наконец поднялись, сообразительная Илона тут же нашла выход.

— Я только провожу дам. Вы пока можете сыграть вашу партию в шахматы. Потом мне еще нужно будет сделать кое-какие приготовления к отъезду, но через час я вернусь.

— Хотите сыграть? — спросил я Эдит вполне неприужденно, в то время как гости выходили из комнаты.

— С удовольствием, — ответила она, опустив глаза.

Эдит смотрела вниз, пока я тщательно, чтобы выиграть время, расставлял фигуры. По старому правилу, чтобы решить, кому начинать, мы обычно прятали за спиной черную и белую фигуру. Но сейчас такой прием заставил бы нас заговорить, произнести хотя бы одно слово: «в правой» или «в левой»; даже этого мы оба постарались избежать. Лишь бы не разговаривать! Запереть все мысли в квадрат из шестидесяти четырех клеток! Не отрываясь смотреть только на фигуры, не глядеть даже на пальцы, которые их передвигают! Мы притворялись, что увлечены игрой, как самые заядлые шахматисты, забывающие во время игры обо всем на свете.

Но вскоре сама игра обнаружила наше притворство. В третьей партии Эдит окончательно спасовала. Она делала неверные ходы, дрожь ее пальцев ясно говорила, что ей не выдержать этого неестественного молчания. Посреди игры она отодвинула доску.

— Хватит! Дайте мне сигарету.

Я вынул из гравированного серебряного портсигара сигарету и услужливо зажег спичку. Когда вспыхнул огонек, я не мог не взглянуть Эдит в глаза. Их застывший взгляд не был направлен ни на меня, ни на какой-либо определенный предмет; словно замороженные ледяным гневом, они выжидали, отчужденно и неподвижно, а над ними напряженно вздрагивали дуги бровей. Я сразу понял — это знак, предвещающий грозу.

— Не надо! — произнес я, не на шутку испугавшись.— Пожалуйста, не надо!

Но она откинулась на спинку кресла. Я видел, как дрожь пробегала по всему ее телу и пальцы все глубже впивались в подлокотники.

— Не надо! Не надо! — Кроме этих умоляющих слов, мне ничего не приходило в голову. Но плотина уже прорвалась. Это были не бурные, громкие рыдания, а — что еще страшней — тихий, надрывающий душу плач с закушенной губой, плач, который стыдится самого себя, но который невозможно унять.

— Не надо! Прошу вас, не надо! — повторил я и, чтобы успокоить ее, наклонившись, положил ладонь ей на руку. Точно электрический ток пробежал по ее руке к плечу.

В ту же секунду дрожь утихла, снова наступило оцепенение, она больше не шевелилась. Все тело ее словно ждало, прислушивалось, стараясь понять, что скрывалось за моим прикосновением: означало ли оно нежность, любовь или только сострадание? Было страшно глядеть, как она ждала, не дыша, ждала всем своим чутко внимавшим телом. Я не находил в себе мужества убрать руку, которая так чудодейственно, в один миг укротила нахлынувшие рыдания; с другой стороны, у меня не было сил, чтобы заставить свои пальцы сделать какое-нибудь ласковое движение, которого Эдит, ее пылающая кожа — я чувствовал это — ожидали с таким нетерпением. Моя рука лежала как чужая, и у меня было такое ощущение, будто вся кровь Эдит, горячая, пульсирующая, прилила к одному этому месту, устремляясь ко мне.

Я не знаю, долго ли оставалась моя ладонь безвольно лежать на ее руке, потому что время, казалось, стояло без движения, как воздух в комнате. Потом я почувствовал, что Эдит начинает тихонько напрягать мускулы. Не глядя на меня, она правой рукой мягко сняла мою руку со своей и потянула к себе; медленно притягивала она ее все ближе к сердцу, и вот, робко и нежно, к ее правой руке присоединилась левая. Очень мягко взяли они мою большую, тяжелую мужскую руку и принялись ласкать ее нежно и боязливо. Сначала ее тонкие пальцы блуждали, словно любопытствуя, по моей не-

подвижной ладони, почти не касаясь ее, подобно легким дуновениям. Затем я почувствовал, как эти робкие, детские прикосновения отважились пробежать от запястья до кончиков пальцев, как они внутри и снаружи, снаружи и внутри, вкрадчиво и испытующе исследовали все выпуклости и впадины, как они сначала испуганно замерли, дойдя до твердых ногтей, но потом и их ощупали со всех сторон и снова пробежали до самого запястья и опять вверх и вниз, вверх и вниз,— это было знакомство, ласковое и робкое, такое, при котором она бы никогда не осмелилась по-настоящему крепко взять мою руку, сжать, стиснуть ее. Словно струйки теплой воды омывали мою ладонь — такой шаловливо-застенчивой, бережной и стыдливой была эта ласка-игра. И все же я чувствовал, что в частице моего «я», отданного ей во владение, влюбленная обнимала всего меня. Непроизвольно голова ее откинулась на спинку кресла, словно для того, чтобы с еще большим удовольствием наслаждаться невинной лаской; она лежала передо мной, будто задремав или грезя,— с закрытыми глазами, чуть приоткрытым ртом, и выражение полного покоя смягчало и в то же время изнутри озаряло ее лицо, а тоненькие пальцы ее снова и снова с упоением пробегали по моей руке от запястья до кончиков ногтей. В этой ласке не было никакого вожделения — лишь тихая радость оттого, что она наконец-то, хоть на мгновение, может обладать какой-то частичкой моего тела и выразить свою безграничную любовь. Ни в одном женском объятии, даже в самом пылком, мне не приходилось с тех пор ощущать такую бесконечную нежность, какую я познал в этой легкой, почти мечтательной игре.

Не помню, как долго это продолжалось. Такие переживания существуют вне привычного хода времени. От робких прикосновений и поглаживаний исходило что-то одурманивающее, обольщающее, гипнотизирующее; они волновали и потрясали меня больше, чем жгучие поцелуи в ее спальне. Я все еще не находил в себе сил отнять руку («Лишь позволь мне любить тебя», — вспомнилось мне) — в тупом оцепенении, словно во сне, наслаждался я этой лаской, струившейся по моей коже, и я покорился ей, бессильный, беззащитный, в то же время в глубине души испытывая стыд оттого, что меня так без-

гранично любили, а я сам не испытывал ничего, кроме робости и смятения.

Но постепенно мое собственное оцепенение стало для меня невыносимо: утомляла не ласка, не блуждание по моей руке теплых, нежных пальцев, не их легкие и пугливые прикосновения, меня мучило то, что моя рука лежала как мертвая, словно и она и человек, ласкавший ее, были мне чужими. Я смутно понимал (так слышишь в полусне звон колоколов на башне), что должен либо уклониться от этой ласки, либо ответить на нее. Но у меня не было сил сделать то или другое, мне хотелось только одного: скорее покончить с этой опасной игрой; и вот я осторожно напряг мускулы и очень медленно начал высвобождаться из невесомых пут — незаметно, как я надеялся. Но обостренная восприимчивость моментально, еще раньше, чем я сам осознал свое намерение, подсказала Эдит смысл этого движения, и в испуге она сразу освободила мою руку. Ее пальцы словно вдруг отпали, кожа моя перестала ощущать струящееся тепло. Смутьившись, я убрал руку, ибо в ту же секунду лицо Эдит потемнело, она опять по-детски надула губы, их уголки уже начали вздрагивать.

— Не надо! Не надо! — прошептал я ей, другие слова не приходили мне на ум. — Сейчас войдет Илона. — И, так как я видел, что от этих пустых, беспомощных слов ее дрожь только усилилась, во мне опять внезапно вспыхнуло чувство сострадания. Я наклонился к Эдит и быстро коснулся губами ее лба.

Но зрачки ее серых глаз смотрели строго и отчужденно, она глядела как бы сквозь меня, будто угадывала мои тайные мысли. Я не сумел обмануть ее ясновидящее чувство. Она поняла, что я сам, отняв руку, уклонился от ее ласки и что торопливый поцелуй означал не любовь, а лишь смущение и жалость.

Это было ошибкой, непоправимой, непростительной ошибкой, несмотря на искренность моих добрых намерений, я не проявил великого терпения и не нашел в себе сил, чтобы притвориться. Напрасным оказалось мое стремление ничем — ни словом, ни взглядом, ни жестом — не дать ей заподозрить, что ее нежность меня тяготит. Снова и снова вспоминал я предостережения

Кондора о том, какая ответственность ляжет на меня, сколько вреда я причиню, если обижу этого легко ранимого человека. «Позволь ей любить тебя,— без конца повторял я себе,— притворись на эти восемь дней, но пощади ее гордость. Не дай ей заподозрить, что ты обманываешь ее, обманываешь вдвойне, когда с бодрой уверенностью говоришь о ее скором выздоровлении, а сам внутренне дрожишь от страха и стыда. Веди себя непринужденно, совсем непринужденно,— снова и снова увещевал я себя,— постарайся придать своему голосу сердечность, своим рукам ласковую нежность».

Но между женщиной, которая однажды призналась в своем чувстве мужчине, и этим мужчиной все становится накаленным, таинственным и опасным, даже воздух. Любящие обладают каким-то сверхъестественным даром угадывать подлинные чувства любимого, а так как любовь, по извечным законам, всегда стремится к беспредельному, то все обычное, все умеренное претит ей, невыносимо для нее. В сдержанности любимого она подозревает сопротивление, в малейшей уклончивости с полным правом видит скрытую оборону. Наверное, в те дни в моих словах звучала какая-то фальшь, а в моем поведении чувствовались какая-то неловкость и замешательство — как я ни старался, мне не удалось обмануть Эдит. Неудача постигла меня в самом главном: я не мог убедить ее, и она с тревогой недоверия ощущала все острее, что я не даю ей того единственного, того настоящего, чего она жаждала: любви в ответ на любовь. Иногда посреди разговора, как раз в тот момент, когда я усерднее всего добивался ее доверия, ее сердечности, она вдруг бросала на меня испытующий взгляд своих серых глаз, и я опускал ресницы. При этом у меня было такое чувство, будто она вонзала в меня какой-то зонд, чтобы исследовать самую глубину моего сердца.

Так прошло три дня — пытка для меня, пытка для нее; в ее взглядах, в ее молчании я постоянно ощущал ожидание, немое, жадное. Потом — кажется, это случилось на четвертый день — Эдит начала проявлять странную враждебность, которую я первое время не мог себе объяснить. Как обычно, я пришел рано и принес ей цветы. Она взяла их, почти не глядя, и небрежно отложила

в сторону, давая этим понять, что я напрасно рассчитываю подкупить ее подарками. Полупрезрительно бросив: «Ну к чему такие красивые цветы!» — она тут же отгородилась стеной демонстративного, враждебного молчания. Я попытался завязать непринужденный разговор, но она в лучшем случае отвечала односложно: «вот как» или: «любопытно, любопытно», с оскорбительной ясностью показывая, что мой разговор ее ни в малейшей степени не интересует. Она намеренно подчеркивала свое безразличие даже внешне: повертела в руках книгу, полистала ее, отложила в сторону, забавляясь самыми различными предметами, раз или два притворно зевнула, потом позвала слугу, спросила его, уложил ли он шиншилловую пелерину, и лишь после его утвердительного ответа снова повернулась ко мне, холодно бросив: «Ну, рассказывайте дальше», — так что нетрудно было угадать недосказанный конец фразы: «Ведь мне совершенно безразлично, что вы тут болтаете».

В конце концов я почувствовал, что силы мои на исходе. Все чаще и чаще поглядывал я на дверь — не придет ли кто-нибудь, Илона или Кекешфальва, чтобы спасти меня от моих отчаянных монологов. Но от Эдит не ускользнули эти взгляды. Со скрытой издевкой она спросила как бы участливо: «Вы что-нибудь ищете? Вам что-нибудь нужно?» И, к своему стыду, я не нашел ничего лучшего, как сказать: «Нет, нет, ничего». Возможно, самое разумное, что я мог бы сделать, — это открыто принять бой и прикрикнуть на нее: «Чего вы, собственно, хотите от меня? Зачем вы меня мучаете? Я могу и уйти, если вам так угодно». Но ведь я обещал Кондору не раздражать и не сердить ее; и вместо того чтобы одним рывком сбросить с себя груз этого озлобленного молчания, я, как дурак, битых два часа тянул разговор, словно таща по горячему песку безмолвной пустыни. Но наконец появился Кекешфальва, робкий, как всегда в последнее время, и, пожалуй, еще более растерянный.

— Не пойти ли нам к столу? — предложил он.

За столом Эдит сидела напротив меня. Ни разу она не подняла глаз, никому не сказала ни слова. Мы все явно ощущали нарочитость, оскорбительность ее гнетущего молчания. Тем упорнее я пытался поднять настроение. Я рассказывал о нашем полковнике, который, как



запойный пьяница, в июне и июле регулярно «заболевал маневрами»; по мере приближения этого события наш придира делался все более невыносимым. Мне казалось, что воротник душит меня, впиваясь в шею, но, чтобы сплести эту глупую историю, я присочинял все новые и новые подробности. Однако смеялись только двое, да и то натянуто, тщетно стараясь скрасить мучительное молчание Эдит, которая вот уже в третий раз вызывающе зевнула. «Только не останавливаться»,— сказал я себе и продолжал:

— У нас сейчас такая гонка, никто не понимает, что он делает. Несмотря на то, что вчера два улана свалились от солнечного удара, этот живодер с каждым днем все круче берет нас в оборот. Никто уже не знает, когда он вылезет из седла: одержимый предманевренной лихорадкой, полковник по двадцать — тридцать раз заставляет повторять самые глупейшие упражнения. С большим трудом,— добавил я,— мне еще удалось сегодня улизнуть, но смогу ли я завтра прийти вовремя, об этом знает лишь всевышний да господин полковник, который в эту пору считает себя его заместителем на земле.

Конечно, это была совершенно невинная фраза, которая никого не могла обидеть или взволновать; я произнес ее самым веселым, непринужденным тоном, обращаясь к Кекешфальве и даже не глядя на Эдит (ее неподвижный, устремленный в пустоту взгляд давно уже стал для меня невыносим). Вдруг что-то зазвенело. Эдит бросила на тарелку нож, которым нервно играла все это время, и не успели мы прийти в себя от неожиданности, как она взорвалась:

— Ну, если вам это причиняет такие хлопоты, то оставайтесь лучше в казарме или в кафе! Уж мы как-нибудь переживем!

Словно пуля ударила в стекло — мы все онемели и уставились друг на друга.

— Эдит! — умоляюще прошептал Кекешфальва пересохшими губами.

Но она откинулась на спинку стула и продолжала с издевкой:

— Надо же иметь сострадание к замученному человеку! Почему бы не дать господину лейтенанту денек

передышки! Что касается меня, я охотно предоставляю ему отпуск.

Кекешфальва и Илона растерянно переглянулись. Оба понимали, что долго сдерживаемое возбуждение обрушилось на меня совершенно незаслуженно; по тому, как испуганно они повернулись ко мне, я догадался: они боятся, что на грубость я отвечу грубостью. Поэтому я постарался быть особенно сдержанным.

— Знаете, в сущности, вы правы, Эдит,— сказал я тепло, насколько позволило мне бешено колотившееся сердце.— Когда я задержанный прихожу к вам, из меня вряд ли получается интересный собеседник; я сам чувствую, что основательно надоел вам сегодня! Но ничего не поделаешь, несколько дней вам все-таки придется довольствоваться моей скучной персоной. Ну, сколько времени я еще смогу бывать у вас? Оглянуться не успеешь — и вот дом уже пуст и вы все далеко. У меня все еще никак не укладывается в голове, что нам осталось быть вместе всего четыре дня, четыре или, вернее, три с половиной...

С другой стороны стола раздался судорожный резкий смех, словно кто-то разорвал платок.

— Ха-ха-ха! Три с половиной дня! Ха-ха! Он высчитал с точностью до половины, когда наконец-то отделается от нас! Наверное, специально купил себе календарь и отметил там красным: праздник — их отъезд! Но берегитесь! Иногда можно здорово просчитаться. Ха-ха-ха! Три с половиной дня, три с половиной, половиной, половиной...

Эдит смеялась все сильнее, окидывая нас жестким взглядом, она вся дрожала, ее трясло как в лихорадке. Я чувствовал, что охотнее всего она бы убежала,— при ее возбужденном состоянии это было бы самым понятным, самым естественным,— но неподвижные ноги не могли поднять ее с кресла. Это вынужденное бессилие придавало ее гневу какую-то трагическую беспомощность и озлобленность животного, запертого в клетке.

— Сейчас я позову Йозефа,— шепнула ей побелевшая, как мел, Илона, за долгие годы привыкшая угадывать каждое ее движение. Озабоченный отец тоже подошел к ней, но страх его оказался напрасным. Как только вошел слуга, Эдит молча позволила ему и отцу

увезти себя, не сказав ни слова на прощание или в извинение; только теперь, видя нашу растерянность, она, вероятно, поняла, что наделала.

Мы с Илоной остались одни. У меня было такое чувство, как у человека, который среди обломков разбившегося самолета начинает постепенно приходить в себя после пережитого ужаса, не понимая, что, собственно, произошло.

— Вы должны простить ее,— торопливо прошептала Илона,— она сейчас все ночи проводит без сна. Мысль об этой поездке ужасно волнует ее и... Вы ведь не знаете...

— Нет, Илона, я знаю. Я знаю все,— сказал я.— И поэтому я завтра приду опять.

«Выдержать! Выстоять! — настойчиво внушал я себе, когда шел домой, взволнованный этой сценой до глубины души.— Выстоять любой ценой! Ты обещал это Кондору, на карту поставлено твое слово. Не давай сбить с толку нервами и капризами. Всегда помни, что эта враждебность — не что иное, как отчаяние человека, который любит тебя и перед которым ты виноват тем, что сердце твое остается черствым и холодным. Не отступать до последней минуты — ведь осталось всего три с половиной дня! Еще три дня, и ты выдержишь испытание, сможешь вздохнуть свободно, сбросить с себя этот груз на недели, на месяцы! А сейчас — терпение, терпение... только это последнее усилие, эти последние три с половиной дня, последние три дня!»

Кондор знал, что делал. Только неизмеримое, необъятное пугает нас, и, наоборот, все определенное, все, что имеет предел, побуждает нас выдержать испытание, становясь мерой наших сил. Три дня... я чувствовал, что справлюсь, и это вселяло в меня уверенность. На следующее утро я отлично исполнял свои обязанности, а это уже немало, потому что мы выехали на учебный плац часом раньше обычного и носились как угорелые, пока воротники не взмокли от пота. К моему удивлению, мрачный полковник даже бросил мне на ходу: «Молодец!» Тем яростнее разразилась в это утро гроза над графом Штейнхубелем. Будучи страстным лошадиником, он как раз позавчера раздобыл новую молодую чистокровную лошадь, длинноногую, рыжую, неукротимого

права; понадеявшись на свое искусство, он неосторожно выехал на плац, предварительно не объездив ее как следует. В разгар учения эта тварь вдруг встала на дыбы, испугавшись тени пролетающей птицы, в другой раз, во время атаки, она попросту понесла, и, не будь Штейнхюбель превосходным наездником, весь полк получил бы возможность полюбоваться весьма забавным салтом-мортале. Лишь после нескольких акробатических номеров ему удалось усмирить эту фурию, но трудная победа не удостоилась одобрения полковника. Он раз и навсегда запрещает цирковые трюки на учебном плацу, рычал Бубенчич, и, если уж господин граф ничего не понимает в верховой езде, он бы по крайней мере позаботился, чтобы лошадь объездили там, где это умеют делать, а не позорился бы перед нижними чинами.

Язвительное замечание больно задело ротмистра. На обратном пути в казарму и потом в казино он не переставал возмущаться этой несправедливостью. Вся беда в том, что у коня слишком горячая кровь. Вот увидите, он еще покажет себя, этот рыжий, когда из него выбьют дурь. Но чем больше распался граф, тем больше поддразнивали его товарищи. «Ты здорово влип», — ехидничали они и в конце концов разозлили его по-настоящему. Спор разгорался все сильнее. Во время этой бурной дискуссии ко мне подошел вестовой.

— Господина лейтенанта просят к телефону!

Я вскакиваю с дурным предчувствием. Последние дни телефон, телеграммы и письма не приносили мне ничего, кроме трепки нервов и огорчений. Что ей опять понадобилось? Может быть, она сожалеет, что отпустила меня на сегодняшний вечер? Ну, если она раскаивается в этом, тогда все обойдется. На всякий случай я плотно закрываю за собой обитую войлоком дверь телефонной будки, словно прерывая тем самым всякую связь между моим служебным миром и тем, другим. Это Илона.

— Я только хотела сказать, — слышу я в трубке ее голос, несколько смущенный, как мне кажется, — что вам лучше не приходить сегодня. Эдит себя не совсем хорошо чувствует...

— Надеюсь, ничего серьезного? — перебиваю я.

— Нет, нет... просто я думаю, лучше дать ей отдохнуть сегодня, и потом (как медленно она говорит)... и

потом... один день теперь уже не играет роли. Ведь мы должны... ведь нам придется отложить отъезд.

— Отложить?

Вероятно, в голосе моем послышался испуг, потому что она торопливо добавила:

— Да... но мы надеемся, всего на несколько дней... впрочем, поговорим об этом завтра или послезавтра... может быть, я еще позвоню вам... я только хотела вас предупредить... Итак, сегодня лучше не надо и... и... всего хорошего, до свидания!

— Да, но...— бормочу я в трубку и уже не получаю ответа. Прислушиваюсь еще несколько секунд. Ответа нет. Она повесила трубку. Странно, почему она вдруг прервала разговор? Так внезапно, словно боялась дальнейших расспросов. Здесь что-то есть... И вообще, почему отложили? Почему отложили отъезд? Ведь все было решено... «Восемь дней»,— сказал Кондор. Восемь дней — я уже окончательно настроился на этот срок; и вот теперь снова... Невозможно... просто невозможно!.. Я этого не вынесу, не вынесу... в конце концов у каждого есть нервы... Я хочу, чтобы меня наконец оставили в покое...

Неужели в этой телефонной будке действительно так жарко? Задыхаясь, я с силой толкаю дверь и бреду на свое место. Кажется, никто не заметил, как я вышел. Штейнхюбель все еще отбивается от насмешек, а около моего пустого стула упорно ждет солдат с блюдом жаркого. Механически, чтобы скорее отделаться от этого парня, я кладу себе на тарелку два куска, но не притрагиваюсь к еде, потому что в висках невыносимо стучит, словно маленькие молоточки безжалостно выбивают: «Отложили! Отъезд отложили!» Здесь должна быть какая-то причина. Несомненно, что-то случилось. Она серьезно заболела? Я оскорбил ее? Почему она вдруг передумала ехать? Ведь Кондор обещал мне: я должен потерпеть только восемь дней, и пять из них я уже выдержал... Но больше я не могу... просто не могу!

— О чем задумался, Тони? Наша кухня тебе, кажется, не по вкусу? Ну да сразу видать, в чем тут дело,— привычка к благородной пище. Я всегда говорил, что наше общество уже недостаточно изысканно для него,

Вечно этот проклятый Ференц с его добродушным тягучим смехом, опять эти грязные намеки, точно я там, у Кекешфальвов, прихлебатель!

— Пошел ты к черту с твоими идиотскими шуточками! Оставь меня в покое! — обрываю я его. Должно быть, в моем голосе прорвалась вся накопившаяся злость, потому что два прапорщика, сидящие напротив, с нескрываемым удивлением поднимают глаза.

Ференц кладет на стол вилку и нож.

— Тони, — произносит он с угрозой, — я не позволю разговаривать со мной таким тоном! Надеюсь, что шутки пока еще не запрещены за нашим столом. Если тебе кажется, что где-то готовят вкуснее, — пожалуйста, это твое дело, меня это не касается. А за нашим столом мне позволено заметить, что ты не притрагиваешься к обеду.

Сидящие рядом с любопытством смотрят на нас. Стук ножей и вилок сразу стихает. Даже майор, сощурившись, пристально глядит через весь стол. Я понимаю, что надо поскорее загладить свою грубость.

— Может быть, Ференц, — отвечаю я, принуждая себя засмеяться, — ты разрешишь моей башке иногда потрещать?

Ференц тут же меняет тон:

— Пардон, Тони! Кто же мог знать? В самом деле, ты выглядишь чертовски неважно. Я уже несколько дней замечаю: с тобой что-то неладно. Ну, ты-то выкрутишься, за тебя я не беспокоюсь.

Ко всеобщему удовлетворению, инцидент исчерпан, но злость во мне не утихает. Что они делают со мной, те, в усадьбе? То туда, то сюда, то вверх, то вниз — нет, я не позволю изводить себя! Я сказал — три дня, три с половиной дня, и ни часу больше! Откладывают они там или нет, меня это не касается! С этой минуты я больше не позволю трепать мне нервы, к черту проклятое страдание! Еще, чего доброго, сойдешь с ума от всего этого.

Я должен сдерживаться, чтобы не обнаружить бурлящую во мне ярость. Мне хочется схватить стакан и раздавить его или ударить кулаком по столу; я чувствую, надо что-то сделать, чтобы разрядить напряже-

ние, только не сидеть вот так и ждать, напишут ли они мне или позвонят, отложат ли отъезд или нет. Я просто не могу больше. Я должен что-то сделать.

Меж тем спор о лошади графа продолжался.

— А я тебе скажу,— издевается тощий Йожи,— этот тип из Нови-Иичина здорово надул тебя. Я тоже кое-что смыслю в лошадях, с этой тварью тебе не сладить, с ней никто не справится.

— Вот как? Хотел бы я посмотреть,— внезапно вмешиваюсь я в разговор,— действительно ли с этой лошадью нельзя справиться. Скажи, Штейнхюбель, ты не будешь возражать, если я сейчас займусь твоим рыжим и часок-другой погоняю его, пока он не покорится?

Не знаю, как пришла мне в голову эта мысль. Но потребность выместить свою злость на ком-то или на чем-то, потребность драться, наносить удары искала выхода так лихорадочно, что я жадно ухватился за первый представившийся случай. Все с удивлением уставились на меня.

— Желаю удачи,— смеется граф Штейнхюбель,— если ты уж так расхрабрился; ты сделаешь мне одолжение. Сегодня мне пришлось дергать эту бестию до тех пор, пока не свело пальцы; будет неплохо, если за нее возьмется кто-нибудь со свежими силами. Если не возражаешь, мы можем сразу начать. Пошли!

Все вскакивают, предвкушая удовольствие от настоящей «травли». Мы идем в конюшню, чтобы вывести Цезаря. Штейнхюбель, пожалуй, несколько преждевременно дал своему лихому коню это непобедимое имя. Когда мы шумно столпились у стойла, Цезарь сразу забеспокоился: он принюхивается, тревожно переступает ногами, пританцовывает и так дергает недоуздок, что трещат доски. Не без труда удастся нам вывести недоверчивое животное на манеж.

В общем-то я был весьма посредственным наездником и не мог равняться с таким заядлым кавалеристом, как Штейнхюбель. Но сегодня он не нашел бы никого лучше меня, и неукротимый Цезарь не мог встретиться с более опасным противником. Ибо в этот день ярость напрягла во мне каждый мускул; злобное желание с кем-то расправиться, что-то подчинить себе было настолько сильным, что я с каким-то почти садистским удо-

гольствием старался показать хотя бы этому упрямому животному (ведь недостижаемому нельзя нанести удар!), что мое терпение имеет предел. Бравый Цезарь носился, как бешеный, бил копытами в стены, вставал на дыбы, пытался сбросить меня, прыгая в сторону, — ничего не помогало. Я беспощадно рвал трензель, словно хотел выломать коню все зубы, молотил его каблуками по ребрам, и такое обхождение быстро отбило у него охоту фокусничать. Меня возбуждало, увлекало, вдохновляло его упорное сопротивление, а одобрительные возгласы офицеров: «Черт возьми, он даст ему жару!» или «Посмотрите-ка на Гофмиллера!» — придавали мне отваги. Когда физическое усилие приводит к успеху, это всегда порождает чувство удовлетворения; после получаса отчаянной борьбы я вышел победителем, подо мной тяжело дышало и дымилось мокрое от пота, словно только что из-под горячего душа, укрощенное животное. Шея и сбруя в клочьях белой пены, уши покорно прижаты, и еще через полчаса этот непобедимый уже кроток и слушается меня; больше не нужно сжимать шенкеля, и я спокойно могу спешиться и принять поздравления товарищей. Но во мне еще слишком много боевого задора, и это ощущение приподнятости так радует меня, что я прошу у Штейнхюбеля позволить мне часок-другой поехать по учебному плацу — рысью, конечно, — чтобы вспотевшая лошадь остыла.

— Ну еще бы, — смеясь, кивает Штейнхюбель. — Я уже вижу, ты вернешь мне его в полном порядке. Теперь-то он не будет выкидывать фортелей. Bravo, Тони, поздравляю!

И вот год бурные аплодисменты товарищей я выезжаю из манежа и, ослабив поводья, направляю измученную лошадь через весь город и потом в луга. Она идет легко и свободно, и сам я чувствую себя так же легко и свободно. За этот напряженный час я вколотил всю свою злость и ожесточение в своенравное животное; сейчас Цезарь идет рысью, кроткий и мирный, и — надо отдать справедливость Штейнхюбелю — у коня действительно чудесный ход. Нельзя скакать более красиво, плавно, упруго. Постепенно моя первоначальная досада уступает место приятному, почти мечтательному настроению — я наслаждаюсь. Добрый час даю лошади



порезвиться на просторе и лишь после этого, в половине пятого, медленно пускаюсь в обратный путь. На сегодня нам хватит, и Цезарю и мне. Слегка покачиваясь в седле, легкой рысью я возвращаюсь в город по хорошо знакомому шоссе, меня уже чуть-чуть клонит ко сну. Вдруг за моей спиной раздается гудок автомобиля, громкий, резкий. Мой чуткий рысак тотчасстораживает уши и начинает дрожать. Но я вовремя натягиваю поводья, беру лошадь в шенкеля, направляю к обочине и останавливаюсь под деревом, чтобы дать дорогу автомобилю.

Его, кажется, ведет внимательный шофер, который правильно понимает мой маневр. Он подъезжает очень медленно, на самой малой скорости, так что едва слышны выхлопы мотора; мне нет никакой надобности напряженно следить за лошадью и сжимать шенкеля, каждый миг ожидая, что она прыгнет вбок или попятится назад,—сейчас, когда автомобиль проезжает мимо нас, Цезарь стоит довольно тихо. Я спокойно могу оглянуться. Но, подняв глаза, замечаю, что кто-то кивает мне из открытой машины, и узнаю круглую лысину Кондора рядом с яйцеобразной, покрытой белым пушком головой Кекешфальвы.

Не знаю, лошадь ли дрожит подо мной, или меня самого охватила дрожь. Что это значит? Кондор здесь и не дал мне знать? Он был, вероятно, у Кекешфальвы; ведь старик сидел с ним рядом в машине! Но почему они не остановились поздороваться со мной? Почему они проехали мимо? И почему Кондор опять очутился здесь? Ведь с двух до четырех у него обычно прием в Вене. Должно быть, его спешно вызвали рано утром. Конечно, что-нибудь случилось. Это, безусловно, связано со звонком Илоны, с тем, что они вынуждены отложить поездку, и мне нельзя приходить сегодня. Наверно, что-то случилось, что-либо такое, о чем мне не хотят говорить! Она что-то сделала над собой вчера вечером, в ней было что-то решительное, какая-то насмешливая уверенность, какая бывает у людей, замышляющих злое, опасное. Ну конечно, она что-то сделала над собой! Не поскакать ли мне за ними, может, я еще догоню Кондора на вокзале!

Но, возможно, он и не собирается уезжать. Нет, если действительно произошло что-то плохое, он ни в коем

случае не уедет, не известив меня. Может быть, в казарме уже лежит записка от него. Я знаю, этот человек ничего не сделает тайком от меня, во вред мне. Этот человек не оставит меня одного. Тогда живо домой! Без сомнения, там меня уже ждет письмо, записка от него или он сам. Скорей!

**П**одъехав к казарме, я быстро отвожу лошадь в конюшню и по боковой лестнице, чтобы не слушать поздравлений и прочей болтовни, бегу к себе. Действительно, у дверей комнаты меня ожидает денщик; по растерянному выражению его лица и опущенным плечам я догадываюсь: что-то случилось... С некоторым замешательством Кузьма докладывает, что ко мне пришел какой-то господин в штатском и он, Кузьма, не осмелился не впустить его, потому что у господина очень срочное ко мне дело. Вообще-то Кузьме строго-настрого запрещено пускать кого-либо в мое отсутствие. Вероятно, Кондор дал ему на чай, недаром у него такой смущенный и испуганный вид. Впрочем, его растерянность сразу сменяется удивлением, когда я, вместо того чтобы устроить ему разнос, миролюбиво бросаю: «Ну ладно, ладно» — и подхожу к двери. Слава богу, думаю я, Кондор пришел и все мне расскажет.

Я рывком распахиваю дверь и тут же замечаю, как в противоположном углу затененной комнаты (из-за жары Кузьма спустил шторы) шевельнулась, выступая из тени, чья-то фигура. Я готов уже радостно броситься навстречу Кондору, но вдруг вижу, что это вовсе не Кондор. Это не он, а тот, кого я меньше всего ожидал встретить у себя,— Кекешфальва! И будь здесь еще темнее, я все равно узнал бы его из тысячи, узнал по тому, как он смущенно встал и поклонился. И еще до того, как он, откашлявшись, заговорил, я уже знал, что его голос прозвучит взволнованно и смиренно.

— Простите меня, господин лейтенант,— произнес он, кланяясь,— что я без предупреждения ворвался сюда. Но доктор Кондор поручил мне передать вам особый привет и сказать, чтобы вы не сердились на него за то, что он не остановил машину... времени оставалось в обрез, он должен был непременно успеть на скорый в Вену, поскольку вечером у него там... и... и вот... он по-

просил меня передать вам, что крайне сожалеет. Именно поэтому... я хочу сказать, только поэтому... я и позволил себе без приглашения прийти к вам.

Он стоит передо мной, склонив голову под тяжестью невидимого бремени. В темноте тускло поблескивает его лысина, едва прикрытая редкими волосами. Его раблепная поза начинает мало-помалу раздражать меня. И неприязнь подсказывает верную догадку: за этими сбивчивыми объяснениями что-то кроется. Не полезет старый человек с больным сердцем на третий этаж, чтобы передать ничего не значащий привет. Это можно было с тем же успехом сделать по телефону или вообще отложить до завтра. «Внимание! — говорю я себе. — Кекешфальва чего-то от тебя хочет. Однажды он точно так же возникал из тьмы; начнет смиренно, как нищий, — и вот уже навязал тебе свою волю, словно джин из сказки милосердному юноше. Только не поддаваться! Не позволять обвести себя вокруг пальца. Ни о чем не спрашивать, ничего не выяснять, как можно быстрее отделаться от него и выпроводить из комнаты».

Но передо мной стоит старый, больной человек, и голова его униженно склонена. Сквозь редкие волосы просвечивает бледная кожа; и, как во сне, я вспоминаю голову бабушки, склоненную над вязаньем: бабушка вязала и рассказывала сказки своим маленьким внукам. Нельзя просто так выставить за дверь больного старика. И я, все еще не наученный горьким опытом, указываю ему на стул.

— С вашей стороны, господин Кекешфальва, это весьма любезно. Право же, слишком любезно.

Кекешфальва не отвечает. Возможно, он даже не расслышал моих слов. Но движение руки, конечно, понял. Он робко присаживается на краешек предложенного стула. Наверно, так робко сживал он в молодости за даровым угощением у чужих людей, вдруг подумалось мне. И теперь он, миллионер, сидит точно так же на моем расшатанном стуле. Он медленно снимает очки, достает из кармана носовой платок и начинает протирать стекла. «Ну нет, милейший, я уже стреляный воробей: я знаю все твои штучки, и зачем ты протираешь стекла, тоже знаю. Ты их нарочно протираешь, чтобы выиграть время. Ты хочешь, чтоб я заговорил первым, чтоб я спро-

сил тебя, я даже знаю, какого вопроса ты ждешь: действительно ли Эдит так больна и почему она отложила отъезд? Но я держусь настороже. Начинай сам, если хочешь мне что-то сказать. Я палец о палец не ударю ради тебя. Нет, второй раз я уже не попадусь на эту удочку — хватит с меня проклятого сострадания, этого вечного «еще» и «еще»! Довольно намеков и недомолвок. Хочешь чего-то от меня — выкладывай начистоту да поскорей и не прячься за дурацким протираанием стекол. От меня ты больше ничего не дождешься, я по горло сыт состраданием».

Старик решительно откладывает в сторону тщательно протертые очки, словно прочитав на моих сжатых губах все невысказанные слова. Он уже понял, что я не желаю помочь ему и что придется начинать самому; упорно не подымая головы и не глядя на меня, он начинает говорить. Он обращается не ко мне, а к столу, словно ждет от твердого, растрескавшегося дерева больше сострадания, чем от меня.

— Я знаю, господин лейтенант,— с трудом начинает он,— что не имею никакого, ни малейшего права отнимать у вас столько времени. Но что же мне делать, что же нам делать? Я больше не могу, мы все больше не можем... Один бог знает, что на нее нашло, но с ней нельзя разговаривать, она никого не слушает... Я-то ведь понимаю, что она не нарочно, не по злобе... просто она несчастна... беспредельно, безгранично несчастна... и это с горя, поверьте мне, только с горя.

Я выжидаю. Что он хочет сказать? Что она с ними выдельгивает? Что именно? Говори же. Ну зачем ты ходишь вокруг да около, почему не выкладываешь сразу, в чем дело?

Но старик отсутствующим взглядом смотрит на стол.

— А ведь все уже было обговорено. Заказаны места в спальном вагоне и лучшие комнаты. Еще вчера днем она сгорала от нетерпения: сама отбирала книги, которые возьмет с собой, примеряла новые платья и меховую накидку, которую я выписал из Вены. И вдруг ее словно подменили вечером после ужина. Я просто ничего не понимаю. Вы ведь помните, как она была возбуждена. Илона не понимает, и никто не понимает, что вдруг на нее нашло. Но она говорит, и кричит, и клянется, что ни

за что отсюда не уедет, даже если дом подожгут со всех четырех углов. Она не желает участвовать в этом обмане и не позволит дурачить себя — вот как она говорит. От нее просто хотели избавиться, спихнуть ее куда-нибудь подальше, вот и выдумали новое лечение. Но мы просчитались, мы все просчитались: она просто-напросто никуда не поедет, она останется, останется...

У меня мороз побежал по коже. Так вот откуда этот злобный смех вчера за ужином! Уж не заметила ли она, что я больше не в силах притворяться, и устроила все это представление нарочно, чтобы я пообещал приехать к ней в Швейцарию?

«Нет, нет, только не уступать,— приказываю я себе.— Не подавать виду, как это тебя взволновало! Только бы старик не догадался, что, если она останется, ты просто не выдержишь».

И я, прикинувшись дурачком, самым равнодушным тоном изрекаю:

— Не беда, как-нибудь все уладится. Вы ведь не хуже меня знаете, как быстро меняется у нее настроение. Да и потом Илона мне говорила, что отъезд задерживается дня на два, не больше.

Старик вздыхает так глухо, словно с этим вздохом из его груди уходят последние силы.

— Ах, если бы это было так!.. Но ведь это самое страшное!.. Я боюсь... мы все боимся, что она вообще никуда не поедет... Не знаю, не могу понять, но ей вдруг стало безразлично, выздоровеет она или нет. «Я не позволю больше себя терзать, нечего меня лечить, все равно это бесполезно!» Вот как она заговорила, и таким голосом, что у меня сердце останавливается. «Теперь уж вы меня не обманете,— кричит она сквозь слезы,— я все насквозь вижу, все вижу... все!»

Я быстро соображаю: «Господи боже мой, неужели она что-нибудь заметила? Неужели я выдал себя? Или Кондор допустил какую-нибудь неосторожность? Возможно, какое-нибудь невинное замечание навело ее на мысль, что с этим курсом лечения дело обстоит не совсем чисто? Может быть, ее прозорливость, ее чудовищно прозорливое недоверие в конце концов подсказало ей, что мы отсылаем ее нарочно?» Я осторожно нащупываю почву:

— Ничего не понимаю... Ведь ваша дочь так безгранично доверяла доктору Кондору, а он настойчиво рекомендовал этот курс лечения... Я просто ничего не понимаю.

— Но так оно и есть!.. В этом-то и беда: ей вообще уже не нужно никакого лечения, она не желает, чтобы ее вылечили! Вы знаете, что она сказала?.. «Ни за какие блага в мире я отсюда не уеду... Я по горло сыта вашим обманом! Уж лучше остаться калекой, как сейчас, и никуда не ездить. Я не хочу, чтобы меня вылечили, не хочу! Теперь это все равно не имеет смысла».

— Не имеет смысла? — растерянно переспрашиваю я. Но старик опускает голову еще ниже, мне больше не видно ни слез в его глазах, ни очков. И только по движению редких седых волос я могу догадаться, что его бьет нервная дрожь. Потом он неразборчиво бормочет:

— Какой смысл, чтоб меня вылечили, говорит нам она и плачет, какой смысл, если он... он... — Старик переводит дыхание и с огромным трудом выдавливает из себя: — ...он... не испытывает ко мне ничего, кроме сострадания?

Меня обдаёт холодом, когда Кекешфальва говорит «он». Впервые отец осмеливается намекнуть на чувства своей дочери ко мне. Мне давно уже казалось странным, что он избегает встречаться со мной глазами, не смеет даже взглянуть на меня, а ведь раньше Кекешфальва относился ко мне с такой нежной, даже навязчивой заботой. Я знал, что его удерживает просто стыд, — ведь старику так тяжело смотреть, как его дочь сходит с ума по человеку, который бежит от нее! Как, должно быть, терзался он ее тайными признаниями, как стыдился ее неприкрытого желания! Он, как и я, уже не может быть непринужденным. Кто скрывает что-нибудь или вынужден скрывать, тот уже не может открыто смотреть в глаза другому.

Но вот слово сказано, один и тот же удар поразил оба сердца — его и мое. И мы оба, после того как произнесено предательское слово, сидим молча и стараемся не глядеть друг на друга. В узком пространстве между ним и мной в неподвижном воздухе повисло молчание. Вот оно растет, ширится, словно черный газ поднимается к потолку, заполняет всю комнату; сверху,

снизу, со всех сторон нас теснит и давит эта пустота, я чувствую по его прерывистому дыханию, как молчание сдавливает ему горло. Пройдет еще миг, и молчание задушит нас обоих, если только кто-нибудь из нас не разорвет его словом, не уничтожит гнетущую, убийственную пустоту.

И вдруг что-то происходит: сперва я замечаю только, что старик сделал какое-то движение — неуклюжее, неловкое. А потом он валится со стула, словно мягкая, бесформенная масса. С грохотом падает стул.

«Приступ!» — первая мысль, которая приходит мне в голову. Сердечный приступ, ведь у него больное сердце, Кондор же мне говорил. Вне себя от ужаса, я бросаюсь к нему, чтобы помочь ему встать и уложить его на диван. И тут только до меня доходит: старик вовсе не рухнул на пол, не упал со стула — он сам, сам сполз с него. Он нарочно (от волнения я в первую минуту ничего не заметил) опустился на колени и теперь, когда я хочу поднять его, подползает ко мне, хватая за руки и молит:

— Вы должны ей помочь... вы можете ей помочь, вы один... И Кондор говорит: вы один и больше никто!.. Умоляю вас, сжальтесь... Дальше так нельзя, она сделает что-нибудь над собой, она погубит себя!

Как ни дрожат у меня руки, я рывком поднимаю старика с колен. И он цепляется за мои руки, — словно когти, впиваются в мое тело судорожно сжатые пальцы. Вот он, джин, джин из моего сна, тот, что насилует милосердного.

— Помогите ей! — задыхается он. — Ради бога, помогите... Нельзя бросать ребенка в таком состоянии. Поверьте мне, это для нее вопрос жизни и смерти. Вы себе не представляете, какие страшные вещи говорит она в отчаянии. Она должна покончить с собой... уйти с дороги, чтобы дать вам покой и нам всем тоже дать наконец покой. И это не только слова, она может это сделать. Ведь она уже дважды пыталась — один раз вскрыла вену, другой — приняла снотворное. Если она чего-нибудь захочет, ее уже никто не остановит, никто, только вы еще можете ее спасти, только вы... клянусь вам, вы один...

— Разумеется, разумеется, господин Кекешфальва... вы только успокойтесь. Само собой разумеется, я сделаю все, что в моих силах. Хотите, поедем вместе, я попыта-

юсь уговорить ее. Я сейчас же поеду с вами. Решайте, что я должен ей сказать и что сделать.

Он выпустил вдруг мою руку и взглянул на меня.

— Что сделать?.. Вы в самом деле ничего не понимаете или просто не хотите понять? Она ведь открыла вам свое сердце, предложила себя и теперь до смерти стыдится этого. Она писала вам, а вы не ответили на ее письма, теперь она день и ночь думает только об одном: вы хотите отослать ее, избавиться от нее, потому что вы ее презираете... она вне себя от страха, ей кажется, что она внушает вам отвращение, потому что она... потому что... Неужели вы не понимаете, что это может убить человека, да еще вдобавок такого страстного, такого гордого, как мое дитя? Почему вы не подадите ей хоть слабую надежду? Почему не скажете ни слова, почему вы так жестоки, так бессердечны по отношению к ней? Почему вы так страшно мучаете бедного, невинного ребенка?

— Но ведь я же сделал все возможное, чтобы успокоить ее... я ведь сказал ей...

— Ничего вы ей не сказали! Да разве вы сами не видите, что она сходит с ума от ваших визитов, от вашего молчания, что она ждет только одного... только единственного слова, которого ждет каждая женщина от своего любимого... Она ведь ни на что не осмеливалась надеяться, пока была так больна... Но теперь, когда она наверняка должна выздороветь, совсем, совсем выздороветь через неделю-другую, почему бы теперь ей не ожидать того же, на что вправе рассчитывать любая другая девушка, почему нет?.. Она же сама сказала вам, призналась, как нетерпеливо ждет от вас хоть одного слова... больше, чем она сделала, уже невозможно сделать... ведь она не может просить милостыни... А вы, вы не говорите ни слова, не говорите того единственного, которое могло бы сделать ее счастливой. Неужели это и в самом деле приводит вас в ужас? Ведь у вас будет все, что только может иметь человек. Я стар, я болен. Все, чем владею, я оставляю вам: и поместье и шесть-семь миллионов, которые нажил за сорок лет,— все, все достанется вам... когда вы хотите, хоть завтра, в любой день, в любой час... Мне самому ничего больше не надо... мне надо только, чтобы кто-нибудь позаботил-



ся о моем ребенке, когда меня не будет на свете. Я знаю, вы добрый, порядочный человек, вы будете жалеть ее, будете хорошо с ней обращаться.

Он задыхался. Обессиленный, беспомощный, упал он на стул. Но и у меня не было больше сил, я в изнеможении опустился на другой стул. Так мы и сидели друг против друга, молча, не поднимая глаз, бог весть сколько времени. Только изредка я чувствовал, как дрожит стол, в который он вцепился, потому что столу передавалась дрожь его тела. Потом я слышу (опять прошла целая вечность) сухой звук, какой бывает, если ударить по твердому твердым. Его склоненная голова падает на стол. Я ощущаю страдания этого человека, и желание утешить его беспредельно ширится во мне.

— Господин Кекешфальва,— склоняюсь я над ним,— доверьтесь мне... мы все обдумаем... спокойно обдумаем... Повторяю, я целиком в вашем распоряжении, я сделаю все, что в моей власти... Вот только то... на что вы мне намекаете... это невозможно... невозможно... совершенно невозможно.

Он слабо вздрогнул, как уже оглушенный зверь, которого приканчивают последним ударом. Влажные от возбуждения губы шевельнулись, но я не дал ему возразить.

— Нет, нет, это невозможно, господин Кекешфальва, не будем больше об этом говорить... Вы только подумайте сами... ну что я такое... ничтожный лейтенант, который живет только на свое жалованье да еще на небольшую субсидию от родных... с такими ограниченными средствами нельзя как следует устроить свое будущее, на них не проживешь, а тем более вдвоем... (Он хотел перебить меня.) Я знаю наперед, что вы скажете, господин фон Кекешфальва. О деньгах нечего говорить, думаете вы, с деньгами все будет в порядке. Да, я знаю, что вы богаты... что я мог бы получить от вас все... Но именно потому, что вы так богаты, а я ничто и никто... именно потому это невозможно. Ведь любой подумает: он поступил так из-за денег... и всю жизнь я сам... я да и Эдит тоже, уж поверьте мне... всю жизнь ее будет терзать подозрение, что я женился на ней только ради денег и не посчитался... не посчитался с особыми обстоятельствами. Поверьте мне, господин фон Кекешфальва,

это невозможно... при всем моем искреннем уважении к вашей дочери... при всем... при всем хорошем отношении... Словом, вы должны меня понять.

Старик не двигается. Поначалу мне кажется, что он вообще не понял моих слов. Потом его поникшее тело шевельнулось. Он хватается обеими руками за край стола; я догадываюсь, что он хочет поднять непослушное тело, хочет встать, но это ему не удается, силы изменяют ему. Наконец он встает, дрожа от напряжения, темная фигура в темной комнате, зрачки застывшие, словно черное стекло. Потом каким-то чужим, зловеще спокойным голосом, словно его собственный, человеческий голос умер в нем, он произносит:

— Ну, тогда... тогда все кончено.

Страшный, невыносимый голос, невыносимая, полная отрешенность. Взгляд по-прежнему устремлен в пустоту, а рука ощупью отыскивает на столе очки. Отыскивает, но не подносит их к застывшим глазам — к чему видеть? к чему жить? — и неловко сует в карман. Синеватые пальцы, в которых Кондор увидел смерть, снова бегают по столу и наконец нащупывают на самом краю черную смятую шляпу. Он оборачивается, чтобы уйти, и бормочет, не глядя на меня:

— Простите за беспокойство.

Шляпа надета косо, ноги плохо повинуются ему, они шаркают и заплетаются. Как лунатик, бредет он к дверям. Потом, словно вспомнив что-то, снимает шляпу, кланяется и повторяет:

— Простите за беспокойство.

Он мне кланяется, старый, надломленный человек, и этот жест вежливости в минуту такого потрясения добивает меня. Я вдруг снова чувствую, как горячая волна захлестывает меня, поднимается к глазам, и я становлюсь слабым и податливым: сострадание — уже в который раз — побеждает меня. Не могу я отпустить его ни с чем, старика, который пришел предложить мне свою дочь, единственное, что у него есть на земле, не могу отдать его во власть отчаяния и смерти. Не могу лишить его жизни. Я должен ему сказать что-то утешающее, успокаивающее, целительное. И я бросаюсь за ним.

— Господин фон Кекешфальва! Ради бога, не поймите меня превратно... Нельзя вам уйти просто так и ска-

зять ей... это было бы ужасно для нее и... и не соответствовало бы действительности.

Волнение мое все растет. Я замечаю, что он меня совсем не слушает. Соляной столб отчаяния — вот что стоит передо мной, тень в тени, живое воплощение смерти. Меня одолевает желание утешить его.

— Да, это не соответствовало бы действительности, клянусь вам!.. И для меня нет ничего ужаснее, чем обидеть вашу дочь... обидеть Эдит... или внушить ей мысль... что я неискренне относился к ней... а ведь никто, никто не относился к ней сердечнее, чем я... Это просто бредовая идея... вообразить, будто она мне безразлична... напротив... да, да, напротив... я просто считал, что бессмысленно сейчас... сегодня принимать решение... сегодня, когда важно только одно... чтобы она берегла себя... чтобы она выздоровела по-настоящему!

Он вдруг повернулся ко мне. Зрачки, совсем недавно мертвые и неподвижные, сверкнули в темноте.

— А потом... когда выздоровеет?..

Я испугался. Внутренним чутьем я угадал опасность. Если я сейчас дам какое-нибудь обещание, я буду связан по рукам и ногам. Но тут же спохватываюсь: то, на что она надеется, обман. Ей не выздороветь вот так, сразу. Пройдут годы и годы; не надо заглядывать далеко вперед, говорил Кондор, лишь бы она сейчас успокоилась и утешилась. Почему бы не подать ей надежду, почему бы не осчастливить ее хоть ненадолго? И я говорю:

— Ну, когда она выздоровеет, тогда, конечно, тогда... я сам бы пришел к вам.

Он не сводит с меня глаз. Дрожь пронизывает его тело, мне кажется, будто что-то невидимо подталкивает его изнутри.

— Можно... можно... я ей это скажу?

И опять я чую опасность. Но у меня больше нет сил сопротивляться его молящему взгляду. Я уверенно отвечаю: — Да, скажите ей! — И протягиваю ему руку.

Его глаза сверкают, увеличиваются, устремляются мне навстречу. Такой взгляд, наверное, был у Лазаря, когда тот, еще ничего не понимая, восстал из гроба и

снова увидел небо и белый свет. Рука Кекешфальвы в моей, она дрожит все сильнее и сильнее. Вдруг голова его начинает склоняться, ниже, ниже... Я вовремя вспоминаю, как он тогда склонился ко мне и поцеловал мою руку. Я вырываю у него свою руку, а сам все твержу:

— Скажите ей, ради бога, скажите ей, пусть не тревожится. Сейчас важно одно! Выздороветь, как можно скорее выздороветь... Для себя, для всех нас!

— Да, да,— повторяет он в экстазе,— выздороветь, как можно скорее выздороветь! Теперь она уедет не мешкая и выздоровеет... из-за вас и ради вас. Я знал это с первой минуты, сам бог послал мне вас... Нет, нет, я не буду вас благодарить... бог вас вознаградит... А теперь я уйду... нет, нет, не провожайте меня, не беспокойтесь, я уйду.

И другой, не знакомой мне, легкой, упругой походкой он пошел — нет, побежал к дверям, черные полы его сюртука развевались, как крылья. Дверь захлопнулась со звонким, чуть ли не веселым стуком. А я остался один в пустой комнате, немного растерянный, как всегда, когда сделаешь решающий шаг, еще не обдумав всего. И только через час я до конца понял, какую ответственность на меня налагает то, что я обещал в порыве малодушного сострадания, я понял это тогда, когда мой денщик, робко постучав в дверь, вручил мне письмо на голубой бумаге, так хорошо мне знакомой.

«Послезавтра мы уезжаем. Так я обещала папе. Простите мне все, что я вытворяла в последние дни, но я с ума сходила от страха при мысли, что я вам в тягость. Теперь-то я знаю, зачем и для кого я должна выздороветь. Теперь я больше ничего не боюсь. Приходите завтра пораньше, если можно. Никогда еще я не ждала вас с таким нетерпением. Всегда ваша Э.»

«Всегда»! Невольный трепет охватил меня при виде этого слова, которое безвозвратно, навеки связывает человека. Но пути назад уже не было. Еще раз сострадание пересилило мою волю. Я себя отдал. Я больше не принадлежал себе.

«Возьми себя в руки,— сказал я себе.— Твое по-луобещание, которое навсегда останется невыполненным, последнее, чего они могли от тебя добиться. Еще день, ну, два дня ты должен терпеливо сносить эту нелепую любовь; потом они уедут—и ты спасен». Но чем ближе время подвигалось к вечеру, тем неспокойнее становилось у меня на душе, тем больше мучила меня мысль предстать с ложью на сердце перед ее нежным и доверчивым взглядом. Напрасно старался я весело болтать с приятелями: я ежеминутно ощущал в мозгу какую-то пульсацию, подергивание каждого нерва и внезапную сухость в горле, словно приглушенный огонь тлел у меня глубоко внутри. Совершенно машинально я заказал себе коньяку и немедленно проглотил его. Но это не помогло, сухость по-прежнему сводила горло. Я повторил заказ, но только после третьей порции понял, зачем пью: глотая коньяк, я хотел набраться смелости, чтобы там, при свидании, не струсить и не раскиснуть. Я хотел заранее усыпить какое-то чувство—то ли страх, то ли стыд, что-то очень хорошее или что-то очень дурное. Да, да, секрет был именно в этом — недаром же солдатам перед атакой выдают двойную порцию водки,— хотел оглушить и одурманить себя, чтобы не столь остро ощущать то сомнительное и, быть может, опасное, что ожидает меня. Но после первых трех стаканов у меня отяжелели ноги, а в голове зашумело и зажужжало, как бормашина, перед тем как сверло больно вонзится в зуб. Нет, совсем не с ясной головой, не уверенно и уж никак не радостно, медленно шагал я по бесконечно длинному шоссе — а может, оно просто показалось мне таким бесконечным? — к страшному дому, чувствуя, что у меня замирает сердце.

Но все оказалось проще, чем я думал. Иное, лучшее забвение, иное, более тонкое и чистое опьянение ожидало меня, нежели то, которое я пытался найти во хмелю. Ибо тщеславие тоже одурманивает, благодарность тоже оглушает, нежность тоже кружит голову. В дверях, ликуя, меня встретил старый славный Йозеф.

— Это вы, господин лейтенант! — Он вскрикнул, от волнения переступил с ноги на ногу и украдкой взглянул на меня так, как глядят в церкви — иначе не ска-

жешь — на икону.— Входите, входите, господин лейтенант! Пожалуйста в гостиную. Фрейлейн Эдит ожидает вас с самого утра,— прошептал он, стыдливо пытаясь умерить свой восторг.

Я удивлялся, я задавал себе вопрос: почему этот посторонний человек, этот старый лакей смотрит на меня с такой радостью? За что он так меня любит? Неужели люди становятся добрее и счастливее при виде чужой доброты и чужого сострадания? Значит, прав Кондор, значит, тот, кто помог хотя бы одному-единственному человеку, жил не напрасно, значит, и впрямь стоит отдавать людям всего себя, все свои силы — до последнего? Тогда оправдана каждая жертва; и даже ложь, если она приносит счастье другим, важнее любой правды. Я пошел увереннее; совсем по-иному шагает человек, когда он знает, что несет с собой радость.

Но вот навстречу мне выбежала Илона, и она тоже сияла от радости, и взгляд ее ласкал меня, как и ее нежные смуглые руки. Еще никогда она не пожимала мою руку так сердечно и так тепло.

— Спасибо,— сказала она, и чудилось, будто ее голос доносится до меня сквозь теплый, летний дождь.— Вы даже не представляете себе, как много вы сделали для нашей девочки. Вы спасли ее! Бог свидетель, вы спасли ее! Пойдемте скорей, нет слов передать, как она ждет вас.

Но тут тихо скрипнула другая дверь; мне и раньше казалось, будто за ней кто-то стоит и прислушивается. Кекешфальва вошел в комнату, и в глазах его были не смерть и не страх, а кроткая радость.

— Как хорошо, что вы пришли. Вы себе даже не представляете, до чего она изменилась. За все годы, с тех самых пор как стряслось это несчастье, я еще ни разу не видел ее такой веселой, такой счастливой. Свершилось чудо, поистине чудо! Боже, как много вы сделали для нее и для всех нас!

Старик не мог договорить. Он глотнул, всхлипнул, но тут же устыдился своего волнения, которое мало-помалу охватывало и меня самого. Ибо кто остался бы равнодушным при виде такой безграничной благодарности? Я никогда не страдал особым тщеславием, никогда не принадлежал к числу тех, кто восторгается самим собой

или превозносит себя, и по сей день я не верю ни в свою доброту, ни в свои силы, но от этих восторгов, безудержных, неумеренных, меня невольно заливала горячая волна уверенности в себе, словно благодатный ветер унес все страхи, всю трусость. Почему и не позволить любить себя, ни о чем не заботясь, если это приносит людям счастье? Теперь мне уже не терпелось как можно скорей войти в ту комнату, которую я третьего дня покинул в полном отчаянии.

Но что это, в кресле сидит девушка, которую я едва узнаю: такой у нее веселый взгляд, такой свет исходит от нее. В шелковом платье нежно-голубого цвета она кажется еще воздушнее — девочка, почти ребенок. В каштановых волосах мерцают — уж не мирты ли это? — какие-то белые цветы, а вокруг кресла — кто ей столько подарил? — корзины, корзины с цветами, море цветов. Наверное, она уже давно знала, что я пришел, наверное, она слышала и веселые приветствия и мои приближающиеся шаги. Но сегодня я не встретил беспокойно-испытующего, недоверчивого взгляда из-под полуопущенных ресниц. Она сидела выпрямившись, легко и непринужденно; в этот раз я даже забыл, что плед скрывает увечье и что глубокое кресло для нее темница, — совсем позабыл, ибо не переставал удивляться, глядя на это незнакомое существо, чья радость стала еще более детской, а красота более женственной. Она заметила мое удивление и приняла его как заслуженный дар. Прежним, беззаботным приятельским тоном она обратилась ко мне:

— Ну, наконец-то! Садитесь поближе. И ничего не говорите. Мне нужно сказать вам что-то очень важное.

Я спокойно сел. Разве можно оставаться смущенным и растерянным, когда с вами говорят так по-дружески, так просто?

— Уделите мне всего одну минуту. Вы ведь не станете меня перебивать, верно? — Я почувствовал, что она взвесила и продумала каждое слово. — Я знаю все, что вы говорили отцу. Я знаю, что вы хотите для меня сделать. А теперь поверьте мне: я тоже обещаю, тоже даю вам слово, что никогда — вы слышите? — никогда не спрошу, почему вы так поступили, ради отца или ради меня самой. Из сострадания или... нет, только не перебивайте, я не хочу этого знать, не хочу... не хочу боль-

ше ломать себе голову, мучить себя, мучить других. Довольно с меня и того, что я вновь живу благодаря вам и буду жить... что я только вчера начала жить. Когда я выздоровею, я буду знать, кому я этим обязана. Вам. Вам одному.

Помедлив, она продолжала:

— А теперь выслушайте, что обещаю я. Этой ночью я все хорошенько обдумала. Впервые в жизни я рассуждала трезво, как здоровая, а не так нетерпеливо и взволнованно, как раньше, когда я еще не была уверена в своем выздоровлении. Какое счастье — только теперь я это поняла — думать без страха, какое счастье — ощущать все так, как ощущает здоровый человек, — и вам, вам одному я обязана этим. Я все вытерплю, чего только врачи не потребуют от меня, все, лишь бы стать человеком, а не быть таким убожеством. Я не сдамся, не отступлю, ибо теперь я знаю, что поставлено на карту. Всеми фибрами моей души, каждой каплей моей крови я буду стремиться к выздоровлению, и я думаю, что если человек желает чего-нибудь так страстно, он добьется своего, бог поможет ему. И все это я делаю ради вас, вернее, для того, чтобы не принимать от вас жертвы. Но если ничего не выйдет... нет, нет, только не перебивайте... если ничего не выйдет или выйдет, но не совсем, если я не совсем выздоровею, не смогу двигаться так, как другие, тогда вам нечего будет бояться! Тогда я сама все улажу. Я знаю, бывают такие жертвы, которые нельзя принимать, и уж меньше всего от любимого человека. Итак, если меня подведет это лечение, на которое я возлагаю все надежды — все! — тогда вы больше меня не увидите и ничего обо мне не услышите. Я не буду вам в тягость, клянусь вам! Я больше не хочу никому быть в тягость, а уж вам и подавно. Ну вот, а теперь все. И больше ни слова. Нам осталось быть вместе всего несколько часов, и эти немногие часы я хочу быть счастливой.

Другой голос — голос взрослого человека. Другие глаза — не беспокойные глаза ребенка, не зовущие, умоляющие глаза больного. И другой любовью — я сразу почувствовал это — любила она меня сегодня; не тайной любовью первых дней, иступленной, отчаянной. Да и я смотрел на нее совсем по-иному, сострадание к ее горю не подавляло меня, как прежде, во мне уже не было



ни настороженности, ни страха, одна только сердечность и ясность. Сам того не понимая, я впервые ощутил настоящую нежность к этой кроткой девушке, озаренной отблеском грядущего счастья. Не замечая этого, не сознавая даже своего желания, я подсел к ней поближе, чтобы взять ее за руку, и она не ответила мне, как тогда, страстным трепетом. Нет, тихо и покорно лежало ее узкое запястье в моей руке, и я с радостью чувствовал, как мирно постукивает молоточек ее пульса.

Мы непринужденно заговорили о предстоящей поездке, о всяких будничных мелочах, о городских новостях и о казарме. Я не мог понять, зачем я терзался, если все оказалось так легко и просто: ты приходишь в гости к девушке, подсаживаешься к ней и берешь ее руку в свою. И нечего прятать и скрывать: видно, что отношения между обоими самые сердечные; и незачем обороняться против нежности, и можно без стыда и с искренней признательностью принимать внушенные тобой чувства.

Потом мы сидели за столом. Серебряные канделябры мерцали в зареве свечей, цветы вырывались из ваз, словно пестрые языки пламени, свет хрустальной люстры отражался в зеркалах, а вокруг, словно раковина, хранящая жемчужину, молчал большой дом. Порой, когда сквозь распахнутые окна доносился аромат сада, я, казалось, слышал, как вздыхают деревья, как ветер страстно ласкает траву. Все было прекраснее, чем обычно. Старик сидел, словно пастор, торжественно выпрямившись; никогда Эдит и Илона не казались такими молодыми и веселыми; никогда не пылала так ярко тонкая кожа фруктов. Мы ели, пили и радовались обретенному покою. Беззаботной птицей порхал между нами смех от одного к другому; игривой волной плескалось веселье. Лишь когда лакей налил шампанское и я, подняв бокал, взглянул на Эдит—«За ваше здоровье!»—все вдруг стихли.

— Да, выздороветь!—Она вздохнула и доверчиво посмотрела на меня, словно мое желание было властно над жизнью и смертью.— Выздороветь для тебя.

— Дай бог! — Отец вскочил, он не мог далее сдерживаться. На глазах его выступили слезы, он снял очки и старательно протер их. Я чувствовал, что ему мучительно хочется дотронуться до меня.

Мне тоже захотелось выразить ему свою благодарность: я подошел и обнял старика; его борода коснулась моей щеки. Когда он высвободился из моих объятий, я увидел, что Эдит смотрит на меня. Ее губы чуть заметно дрожали. Эти полуоткрытые губы жаждали моих. Я нагнулся и поцеловал ее.

Так состоялась помолвка. Не по зрелом размышлении поцеловал я любящую, сердечный порыв овладел мною. Я сам не знал, как это произошло, но не раскаивался в скромной, чистой ласке. Потому что Эдит не прижалась ко мне, как в прошлый раз, и не пыталась удержать меня, охваченная счастьем. Смиренно, как великий дар, приняли ее губы прикосновение моих. Все молчали. Только в углу слышался какой-то приглушенный звук. Сперва мне показалось, что кто-то смущенно откашлялся, но, подняв глаза, я увидел, что это плачет Йозеф. Он поставил бутылку и отвернулся к стене, чтобы мы не заметили, как он растроган и взволнован; при виде этих неожиданных слез что-то теплое подступило к моим глазам. Тут я почувствовал легкое прикосновение: Эдит тронула меня за руку.

— Дай мне ее на минутку.

Я не понял, чего она хочет. Вдруг что-то гладкое и холодное скользнуло на мой безымянный палец. Это было кольцо.

— Чтобы ты думал обо мне, когда я уеду,— объяснила она, словно извиняясь.

Я даже не поглядел на кольцо. Я поднес ее руку к губам и поцеловал.

**В** тот вечер я был бог. Я сотворил мир и увидел, что в нем все хорошо и справедливо. Я сотворил человека, лоб его был чист, как утро, а в глазах радугой светилось счастье. Я покрыл столы изобилием и богатством, я взрастил плоды, даровал еду и питье. Свидетели щедрот моих громоздились передо мной, словно жертвы на алтаре, они покоились в блестящих сосудах и больших корзинах, сверкало вино, пестрели фрукты, заманчиво сладостные и нежные. Я зажег свет в покоях и свет в душе человеческой. Люстра солнцем зажгла стаканы, камчатная скатерть белела, как снег,— и я с гордостью ощущал, что люди полюбили свет, источником которого

был я; и я принимал их любовь и опьянялся ею. Они угощали меня вином — и я пил до дна, потчевали плодами и разными кушаньями — и дары их веселили мое сердце. Они дарили меня благодарностью и преклонением — и я принимал их восторги, как принимал еду и питье, как принимал все их жертвоприношения.

В тот вечер я был бог. Но я не взирал равнодушно с высокого трона на дело рук своих; доброжелательный и ласковый, сидел я посреди своих творений и сквозь серебряную дымку облаков смутно различал их лица. По левую руку сидел старец; великий свет доброты, что струился от меня, разгладил морщины на его лбу и прогнал тени, омрачавшие его глаза; я избавил его от смерти, он говорил голосом воскресшего и с благодарностью приобщался к великому чуду, свершенному над ним. По правую руку сидела девушка, когда-то она была больной, обреченной на неподвижность, истерзанной мыслями о недуге. Теперь свет исцеления озарял ее. Дыхание моих губ унесло ее из ада страхов в райские кущи любви, и кольцо ее, как утренняя звезда, сверкало на моем пальце. А против нее сидела другая девушка и тоже светилась благодарной улыбкой, ибо я придал красоту ее лицу и благоухающему сумраку ее волос над светлым лбом. И всех я одарил и возвысил чудом своего присутствия, и у всех мерцал в глазах зажженный мною свет, и, когда они смотрели друг на друга, мое отражение озаряло блеском их взгляд. И когда они разговаривали друг с другом — Я, и только Я, был смыслом их слов; и, даже когда мы молчали, их мысли были полны мною. Ибо Я, и только Я, был началом, основой и причиной их счастья; восхваляя друг друга, они хвалили меня, а возлюбив друг друга, они любили меня, творца их любви. А я сидел посреди, радуясь делу рук своих, и чувствовал, как хорошо быть добрым с созданиями своими. И, полный великодушия, я вместе с вином и едой поглощал их любовь и их счастье.

В тот вечер я был бог. Я усмирил бурные воды тревоги и прогнал тьму из сердец. Но и свой страх я тоже прогнал, и моя душа обрела покой, как никогда в жизни. День начал клониться к вечеру, и я, вставая из-за стола, почувствовал тихую грусть, извечную грусть бога на седьмой день творения, когда дело уже сделано,—

и моя грусть тотчас отразилась на их помрачневших лицах. Настал миг прощания. Все мы были страшно взволнованы, словно сознавали, что подошло к концу нечто единственное и неповторимое, редкие блаженные часы, которые никогда не возвращаются, как не возвращаются облака. Мне самому — впервые за все время — стало страшно покинуть девушку. Как влюбленный, я все оттягивал и оттягивал минуту разлуки с той, которая меня любила. Как было бы хорошо, подумалось мне, еще немножко посидеть возле ее постели, поглаживая нежную робкую руку и глядя, как свет счастья снова и снова озаряет ее лицо улыбкой. Но было уже поздно. Я торопливо обнял ее и поцеловал в губы. Я почувствовал, как она задержала дыхание, словно желая навеки остановить этот миг. Потом я пошел к двери, и отец провожал меня. Последний взгляд, последние слова прощания, и вот уже я покидаю этот дом и иду, свободный и уверенный, как идет человек после плодотворного труда, после свершенного подвига.

**Я** прошел в переднюю, лакей уже протягивал мне фуражку и саблю. Ах, если бы я немного поторопился! Если б не был таким чутким! Но старик никак не мог расстаться со мной. Он еще раз задержал меня, еще раз погладил мою руку, повторяя, как он мне благодарен и как много я для него сделал. Теперь он может спокойно умереть: его дитя выздоровеет, и все будет хорошо — благодаря мне, мне одному. Мне было трудно сносить эти ласки и эту лесть, да еще при лакее, который терпеливо ждал, низко склонив голову. Уже не раз я пожимал на прощание старику руку, а он начинал все сначала. И я, раб собственного сострадания, я оставался, я не уходил. У меня не хватило сил вырваться, хотя какой-то внутренний голос неустанно твердил мне: «Довольно, довольно, даже слишком».

Вдруг сквозь закрытую дверь донесся непонятный шум. Я прислушался. Судя по всему, в соседней комнате разгорался спор — оттуда отчетливо слышались громкие, возбужденные голоса; я с ужасом узнал голос Эдит и Илоны. Первая чего-то требовала, вторая ее отговаривала. «Ну я прошу тебя, — услышал я мольбу Илоны, —

не надо!» И резкий ответ Эдит: «Нет, оставь меня, оставь». Я прислушивался со все возрастающим беспокойством, хотя старик болтал без умолку. Что происходит там, за закрытой дверью? Почему нарушен мир, созданный мною, божественный мир этого дня? Чего так настойчиво хочет Эдит, чему пытается помешать Илона? И вдруг невыносимый стук — тук-тук, ток-ток, — стучали костыли. Господи, неужели она встала и пошла за мной сама, без помощи Йозефа? Но все ближе сухой деревянный стук: тук... тук... влево... ток... ток... вправо... влево, вправо, влево, вправо... Я невольно представил себе, как раскачивается на костылях ее тело, наверное, она уже совсем близко. Опять стук, удар — словно что-то тяжелое навалилось на дверь. Тяжелое, затрудненное дыхание, скрип внезапно распахнутой двери...

Страшное зрелище! В рамке дверей появляется Эдит, обессиленная от напряжения. Лево́й рукой она цепляется за дверной косяк, в правой зажала оба костыля. Позади — растерянное лицо Илоны, которая пытается то ли помочь ей, то ли удержать ее. Но глаза Эдит сверкают гневом и нетерпением.

— Оставь меня! Слышишь! Кому говорят! — кричит она на докучливую помощницу. — Мне никто не нужен. Сама справлюсь.

И тут, прежде чем Кекешфальва и лакей успевают опомниться, происходит невероятное. Больная девушка закусывает от чудовищного напряжения губы и, устремив на меня горящие, широко раскрытые глаза, отталкивается, словно пловец от берега, от дверного косяка, который был ее единственной опорой, — отталкивается, чтобы свободно, без костылей, идти ко мне. В момент толчка Эдит покачнулась, словно падая в пустоту комнаты, но тут же взметнула вверх обе руки, левую, свободную, и правую, в которой она держит костыли, чтобы обрести утраченное равновесие. Потом еще сильнее закусывает губу, выбрасывает вперед одну ногу, подтаскивает к ней другую. Эти судорожные движения вправо и влево напоминают подергивание марионетки. И все же она идет! Идет! Она шла, устремив на меня широко раскрытые глаза, шла, словно невидимая нить подтягивала ее, шла с искаженным лицом и закушенной губой. Она шла, раскачиваясь, словно лодка в бурю, но все-

таки шла, впервые шла без костылей, без посторонней помощи — усилие воли каким-то чудом вдохнуло жизнь в ее мертвые ноги. Ни один врач так и не сумел мне потом объяснить, как смогла скованная параличом девушка один-единственный раз вырвать свои бессильные ноги из мертвого оцепенения, а я не берусь описать этого, потому что все мы, словно замороженные, глядели в ее горящие глаза; даже Илона забыла, что надо охранять Эдит, и не пошла за ней. Словно душевная буря пронесла Эдит всего несколько шагов, она, собственно, и не шла даже, а летела над землей, ощупью, неуверенно, как летит птица с подрезанными крыльями. Одна только воля — демон нашего сердца — гнала ее все дальше и дальше. Вот она уже совсем рядом, вот в предчувствии близкой победы она страстно простирает ко мне руки, помогавшие ей до сих пор сохранять равновесие; напряжение, искажающее ее лицо, готово смениться неудержимой улыбкой счастья. Она совершила, она совершила чудо, осталось всего два шага... нет, всего один, последний шаг... вот я уже чувствую дыхание ее улыбающегося рта... И тут происходит ужасное! Пospешив протянуть ко мне руки, она делает слишком резкое движение и теряет равновесие. Словно подкошенные, мгновенногибаются ее колени. С грохотом падает она к моим ногам, костыли гремят по паркету. И тут я в ужасе невольно отшатываюсь, вместо того чтобы броситься к ней на помощь.

Почти одновременно рядом с нею оказываются Кекеш-фальва, Илона и Йозеф. Они поднимают стонущую Эдит и уносят ее, а я все еще не смею поднять глаз. Я только слышу приглушенное всхлипывание — злые слезы бессильного гнева, слышу шаркающие шаги, уносящие свою ношу. В одну-единственную секунду развеялся туман восторга, целый вечер застилавший мне взор. И при мгновенной вспышке прозрения я с ужасающей ясностью понял все: никогда, никогда несчастная не исцелится до конца. Чудо, которого все ждали от меня, не свершилось. Я больше не был богом, я снова стал жалким, маленьким человечком, чья слабость оказалась страшней подлости, чье сострадание оказалось разрушительной силой. С ужасающей ясностью я сознавал в глубине души свой долг: сейчас или никогда

ты должен доказать ей свою верность, сейчас или никогда можешь ты ей помочь, броситься следом за остальными, сесть возле ее постели, успокоить ее, солгать ей, что она великолепно ходит и что она обязательно выздоровеет. Но у меня уже не было сил на такой отчаянный обман. Страх охватил меня, жуткий страх очутиться перед ее глазами, полными иступленной мольбы и безудержного желания, страх перед нетерпением этого мятежного сердца, страх перед чужим несчастьем. Я схватил саблю и фуражку. В третий и последний раз я, как преступник, бежал из этого дома.

**В**оздуху, скорее воздуху! Я задыхаюсь. То ли ночная духота виновата, то ли вино — я много выпил. Рубашка мерзко липнет к телу, я расстегиваю воротник, хочется сбросить шинель, так давит она на плечи. Воздуху, один глоток воздуху! Кажется, будто кровь сейчас выступит изо всех пор, — она страшно горяча, она переполняет меня всего, а в ушах неумолчный шум — тук-тук, ток-ток. Страшный ли это стук ее костылей, или просто стучит в висках? И почему я так бегу? Что случилось? Надо разобраться... Да что, собственно говоря, случилось? Спокойно, спокойно, не слушать никаких тук-тук. Итак, начнем по порядку: я обручен... Нет, меня обручили... я сам не хотел, мне это никогда не приходило в голову... и вот теперь я обручен, теперь я связан... хотя нет, не так... я ведь сказал старику: только если она выздоровеет... но она никогда не выздоровеет. А мое обещание считается действительным... да нет, оно вообще не считается! Ничего не случилось, абсолютно ничего. Но зачем же я поцеловал ее... да еще в губы?.. Я ведь не хотел... Все это сострадание, проклятое сострадание! Сколько раз они ловили меня на эту удочку... и вот я попался. Помолвлен по всем правилам, при двух свидетелях: отец был, и та, другая, и потом еще лакей... А я не хочу, не хочу, не хочу!.. Как же быть?.. Спокойно, только спокойно!.. Опять злое тук... тук... невыносимое тук-тук. Теперь я вечно буду слышать этот звук, и вечно она будет гнаться за мной на своих костылях... Свершилось, свершилось непоправимое! Я обманул их, они обманули меня, я обручен, меня обручили...

Но что это? Почему так расшумелись деревья? Что делается со звездами? Почему у меня так рябит в глазах? Должно быть, у меня просто глаза не в порядке. А как сжимает виски! Ох, эта духота! Хоть бы охладить чем-нибудь лоб, тогда можно будет соображать. Или выпить чего-нибудь, чтобы промочить горло и смыть всю горечь... Здесь, кажется, есть где-то колодезь, я ведь часто проезжаю мимо. Хотя нет, колодезь давно уже остался позади. Я ведь бежал, как сумасшедший, вот почему у меня так ужасно стучит в висках, стучит и стучит! Хоть бы чего-нибудь выпить, тогда я, может, приду в себя. Наконец-то там, где начинаются первые низкие домишки, из-за полуспушенной шторы мигнула лампа. Верно, верно, теперь я вспоминаю: это маленький пригородный кабачок, куда заходят по утрам извозчики, чтобы согреться глотком вина. Спрошу стакан воды или чего-нибудь острого, горького, чтобы избавиться от противного ощущения слизи, залепившей мне горло. Только бы выпить чего-нибудь, все равно чего! С нетерпением умирающего от жажды я, не раздумывая, толкнул дверь.

Запах плохого табака из полутемного подвала бьет в нос. В глубине стойка, на ней бутылка с дешевой водкой, у окна стол, за ним рабочие играют в карты. Облокотившись на стойку, спиной ко мне, стоит улан и заигрывает с хозяйкой. Почувствовав сквозняк, он оглядывается и от страха разевает рот, потом проворно вытягивается по стойке «смирно» и щелкает каблуками. Чего он так испугался? Ах да, должно быть, он принял меня за патруль, а ему, вероятно, уже давно пора быть в казарме. Хозяйка тоже с беспокойством глядит на меня, рабочие прекращают игру. Что их так поразило? И тут, с большим опозданием, я догадываюсь: да это просто один из кабачков, где бывают только нижние чины. Офицерам сюда ходить не полагается. Я машинально поворачиваю обратно.

Но ко мне уже подлетает хозяйка и почтительно спрашивает, чего мне угодно. Я чувствую, что должен как-то объяснить, почему я сюда попал.

— Мне что-то нездоровится,— говорю я.— Нельзя ли получить содовой и стакан сливовицы?

— Пожалуйста, пожалуйста.

Хозяйка исчезает. Я собирался осушить оба стакана



прямо у стойки, но тут керосиновая лампа посреди комнаты начинает приплясывать, бутылки на полках беззвучно подпрыгивают, а дощатый пол уходит из-под ног и раскачивается так, что я едва удерживаюсь на ногах. «Надо присесть», — говорю я себе и, собрав последние силы, добираюсь до пустого столика и падаю на стул; мне приносят содовую, и я залпом выпиваю ее. Как холодно! Так приятно на миг избавиться от тошнотворного вкуса во рту. Теперь поскорей глотнуть крепкой водки и встать. Но нет, не выходит, ноги словно приросли к полу, а в голове стоит глухой гул. Заказываю еще стакан сливовицы. Потом закурить и скорее прочь!

Я зажигаю сигарету. Посидеть минутку, уронив голову на руки, посидеть и обдумать, обдумать все по порядку. Итак, я обручен... меня обручили... но это действительно только в том случае... Никаких уверток, это действительно во всех случаях, во всех, во всех... Я поцеловал ее в губы, по доброй воле поцеловал. Лишь для того, чтобы ее успокоить; и потом, я знал, что ей никогда не выздороветь... вон как она рухнула... На таких не женятся, она ведь не настоящая женщина, она ведь... все равно, они меня не выпустят, нет, мне уже не видать свободы... Старик — джин, джин с грустным лицом порядочного человека и золотыми очками, — вот кто цепляется за меня... и его не стряхнешь... он повис на мне, ухватился за мое сострадание, за мое проклятое сострадание... Завтра они уже разрезвонят про это на весь город... и в газете напишут... и тогда уже не будет пути назад... Может, лучше прямо сейчас известить домашних, мать, отца, чтобы они узнали обо всем не от чужих людей или — еще того хуже — из газет. Объяснить, почему и при каких обстоятельствах состоялась помолвка, и что все откладывается на неопределенный срок, и что я совсем не собирался и только из сострадания впутался в эту историю... Сострадание, проклятое сострадание! И в полку тоже ничего не поймут, никто из товарищей не поймет. Как это сказал Штейнхюбель про Балинкай? «Уж если продаваться, так подороже...» Господи, чего они только не наговорят... а я ведь и сам толком не знаю, как я мог обручиться с этим... с этим искалеченным существом. А когда проведает тетя Дэзи? От нее легко не отделаешься, она шутить не любит. Ей не заморочишь голову рассказами о

титулах и замках. Она пороется в дворянском календаре и через день-другой будет знать совершенно точно, что Кекешфальву раньше звали Леммелем Каницем и что Эдит наполовину еврейка, — а для тети нет ничего страшней, чем породниться с евреями. Мать еще можно как-то уговорить, ее соблазнят деньги... миллионов шесть-семь, так он, кажется, сказал. А впрочем, плевать мне на его деньги, не собираюсь же я, в самом деле, жениться на ней, пусть даже за все сокровища мира. Я ведь сказал: если она выздоровеет, только тогда... но как им втолкуешь... у нас в полку и без того недолюбливают Кекешфальву, а в таких делах они чертовски шепетильны... Ну как же, честь полка, я ведь знаю. Они и Балинкаи до сих пор не простили. Смеялись над ним: он, мол, проданся этой старой голландской корове... А уж когда они увидят костыли! Нет, лучше совсем ничего не писать домой... незачем им знать заранее. Никому ничего не надо знать, не желаю я, чтобы все казино издевалось надо мной! Но как улизнуть от них? Может, стоит поехать в Голландию, к Балинкаи? Ну да, я ведь еще не отказался от его предложения, в любую минуту я могу выехать в Роттердам, а Кондор пусть расхлебывает всю кашу, он ее заварил, а не я... Пусть сам придумает, как поправить дело, раз во всем виноват... Лучше всего сразу поехать к нему и все выложить... сказать, что я просто не могу... Как она ужасно рухнула, словно мешок с отрубями!.. На таких не женятся... Я сейчас ему скажу, что с меня довольно... Вот возьму и поеду к Кондору не откладывая... Извозчик! Эй, извозчик! Куда? Флориангассе... Да, какой у него номер дома? Флориангассе, девяносто семь... и гони побыстрей, побыстрей... ты хорошо получишь на чай... ну, погоняй же... Вот мы и приехали, я узнаю невзрачный домишко, в котором он живет, узнаю и мерзкую, грязную лестницу. Хорошо, что лестница такая крутая... Сюда она не полезет со своими костылями, здесь я по крайней мере не услышу этого тук-тук... Но что такое?... У двери стоит все та же неопрятная служанка. Или она всегда тут торчит, эта неряха?

— Господин доктор дома?

— Нет их. Да вы заходите, они скоро будут.

Вот разния богемская! Хорошо, зайдем, сядем и будем ждать... Его всегда приходится ждать... Всегда он

где-то пропадает. Боже, а вдруг опять притащится слепая... уж это мне сегодня совсем ни к чему, нервы не выдержат: вечно соблюдать осторожность... Иисус Мария! Вот она и пожаловала... я слышу ее шаги уже совсем близко... Слава богу, это не она... ведь не может она ступать так уверенно. Нет, это кто-то другой идет сюда и что-то говорит. Стой, голос, кажется, знакомый... Что-о? Да как же так?.. Ведь это, ведь это... это голос тети Дэзи и... возможно ли?.. Как сюда попала тетя Белла, и моя мать, и мой брат, и невестка?.. Вздор, быть этого не может. Ведь я на Флориангассе и дожидаюсь Кондора, а они даже не подозревают о его существовании, как же они могли вдруг собраться у него? И все же это они, я узнаю их голоса, пронзительный голос тети Дэзи... Боже милостивый, куда бы мне скрыться?.. Они уже совсем близко... дверь распахнулась... сама собой, обе створки распахнулись, и... господи помилуй! — они все выстроились передо мной полукругом, как на семейной фотографии, и все смотрят прямо на меня... мама в черном платье из тафты с белой рюшкой, она была в этом платье на свадьбе у Фердинанда, а у тети Дэзи пышные буфы на рукавах, золотой лорнет над острым носиком, высокомерно вздернутым, — ах, этот противный нос, я его ненавижу, еще когда мне было четыре года! Брат во фраке... чего ради он так вырядился среди бела дня?.. И Франци тут же — моя невестка с толстым наглым лицом... Какая мерзость! Как они таращатся на меня... а тетя Белла злобно хихикает, словно в предвкушении чего-то... Все они выстроились полукругом, будто на приеме, и все ждут, ждут... чего же они ждут?

Вот оно:

— Поздравляю! — Мой братец торжественно выступает вперед с цилиндром в руке... сдается мне, эта дрянь говорит насмешливым тоном, и все повторяют: «Поздравляю... поздравляю... поздравляю...» — кланяются и приседают... Но как же это могло случиться... откуда они узнали... почему очутились здесь все вместе?.. Ведь тетя Дэзи не в ладах с Фердинандом... и потом — я никому ничего не говорил...

— Да, есть с чем поздравить, браво, браво!.. Семь миллионов — солидный куш, это ты сообразил... Семь

миллионов! Тут и семье что-нибудь перепадет,— говорят они все сразу и скалят зубы.

— Bravo, bravo! — прищелкивает языком тетя Белла.— Значит, Ферди сможет и дальше учиться. Превосходная партия!

— И к тому же они еще аристократы,— ухмыляется братец.

Но тут в общий хор вторгается пронзительный, словно у попугая, голос тети Дэзи:

— Ну, насчет аристократов —это мы еще посмотрим.

И тогда мама подходит поближе и робко шепчет мне на ухо:

— Может быть, ты представишь нам наконец свою невесту?

«Представишь»? Этого еще не хватало — чтобы они все увидели костыли, узнали, куда завело меня мое дурацкое сострадание... Нет уж, лучше я воздержусь... И потом, как, собственно, я могу ее представить, когда мы все находимся у Кондора, на Флориангассе, на третьем этаже? Да этой калеке в жизни не подняться на восемьдесят ступенек... Но отчего они вдруг обернулись, словно в соседней комнате что-то происходит? Да я и сам чувствую ветерок за спиной... Кто-то открыл дверь. Кого это угораздило прийти к самому концу?.. Да, кто-то идет... на лестнице шум, и треск, и скрип... что-то лезет, что-то карабкается, что-то взбирается наверх... тук-тук, ток-ток. Боже милостивый, неужели она поднимается сюда!.. Не станет же она меня позорить своими костылями... тогда мне ничего не останется, как провалиться сквозь землю перед этой шайкой насмешников... Ужасно, но это действительно она, это не может быть никто другой... тук-тук, ток-ток — я ведь хорошо знаю, что так стучит... Сейчас она заявится сюда... пожалуй, лучше всего запереть дверь, но мой брат уже снимает цилиндр и кланяется кому-то за моей спиной, в ту сторону, откуда доносится тук-тук... Кому же он кланяется? И почему так низко?.. И вдруг все раздражаются таким хохотом, что в окнах дребезжат стекла.

— Ах, вот оно что, вот оно что, во-от оно что, во-о-от оно что!

— Ха-ха-ха, во-о-от как выглядят семь миллионов, семь миллиончиков!..

— Ага, ага,— семь миллионов и костыли в прида-  
ное, ха-ха-ха!..

А-ах! Я вздрагиваю. Где я? Дико озираюсь по сто-  
ронам. Господи, да я спал, я уснул, уснул прямо в этом  
жалком кабаке. Испуганно осматриваюсь вокруг. Инте-  
ресно, заметили они или нет? Хозяйка равнодушно пе-  
ретирует стаканы, а улан как стоял, так и стоит, упорно  
показывая мне свою широкую спину. Может, они вообще  
не обращали на меня внимания? Я ведь дремал минуту,  
ну, две от силы — сплющенный окурок еще тлеет в пе-  
пельнице. Весь этот безумный сон занял одну минуту,  
быть может, две. Но за эти две минуты все одурманиваю-  
щее тепло испарилось, я с ледяной ясностью осознал,  
что произошло. А теперь прочь, прочь из этой дыры! Я  
со звоном швыряю деньги на стол, спешу к дверям, улан  
вытягивается передо мной в струнку. Я чувствую, како-  
ми удивленными взглядами провожают меня рабочие,  
оторвавшись от своих карт, и знаю: стоит мне закрыть  
дверь, и они начнут болтать про чудака в офицерском  
мундире. Отныне все будут хихикать за моей спиной —  
все, все, как один, и никто не пожалеет одуряченного  
собственной жалостью.

**К**уда же теперь? Только не домой! Только не оста-  
ваться одному в пустой комнате, наедине со страш-  
ными мыслями! Надо бы выпить еще чего-нибудь,  
холодного, острого. Во рту опять появился противный  
вкус желчи. Быть может, это горечь мыслей подступает  
к горлу? У меня одно желание — смыть, притупить, за-  
глушить это ужасное, омерзительное чувство! Скорее в  
город! Но что это? Кафе на площади Ратуши еще от-  
крыто. Сквозь щели между занавесками пробивается  
свет. Выпить, чего-нибудь выпить...

Уже с порога я вижу за нашим столом Ференца,  
Йожи, графа Штейнхубеля, полкового врача — вся  
компания в сборе. Но почему Йожи так оторопело  
установился на меня, почему он украдкой толкнул в бок  
соседа, почему они все так пристально смотрят на меня?  
Почему вдруг оборвался разговор? Ведь они только  
что громко спорили, перебивая друг друга, — я слышал  
шум еще за дверью; а теперь, едва заметив меня, все за-  
молчали и даже кажутся смущенными. Тут что-то есть.

Но раз уж они меня увидели, retirоваться поздно. И я направляюсь к столу, стараясь держаться как можно непринужденнее. На душе у меня скверно, я не испытываю ни малейшего желания развлекаться пустой болтовней. К тому же я чувствую, что атмосфера накалена. В другой раз кто-нибудь обязательно махнул бы мне рукой или рявкнул через весь зал: «Сервус!» — а сегодня все словно воды в рот набрали, сидят, как провинившиеся школьники, застигнутые врасплох. Придвигая стул, я в замешательстве говорю:

— Разрешите?

Йожи как-то странно смотрит на меня.

— Ну, что вы на это скажете? — кивает он товарищам. — Он просит разрешения! Видали, какие церемонии? А впрочем, Гофмиллеру сегодня к ним не привыкать!

Опять какая-нибудь злая шутка? Остальные ухмыляются или подавляют нехороший смешок. Да, тут что-то есть. Обычно, когда кто-нибудь из нас приходит после полуночи, сразу начинаются обстоятельные расспросы, одобренные циничными предположениями. Сегодня никто не заговаривает со мной, все будто стыдятся чего-то. Кажется, мой неожиданный приход огорошил их. Наконец Йожи откидывается на спинку стула и прищуривает левый глаз, словно прицеливается.

— Ну, тебя можно поздравить? — спрашивает он.

— Поздравить, с чем? — Я так оторопел, что в первый момент действительно не понял, о чем он говорит.

— Да вот аптекарь, он только что был здесь, говорил, что ему звонил слуга из усадьбы и сказал, будто ты... обручился с этой... ну... с этой барышней.

Все смотрят на меня. Одна, две, три, четыре, пять, шесть пар глаз впелись в мое лицо; я чувствую, если я признаюсь, на меня сразу обрушится поток шуток, издевок, иронических поздравлений. Нет, это невозможно!

— Чепуха, — бормочу я, чтобы выйти из положения.

Но уклончивый ответ не удовлетворяет их; добряк Ференц искренне заинтересован, он хлопает меня по плечу:

— Скажи, Тони, я не ошибаюсь? Это неправда?

Он желает мне добра, мой верный товарищ, но зачем он облегчает мне это «нет»? Меня охватывает беспредельное отвращение к их развязному любопытству,

жертвой которого я стал. Я понимаю, как абсурдно пытаться объяснить за этим столом то, в чем мое собственное сердце до сих пор не смогло разобраться до конца. И я, не подумав, раздраженно отвечаю:

— Ничего похожего.

Какую-то секунду все молчат, переглядываясь между собой удивленно и, как мне кажется, немного разочарованно. Я своим ответом явно испортил им все удовольствие. Но тут Ференц с гордым видом облакачивается на стол и громко восклицает:

— Ну! Что я говорил! Я знаю Гофмиллера, как собственные карманы! Я сразу сказал: «Это ложь, аптекарь врет!» Ну, ничего, завтра я покажу этой ходячей микстуре, как дурачить офицеров! Уж я с ним церемониться не буду, за парой оплеух дело не станет. Что он себе позволяет? Ни с того ни с сего позорит порядочного человека! Болтает грязную чушь о нашем товарище! Но я сразу сказал: «Гофмиллер этого не сделает! Он не таков, чтобы продаться за мешок с золотом!»

Ференц поворачивается ко мне и в порыве дружеских чувств с размаху хлопает меня по плечу.

— Честное слово, Тони, я чертовски рад, что это неправда. Это был бы позор для тебя и для всех нас, позор для всего полка!

— Да еще какой! — вставляет граф Штейнхюбель. — Дочка старого ростовщика, который в свое время разорил Ули Нойендорфа этой историей с векселями. Просто скандал, что им позволяют наживаться да еще покупать замки и дворянство. Только этого им не хватает — заполучить для своей бесценной доченьки кого-нибудь из нас! Вот мерзавец! Уж он-то знает, почему сворачивает в сторону, когда встречается со мною на улице.

Ференц распаляется все больше:

— Сукин сын этот аптекарь! Эх, взять бы его сейчас в оборот да вклеить пару горячих! Какая наглость! Возвести на человека такую грязную ложь только потому, что он несколько раз побывал у них в гостях!

Тут вмешивается барон Шенталер, аристократ, поджарый, как борзая.

— Знаешь, Гофмиллер, я не хотел тебе ничего говорить. *Chacun à son goût*. Но если ты спросишь меня, скажу откровенно: мне с самого начала не понравилось,

когда я услышал, что ты торчишь в этой усадьбе. Человек нашего круга должен подумать, кому он оказывает честь своим знакомством. Какими гешефтами занимается или занимался этот торгаш, я не знаю, да меня это и не касается. Я никому не припоминаю прошлого. Но человек нашего круга все же обязан быть осмотрительным — сам видишь, моментально начинаются идиотские сплетни. Не надо сближаться с людьми, которых плохо знаешь. Человек нашего круга должен всегда следить за чистотой своей репутации; грязь пристает так легко, что сам не заметишь. Ну, я рад, что ты не зашел слишком далеко.

Они говорят все разом, перебивая друг друга, поносят старика, выкапывают самые невероятные истории, издеваются над «пугалом на костылях» — его дочерью; то и дело кто-нибудь поворачивается ко мне, чтобы похвалить за то, что я не спутался с этим «сбродом». А я, я сижу молча и неподвижно; их отвратительные дифирамбы для меня пытка, больше всего мне сейчас хочется заорать на них: «Заткните ваши грязные глотки!» или крикнуть: «Я негодяй! Аптекарь сказал правду! Солгал не он, а я. Я, я лжец, жалкий, трусливый лжец!» Но я знаю: слишком поздно, теперь уже слишком поздно! Я уже ничего не могу объяснить, ни от чего не могу отказаться. И я сижу, стиснув зубами потухшую сигарету, и молча смотрю перед собой, с ужасом сознавая, что мое молчание — это подлое, злодейское предательство по отношению к той, неповинной, несчастной. О, если б можно было провалиться сквозь землю! Исчезнуть! Уничтожить себя! Я не знаю, куда спрятать глаза, куда девать руки — они дрожат, они выдадут меня. Я незаметно убираю их со стола и судорожно стискиваю пальцы, пытаюсь справиться с охватившим меня смятением.

Но когда мои пальцы сплетаются, я чувствую между ними какой-то посторонний твердый предмет. Я непроизвольно ощупываю его. Это кольцо, которое час назад Эдит, краснея, надела мне на палец! Обручальное кольцо, которое я принял! У меня уже нет сил сорвать это сверкающее свидетельство моей лжи. Я только быстрым, вороватым движением поворачиваю кольцо камнем внутрь, перед тем как подать товарищам на прощание руку.



**Н**а площадь перед ратушей лился холодный призрачный свет луны, резко очерчивая плиты мостовой и каждую линию, от подвалов до конька крыш. В моем мозгу царила такая же холодная ясность. Никогда еще мои мысли не были такими четкими и, я бы сказал, прозрачными, как в эту минуту: я знал, что сделал и что мне предстоит делать. В десять часов вечера я обручился, а через три часа трусливо опроверг свою помолвку. Я сделал это перед семью свидетелями: ротмистром, двумя обер-лейтенантами, полковым врачом, двумя лейтенантами и прапорщиком; мало того, я, с обручальным кольцом на пальце, позволил им превозносить меня за эту низкую ложь. Я скомпрометировал страстно любящую меня девушку, больную, беспомощную, ни о чем не подозревающую; я позволил в своем присутствии оскорбить ее отца и назвать обманщиком постороннего человека, сказавшего правду. Уже завтра весь полк узнает о моем позоре, и все будет кончено. Те, что сегодня дружески хлопали меня по плечу, завтра не подадут мне руки. Разоблаченный лжец, я больше не смогу носить мундир офицера, а путь к тем, кого я предал и оклеветал, отрезан для меня навсегда; и Балинкаи тоже не захочет иметь со мной дела. Три минуты трусости перечеркнули мою жизнь; оставался только один выход — револьвер.

Еще за столом я отчетливо осознал, что только так могу спасти свою честь; сейчас, идя по пустынным улицам, я обдумывал, как это сделать. Мысль работала ясно и последовательно, словно в голову мою проник чистый лунный свет, и совершенно спокойно, будто мне предстояло разобрать карабин, я наметил план действий на ближайшие два-три часа — последние часы моей жизни. Все привести в порядок, ничего не забыть, ничего не упустить! Во-первых, написать родителям — попросить прощения за то, что причиняю им боль. Потом письмо Ференцу с просьбой не затевать ссоры с аптекарем — с моей смертью все уладится само собой. Третье письмо — полковнику: попросить его принять меры, чтобы дело получило возможно меньшую огласку. Похороны в Вене; никаких процессий и венков. Пожалуй, не мешает написать несколько слов Кекешфальве, очень коротко: он должен заверить Эдит в моей любви к ней, пусть она не думает обо мне плохо. Потом составить список долгов,

распорядиться насчет продажи лошади, чтобы расплатиться с долгами. В наследство мне оставлять нечего, часы и белье достанутся денщику; да, еще одно — кольцо и золотой портсигар пусть вернут господину Кекеш-фальве.

Что еще? Ах, да, сжечь оба письма Эдит и вообще все письма и фотографии! Ничего не оставлять после себя, никаких следов, никаких воспоминаний. Исчезнуть как можно незаметнее — так же незаметно, как шла моя жизнь. Ну, часа на три работы хватит, ведь каждое письмо должно быть написано очень четко, чтобы никто не заметил ни страха, ни растерянности. И, наконец, последнее, самое легкое: лечь в постель, закутаться в два-три одеяла и сверху навалить перину, чтобы ни в доме, ни на улице не было слышно выстрела, — как сделал ротмистр Фельбер: он застрелился в полночь, и никто не услышал; утром его нашли с раздробленным черепом, — а потом, под одеялами, прижать ствол к виску; мой револьвер не даст осечки: как раз позавчера я смазал его. Рука моя не дрогнет, я уверен.

Никогда в жизни, повторяю, никогда я ничего не планировал так четко и детально, как собственную смерть. Все было разложено по полочкам, как в регистратуре, все распределено по минутам, когда я наконец подошел к казарме, проблуждав целый час по улицам. Я шел спокойным шагом, пульс бился ровно, и, вставляя ключ в боковую дверь, которой мы, офицеры, всегда пользовались после двенадцати, я с некоторой гордостью отметил про себя, что рука моя не дрожит. Даже в темноте я безошибочно попал ключом в узкую скважину. Теперь только пересечь двор — и по лестнице на третий этаж! Тогда я останусь наедине с собою, начну и кончу. Но, пройдя освещенный луной четырехугольник двора, я замечаю, что кто-то стоит в тени подъезда. Проклятье, думаю я, наверное, кто-нибудь из офицеров пришел как раз передо мной и заведет теперь разговор! Но в тот же миг я, неприятно пораженный, узнаю широкие плечи полковника Бубенчика, который отчитывал меня всего несколько дней назад. Он недаром торчит здесь, в подъезде; я знаю, этот службист не любит, когда его офицеры возвращаются поздно. Ну и черт с ним! Мне-то что! Утром я буду рапортовать уже другому на-

чальству. Сдерживая злость, я решаюсь пройти мимо, будто не замечая его, но полковник неожиданно выступает из мрака. Резким, скрипучим голосом он останавливает меня:

— Лейтенант Гофмиллер!

Я подхожу к нему и шелкаю каблуками. Он окидывает меня колючим взглядом.

— Новейшую моду взяли господа офицеры — носить шинель нараспашку! Думаете, что ночью вы можете таскаться по городу, как свиньи с болтающимися тифками! Скоро вообще будете разгуливать с расстегнутыми штанами! Я запрещаю такую расхлябанность! Мои офицеры и ночью должны быть одеты по всей форме. Понятно?

Я шелкаю каблуками.

— Слушаюсь, господин полковник.

Бросив на меня презрительный взгляд, он поворачивается и, даже не кивнув, шагает к лестнице. Луна освещает его широкий затылок и мощные плечи. Но тут во мне вспыхивает злость: почему последнее слово, которое я в жизни слышу, должно быть ругательством? К моему удивлению, совершенно бессознательно, словно моя воля уже не распоряжается моим телом, я вдруг торопливыми шагами устремляюсь за ним. Я знаю — то, что я делаю, абсолютно бессмысленно. К чему в последний час еще что-то объяснять и оправдываться перед каким-то солдафоном? Но такая абсурдная нелогичность присуща всем самоубийцам — тот, кто через десять минут станет обезображенным трупом, испытывает тщеславное желание уйти из жизни непременно красиво (из жизни, которая перестает существовать только для него одного), — человек бреется (для кого?) и надевает чистое белье (для кого?), прежде чем пустить себе пулю в лоб; я вспоминаю даже, что одна женщина, перед тем как броситься с пятого этажа, сделала в парикмахерской прическу, накрасила губы, напудрилась и надушилась самыми дорогими духами. Только это совершенно необъяснимое чувство заставило меня устремиться вслед за полковником; я сделал это — подчеркиваю — не испугавшись смерти, не от внезапной трусости, а лишь бессознательно желая уйти в небытие чистым, незапятнанным.

Полковник, должно быть, услышал мои шаги. Он резко обернулся, маленькие колючие глазки озадаченно уставились на меня из-под кустистых бровей. Его явно ошеломило такое чудовищное безобразие: младший офицер осмелился без разрешения последовать за ним! Я остановился на расстоянии двух шагов, приложил руку к козырьку и обратился к Бубенчичу, спокойно выдерживая грозный взгляд, — мой голос был, вероятно, таким же тусклым, как свет луны.

— Осмелюсь обратиться с просьбой, не могу ли я несколько минут поговорить с господином полковником?

Лохматые брови удивленно поползли вверх.

— Что? Сейчас? В половине второго ночи?

Он зло глядит на меня. Сейчас он наорет на меня или разнесет завтра на утреннем рапорте. Но что-то в моем лице, видно, встревожило его. Минуту, другую сверлят меня жесткие, колючие глаза полковника. Потом он ворчит:

— Хорошо! Нечего сказать! Ну, как хочешь. Пошли ко мне и выкладывай, да покороче!

**П**олковник Светозар Бубенчич, за которым я, как побитый щенок, шагаю сейчас по мрачным, опустевшим коридорам и лестницам, пропитавшимся запахом человеческих тел, был стопроцентным служакой и самым грозным из наших начальников. Коротконогий, с толстой шеей и низким лбом, в тусклых стеклянных глазах под лохматыми бровями редко можно увидеть улыбку. Приземистая фигура, тяжелый шаг выдавали его крестьянское происхождение (он был уроженцем Баната). Но, несмотря на свой низкий бычий лоб и каменный череп, он медленно и упорно дослужился до полковника. Правда, из-за непрезентабельной внешности, невоспитанности и грубости министерство год за годом оставляло его в провинции, переводя из одного гарнизона в другой, и в высших сферах было уже решено, что он скорее получит отставку, нежели генеральские лампы. Но при всей его неотесанности и вульгарности в казарме и на учебном плацу никто не мог с ним сравниться. Он знал все параграфы уставов, как шотландский пуританин

Библию, но они были для него не гибкими установлениями, которые более тонкий ум объединяет в гармоничное целое, а чуть ли не религиозными заповедями, смысл или бессмысленность которых не подлежит обсуждению. Военная служба была для него тем же, чем богослужение для верующих. Он не имел дела с женщинами, не курил, не играл, вряд ли за всю свою жизнь хоть раз побывал в театре или концерте и, подобно своему высочайшему начальству Францу-Иосифу, никогда не читал ничего, кроме уставов и армейской газеты; для него на свете существовала только императорская армия, в армии — только кавалерия, в кавалерии — только уланы и его полк. Смысл его жизни *in pace*<sup>1</sup> заключался в том, чтобы в нашем полку все было лучше, чем в любом другом.

Ограниченный человек, облеченный властью, всегда невыносим, а в армии особенно. Служба в гарнизоне складывается из тысячи сверхстрогих, по большей части давно устаревших, но незыблемых предписаний, которые лишь заядлый служака знает назубок и лишь дурак требует выполнять буквально. Вот почему все в полку трепетало перед этим фанатиком «священного» устава. Его квадратная фигура олицетворяла собой террор точности — покачивался ли он в седле или восседал за столом, пронизывая всех острым взглядом; он наводил ужас на полковые столовые и канцелярии; его появлению всегда предшествовал ледяной ветер страха, и, когда полк выстраивался на плацу и Бубенчич, набычившись, медленно приближался на своем коренастом караковом мерине, в рядах замирало всякое движение, словно против нас стояла вражеская батарея и орудия, снятые с передка, были уже наведены. Мы знали, что вот-вот грянет неотвратимый залп; никто из нас не был уверен, что не он окажется мишенью. Даже лошади стояли как вкопанные, все замирало, не звенели шпоры, не слышно было даже дыхания. И тогда тиран спокойно проезжал вдоль строя, явно наслаждаясь внушаемым им страхом, окидывая одного за другим зорким взглядом, от которого ничто не могло ускользнуть. Он видел все, этот холодный взгляд службиста: он замечал кивер, на палец ниже положенного надвинутый на лоб,

---

<sup>1</sup> В сущности (лат.).

видел каждую плохо начищенную пуговицу, каждое ржавое пятно на сабле, брызги грязи на лошади; стоило ему обнаружить малейшее нарушение устава, как разражалась гроза, вернее, извергался грязный поток грубой брани. Под тесным воротником мундира вдруг раздувался кадык, лоб под коротко стриженными волосами багровел, на висках взбухали синие вены. Гремел сиплый, лающий голос, ругань как из ведра лилась на голову безвинной жертвы. Полковник часто позволял себе такие выражения, что возмущенные офицеры опускали глаза, стыдясь за него перед рядовыми.

Рядовые боялись его, как черт ладана, за каждый пустяк он ставил их под ружье или сажал на гауптвахту, а случалось, под горячую руку давал и крепкую зуботычину. Однажды в конюшне — я сам это видел — один улан, из гузулов, начал креститься и по-своему шептать молитву, когда «чертова жаба» — мы прозвали его так потому, что от злости шея у него непомерно раздувалась, — уже бесновался у соседнего стойла. Бубенчич гонял бедняг до полного изнеможения: заставлял до тех пор повторять упражнения с карабином, пока не отнимались руки, и скакать на самых упрямых лошадях до кровавых мозолей. Но, как ни странно, эти забитые деревенские парни по-своему, молча и боязливо, любили этого тирана и предпочитали его другим, более гуманным, но и более отчужденно державшимся офицерам. Словно они нутром чувствовали, что жестокий самодур упрямо стремился к порядку, освященному божьим провидением; бедняги утешались тем, что нам, офицерам, приходится не легче, — даже самая жестокая плеть бьет не так больно, если ты видишь, что она с той же силой обрушивается на спину ближнего. Если человек наказывает справедливо, то ему прощают насилие; солдаты с удовольствием вспоминали случан с молодым князем В., который был в родстве с императорским домом и поэтому считал, что может позволить себе любые выходки. Но Бубенчич влепил ему две недели ареста, словно сыну какого-нибудь батрака, и напрасны были звонки их сиятельств из Вены — Бубенчич ни на один день не уменьшил наказания этому высокогородному повесе и, между прочим, за свое упрямство был повышен в чине.

Самое странное — что даже для нас, офицеров, в нем было что-то привлекательное. Нам тоже импонировала его тупая, неумолимая честность и главное — его безусловная товарищеская солидарность. Он не выносил ни малейшей несправедливости так же, как не терпел грязного пятна на солдатском мундире; любой скандал в полку он воспринимал как личное оскорбление. Мы были в его власти, но знали: если уж ты что-нибудь натворил — самое умное, что ты можешь сделать, — это пойти прямо к нему; и он, сперва грубо накричав на тебя, потом все-таки наденет мундир и отправится вытаскивать тебя из беды. Если нужно было ходатайствовать о повышении кого-либо в чине или добиться из фонда Альбрехта пособия офицеру, оказавшемуся на мели... полковник всегда был на высоте — ехал прямо в министерство и своим крепким лбом проталкивал дело. И как бы ни возмущал он нас, как ни третировал, в глубине души мы все чувствовали, что этот банатский мужик по-своему, неуклюже и слепо, однако гораздо преданнее и честнее, чем выходцы из благородных семей, защищал традиции армии — тот незримый ореол, который нас, младших офицеров, привлекал гораздо больше, чем наше мизерное жалованье.

Таков был полковник Светозар Бубенчич, обер-живодер нашего полка, за которым я сейчас поднимался по лестнице. И так же, как он всю жизнь муштровал нас, педантично и безжалостно, со своей всегдашней дурацкой честностью и непреклонностью, свершил он суд и над самим собой. Во время сербского похода, после поражения под Поттиорексом, когда из всего нашего полка, выступившего на передовую в полном блеске, уцелело всего лишь сорок девять улан, Бубенчич, оставшийся один на том берегу Савы, воспринял паническое бегство полка как позор для всей армии и сделал то, на что в мировую войну решались после поражения лишь очень немногие из офицеров: вынул свой тяжелый револьвер и пустил себе пулю в лоб, чтобы не стать очевидцем крушения Австро-Венгерской монархии, начало которого этот служака, никогда не отличавшийся сообразительностью, сумел разглядеть в страшном разгроме своего полка.

**П**олковник отпер дверь. Мы вошли в его комнату, которая своим спартанским убранством напоминала студенческую каморку: железная походная кровать — он не признавал другой, потому что на такой кровати спал Франц-Иосиф в Гофбурге, — две олеографии — император и императрица, четыре или пять фотографий в дешевых рамках с изображением полковых смотров и офицерских вечеров, две сабли крест-накрест, два турецких пистолета — и больше ничего. Ни удобного кресла, ни книг, только четыре соломенных стула вокруг простого стола.

Бубенчич энергично разгладил усы, один раз, второй, третий. Нам всем был знаком этот грозный признак крайнего нетерпения. Наконец он выпалил, не предлагая мне сесть:

— Не стесняйся! И нечего ломаться — выкладывай. Денежные затруднения или бабы?

Мне трудно было говорить стоя, кроме того, я чувствовал себя очень неловко в ярком свете под его нетерпеливым взглядом. Поэтому я поспешно заверил его, что дело совсем не в деньгах.

— Значит, бабы! Опять! Беда с вами, мужиками! Как будто не хватает баб, с которыми все просто. Ну, не тяни — в чем дело?

Как можно короче я изложил сущность происшедшего: сегодня я обручился с дочерью господина Кекешфальвы, а через три часа после этого солгал, сказав, что ничего такого не было. Но пусть он не думает, что я пытаюсь умалить бесчестность своего поступка, напротив, я пришел лишь для того, чтобы в личной беседе сообщить ему, как моему начальнику, что я вполне сознаю последствия, вытекающие из моего некорректного поведения. Как офицер, я знаю свой долг и исполню его.

Бубенчич оторопело уставился на меня.

— Что за ерунду ты мелешь? Бесчестность, последствия? Какая бесчестность? Что тут такого? Говоришь, обручился с дочкой Кекешфальвы? Видел я ее, странный у тебя вкус, она же вся скрюченная. Ну, а потом передумал — так что за беда? Один из наших тоже так сделал и не стал от этого негодяем. Или у тебя, — он



подошел ближе,— были с ней шуры-муры, и теперь она того?.. Тогда, конечно, дело дрянь.

Злость и стыд кипели во мне. Меня злил его легкий тон и явное нежелание понять меня. Я щелкнул каблуками.

— Осмелюсь заметить, господин полковник, сказав, что обручения не было, я позволил себе грубую ложь в присутствии семи офицеров полка за нашим столом в кафе. Из трусости и от смущения соврал товарищам. Завтра лейтенант Гавличек потребует объяснения у аптекаря, который говорил правду. Уже завтра весь город узнает, что я солгал за офицерским столом и тем самым опозорил честь мундира.

Теперь он смотрел на меня озадаченно. Было видно, что его неповоротливый ум только сейчас начал улавливать суть. Лицо его потемнело.

— Где это было, говоришь?

— За нашим столом в кафе.

— В присутствии товарищей, говоришь! И все слышали?

— Так точно.

— А аптекарь знает, что ты сказал?

— Он узнает завтра. И весь город тоже.

Полковник с таким ожесточением крутанул ус, словно хотел его оторвать. За его низким лбом усиленно работала мысль. Заложив руки за спину, он сердито прошелся по комнате, раз, другой, третий, десятый. Под его тяжелыми шагами скрипели половицы, тихонько звякали шпоры. Вдруг он остановился передо мной.

— Ну, так что ты, говоришь, надумал?

— Есть только один выход, господин полковник, вы знаете какой. Я пришел лишь затем, чтобы проститься с господином полковником и покорнейше просить вас позаботиться, чтобы все обошлось тихо и по возможности без лишних толков. Честь полка не должна пострадать из-за меня.

— Чепуха,— пробормотал он.— Чепуха! Из-за этого? Такой здоровый, бравый парень, да чтоб из-за какой-то калеки!.. Видно, эта старая лиса опутала тебя и ты уже не мог выкрутиться. Ну, на тех-то мне наплевать, нам до них дела нет! Но вот товарищи и то, что вшивый аптекарь знает обо всем,— это действительно скверно.

Он опять зашагал по комнате, ступая еще тяжелее. Размышления были для него нелегким делом. Всякий раз, когда он оборачивался в мою сторону, я видел, что лицо его все больше наливается кровью и на висках набухают черные вены. Наконец он резко остановился, словно приняв какое-то решение.

— Так вот, слушай. С такими вещами нужно спешить — когда пойдут разговоры, будет поздно. Первое: кто из наших был там?

Я назвал имена. Бубенчич вытащил из нагрудного кармана записную книжку — пресловутую книжицу в красном переплете; он всегда хватался за нее, как за оружие, когда ловил кого-нибудь на месте преступления. Тот, чье имя стояло в этой книжке, мог заранее распrostиться с очередным отпуском. Полковник по-деревенски послунил карандаш и нацарапал своими толстыми заскоруждыми пальцами названные мною фамилии.

— Это все?

— Да.

— Точно все?

— Да.

— Так! — Он сунул книжку в карман, будто саблю в ножны. Это подводящее черту «так» прозвучало, как звон клинка.

— Так, с этим покончено. Завтра я их всех по одному вызову к себе, прежде чем они покажут нос из казармы — и да помилуй бог того, кто решится вспомнить, что ты говорил. За аптекаря я возьмусь потом. Уж я найду, что ему сказать, будь покоен. Может быть, скажу, что ты должен был сначала испросить у меня разрешения на официальную помолвку или... или... Постой-ка! — Он вдруг, впившись в мои глаза пронзительным взглядом, так близко придвинулся ко мне, что я почувствовал его дыхание. — Скажи-ка мне начистоту, только по-честному, откровенно: ты перед этим не выпил? Я хочу сказать — перед тем, как натворил глупостей?

Я почувствовал себя пристыженным:

— Так точно, господин полковник. Вообще, прежде чем пойти туда, я выпил коньяку и потом там, у них за столом, тоже порядночно... Однако...

Я ожидал гневной вспышки. Но вдруг лицо его рас-

плылось в улыбке. Он хлопнул в ладоши и громко рассмеялся грохочущим, самодовольным смехом.

— Здорово, здорово, так вот оно что! Тут-то мы и выкарабкаемся. Ясно, как божий день! Я им всем объясню, что ты, мол, был пьян, как свинья, и не знал, что говоришь. Ведь ты же не давал честного слова?

— Никак нет, господин полковник.

— Ну, тогда все в порядке. Был, мол, пьян, скажу я им. С кем не бывало, даже с одним эрцгерцогом! Был в стельку пьян и не соображал, что говорит, толком не слышал, что они спрашивали, и вообще ничего не понимал. Это же логично! А аптекарю я скажу, что дал тебе хороший нагоняй за то, что ты приполз в кафе в таком свинском виде. Итак, с пунктом первым покончено.

То, что он продолжал превратно понимать меня, вызвало во мне все большее ожесточение. Меня злило, что этот, в сущности, добродушный тупица во что бы то ни стало хотел помочь мне удержаться в седле; чего доброго, он думает, что я из трусости ухватился за него, чтобы спастись? К черту! Почему он не хочет понять всю низость моего проступка? И я собрался с духом.

— Осмелюсь доложить, господин полковник, для себя лично я ни в коем случае не могу считать дело улаженным. Я знаю, в чем моя вина, и знаю, что теперь я не могу смотреть в глаза порядочным людям; я не хочу жить негодяем и...

— Молчать! — перебил он. — Гм... pardon — дай же мне спокойно подумать и не лезь со своей болтовней — сам соображу, что делать, не нуждаюсь я в поучениях такого молокососа, как ты! Думаешь, дело только в тебе? Ну нет, милый, это все было во-первых, а теперь переходим к пункту второму, который гласит: завтра утром ты исчезнешь, здесь ты мне не нужен. Такое дело должно быть порости. Тебе здесь нельзя оставаться ни одного дня. Сразу начнутся идиотские расспросы и толки, а мне это ни к чему. В моем полку никто не должен позволять смотреть на себя косо. Я этого не потерплю... С завтрашнего дня ты переведен в резерв в Чаславице... я сам напишу приказ и дам тебе письмо к тамошнему подполковнику; что будет в письме, тебя не касается. Ты должен исчезнуть, а остальное — мое дело. Ночью уложишь вещи и рано утром уберешься из казармы, что-

бы никто из наших тебя не видел. В полдень зачитают приказ, что ты уехал в командировку со срочным поручением, никто ничего и не заподозрит. Как ты там потом разделаешься со стариком и девчонкой, не моя забота. Сам расхлебывай кашу, которую заварил; мое дело — не допустить никаких разговоров в казарме... Итак, решено — в половине шестого утра будешь здесь у меня в полной готовности, возьмешь письмо — и в дорогу. Понятно?

Я молчал. Не для того я пришел сюда. Ведь я не хотел бежать. Бубенчич заметил мое колебание и повторил почти с угрозой:

— Понятно?

— Так точно, господин полковник, — ответил я четко, по-военному. А про себя добавил: «Пускай старый дурак болтает, что ему угодно. Я все равно сделаю то, что надо».

— Так... Ну, хватит. Завтра утром в половине шестого.

Я стал навтыяжку. Он подошел ко мне.

— Надо же, чтобы именно ты влип в такую идиотскую историю! Не хочется мне отдавать тебя тем, в Чаславице. Ты мне всегда нравился больше других парней!

Я вижу: он раздумывает, не подать ли мне руку. Глаза его теплеют.

— Может быть, тебе что-нибудь нужно? Не стесняйся, я охотно помогу. Я не хочу, чтобы думали, будто ты попал в немилость или что-нибудь в этом роде. Ничего не нужно?

— Никак нет, господин полковник, покорнейше благодарю.

— Тем лучше. Ну, с богом. Завтра утром в пять тридцать.

— Слушаюсь, господин полковник.

Я смотрю на него, как глядят на человека, которого видят в последний раз. Я знаю: он последний, с кем я говорю в этом мире. Завтра он будет единственным, кому известна вся правда. Я щелкаю каблуками и поворачиваюсь налево кругом.

Но даже этот недалекий человек что-то заметил. Что-то в моем взгляде или походке показалось ему подозрительным, потому что за спиной я вдруг слышу команду:

— Отставить!

Я оборачиваюсь. Подняв брови, Бубенчич пристально всматривается в меня и говорит ворчливо, но добродушно:

— Слушай, парень, ты мне не нравишься. С тобою что-то неладно. Мне кажется, ты собираешься меня одурачить и сделать глупость. Но я не потерплю, чтобы из-за такой чепухи ты что-нибудь там... с револьвером или того... не потерплю... понял?

— Так точно, господин полковник.

— Э, брось! Меня не проведешь, я стреляный воробей.— Его голос звучит мягче.— Дай-ка руку.

Я подаю ему руку. Он пожимает ее.

— А теперь,— он пристально смотрит мне в глаза,— теперь, Гофмиллер, дай мне честное слово, что сегодня ночью ты не наделаешь глупостей! Дай честное слово, что завтра в пять тридцать ты будешь здесь и затем отправишься в Чаславице.

Я не выдерживаю его взгляда.

— Честное слово, господин полковник.

— Ну, вот и хорошо. А то мне вдруг показалось, что ты сгоряча можешь свалить дурака. Ведь с вами, молокосами, не знаешь, чего и ждать... у вас все быстро... с револьвером тоже... Ничего, потом поумнеешь. Беда не велика. Вот увидишь, Гофмиллер, вся эта история кончится ничем! Все будет шито-крыто, а в другой раз ты уж не оплошаешь. Было бы жаль потерять такого парня. Ну, а теперь иди.

**Н**аши решения в гораздо большей степени зависят от среды и обстоятельств, чем мы сами склонны в том себе признаваться, а наш образ мыслей в значительной мере лишь воспроизводит ранее воспринятые впечатления и влияния; человек, с детства воспитанный в духе солдатской дисциплины, особенно подвержен психозу подчинения — он не может противостоять приказу. Всякая команда обладает над ним какой-то совершенно необъяснимой властью, подавляющей его волю. Облаченный в смирительную рубашку мундира, он любой приказ выполняет словно под гипнозом — без сопротивления и почти машинально, даже если вполне сознает его бессмысленность.

То же самое случилось и со мной. Пятнадцать лет из двадцати пяти, как раз те годы, когда формируется человеческая личность, я провел в военном училище и в казарме, поэтому едва прозвучал приказ полковника, как в ту же секунду я перестал думать и действовать самостоятельно. Я больше не рассуждал. Я только подчинялся. В моем мозгу прочно засело лишь одно: в половине шестого я должен быть готов к отъезду. Я разбудил денщика, сказал ему, что получен приказ утром срочно выехать в Чаславице, и занялся с ним упаковкой вещей. Мы еле управились к утру, но ровно в пять тридцать я явился к полковнику за документами. Как он и велел, я покинул казарму незаметно.

Однако действие гипноза, парализовавшего мою волю, сохранялось лишь до тех пор, пока я еще находился на территории казармы и приказ, отданный мне, не был выполнен до конца. Первый же толчок вагона вывел меня из оцепенения, и я пришел в себя, словно человек, отброшенный взрывной волной, который, шатаясь, поднимается на ноги и с изумлением видит, что он неведим. Я удивился. Во-первых, я еще жив, а во-вторых, мчусь в поезде, вырванный из своего будничного, привычного существования. Едва я начал вспоминать, события последних суток вихрем закружились в моем мозгу. Ведь я же хотел покончить с собой, но чья-то рука отвела револьвер от моего виска. Полковник сказал, что все уладит. Но ведь это касается только полка и моей репутации офицера. Наверное, товарищи стоят сейчас перед Бубенчиком и клянутся ему никогда ни словом не обмолвиться о случившемся. Но никто не запретит им думать то, что они думают, — все поймут, что я сбежал, как последний трус. Аптекарь, может быть, сначала и поверит тому, что наговорят, но Эдит, ее отец, остальные? Кто скажет, кто объяснит им все? Семь часов — сейчас она проснется, и первая ее мысль — обо мне. Может быть, она уже смотрит в бинокль с террасы. Терраса! Почему я всегда вздрагиваю, как только вспоминаю о ней? Эдит смотрит на учебный плац, видит наш полк и не знает, не догадывается, что сегодня в нем одним человеком меньше. Но после обеда она станет ждать, а меня все нет и нет, и никто ничего не объяснит ей. Я не на-

писал ей ни строчки. Она позвонит в казарму, там скажут, что я откомандирован, и она останется в полном недоумении. Или еще ужаснее: она поймет, сразу же все поймет,— и тогда... Я вдруг вижу угрожающий взгляд Кондора за сверкающими стеклами пенсне и снова слышу, как он кричит на меня: «Это преступление, убийство!» И тут же память рисует другую картину: Эдит, приподнявшись в кресле, перегибается через перила, а в глазах ее — бездна, смерть.

Надо что-то немедленно предпринять! Прямо с вокзала дать ей телеграмму. Это необходимо, не то она с отчаяния сделает что-нибудь непоправимое. Нет, ведь это я должен не делать ничего непоправимого, сказал Кондор, а случись что-либо, тотчас известить его. Я твердо обещал ему и должен сдерживать свое слово. Слава богу, в Вене у меня будет два часа — поезд отходит в полдень. Может быть, я еще застаю Кондора дома. Я должен застать его.

В Вене я оставляю багаж денщику, велю ему ехать на Северо-Восточный вокзал и ждать меня. А сам лечу на извозчике к Кондору, шепча про себя (вообще-то я не набожен): «Господи, сделай так, чтобы он был дома, сделай так, чтобы он был дома». Только ему я могу все объяснить, только он поймет меня, только он сумеет помочь.

Но служанка в пестрой домашней косынке и спадающих башмаках не спешит доложить обо мне: «Господин доктора нет дома». Нельзя ли подождать его? «Ну, до обеда они не придут». Не знает ли она, где он сейчас? «Не знаю. Они ходят от одного к другому». Нельзя ли мне увидеть хозяйку? «Сейчас спрошу». — Поведя плечами, она уходит в комнаты.

Я жду. Та же приемная, и я так же жду. Слава богу, наконец те же тихие, ссыльзьящие шаги в соседней комнате.

Дверь приоткрывается робко, неуверенно. Все, как в прошлый раз,— словно дуновение ветра отворяет ее, только голос, который я слышу, звучит сегодня тепло и сердечно.

— Это вы, господин лейтенант?

— Да,— отвечаю я и так же нелепо кланяюсь слепой.

— Ах, мой муж будет весьма сожалеть, что вы не застали его. Он очень огорчится. Я надеюсь, вы подождете? Он придет самое позднее в час.

— Нет, к сожалению, я не могу ждать. Но... но это очень важно... Может быть, я мог бы поймать его по телефону у кого-нибудь из пациентов?

Она вздыхает.

— Нет, боюсь, что это невозможно. Я не знаю, где он... и потом, видите ли... у тех людей, которых он охотнее всего лечит, не бывает телефонов. Но, может быть, я сама...

Она подходит ближе, какую-то секунду ее лицо выражает замешательство. Она хочет что-то сказать, но я вижу, ей неловко. Наконец она решается:

— Я... я понимаю... я чувствую, что это очень спешно... была бы хоть какая-нибудь возможность, я вам... я вам, конечно, сказала бы, где его найти... Но... но... может быть, я могу передать ему, как только он вернется... ведь это, наверное, касается той бедной девочки, в судьбе которой вы принимаете такое участие... Если вы ничего не имеете против, я охотно возьму на себя...

И тут со мной происходит что-то нелепое — я не осмеливаюсь взглянуть в ее незрячие глаза. Не знаю почему, но мне вдруг кажется, что она уже обо всем догадалась. И я, охваченный мучительным стыдом, невнятно бормочу:

— Очень любезно с вашей стороны, сударыня, но мне не хотелось бы утруждать вас. Если позволите, я оставлю ему записку, напишу самое главное. Он наверняка вернется домой до двух? В два поезд уже отходит, а он должен поехать туда, то есть... обязательно поехать. Я несколько не преувеличиваю.

Я вижу, что убедил ее. Она подходит ближе и делает произвольный жест, словно желая успокоить меня.

— Разумеется, я верю вам. И не беспокойтесь — он сделает все, что сможет.

— Разрешите, я напишу ему?

— Да, да, конечно... вот сюда, пожалуйста.

Она идет впереди меня, и мне бросается в глаза, с какой уверенностью она движется среди знакомых ей предметов. Наверное, десятки раз на дню ее чуткие пальцы, прибирая, ощупывают его письменный стол, по-



тому что она уверенно, как зрячая, достает из левого ящика три-четыре листа бумаги и кладет их точно перед письменным прибором.

— Здесь ручка и чернила,— опять-таки безошибочно указывает она на прибор.

В один присест я исписываю пять страниц. Я заклинаю Кондора: он должен выехать в усадьбу немедленно, *немедленно* — я трижды подчеркиваю это слово. Я рассказываю ему обо всем очень подробно и откровенно. Я не выдержал, отрекся от своей помолвки перед товарищами — только он один понял с самого начала, что моя слабость происходит из страха перед людьми, из жалкого страха перед сплетнями и пересудами. Я не умалчиваю и о том, что сам хотел совершить суд над собой и что полковник спас меня против моей воли. До последней минуты я думал лишь о себе и только теперь с ужасом осознал, что увлекаю за собой и ее, неповинную. *Немедленно* — ведь он понимает сам, как это спешно,— он должен ехать туда (я опять подчеркиваю слово «немедленно») и сказать ей правду, всю правду. И не надо щадить меня. Он не должен ничего приукрашивать, незачем смягчать мою вину; если Эдит, невзирая на все, простит мою слабость, наша помолвка будет для меня священнее, чем когда-либо,— лишь теперь это действительно стало для меня святыней,— и, если она позволит, я тут же подам в отставку и приеду к ней в Швейцарию. Останусь с ней, несмотря ни на что — выздоровеет она сейчас, или потом, или никогда. Я сделаю все, чтобы искупить свою трусость, свою ложь; отныне у меня в жизни одна цель: доказать ей, что я обманул не ее, а тех, других. Он должен честно рассказать ей всю, всю правду, ибо только теперь я понял, что обязан ей больше, чем кому бы то ни было, чем товарищам, армии. Только она вправе осудить или оправдать меня. Только она может решить, достоин ли я прощения. Он, Кондор, должен бросить все — речь идет о жизни и смерти — и поехать туда дневным поездом. Ему непременно надо быть в усадьбе к половине пятого, ни в коем случае не позже — в это время я обычно прихожу туда. Я в последний раз обращаюсь к нему с просьбой. Только еще раз, один-единственный раз, должен он помочь мне и *немедленно* — я четырежды

подчеркиваю это лихорадочное «немедленно» — ехать в усадьбу, иначе будет поздно.

Едва я отложил перо, как мне стало ясно, что сейчас я впервые принял настоящее решение. Только сейчас, когда я писал, мне открылся правильный путь. Впервые я почувствовал благодарность к полковнику за то, что он спас меня. Я знал: отныне вся моя жизнь принадлежит только одному человеку — той, которая меня любит.

Лишь теперь я заметил, что слепая все время неподвижно стояла рядом со мной. И опять мной овладело необъяснимое ощущение, будто она прочла письмо от первого до последнего слова и знает все.

— Простите меня за невежливость, — тотчас вскричал я, — я совсем забыл... но... но... я так торопился написать это письмо.

Она улыбнулась мне.

— Ну, это ничего, что я немножко постояла. Важно другое. Мой муж, несомненно, сделает все, что вы хотите... Я давно почувствовала — ведь я знаю малейшие оттенки его голоса, — что вы ему нравитесь... И не мучайте себя, — она заговорила еще более сердечно, — пожалуйста, не мучайте себя... все будет хорошо, обязательно будет!

— Дай бог! — вырвалось у меня от души. Ведь говорят же, что слепые обладают даром ясновидения!

Я склонился и поцеловал ее руку. Когда я взглянул ей в лицо, я искренне удивился тому, что при первой встрече эта женщина с седыми волосами, горькими складками у рта и слепыми глазами могла показаться мне некрасивой. Сейчас ее лицо было озарено любовью и сочувствием. Будто эти глаза, в которых отражался вечный мрак, видели больше, чем те, которые с радостью взирают на белый свет.

Я распроштался, чувствуя себя исцеленным. И то, что в этот час я вновь, теперь уже навсегда, обручился с другой беспомощной и отвергнутой, уже не казалось мне жертвой. Нет, здоровые, сильные, гордые, веселые не умеют любить — зачем им это? Они принимают любовь и поклонение как должное, высокомерно и равнодушно. Если человек отдает им всего себя, они не видят в этом смысла и счастья целой жизни; нет, для них это всего лишь некое добавление к их личности, что-то вро-

де украшения в волосах или браслета. Лишь обделенным судьбой, лишь униженным, слабым, некрасивым, отверженным можно действительно помочь любовью. Тот, кто отдает им свою жизнь, возмещает им все, что у них отнято. Только они умеют по-настоящему любить и принимать любовь, только они знают, как нужно любить: со смирением и благодарностью.

**М**ой денщик терпеливо ждет меня на вокзале. «Пошли», — говорю я ему, улыбаясь. У меня словно камень с души свалился. С каким-то донныне неведомым чувством облегчения я сознаю, что наконец-то поступил правильно. Я спас себя и спас другого человека. И я больше не сожалею о том, что струсил вчера ночью. Напротив, говорю я себе, это даже к лучшему. Хорошо, что все так случилось: те, кто доверяет мне, знают теперь, что я не герой и не святой; я больше не бог, милостиво соблаговоливший приблизить к себе бедную калеку; если я принимаю ее любовь, это уже не жертва с моей стороны. Нет, теперь я должен просить о прощении, а она — даровать его мне. Да, всё к лучшему.

Никогда еще я не чувствовал себя так уверенно, лишь один раз за все это время на меня дохнуло холодом мимолетного страха, когда в Лунденбурге в купе ворвался дородный господин и, задыхаясь, упал на диван: «Слава богу, все-таки успел. Не опоздай поезд на шесть минут, я бы остался».

Я невольно вздрогнул. А что, если Кондор не пришел домой к обеду? Или пришел поздно и не успел на дневной поезд? Тогда все напрасно! Она будет ждать, ждать... Перед глазами тотчас возникает кошмарное видение: цепляясь за перила террасы, она смотрит вниз, перегибается... Господи, она должна, должна узнать вовремя, что я раскаялся в своем предательстве! Вовремя, прежде чем ее охватит отчаяние, прежде чем случится непоправимое! Пожалуй, пошлю ей телеграмму с первой же остановки, успокою ее — на тот случай, если Кондор не успеет приехать.

На следующей станции, в Брюнне, я выскакиваю из вагона и бегу на почту. Но что это? Перед дверью, как рой встревоженных пчел, гудит толпа, все читают ка-

кое-то объявление. Мне приходится силой протискиваться к стеклянной двери, бесцеремонно пуская в ход локти. Скорее, скорее, вот бланк! Что писать? Только короче! «Эдит Кекешфальве тчк Кекешфальва тчк сердечный привет с дороги тчк служебное поручение тчк скоро вернусь тчк Кондор сообщит подробности тчк напишу сразу по приезде тчк люблю Антон».

Я подаю телеграмму. Как медленно работает телеграфистка, как много вопросов она задает: отправитель, адрес, одна формальность за другой. А до отхода поезда две минуты. Опять пробиваюсь сквозь плотную толпу — народу стало еще больше. «Что случилось?» — хочу я спросить. Но тут раздается пронзительный свисток, и я едва успеваю вскочить в вагон. Ну, слава богу, все сделано, она успокоится... Только теперь я чувствую, как измучили меня эти два напряженных дня и две бессонные ночи. Прибыв вечером в Чаславице, я едва нахожу в себе силы подняться на третий этаж гостиницы в свой номер. И тут же засыпаю, словно провалившись в какую-то пропасть.

**К**ажется, я заснул, едва коснувшись подушки, будто безвольно погрузился в темный, глубокий водоворот, на ту недостижимую глубину, где происходит полное растворение сознания. И только потом, гораздо позднее, я увидел сон, начало которого я никогда не мог вспомнить. Помню только, что я стоял в какой-то комнате, кажется, в приемной Кондора, и внезапно услышал этот страшный деревянный стук, уже много дней пульсирующий у меня в висках, — равномерное постукивание костылей, это ужасное «тук-тук, ток-ток». Сначала оно слышалось издали, будто с улицы, потом стало приближаться, «тук-тук, ток-ток», вот оно уже совсем близко, совсем громко, «тук-тук, ток-ток» и, наконец, гремит у самой двери. Я в ужасе просыпаюсь.

Широко раскрытыми глазами я всматриваюсь в темноту. Но тут снова раздается «тук-тук» — резко, сухо. Нет, это не сон, кто-то постучал. Кто-то стучит в дверь. Я вскакиваю с кровати и торопливо открываю. В коридоре стоит портье.

— Господина лейтенанта просят к телефону.

Я смотрю на него непонимающе. Где... где я? Не-знакомая комната, кровать... Ах, да ведь я... в Чаславице. Но я не знаю здесь ни души, кто же звонит мне среди ночи? Чепуха! Сейчас, наверное, уже полночь. Но портье торопит:

— Пожалуйста, быстрее, господин лейтенант, вызывает Вена, фамилии я не разобрал.

Сон как рукой сняло: Вена! Это может быть только Кондор. Ну, конечно, он хочет сообщить мне, что она простила! Все в порядке. Я бросаю портье:

— Бегите вниз! Скажите, что я иду!

Портье исчезает, я второпях набрасываю шинель прямо на рубашку и бегу за ним следом. Телефон висит в углу конторы, на первом этаже. Портье уже стоит с трубкой в руке. Я нетерпеливо отталкиваю его, хотя он говорит: «Прервали»,— беру трубку и напряженно прислушиваюсь.

Но ничего не слышу. Лишь однообразное далекое гудение «ззз-ввр... ззз...» — словно назойливое жужжание комаров: «Алло, алло!» — кричу я и жду, жду. Ответа нет... Одно только насмешливое, бессмысленное жужжание. Отчего мне так холодно, оттого ли, что я в одной шинели, или от внезапно пробудившегося страха? Может быть, все сорвалось? Или, может... я прислушиваюсь, крепко прижимая к уху горячую трубку. Наконец треск, щелчок переключения и голос телефонистки:

— Вас соединили?

— Нет.

— Но ведь связь только что была, вызов из Вены... Минуточку, сейчас проверю.

Снова щелчок. В аппарате что-то трещит, булькает, клокочет. Постепенно все стихает, и я опять слышу тонкое гудение и жужжание проводов. Внезапно врывается голос, жесткий, грубый бас:

— Говорит комендатура Праги. Это — военное министерство?

— Нет, нет! — с отчаянием кричу я в телефон.

Бас невнятно рокочет еще некоторое время и, затихая, теряется в пустоте. Опять этот дурацкий свист и гудение и потом снова неясный, сбивчивый гул далеких голосов. Наконец, телефонистка:

— Алло! Вы слушаете? Я только что проверила. Линия занята. Срочный служебный разговор. Я сразу же позвоню вам, как только абонент повторит вызов. Пожалуйста, повесьте пока трубку.

Я вешаю трубку, измученный, разочарованный, расстроенный. Что может быть бессмысленнее — уловить чей-то голос издали и не суметь удержать его! Сердце мое сильно колотится в груди, словно я вбежал на гору. Что случилось? Это мог быть только Кондор. Но почему он звонил мне сейчас, в половине первого ночи?

Портье вежливо обращается ко мне:

— Господин лейтенант могут спокойно обождать наверху в своей комнате. Я тотчас прибегу, как только восстановят связь.

Но я отказываюсь. Ни в коем случае вторично не прозевать разговор! Нельзя терять ни минуты. Я должен знать, что случилось, ибо там, за много километров отсюда, — я уже чувствую — действительно что-то произошло. Звонить мог только Кондор или те, из усадьбы. Только Кондор мог дать им адрес моего отеля. Во всяком случае, это было что-то важное, что-то спешное, просто так человека не поднимают ночью с постели. Все нервы во мне напряжены: я нужен, во мне нуждаются! Кто-то хочет от меня чего-то. Кто-то хочет сказать мне что-то важное, решающее, от чего зависит жизнь и смерть. Нет, мне нельзя уходить, я останусь здесь на посту! Я не желаю терять ни минуты.

И я опускаюсь на жесткий стул, подставленный мне портье, и жду, пряча голые ноги под шинелью, не сводя глаз с телефона. Я жду четверть часа, полчаса, дрожа от беспокойства и, может быть, от холода, поминутно вытирая рукавом рубашки выступающий на лбу пот. Наконец — «трр!» — звонок. Я бросаюсь к телефону, хватаю трубку: вот, вот сейчас я все узнаю.

Но я ошибся самым нелепым образом, и портье тут же указывает мне на мою ошибку. Звонил не телефон, а дверной колокольчик: портье торопливо отпирает дверь запоздавшей парочке. Брядая шпорами, в вестибюль входит какой-то ротмистр с девушкой и мимоходом бросает удивленный взгляд на сидящего в швейцарской странного человека с голой шеей и голыми ногами, выглядывающими из-под офицерской шинели. Не-

брежно отдав честь, он со своей спутницей скрывается в полутьме лестницы.

Я больше не в силах ждать. Покрутив ручку, спрашиваю телефонистку:

— Вызова еще нет?

— Какого вызова?

— Из Вены... кажется, из Вены... полчаса назад.

— Я проверю еще раз. Одну минутку.

Минута тянется долго. Наконец звонок. Но это телефонистка. Она успокаивает меня:

— Я уже запросила, пока еще ответа нет. Подождите несколько минут, я позвоню вам.

Ждать! Ждать еще несколько минут! Минуты! Минуты! В одну секунду может умереть человек, решиться судьба, погибнуть весь мир! Почему меня заставляют ждать, ждать так преступно долго? Ведь это же пытка, безумие! Часы показывают уже половину второго. Целый час сижу я здесь, дрожу, и мерзну, и жду.

Наконец-то, наконец-то снова звонок. Я весь обрываюсь в слух, но телефонистка лишь коротко сообщает:

— Я только что получила ответ. Абонент аннулировал заказ.

— Аннулировал? Что это значит? Аннулировал? Одну секунду, барышня.— Но она уже отключилась.

Почему аннулировал? Почему они звонят мне в половине первого ночи, а потом отменяют заказ? Наверняка случилось что-то, чего я не знаю, но должен узнать. Это ужасно — не иметь возможности преодолеть расстояние, время! Может быть, мне самому позвонить Кондору? Нет, сейчас уже слишком поздно! Это испугает его жену. Наверное, потому он и не стал звонить сейчас, а позвонит еще раз утром.

Эта ночь — я не могу ее описать. С молниеносной быстротой пронеслись в моем мозгу какие-то смутные образы, картины, чудовищным хором кружились самые дикие мысли; несмотря на утомление, каждый нерв во мне был напряжен до предела, я ждал, все время ждал, прислушиваясь к шагам на лестнице и в коридоре, к каждому звонку колокольчика, я жадно ловил каждый звук, каждое движение и в то же время почти падал от усталости, измотанный, опустошенный, — и потом сон,

слишком глубокий, слишком долгий сон, словно смерть, словно бездонное ничто.

Когда я проснулся, в комнате было совсем светло. Взглянул на часы — половина одиннадцатого. Боже мой, ведь полковник приказал, чтобы я сейчас же по приезде явился к начальству! Опять, прежде чем я успеваю подумать о личном, мое сознание автоматически переключается на служебные дела. Надев мундир и шинель, я сбегая вниз. Портье хочет что-то сказать мне. Нет, все остальное потом! Прежде всего явиться в штаб, я дал полковнику честное слово. Поправив фуражку, я вхожу в канцелярию. Но там сидит лишь маленький рыжий унтер-офицер; увидев меня, он испуганно вскакивает.

— Скорее вниз, господин лейтенант, там зачитывают приказ. Господин обер-лейтенант приказал, чтобы все офицеры и рядовые гарнизона были выстроены ровно в одиннадцать. Пожалуйста, поторопитесь.

Я слетаю с лестницы. В самом деле, все выстроились во дворе, весь гарнизон, и едва я успеваю занять место рядом с фельдкуратором, как появляется командир дивизии. Он подходит очень медленно, торжественно разворачивает какую-то бумагу и начинает читать громким, раскатистым голосом:

— «Произошло ужасное преступление, наполненное отвращением сердца подданных Австро-Венгрии и людей всего цивилизованного мира. («Какое преступление?» — испуганно думаю я. Меня охватывает непроизвольная дрожь, словно я сам совершил его.) Коварное убийство («Какое убийство?»)... нашего возлюбленного престолонаследника, его императорского и королевского высочества, эрцгерцога Франца-Фердинанда и ее высочества, его супруги. («Что? Убили престолонаследника? Когда же это? Ах да, верно, ведь тогда в Брюнне собралась толпа перед объявлением — значит, вот в чем было дело!)... повергло в глубокую печаль наш светлейший императорский дом. Но австро-венгерская армия...»

Дальнейшее я почти не слышу. Не знаю почему, но слова «преступление», «убийство», точно молния, ударили мне в грудь. Мой испуг не мог быть большим, даже если бы я сам был убийцей. Преступление, убийство — именно так говорил Кондор. Я вдруг перестаю слы-



шать, что болтают, о чем кричит этот увешанный орденми человек с султаном на кивере. Я вдруг сразу вспоминаю о ночном звонке. Почему Кондор ничего не сообщил мне утром? Или там все-таки ничего не случилось? После читки приказа я, пользуясь суматохой и не доложившись обер-лейтенанту, бегу назад в гостиницу: может быть, за это время Кондор все же позвонил мне.

Портье протягивает мне телеграмму. Оказывается, она была получена рано утром, но я так быстро ушел, что он не успел передать ее мне. Я разрываю конверт... В первую секунду ничего не понимаю. Никакой подписи! Абсолютно непонятный текст! Только потом до меня доходит: это не что иное, как почтовое уведомление,— моя телеграмма, отправленная в три пятьдесят восемь из Брюнна, не может быть доставлена.

Не может быть доставлена? Телеграмма не может быть доставлена Эдит Кекешфальве? Ведь в городке ее знает каждый. Я больше не в силах выносить неизвестность. Тут же я прошу заказать телефонный разговор с Веной, с доктором Кондором.

— Срочно? — спрашивает портье.

— Да, срочно.

Через двадцать минут Вена отвечает, и вот — ирония судьбы! — Кондор дома и сам подходит к телефону. Еще три минуты, и я знаю все — междугородный разговор не оставляет времени для вступлений. Дьявольская случайность все погубила, и несчастная так и не узнала о моем раскаянии, о моем искреннем, от всего сердца принятом решении. Старания полковника замять дело оказались напрасными. Ференц вместе с товарищами направился из кафе не домой, а в другой кабачок. К несчастью, они встретили там аптекаря в многолюдном обществе, и Ференц, этот добродушный болван, тотчас набросился на него, просто из любви ко мне. В присутствии всех он потребовал у него объяснений и обвинил в том, что он распространяет обо мне такую низкую ложь. Разразился ужасный скандал, на следующий день об этом говорил весь город. Оскорбленный аптекарь рано утром явился в казарму, чтобы призвать меня в свидетели, и, узнав о моем подозрительном исчезновении, тут же поехал в усадьбу. Там он набросился на

старика в его кабинете и орал так, что стекла дрожали. Кекешфальвы сделали его посмешищем своей «дурацкой телефонной болтовней», он, старожил города, не станет терпеть оскорбления от этой офицерской банды. Уж он-то знает, почему я так трусливо сбежал; что бы ни болтали, он не поверит, что это была просто шутка. Какая неслыханная подлость с моей стороны, но пусть ему придется дойти до министерства, он выведет меня на чистую воду и ни в коем случае не позволит всяким соплякам оскорблять его в публичном месте.

С большим трудом удалось утихомирить и выпроводить из усадьбы разбушевавшегося аптекаря; пораженный Кекешфальва надеялся только, что Эдит не слышала страшных обвинений. Но по роковой случайности окна кабинета были открыты и крики аптекаря отчетливо долетели через двор в гостиную, где она сидела. Возможно, она сразу приняла решение, которое уже давно зрело в ее мозгу. Но Эдит умела притворяться, она попросила еще раз показать ей новые платья, шутила с Илоной, была очень ласкова с отцом, спрашивала о всевозможных мелочах: приготовлено ли то, упаковано ли это. И все же тайком попросила Йозефа позвонить в казарму и узнать, когда я вернусь и не просил ли я что-нибудь передать ей. Сообщение вестового, что я уехал в служебную командировку на неопределенное время и не оставил никаких распоряжений, было последним ударом. Охваченная нетерпением, она не захотела ждать ни одного дня, ни одного часа. Ее разочарование во мне было слишком жестоким, рана, нанесенная мной, слишком глубокой. Она больше не могла доверять мне — моя слабость придала ей силы.

После обеда она приказала поднять себя на террасу. Илона, словно что-то смутно предчувствуя, была обеспокоена ее необычной веселостью и не отходила от нее ни на шаг. Но в половине пятого — как раз в тот час, когда я обычно приходил к ней, — за пятнадцать минут до того, как прибыла моя телеграмма и приехал Кондор, Эдит попросила подругу принести ей какую-то книгу, и Илона, к несчастью, уступила этой невинной просьбе. Одной минуты было достаточно. Эдит, не в силах совладать с мучительным нетерпением, привела в исполнение свой замысел — точно так, как она говорила мне одна-

жды,— на той самой террасе. Все произошло, как в моих кошмарных видениях.

Кондор еще застал ее в живых. Как это ни странно, ее легкое тело не получило значительных повреждений; в бессознательном состоянии ее доставили в Вену на санитарной машине. До поздней ночи врачи еще надеялись ее спасти, и потому в восемь часов вечера Кондор позвонил мне из больницы. Но в ту ночь, на двадцать девятое июня, после убийства престолонаследника, поднялась тревога во всех учреждениях империи, и телефонные линии были отданы в распоряжение гражданских и военных властей. Четыре часа Кондор тщетно ждал связи. Лишь после полуночи, когда врачи установили, что надежды больше нет, он аннулировал заказ. Полчаса спустя Эдит скончалась.

**Я** уверен, что из сотен людей, призванных в те августовские дни, лишь немногие шли на фронт так хладнокровно и даже нетерпеливо, как я. Не потому, что я жаждал воевать; я видел в этом всего лишь выход, спасение для себя; я бежал на войну, как преступник в ночную тьму. Четыре недели до начала военных действий я был в безысходном отчаянии и растерянности. Я презирал себя, и сейчас еще воспоминание о тех днях для меня мучительнее самых ужасных часов на поле битвы. Ибо я знаю, что своей слабостью, своей жалостью — когда я подал надежду, а затем сбежал — я убил человека, единственного человека, который страстно любил меня. Я не решался выходить на улицу, сказался больным и сидел в комнате. Я написал Кекешфальве, чтобы выразить свое участие; увы, там действительно не обошлось без моего участия — он не ответил. Я засыпал Кондора письмами с объяснениями и оправданиями, он не отвечал. Я ни строчки не получил ни от товарищей, ни от отца — на самом деле, конечно, потому, что в это критическое время он был перегружен работой в министерстве. Но мне это единодушное молчание казалось заговором осуждения. Все сильнее овладевала мной безумная мысль: все осудили меня так же, как я сам осудил себя, и считают меня убийцей, потому что я сам считал себя таковым. В то время, когда вся

страна была взбудоражена, когда по всей Европе гудели провода, передавая страшные известия, когда шатались биржи, мобилизовывались армии, а наиболее осторожные уже упаковывали чемоданы,— в то время я думал только о своем предательстве, о своей вине. Отправка на фронт означала для меня освобождение, война, погубившая миллионы невинных, спасла меня, виновного, от отчаяния (не подумайте, что я восхваляю ее).

Я терпеть не могу громких слов. Поэтому я не говорю, что искал смерти. Я говорю лишь, что не боялся ее или по крайней мере боялся меньше, чем большинство других. И возвращение в тыл, где были люди, знавшие о моей вине, страшило меня больше, чем все ужасы войны,— да и куда мне было возвращаться, кому я был нужен, кто еще любил меня, для кого, для чего мне было жить? Поскольку быть храбрым означает не что иное, как не испытывать страха,— в этом нет ничего возвышенного, я не солгу, если скажу, что действительно был храбрым в бою, так как даже то, чего самые мужественные из моих товарищей боялись больше смерти — быть искалеченным, стать обрубком,— не пугало меня. Наверное, если бы я сам оказался беспомощным калекой, предметом чужого сострадания, я воспринял бы это как заслуженную кару, как справедливое возмездие за то, что мое собственное сострадание было слишком трусливым и бессильным. Если смерть не настигла меня, это не моя заслуга; десятки раз я шел ей навстречу, с холодным равнодушием смотрел ей в глаза. Когда вызывали добровольцев на особо опасное дело, я был в числе первых. Когда приходилось жарко, я чувствовал себя хорошо. Оправившись после первого ранения, я попросил перевести меня в пулеметную роту, потом в летную часть; кажется, мне действительно удалось там кое-чего добиться на наших «гробах». Но всякий раз, когда в приказе слово «храбрость» упоминалось рядом с моей фамилией, я чувствовал себя обманщиком. А если кто-нибудь слишком пристально вглядывался в мои ордена и медали, я поскорее отворачивался.

Когда эти четыре бесконечных года остались позади, я, к моему удивлению, обнаружил, что, несмотря ни на что, могу жить в том, прежнем мире. Ибо мы, воз-

вратившиеся из ада, ко всему подходили теперь с новой меркой. Одно дело — иметь на своей совести смерть человека в мирное время и совсем другое — если ты прошел через мировую бойню. В этом огромном кровавом болоте моя личная вина целиком растворилась во всеобщей вине; ведь я сам, своими руками установил пулемет, который в бою под Лимановой начисто скопил первую волну атакующей русской пехоты. Потом я сам видел в бинокль остекленевшие глаза убитых мною людей, смотрел на раненых, которые часами стонали, повиснув на колючей проволоке, пока не погибали в муках. Под Герцем я сбил самолет, он три раза перевернулся в воздухе, потом среди камней взметнулся столб пламени, и мы своими руками обыскивали обугливающиеся, еще дымящиеся трупы. Тысячи и тысячи людей, шагавших со мной в одном строю, делали одно и то же: убивали — карабином, штыком, огнеметом, пулеметом и просто кулаком — все мое поколение, сотни тысяч, миллионы во Франции, России, Германии. Какое значение имело одно убийство, одна личная вина в сравнении с тысячами убийств, с мировой войной, с массовым разрушением и уничтожением человеческих жизней, самым чудовищным из всех, какие знала история?

И еще одно: в этом возвращении мира мне уже не угрожал ни один свидетель моего преступления. Никто не мог обвинить в давнишнем трусливом поступке человека, отмеченного высшей наградой за храбрость, никто не мог упрекнуть меня за мою роковую слабость. Кекешфальва ненадолго пережил свою дочь; Илона, ставшая женой нотариуса, жила в какой-то югославской деревне, полковник Бубенчич застрелился на Саве; мои товарищи или погибли, или давно позабыли ничтожный эпизод — ведь за эти четыре апокалиптических года все, что было «прежде», стало таким же никчемным и недействительным, как старые деньги. Никто не мог обвинить меня, никто не мог меня осудить; я чувствовал себя, как убийца, который только что закопал труп своей жертвы в лесу, и вдруг выпадает снег, белый, густой, тяжелый; он знает, что это покрывало на много месяцев скроет его преступление, а потом всякий след затеряется. И я набрался мужества и стал жить. Так как никто не напоминал мне о моей вине, я и сам забыл

о ней. Сердце умеет забывать легко и быстро, если хочет забыть.

Один только раз прошлое напомнило о себе. Я сидел в партере венской Оперы, у прохода в последнем ряду; мне хотелось еще раз послушать «Орфея» Глюка, чья затаенная, чистая грусть волнует меня больше, чем любая другая музыка. Только что кончилась увертюра, во время короткой паузы зал не освещался, но позволяли нескольким опоздавшим занять свои места. К моему ряду тоже подошли две тени: мужчина и женщина.

«Разрешите»,— вежливо наклонился ко мне мужчина. Не глядя на него, я встал, чтобы пропустить их. Но, вместо того чтобы сесть в свободное кресло рядом со мной, он сначала пропустил вперед свою спутницу, бережно и ласково поддерживая и направляя ее; он не только заботливо провел ее по узкому проходу, но и предупредительно придерживал сиденье, пока она не опустилась в кресло. Такая заботливость была слишком необычной, чтобы не привлечь мое внимание. «Ах, это слепая»,— подумал я и взглянул на нее с невольным сочувствием. Но тут полный господин сел рядом со мной, и я вздрогнул: это был Кондор! Единственный человек, который знал все, всю подноготную моего преступления, сидел так близко от меня, что я слышал его дыхание. Человек, чье сострадание было не убийственной слабостью, как мое, а спасительной силой и самопожертвованием,— единственный, кто мог осудить меня, единственный, перед кем мне было стыдно! Как только в антракте вспыхнут люстры, он тотчас меня увидит.

Меня охватила дрожь, и я торопливо заслонил лицо рукой, чтобы он не узнал меня. Я больше не слышал ни одного такта любимой музыки: удары моего сердца заглушали ее. Близость этого человека, который один в целом мире знал обо мне правду, была невыносима для меня. словно сидя в темноте голый среди этих хорошо одетых людей, я с ужасом ждал, что вот-вот загорится свет и мой позор станет явным. И когда после первого акта начал опускаться занавес, я, наклонив голову, быстро покинул зал,—вероятно, Кондор не успел меня разглядеть в полумраке. Но с той минуты я окончательно убедился, что никакая вина не может быть предана забвению, пока о ней помнит совесть.

# Л Е Г Е Н Д Ы





# ЛЕГЕНДА О ТРЕТЬЕМ ГОЛУБЕ



**В**

книге о начале времен рассказано о первом голубе и о втором голубе, которых прародитель Ной выпустил из ковчега, когда закрылись источники бездны и окна небесные и перестал дождь с неба. Но кто поведал о странствиях и участии третьего голубя? К вершине горы Арарат пристал спасительный ковчег, укрывший в своих недрах всякую жизнь, которая была по-

щажена от потопа; и когда прародитель увидел вокруг лишь валы и волны, тогда выпустил он первого голубя, дабы узнать, видна ли уже где-нибудь земля под очи- стившимся от туч небом.

И первый голубь, так рассказано в книге, поднялся и взмахнул крылами. Он полетел на восток, полетел на запад, но вода была повсюду. Нигде не нашел он места покоя для ног своих, и мало-помалу крылья его стали ослабевать. Тогда голубь вернулся к единственному оплоту на земле, к ковчегу, и летал вокруг покоившегося на горной вершине судна, пока Ной не простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег.

Ной помедлил семь дней, и в эти семь дней дождь не лился на землю, и вода постепенно возвращалась с нее; тогда он взял второго голубя и выпустил его. Утром вылетел голубь, а когда возвратился в вечернее время, свежий масличный лист был в клюве у него как первый знак, что освободилась земля; и Ной узнал, что верхушки деревьев уже выступили над водой и что миновало испытание.

Он помедлил еще семь дней и выпустил третьего голубя, и голубь полетел в мир. Он вылетел утром и уже не возвратился вечером. Ной ждал день за днем, но голубь не вернулся к нему. И прародитель узнал, что вода сошла с лица земли. О голубе же третьем он больше ничего не слышал, и не слышал род людской, ни разу никто не поведал о нем вплоть до наших дней.

Вот повесть о странствиях и участии третьего голубя. Утром вылетел он из душного ковчега, где в темноте роптали от нетерпения твари и стоял стук копыт и когтей, дикий рев, и свист, и шипение, и лай; из тесноты вылетел он в необъятную ширь, из тьмы— на свет. И едва он взмахнул крылами в ясном, душистом от дождя воздухе, как повеяло на него свободой и благодатью бесконечности. Внизу блестели воды, подобно влажному мху зеленели леса, с лугов поднимался утренний пар, и сладко пахло соками прорастающих трав. Сверкала гладь небес, восходящее солнце играло сотнями зорь на зубцах горных вершин, точно красная кровь, адело от него море, точно жаркая красная кровь, дымилась цветущая земля. Блаженным взором созерцал голубь пробуждение мира, на простертых крыльях паря

над ним, над морями и сушей летал он в светлом сне и сам становился крылатым сном. Подобно господу богу, он первый смотрел на освобожденную землю и не мог насмотреться. Давно позабыл он, зачем седобородый патриарх выпустил его из ковчега, давно позабыл, что надо вернуться. Ибо мир стал ему отчизной, а небо—родным домом.

Так летел третий голубь, неверный посланец прародителя, над пустынным миром, все дальше гнал его вихрь счастья, ветер блаженного нетерпения, все дальше летел он, все дальше, пока не отяжелели у него крылья и не стали, точно свинец. Земля властно влекла его к себе, все ниже опускались усталые крылья, они уже задевали верхушки влажных деревьев и наконец на исходе второго дня голубь опустился в глубь леса, еще безыменного, как все в начале времен. Он схоронился в чаще ветвей, чтобы отдохнуть от дальнего полета, ветки прикрывали его, ветер баюкал, прохладно было днем среди листвы и тепло ночью в лесном приюте. Вскоре он забыл о небе, где веет ветер, и о манящей дали, зеленый свод укрыл его, и годы без счета скоплялись над ним.

Тот лес, который голубь избрал себе жилищем, был лес знакомого нам мира, но люди еще не обитали в нем, и в этом уединении голубь постепенно и сам стал сном. В зеленом мраке приютился он, и время текло мимо него, и смерть забыла о нем, ибо все те твари, от каждого рода по одной, которые видели мир в начале его, до потопа, умереть не могут, и охотники не властны их убить. Незримо гнездятся они в заповедных складках того покрова, которым одета земля,—так и этот голубь укрылся в чаще леса. Правда, временами он чувал присутствие людей: то гремел выстрел и стократно отдавался под зеленым сводом, то дровосек рубил дерево, и гул стоял в лесной чаще, то звучал воркованьем тихий смех влюбленных, которые, обнявшись, шли по укромным тропкам, то звенела издали песенка детей, ходивших по ягоды. Забытый голубь, окутанный листвой и сном, слышал порой эти голоса мира, но без страха внимал им и не покидал своего темного пристанища.

Но наступил день, когда загудел весь лес, и пошел такой гром, что казалось, земля раскалывается надвое.

По воздуху со свистом носились черные железные комья, и куда они падали, там в страхе дыбом вставала земля и деревья ломались, как былинки. Люди в разноцветных одеждах бросали друг в друга смерть, а чудовища-машины изрыгали пламя пожаров. Молнии взвивались с земли из облака, и гром вторил им; казалось, будто земля хочет взлететь в небо или небо низвергнуться на землю. Голубь очнулся от сна. Над ним была смерть и погибель; как некогда воды потопа, так бушевал теперь над миром огонь. Голубь взмахнул крылами и устремился ввысь, дабы вместо горящего леса найти себе другой приют, приют мира.

Он устремился ввысь и полетел над нашей землей в поисках мира, но куда он ни залетал, повсюду люди сверкали молниями и громыкали громами, повсюду была война. Море огня и крови, как некогда, затопило землю, снова настал всемирный потоп, и голубь неутомимо носился над нашими странами, чтобы найти место покоя, а потом воспарить к праотцу и принести ему масличный лист надежды. Но нигде в эти дни не мог он найти масличный лист, все выше вздымались волны погибели, все ширилось по земле пламя пожаров. Еще не обрел голубь место покоя, еще не обрело человечество мир, и не может он вернуться домой, не может успокоиться навеки.

Никто не видел таинственного заблудшего голубя, что ищет мира в наши дни, и все же он парит над нами, испуганный и усталый. Иногда, и только по ночам, внезапно проснувшись, можно услышать, как где-то вверху шелестят крылья в торопливом полете, в тревожных, отчаянных поисках. Нашими мрачными думами отягощены эти крылья, наши чаяния трепещут в их тревожных взмахах, ибо тот заблудший голубь, что дрожа парит между небом и землей, тот неверный посланец былых времен ныне несет праотцу рода человеческого весть о нашей собственной судьбе. И вновь, как тысячи лет назад, целый мир ждет, чтобы кто-то простер руку навстречу ему и признал, что пора положить конец испытанию.

# ГЛАЗА ИЗВЕЧНОГО БРАТА

Сие есть повесть о Вирате, коего народ прославил четырьмя цемнами добродетели, но кто не упомянут ни в летописях властителей, ни в книгах мудрецов и чья память забыта людьми.



Сколь ни страшна б ты деянья, в своей ты воле  
не свободен.

Ведь каждый шаг и каждый вздох твой суть  
деянье.

*Бхагавадгита, песнь третья.*

Что есть деянье? Что бездействие? Для мудрецов  
загадка.

Остерегаться должно и деянья, и проступка,  
Остерегаться и бездействия пустого. Глубок, как бездна,  
смысл деянья.

*Бхагавадгита, песнь четвертая.*



те времена, когда мудрый Будда еще не ходил по земле и не проливал свет познания на своих слуг, жил в стране бирвагов, у царя Раджпутаны, знатный человек Вирата, которого называли Молнией Меча, ибо он был воин, храбрее самых храбрых, и охотник, чьи стрелы никогда не летели мимо цели, чье копье никогда не взвивалось напрасно и чья рука

разила как гром при взмахе его меча. Его чело было светло, взгляд открыто встречал взоры людей: никто не видал его злобно сжимающим руку в кулак, никогда его голос не возвышался до гневного крика. Он преданно служил своему государю, а его рабы почтительно служили ему, ибо не было более справедливого человека на пяти излучинах реки. Благочестивые люди склоняли голову, проходя мимо его дома, а дети улыбались, встречая его взор.

Однажды царя постигло несчастье. Брат его жены, которого он поставил правителем над половиной своего царства, пожелав завладеть и второй половиной, тайными подарками соблазнил лучших царских воинов, чтобы они служили ему. Он уговорил жрецов доставить ему ночью священных цапель озера, уже много тысячелетий служивших символом власти в стране бирвагов. Мятежник снарядил боевых слонов, собрал войско из недовольных жителей гор и, взяв с собой священных цапель, грозно выступил против столицы.

Царь приказал с утра до вечера бить в литавры и трубить в рога из слоновой кости; по ночам на башнях зажигали огни и бросали в пламя растертую чешую рыб, которая желтыми искрами взлетала к звездам в знак призыва. Но пришли лишь немногие: весть о похищении священных цапель тяжело легла на сердца вождей и наполнила их боязнью. Начальник воинов и хранитель слонов, самые испытанные из полководцев, пребывали уже в лагере врага, и тщетно искал вокруг себя друзей покинутый царь (ибо он был суровый властитель, строгий судья и неумолимый собиратель податей). Никого из доблестных военачальников не нашел он перед своим дворцом, а лишь толпу растерянных рабов и слуг.

В своей великой беде царь вспомнил о Вирате, заявившем о верности своей при первом звуке рогов. В носилках черного дерева царь велел отнести себя к дому Вираты. Вирата пал ниц, когда царь вышел из носилок, но тот поднял и обнял его, прося повести войско против врага. Вирата склонил голову и сказал:

— Я сделаю это, господин, и не вернусь в этот дом, пока пламя мятежа не будет растоптано ногами твоих слуг.

И он собрал своих сыновей, своих родичей и рабов, примкнул с ними к кучке верных царю воинов и построил их для похода. Весь день пробирались они сквозь лесные дебри к реке, на другом берегу которой в несметном множестве собрались враги, похваляясь своей силой и рубя деревья для моста, чтобы наутро переправиться и, потоком хлынув на страну, затопить ее кровью. Но Вирата, ходивший раньше на тигров, знал брод выше по течению, и, когда сгустилась тьма, он одного за другим перевел своих людей через реку, и среди ночи они врасплох напали на спящего врага. Они размахивали смоляными факелами, пугая слонов и буйволов, и те, обращаясь в бегство, топтали спящих при белом свете пламени, врывавшегося в шатры. Вирата же первым вбежал в шатер изменника и, прежде чем пришли в себя спавшие, он уже убил двоих, а третьего зарубил в тот миг, когда тот хотел схватиться за меч. С четвертым и пятым Вирата бился один на один во мраке и поразил первого из них в лоб, а другого в обнаженную грудь. Когда же они безмолвно легли, тени среди теней, он загородил собой вход в шатер, дабы никто не проник внутрь, ибо он желал спасти белых цапель, священный символ божества. Но враги больше не показывались, они в смертельном страхе бежали с поля битвы, а за ними, с криками торжества, гнались победоносные слуги царя. Погоня промчалась мимо и мало-помалу затихла вдали. Тогда Вирата спокойно сел у входа, скрестив ноги; держа в руках окровавленный меч, он ожидал возвращения своих спутников после жаркой схватки.

Прошло немного времени, и божий день занялся за лесом, пальмы вспыхнули золотым багрянцем зари и за сверкали, как факелы, над рекой. Огненной раной прорезало восток кровавое солнце. Тогда Вирата встал, снял с себя одежду и, воздев над головою руки, подошел к воде: он склонился в молитве перед сверкающим оком бога. Потом вошел в воду для священного омовения, и кровь стекла с его рук. Когда же рассвет белой волной коснулся его чела, он вышел опять на берег, облачился в свою одежду и с просиявшим лицом вернулся к шатру, чтобы при свете утра посмотреть на подвиги ночи. С застывшим ужасом в чертах, с широко открытыми глазами, раскинув руки, лежали мертвые:

с раскroенным лбом — зачинщик мятежа и с расщепленной грудью — изменник, бывший ранее предводителем войска в стране бирвагов. Вирата закрыл им глаза и шагнул дальше — взглянуть на тех, кто пал во сне от его меча. Они лежали, полуприкрытые циновками, и лица двоих были ему неведомы, — это были рабы мятежника из южной страны, с курчавыми волосами и черной кожей. Но когда он повернул к себе лицо последнего, у него потемнело в глазах, ибо это был его старший брат Белангур, горный князь, которого мятежник призвал к себе на помощь и которого он, Вирата, убил ночью собственной рукой. С дрожью склонился он над скорченным телом; но сердце больше не билось, неподвижно застыли раскрытые глаза убитого, и их черные зрачки проникали Вирате в самое сердце. Великому воину стало трудно дышать; как неживой, сидел он между мертвыми, отбравив взор, чтобы не видеть обвиняющих, застывших очей того, кто был рожден его матерью до него.

Но вскоре раздались громкие клики. Подобно стае диких птиц, ликуя, возвращались после погони воины с богатой добычей и веселой душой. Увидев мятежного князя, убитого в своем стане, и священных цапель в сохранности, они стали плясать и прыгать от радости, и целовали край ниспадавшей одежды у безучастно сидевшего среди них Вираты, и прославляли его новым именем — Молнией Меча. Подходили все новые и новые воины; они грузили добычу на повозки, но колеса под тяжестью поклажи так глубоко увязали в земле, что приходилось бить буйволов терновником, чтобы сдвинуть их с места. Гонец бросился в реку и поспешил вперед, чтобы доставить весть царю, а воины остались при добыче и торжествовали победу. Но молча, в глубоком раздумье сидел Вирата. Только раз возвысил он голос, когда его люди хотели похитить одежду с убитых. Тогда он встал и приказал сложить костер и возложить на него тела убитых для сожжения, дабы души их чистыми вступили на путь перевоплощения. Слуги дивились, что он поступает так с заговорщиками, чьи тела следовало бы бросить на растерзание шакалам, а кости оставить на земле, дабы солнце иссушило их; но они исполнили его волю. Когда костер был готов, Вирата сам разжег его и бросил в огонь благовония. Потом он отпра-



тил лицо и стоял в молчании, пока не рухнули последние бревна и пепел не покрыл опавшее пламя.

Тем временем рабы закончили наводку моста, накануне с хвастовством начатую противником. Впереди шествовали воины, увенчанные цветами банана, за ними следовали рабы, ехали верхом князя. Вирата пропустил всех вперед, ибо пенне и клики разрывали ему сердце, и когда наконец он тоже двинулся в путь, между ним и шествием, по его воле, был некоторый промежуток. Посреди моста он остановился и долго смотрел вниз, вправо и влево, в текущую воду, впереди же и позади него, соблюдая расстояние, остановились в недоумении воины. И они увидели, как он замахнулся мечом, будто грозя небу, но, опуская руку, тихо выпустил рукоять, и меч упал в воду. С обонх берегов бросились в реку нагие юноши, чтобы достать его, полагая, что меч случайно выскользнул из рук Вираты, но он строго отозвал их и медленно, с омраченным челом, прошел между удивленными рабами. Ни единого слова не сорвалось с его уст, пока шествие, час за часом, тянулось по желтой дороге к родному городу.

Они были еще далеко от яшмовых ворот и зубчатых башен Бирваги, как вдруг вдали поднялось белое облако. Оно катилось им навстречу, и вот из него, обгоняя пыль, показались скороходы и всадники. Завидя войско, они остановились и устлали дорогу коврами в знак того, что за ними следует царь, чья нога никогда не должна касаться земного праха с часа его рождения и до часа смерти, когда пламя охватит его освященное тело. И уже приближался на древнем слоне царь, окруженный своими отроками. Послушный вожаку, слон опустился на колени, и царь сошел на разостланный ковер. Вирата хотел склониться перед своим господином, но царь подошел к нему и принял его в свои объятия — честь, не слыханная с начала времен и не упоминаемая в летописях. Вирата приказал принести цапель, и, когда они взмахнули белыми крыльями, раздалось такое ликование, что кони стали взвиваться на дыбы, а погонщики должны были укрощать слонов. Увидя это знамение победы, царь опять обнял Вирату и подал знак одному из слуг. Тот принес и подал меч славного праотца раджпуттов, семь раз семьсот лет пролежавший в цар-

ской сокровищнице; рукоять его сверкала алмазами, а на клинке золотыми письменами начертаны были таинственные слова победы на древнем языке предков, которого уже не знали ни мудрецы, ни жрецы главного храма. И царь подал Вирате этот меч мечей как дар своей признательности и в знак того, что отныне Вирата будет старшим из его военачальников и предводителем всех его войск.

Но Вирата склонился до земли и сказал:

— Могу ли я испросить милость милостивейшего и обратиться с просьбой к великодушнейшему из царей?

Царь устремил взор на Вирату и отвечал:

— Твоя просьба будет исполнена, прежде чем ты подымешь на меня глаза. И если потребуешь половину моего царства — она твоя, лишь только ты откроешь уста.

И Вирата сказал:

— Так дозвожь же, о царь, чтобы этот меч по-прежнему хранился в сокровищнице, ибо в сердце своем я дал обет никогда больше не брать в руки меча, после того как ныне я убил моего брата единственного, который вышел из одного лона со мной и с которым я играл, когда мать держала меня на руках.

Изумленно взглянул на него царь и сказал:

— Будь же без меча старшим из моих военачальников, чтобы царство мое было неприступным для врагов, ибо никогда ни один герой не вел лучше тебя рать против превосходящих сил. Возьми мой пояс, как знак власти, и моего коня, дабы все узнали в тебе первого из моих воинов.

Но Вирата еще раз склонился до земли и промолвил:

— Незримый подал мне знак, и мое сердце поняло его. Я должен был убить моего брата затем, чтобы узнать, что всякий убивающий человека лишает жизни брата. Я не могу быть вождем на войне, ибо в мече — насилие, а насилие враждует с правом. Тот, кто причастен к греху убийства, — мертв сам. Я же не хочу, чтобы от меня исходил страх, и предпочту есть хлеб подаяния, чем погрешить против этого поданного мне знака. Коротка жизнь в вечном перевоплощении, дай же мне прожить свой срок праведным.

Лицо царя омрачилось, и зловещая тишина сменила шум ликования, ибо не слыхано было со времен отцов и

праотцев, чтобы свободный человек отрекался от войны и князь не принял подарка от своего государя. Но царь взглянул на священных цапель, символ победы, добытой Виратой, лицо его вновь просветлело, и он сказал:

— Храбрым перед лицом врагов я всегда знал тебя, Вирата, и справедливейшим среди подданных моего царства. Если я должен обойтись без тебя на войне, то я все же не хочу лишиться твоих услуг. Так как ты знаешь тяжесть вины и справедливо взвешиваешь ее, будь верховным судьей и верши суд на ступенях моего дворца, дабы истина находила приют в моих стенах и право охранялось в стране.

Вирата простерся перед царем и в знак благодарности коснулся его колена. Царь приказал ему сесть на слона рядом с собой, и они въехали в шестидесятибашенный город, где ликование жителей обступило их бушующим морем.

С высоты розовой лестницы, под сенью дворца, с восхода и до заката Вирата вершил суд именем царя. И слово его было, как весы, которые долго колеблются, прежде нежели измерить груз: его взор ясно читал в душе виновного, и его вопросы упорно проникали в тайны преступлений, как барсуки проникают в темные недра земли. Строг был его приговор, но никогда не выносил он решения в тот же день, оставляя прохладный покой ночи между допросом и осуждением. В долгие часы перед солнечным восходом домашние его часто слышали, как он неустанно ходит взад и вперед по кровле дома, размышляя о правде и кривде. Перед тем как изречь приговор, он окунал руки и лоб в воду, дабы его слово было свободно от горячности. И всегда, произнеся приговор, он спрашивал преступника, не считает ли тот решение неправильным; но редко кто-либо спорил: молча целовали осужденные ступень у его ног и с поникшей головой принимали наказание, как божью кару.

Но никогда уста Вираты, даже за тяжчайшие злодеяния, не возвещали смерть, и он не внимал корившим его за это. Ибо его страшила кровь. И в те годы дождь добела омыл почерневшие от пролитой крови камни круглого колодца праотцев раджпуттов, над краем кото-

рого палач пригибал головы для смертоносного удара. И все же в стране совершалось не больше злодеяний. Вирата заточал преступников в каменные темницы или ссылая их в горы, где они должны были выламывать камень для садовых оград, и на рисовые мельницы, где они вместе со слонами вертели колеса. Но он чтит жизнь, и люди чтят его, ибо никогда не замечали ошибок в его приговорах, небрежности в его допросах или гнева в его речах. Издалека приезжали к нему в запряженных буйволами повозках земледельцы, чтобы он разрешил их тяжбы, жрецы внимали его словам, и царь следовал его советам. Слава его росла, как растет молодой бамбук, прямой и светлый, и люди забыли данное ему когда-то имя Молнии Меча, и по всей стране раджу-путов прославляли его как Источник Справедливости.

И вот когда Вирата уже шестой год вершил суд с высоты дворцовой лестницы, случилось однажды, что привели к нему юношу из племени хозаров — дикарей, живших среди скал и поклонявшихся иным богам. Ноги его были изранены от многодневного пути, которым его вели в столицу, и четырехкратные путы обвивали его мощные руки, чтобы он ни на кого не мог кинуться, как это грозно сулили его глаза, гневно сверкавшие из-под наспуленных бровей. Жалобщики привели его к подножию лестницы и силой поставили связанного на колени перед судьей. Потом они склонились сами и подняли руки в знак обвинения.

Вирата с удивлением смотрел на пришельцев.

— Кто вы, братья, пришедшие издалека, и кто тот, кого вы привели ко мне в путах?

Старейший из них поклонился и заговорил:

— Пастухи мы, господин, и мирно живем на востоке, этот же — злейший из злого племени — бешеный зверь, убивший людей больше, чем пальцев на его руках. Один из жителей нашей деревни отказался дать ему в жены свою дочь, потому что их племя нечестиво: они едят собак и убивают коров. И он выдал ее за купца из долины. Этот же, одержимый гневом, как разбойник, ворвался к нам, убил ночью отца девушки и его троих сыновей, а потом, когда случалось, что слуги убитого гнали скот в горы, он выслеживал их и убивал. Одиннадцать наших односельчан лишил он жизни, пока мы

не соединились и не сделали на злодея облаву, как на дикого зверя, и вот мы привели его к тебе, справедливейшему из судей, дабы ты избавил страну от насильника.

Вирата обратил лицо к связанному юноше.

— Правда ли то, что они говорят?

— Кто ты? Царь?

— Я Вирата, его слуга и слуга закона, поставленный налагать возмездие за вину и отделять правду от лжи.

Связанный долго молчал. Потом он угрюмо взглянул на Вирату.

— Как можешь ты знать, где правда и где ложь, когда знание твое питается только словом людским?

— Против их слова пусть прозвучит твое слово, дабы я узнал истину.

Связанный юноша презрительно поднял брови.

— Я не стану спорить с ними. Как можешь ты знать, что я сделал, если я сам не знаю, что творят мои руки, когда мной овладевает гнев? Я справедливо поступил с тем, кто продал женщину за деньги, справедливо поступил с его сыновьями и слугами. Пусть обвиняют меня. Я презираю их и презираю твой суд.

Гнев потряс присутствующих, когда они услышали, как закоснелый преступник поносит справедливого судью, и судебный страж уже занес суковатую палку для удара. Но Вирата движением руки усмирил их и возобновил вопросы. И после каждого ответа жалобщиков он вопрошал обвиняемого. Но тот стиснул зубы и только раз сказал со злобной усмешкой:

— Как хочешь ты узнать истину из чужих слов?

Солнце высоко стояло над головой в час полудня, когда Вирата прекратил допрос. Он поднялся, желая, по своему обыкновению, уйти домой и лишь на следующий день возвестить приговор. Но жалобщики простерли к нему руки.

— Господин, — сказали они, — семь дней шли мы, чтобы предстать пред твоим лицом, и семь дней продлится наш обратный путь. Мы не можем ждать до завтра, ибо скот наш гибнет от жажды и поле ждет нашего плуга. Господин, мы молим тебя, изреки приговор!

Тогда Вирата вновь опустился на ступени и задумался. Лицо его было напряжено, как у человека, несущего

щего на голове большую тяжесть. Никогда доселе не доводилось ему произносить приговор над преступником, который не просил о милости и не защищал себя. Долго думал он, и тени росли по мере того, как текли часы. Потом он подошел к колодцу, омыл лицо и руки в прохладной воде, дабы его слово было свободно от горячности, и сказал:

— Да будет справедлив приговор, который я изреку. Смертный грех принял на себя этот юноша, одиннадцать живых душ изгнал он из теплого тела в мир перевоплощения. Почти год зреет скрыто жизнь человека в лоне матери. Пусть же он за каждого убитого им будет заточен на год в подземный мрак. И за то, что он одиннадцать раз пролил человеческую кровь, да будет он каждый год, а всего одиннадцать раз, бичуем, пока кровь не брызнет из него, дабы он заплатил по числу своих жертв. Но жизнь пусть будет ему сохранена, ибо жизнь даруют боги, и человек не смеет посягать на божественное. Да будет справедлив приговор, который я изрек не в угоду кому-либо, а во имя великого воздаяния.

И снова опустился Вирата на ступени, и челобитчики поцеловали их в знак почтения. Но связанный юноша мрачно встретил устремленный на него вопрошающий взор судьи. Тогда Вирата сказал:

— Я призывал тебя просить меня о милосердии и помочь мне против твоих обвинителей, но уста твои не разомкнулись. Если есть заблуждение в моем приговоре, то вины перед всевышним не меня, а свое молчание. Я хотел быть милостивым к тебе.

Связанный встрепенулся:

— Мне не нужна твоя милость. Что она по сравнению с жизнью, которую ты у меня отнимаешь единым словом?

— Я не отнимаю у тебя твоей жизни.

— Ты отнимаешь ее, и отнимаешь более жестоко, чем делают это вожди нашего племени, которое называют диким. Почему ты не убиваешь меня? Я убивал один на один, ты же велишь закопать меня, как падаль, во мрак земли, дабы я гнил годами, потому что сердце твое робеет перед кровью и в тебе нет мужества. Произвол в твоём законе и пытка в твоём приговоре. Убей меня, ибо я убивал.

— Я справедливо отмерил твоё наказание...

— Справедливо отмерил? Где же твоё мерило, судья, которой ты меришь? Разве ты был наказан, что знаешь бич? Как можешь ты проворными пальцами отсчитывать годы, будто равны часы под солнцем и часы, погребённые во мраке земли? Разве ты сидел в узилище, что знаешь, сколько весен отнимаешь у меня? Ты ничего не знаешь, и нет в тебе справедливости, ибо силу удара знает лишь тот, кто принимает его, а не тот, кто его наносит; лишь испытавший страдание может измерить его. В своей надменности ты дерзаешь карать виновных, а сам виновнее всех, ибо я отнимал жизнь в гневе, в необоримом порыве страсти, ты же хладнокровно отнимаешь у меня жизнь и отмериваешь мне меру, которой не знаешь и не можешь знать. Сойди со ступеней правосудия, чтобы не соскользнуть вниз! Горе тому, кто мерит мерой произвола, горе невежде, мнящему, что ему ведома истина! Сойди со ступеней, судья неправедный, и не суди живых смертью твоего слова!

Пена ярости выступила на устах юноши, и снова с гневом все набросились на него. Но Вирата вновь остановил их, отвратил своё лицо от юноши и тихо сказал:

— Я не могу отменить приговор, произнесённый с этих ступеней. Да будет он справедливым перед лицом всевышнего.

И Вирата удалился, а стража схватила связанного юношу. Но ещё раз судья оборотился: навстречу ему неподвижно и злобно смотрели глаза насильно уводимого преступника. И Вирата содрогнулся в сердце своём: так похожи были они на глаза его мертвого брата в час, когда тот лежал, убитый его рукой, в шатре мятежного князя...

В тот вечер ни слова не проронил больше Вирата. Взор осуждённого впился ему в душу, точно раскалённая стрела. И домашние его слышали всю ночь, как он неустанно, час за часом, ходил по кровле, пока утро не озарило верхушки пальм.

В священном водоеме храма совершил Вирата утреннее омовение и помолился на восток. Затем он вернулся в свой дом, облекся в желтые праздничные одежды, без

улыбки приветствовал домашних, которые удивленно, но молча смотрели на его торжественные приготовления, и направился один к царскому дворцу, открытому для него в любой час дня и ночи. Вирата склонился перед царем и прикоснулся к краю его одежды в знак просьбы.

Царь ласково посмотрел на него и сказал:

— Твое желание коснулось моей одежды. Оно будет исполнено, прежде чем ты успеешь его высказать, Вирата.

Вирата заговорил, не поднимая лица:

— Ты поставил меня верховным судьей. Седьмой год вершу я суд именем твоим и не знаю, справедливо ли я судил. Даруй мне месяц тишины, дабы я мог найти путь к истине, и дозвожь мне скрыть мой путь от тебя и от людей. Я хочу совершать праведные деянья, хочу жить без вины.

Царь изумился.

— Оскудеет справедливостью мое царство в этот месяц. Но я не спрашиваю о твоём пути. Да приведет он тебя к истине.

Вирата поцеловал в знак благодарности подножие престола, еще раз низко поклонился и вышел.

С залитой солнцем улицы вошел Вирата в свой дом и созвал жену и детей.— Ровно месяц вы не увидите меня. Проститесь со мной и ни о чем не спрашивайте.

Робко взглянула на него жена, смиренно глядели сыновья. К каждому склонился он и каждого поцеловал в лоб.

— А теперь ступайте в свои покои и затворитесь, чтобы никто не смотрел мне в спину, когда я выйду из этой двери. И не спрашивайте обо мне, пока не народится новый месяц.

И они отошли в молчании.

Вирата же снял праздничные одежды и надел темные, помолился перед изображением тысячеликого бога и, начертав на пальмовых листьях много строк, скатал эти листья в виде письма. С наступлением темноты вышел он из своего безмолвного дома и направился на окраину города, к скале, в которой находились глубокие рудники и темницы. Он стучал в дверь привратника, пока спящий не поднялся со своей циновки и не спросил, кто зовет его.



— Вирата, верховный судья. Я пришел взглянуть на того, кого вчера привели.

— Он заточен в глубине, господин, в самом нижнем подземелье. Проводить тебя к нему, господин?

— Я знаю дорогу. Дай мне ключ и ложись на покой. Утром ты найдешь ключ под твоей дверью. И не говори никому, что ты меня сегодня видел.

Привратник склонился перед Виратой и принес ключ и светильник; потом, по знаку Вираты, молча отступил и улегся опять на циновку, Вирата же отпер медные ворота, замыкавшие вход в подземелье, и спустился в глубину темницы. Уже сто лет назад цари раджутов начали заточать в эти скалы своих узников, и каждый заточенный, день за днем, все глубже выдалбливал гору, создавая новые темницы в холодном камне, для новых жертв тюрьмы.

Еще один взгляд бросил Вирата на четырехугольник неба с ярко сверкавшими звездами, потом он закрыл за собой ворота. Сырым дыханием пахнула ему навстречу темнота, и пламя светильника затрепетало в ней, как испуганный зверек. Еще доносились до него мягкий шелест ветра в деревьях и резкие крики обезьян. В верхнем подземелье звуки эти еще сливались в глухой рокот, но во втором уже стояла полная тишина, недвижимая и холодная, как в глубине морской. От камней тянуло лишь сыростью, но не животворным запахом плодородной земли, и чем глубже спускался Вирата, тем громче отдавался его шаг в могиле молчания.

В пятом подземелье, на глубине большей, чем высота самых могучих пальм, находилась темница узника. Вирата вошел и направил светильник на сжавшееся в комок тело, которое шевельнулось лишь тогда, когда его коснулся свет. Звякнула цепь.

Вирата склонился над юношей.

— Ты узнаешь меня?

— Я узнал тебя. Ты тот, кого поставили господином моей судьбы и кто растоптал ее своей пятой.

— Я никому не господин. Я слуга царя и справедливости. Я пришел, чтобы послужить ей.

Мрачно взглянул узник в лицо судье.

— Что нужно тебе от меня?

Долго молчал Вирата, потом сказал:

— Я причинил тебе боль моим словом, но и ты причинил мне боль твоими словами. Я не знаю, справедлив ли мой приговор, но в твоих словах была одна истина: никто не смеет мерить мерой, которой не знает. Я был слеп и хочу прозреть. Сотни людей посылаю я в этот мрак, многих обрек на многое и не ведаю, что я содеял. Ныне я хочу узнать то, чего не знал, дабы стать справедливым и без вины вступить на путь перевоплощения.

Узник все так же неподвижно смотрел на Вирату. Тихо бряцала цепь.

— Я хочу знать, к чему я присудил тебя, хочу изведать ожог бича на своем теле и закованное время в своей душе. На месяц хочу я заступить твое место, дабы узнать, какое я отмерил тебе искупление. Потом я изреку новый приговор с высоты дворцовых ступеней, зная уже его силу и тягость. Ты же будь это время на свободе. Я дам тебе ключ, который выведет тебя отсюда, и предоставляю тебе месяц свободной жизни, если ты дашь мне обет вернуться. И тогда из мрака этой темницы зажжется во мне свет познания.

Узник окаменел. Цепь больше не звенела.

— Клянись мне именем безжалостной богини мести, настагающей каждого, клянись мне в том, что на этот месяц ты для всех замкнешь свои уста, и я дам тебе ключ и мое платье. Ключ ты положишь под дверь привратника и выйдешь на волю. Но ты будешь связан клятвой перед тысячеликим богом в том, что, когда месяц завершит свой круг, ты отнесешь это послание царю, дабы я был освобожден и впредь мог судить по справедливости. Клянешься ли ты перед тысячеликим богом исполнить это?

— Клянусь,— глухо сорвалось с уст потрясенного узника.

Вирата разомкнул цепь и снял с себя одежду.

— Надень мое платье, дай мне свое и закрой лицо, чтобы тебя не узнала стража. А теперь возьми эту бритву и обрежь мне волосы и бороду, чтобы и меня не узнали.

Узник взял бритву, но его дрожавшая рука опустилась. Однако под повелительным взором Вираты он исполнил его приказание. Долго молчал он, но потом с криком бросился наземь.

— Господин, я не допущу, чтобы ты пострадал за меня. Я убивал, проливал кровь горячей рукой. Справедлив был твой приговор.

— Не тебе взвесить это и не мне. Но скоро на меня снизойдет свет. Иди же и в день, когда месяц закончит свой круг, явись, как ты поклялся, перед царем, дабы он освободил меня. Тогда я буду знать цену своим деяниям, и мое слово навсегда очистится от неправды. Иди!

Узник пал ниц и поцеловал землю... Тяжко захлопулась во мраке дверь, еще раз скользнул отблеск светильника по стенам, и ночь пала на часы времени.

Утром никем не узанного Вирату вывели в поле за городом и там подвергли бичеванию. Когда первый удар обрушился на содрогнувшуюся обнаженную спину, Вирата вскрикнул. Потом он стиснул зубы. При семидесятом ударе у него потемнело в глазах, и его унесли за мертво.

Он очнулся, простертый в своей темнице, и ему казалось, что он лежит спиной на раскаленных угольях. Но вокруг чела его была прохлада, и запах диких трав наполнял воздух; он почувствовал чью-то руку на своих волосах и капли освежающей влаги. Тихо приподнял он веки и увидел жену привратника, заботливо омывавшую ему лоб. И когда он широко открыл глаза, страдание звездой сверкнуло ему в ее взоре. И через муку своего тела познал он, в сиянии доброты, смысл всякого страдания. Тихо улыбнулся он ей и больше не чувствовал боли.

На второй день он уже мог подняться и ощупать руками холодный камень стен. Он чувствовал, как с каждым шагом ему открывается новый мир, а на третий день зарубцевались раны, вернулись силы и ясность мысли. Он сидел, не шевелясь, и знал о течении времени лишь по каплям, падавшим со стены и делившим великое молчание на множество малых частиц, которые вырастали в дни и ночи, как сама жизнь из тысяч дней вырастает в зрелость и старость. Никто не говорил с ним, мрак застывал в его крови, но из глубин сознания всплывали пестрые картины прошлого, растекаясь, точно

редлики, тихим водоемом созерцания, в котором отражалась вся его жизнь. Все, что было пережито в отдельности, слилось теперь воедино и открывалось просветленному сердцу Вираты. Никогда доселе дух его не был так чист, как при этом недвижимом созерцании отраженного мира.

С каждым днем ясел взор Вираты, из мрака мало-помалу выступали предметы и раскрывали его осязанию свою форму. И душа его яселла в тихом покое: кроткая радость раздумья, питаемая памятью, этой тенью тени, играла образами перевоплощения, как руки скованного узника — камешками, усыпавшими подземелье. Отрешенный от самого себя, зачарованный, не знающий в темноте собственного вида, он все сильнее чувствовал власть тысячеликого бога и видел себя проходящим среди теней, но не привязанным душою к ним, освобожденным от рабства воли, мертвым в жизни и живым в смерти. Всякий страх уничтожения растворился в тихой радости избавления от плоти. И чудилось ему, что с каждым часом он глубже погружается во мрак, туда, где камни и черные корни земли, и все же несет в себе зародыши новой жизни, как червь, роющийся в земле, или растение, устремляющееся своим стеблем ввысь, или, быть может, он только скала, покоящаяся в блаженном неведении бытия.

Восемнадцать дней упивался Вирата божественной тайной самозабвенного созерцания, отрешенный от собственной воли и свободный от жажды жизни. Блаженством казалось ему то, что он свершил во имя искупления, и думы о прегрешениях и неумолимом роке лишь как смутные сонные грезы туманили вечное бдение познания. В девятнадцатую же ночь он внезапно пробудился от сна: земная мысль коснулась его. Раскаленной иглой впилась она в его мозг. Ужас потряс его, и задрожали пальцы его рук, как листья на ветке. Что, если узник нарушит клятву и забудет его и он останется здесь на тысячу, и тысячу, и тысячу дней, пока не сгниет заживо и язык его не окоченеет в молчании. Воля к жизни еще раз пантерой взвилась в нем и разорвала оболочку покоя: время хлынуло в его душу, и с ним страх, и надежда, и вся смятение живого человека. Он больше не мог размышлять о тысячеликом боге вечной жизни,

а лишь о себе; глаза его жаждали света, ноги его, тершиеся о твердый камень, требовали простора, тосковали по прыжку и бегу. Он не мог не думать о жене и сыновьях, о доме и о своем добре, о жарких соблазнах мира, который мы впиваем нашими чувствами и ощущаем горячей кровью сердца.

С этого дня время, доселе черной зеркальной гладью безмолвно лежавшее у его ног, затопило пробудившееся сознание. Стремительным потоком неслось оно, но не увлекало его в своем течении. Он хотел, чтобы оно подхватило его и умчало, как крутящийся древесный ствол, к желанному часу освобождения. Но время было против него: задыхаясь, словно измученный пловец, вырывал у него Вирата час за часом. Казалось, капли воды на стене медлят в своем падении, так долго тянулось время, отделявшее одну каплю от другой. Он больше не мог оставаться на своем ложе. От мысли, что юноша может забыть о нем и ему суждено сгнить здесь, в этом подземелье молчания, он метался, как безумный, по своей темнице. Тишина душила его: истошным криком изливал он камням свой гнев и отчаяние, проклинал себя, и богов, и царя. Окровавленными ногтями царапал он издававшиеся над ним скалы и бился головой о дверь, пока не падал без чувств, чтобы, очнувшись, снова вскочить и, подобно бешеной крысе, носиться по каменному мешку.

За эти дни, от восемнадцатого дня созерцательной отрешенности до нового месяца, Вирата прошел через бездны ужаса. Еда и питье претили ему, ибо страх владел всем его существом. Ни одной мысли не мог он удержать в сознании, только губы его считали падавшие капли, которые дробили время, бесконечное время, на часы и дни. И, неведомо для него, волосы у него на висках поседели.

На тридцатый день вверху раздался шум и опять уступил место тишине. Потом прозвучали шаги, распахнулась дверь, ворвался свет, и перед погребенным во мраке предстал царь. С любовью обнял он Вирату и сказал:

— Я узнал о твоём подвиге, величайшем из когда-либо запечатленных в книгах отцов. Как звезда засияет он высоко над нашей изменчивой жизнью. Выйди же,

дабы небесный огонь озарил тебя и счастливый народ мог лицезреть праведника.

Вирата прикрыл рукою глаза, ибо свет причинял ему боль, кровь горячей волной прилила к сердцу; шатаясь, как пьяный, поднялся он из темницы, и слугам пришлось поддерживать его. Но прежде чем выйти из ворот, он сказал:

— О царь, ты назвал меня праведником, я же знаю теперь, что всякий, кто вершит суд, творит беззаконие и отягощает себя виной. Еще томятся в этих подземельях люди, заточенные по моему слову, и лишь теперь постиг я их страдания и знаю: ничем не смеем мы ни за что воздавать. Отпусти и тех, о царь, и отстрани народ с моего пути, ибо я стыжусь славословий.

Царь подал знак, и слуги оттеснили народ. Снова наступила вокруг них тишина. И сказал царь:

— На верхней ступени лестницы дворца моего сидел ты и творил суд. Ныне же, когда ты, познав страдание, стал мудрейшим из судей, живших на земле, ты воссядешь рядом со мной, дабы я внимал твоему слову и сам приобщился к твоему знанию.

Но Вирата коснулся его колена в знак просьбы.

— Освободи меня от моего сана. Я больше не могу быть праведным судьей, ибо я теперь знаю, что никто не может судить другого. Карать надлежит богу, а не людям, и тот, кто посягает на волю судьбы, впадает в вину. Я же хочу прожить свою жизнь без вины.

— Так будь же не судьей, а моим советником,— отвечал царь,— и давай мне справедливые советы о войне и мире, налогах и оброках, дабы я не заблуждался в моих решениях.

И еще раз коснулся Вирата колена царя.

— Не облачай меня властью, о царь, ибо власть побуждает к деяниям, а какое деяние справедливо и не идет наперекор чьей-нибудь судьбе? Если я посоветую войну, я тем самым посею смерть, и каждое сказанное мною слово вырастет в деяние, а каждое деяние таит в себе смысл, которого я не знаю. Справедливым может быть лишь тот, кто не касается ничьей судьбы и ничьих дел, кто живет одиноким. Никогда не был я ближе к познанию истины, чем тогда, когда был одинок и лишен человеческого слова, никогда я не был свободнее от вины.

Дозволь же мне мирно жить в моем доме, не зная других обязанностей, кроме служения богам, дабы я остался чистым от всякой вины.

— Жаль мне отпускать тебя,— сказал царь,— но кто смеет перечить мудрецу и противиться желанию праведника? Живи по своей воле, и пусть будет честью для моего царства, что в его пределах живет человек, свободный от вины.

Они вышли из ворот тюрьмы, и царь отпустил его. Одинокó шел Вирата и вдыхал сладостный, пронизанный солнцем воздух; с легким сердцем, свободный от всех обязанностей, возвращался он в свой дом. За ним слышалась легкая поступь босых ног, и, обернувшись, он увидел осужденного, чью муку он принял на себя. Юноша поцеловал следы его в пыли, робко поклонился и исчез. И впервые с того часа, как он увидел неподвижные глаза своего брата, Вирата улыбнулся и, радостный, вошел в дом.

Светлы были дни Вираты в его доме. Он пробуждался с молитвой благодарности за то, что глаза его встречают ясное небо вместо мрака, что вокруг него краски и ароматы благословенной земли и звонкая музыка утра. Каждый день снова, как великий дар, принимал он чудо своего дыхания и радость свободы движений, благоговение пробуждали в нем его собственное тело, нежное тело жены и сильные тела сыновей; во всем ощущал он присутствие тысячеликого бога, и душа его была окрылена тихой гордостью оттого, что он никогда не вторгался в чужую судьбу и никогда не посягал ни на одно из тысяч облиций незримого бога. С утра до вечера читал он книги мудрецов и посвящал свои дни благочестию — безмолвному созерцанию, любовному углублению в себя, делам милосердия и жертвенной молитве. Но радостен был его дух и кротка его речь, обращенная даже к ничтожнейшему из слуг, и домашние любили его как никогда. Он был другом бедных и утешителем несчастных. Молитва многих охраняла его сон, и люди не называли его больше Молнией Меча или Источником Справедливости, но Нивой Совета. Ибо не только ближайшие соседи приходили к нему за советом, но и чужие люди совершали странствие издалека, дабы он

разрешил их споры, хотя он и не был больше судьей. И слову его подчинялись все. И Вирата был счастлив, чувствуя, что советовать лучше, чем приказывать, и мирить лучше, чем судить; его жизнь казалась ему без вины, с тех пор как он никого ни к чему не принуждал и все же направлял судьбу многих. И в веселии духа вкушал он полдень своей жизни.

Прошли три года, и еще раз три, как один светлый день. Все кротче становилась душа Вираты, и, когда к нему являлись спорщики, он недоумевал, откуда столько беспокойства на земле и как могут люди так злобно вырывать друг у друга жалкое достояние, когда им принадлежит вся необъятная жизнь и сладостное благоухание бытия. Он никому не завидовал, и никто не завидовал ему. Как остров мира возвышался его дом, осененный благостной жизнью, неприступной для стремнин человеческих страстей и для бурных потоков вождений.

Однажды вечером, в конце шестого года его покоя, когда Вирата уже отошел ко сну, он вдруг услышал громкие вопли и звуки ударов. Он вскочил со своего ложа и увидел, как его сыновья, бросив одного из рабов на колени, хлестали его по спине бичом из бегемотовой кожи, так что брызгала кровь. Широко раскрытые от муки глаза истязуемого встретили его взор. И он вновь узнал запавший ему в душу взор некогда убитого им брата. Вирата поспешно подошел, остановил сыновей и спросил, что случилось.

Они отвечали, что раб, на обязанности которого лежало таскать в деревянных кадках воду из высеченного в скале колодца, уже неоднократно, ссылаясь на изнеможение от полуденного зноя, запаздывал и не раз был за это наказан, пока наконец не сбежал вчера, после особенно сурового наказания. Сыновья Вираты верхом погнались за ним и настигли его уже в одном из селений за рекой; они привязали его веревкой к седлу коня и, то заставляя его бежать, то волоча по земле, истерзанного и израненного притащили домой. Здесь его подвергли еще более жестокой каре, в назидание ему и другим рабам (которые в трепете, с дрожащими коленями, глядели на поверженного), пока Вирата своим приходом не прервал истязание.



Вирата смотрел на раба. Песок у его ног был пропитан кровью. В глазах несчастного застыл ужас, как у животного, над которым занесен нож, и в расширенных неподвижных зрачках Вирата прочел отчаяние и мрак, некогда владевшие им.

— Отпустите его, — сказал он сыновьям, — его вина искуплена.

Раб поцеловал прах у ног Вираты. Впервые сыновья с досадой отошли от отца. Вирата вернулся в свои покои. Сам того не замечая, омыл он лоб и руки и при этом внезапно с испугом понял то, в чем не отдавал себе отчета: впервые за шесть лет он опять стал судьей и решил судьбу человека. И впервые за шесть лет сон опять бежал его.

И когда он без сна лежал в темноте, перед ним возникли полные ужаса глаза раба (или то были глаза его убитого брата?) и гневные глаза сыновей, и он вновь и вновь спрашивал себя, справедливо ли поступили его сыновья с этим слугой. Из-за малой провинности кровь обогрела песок его дома, бич врезался в живое тело из-за ничтожного упущения, и эта вина жгла его сильнее тех ударов бича, что обжигали некогда его спину. Правда, наказание это постигло не свободного человека, а раба, чье тело с самого рождения принадлежало ему, Вирате, по закону царей. Но справедлив ли этот закон перед тысячеликим богом? Справедливо ли, чтобы тело человека было всецело подчинено чужой воле, чужому произволу, и неужели свободен от вины тот, кто отнимает у раба его жизнь или губит ее?

Вирата встал со своего ложа и зажег светильник, чтобы поискать ответ в книгах мудрецов. И нигде он не нашел различия между человеком и человеком, кроме деления людей на касты и сословия, нигде, во всем тысячеликом бытии, не нашел он закона, освобождающего от долга любви к человеку. Все с большей жадностью впивал он знание, ибо никогда душа его так не терзалась сомнением. Но еще раз ярко вспыхнуло пламя светильника и погасло.

И когда на Вирату пала тьма со стен, им овладело странное чувство: ему казалось, что не свою опочивальню он обводит ослепшим взором, а темницу, в которой он некогда с ужасом познал, что свобода есть глубочай-

шее право человека и что никто никого не смеет заточать ни на всю жизнь и ни на один год. Раба же этого, понял Вирата, он заточил в невидимый круг своей воли и приковал его своим прихотливым решением, не оставив ему свободным ни единого шага в его жизни. Вирата сидел не шевелясь, и прозрение снизошло на него, мысли ширились в груди, пока с неизреченной высоты не проник в него свет. Он понял, что и здесь не был свободен от вины, ибо подчинял людей своей воле и называл их рабами по преходящему закону человеческого, а не по извечному закону тысячеликого бога. И он простерся в молитве.

— Благодарю тебя, тысячеликий, за то, что ты посылаешь мне вестников, во многих облициях, дабы я не закоснел в неправде и все усерднее шел навстречу тебе по незримому пути твоей воли! Помоги мне постигать мою вину в обличающих глазах извечного брата, которого я вижу повсюду, который глядит и из моих глаз и чьей мукой я терзаюсь, дабы я чистым прошел по жизни и дыхание мое было свободно от вины.

И опять прояснилось чело Вираты. Со светлым взором вышел он под ночное небо, приемля белый привет звезд и глубоко вдыхая порывистый шум предрассветного ветра, садом спустился он к реке, и когда на востоке поднялось солнце, он погрузился в священные воды и вернулся к домашним, собравшимся для утренней молитвы.

Он вошел в их круг, приветствовал их доброй улыбкой, сделал знак женщинам, чтобы они удалились в свои покои, и обратился к сыновьям:

— Вам известно, что уже много лет на душе у меня одна-единственная забота: праведно, без вины прожить свою жизнь на земле; и вот вчера кровь обогригла порог моего дома, кровь живого человека, и я хочу смыть с себя эту кровь и искупить прегрешение, совершенное под сенью моего крова. Пусть раб, который за малую провинность понес слишком жестокое наказание, отныне будет свободен и идет куда хочет, дабы он не обвинил перед вечным судьей ни вас, ни меня.

Молча стояли сыновья, и Вирата чувствовал враждебность в их молчании.

— Безмолвием встречаете вы мои слова. Но я не хочу ничего решать, не выслушав вас.

— Провинившемуся ты хочешь подарить свободу, дать ему награду вместо наказания,— начал старший сын.— Много слуг в нашем доме, и один в счет не идет. Но каждый поступок влечет за собой другие, составляя с ними общую цепь. Отпуская этого раба, как ты удержишь других, принадлежащих тебе, если они пожелают уйти?

— Если они захотят уйти из моей жизни, я должен буду отпустить их. Ничью судьбу я не хочу держать в руках, ибо тот, кто кует судьбы, попадает в вину.

— Но ты нарушаешь законное право,— начал второй сын,— рабы эти принадлежат нам, как принадлежит нам земля, дерево этой земли и плод этого дерева. Служа тебе, они связаны с тобой, и ты связан с ними. Ты посягаешь на порядок, который существует тысячелетия. Раб не господин своей жизни, а слуга своего господина.

— Есть только одно право от бога, и это право — жизнь; оно дается каждому с первым дыханием. К добру призвал ты меня, ослепленного и мнившего себя свободным от вины; годами я владел чужими жизнями, теперь же я прозрел и знаю: праведный не должен обращать людей в скотов. Я всех хочу отпустить на волю и быть свободным от вины перед ними на земле.

Упорство было написано на лицах сыновей, и жестко ответил старший из них:

— Кто будет орошать поля, дабы не зачахли посе- вы риса, кто погонит буйволов в поле? Должны мы сами стать слугами во имя твоей причуды? Ты сам никогда не утруждал рук своих и никогда не думал о том, что твоя жизнь зиждется на чужом труде. А ведь есть чужой пот и в плетеной циновке, на которой ты лежал, и твой сон охраняли опахала слуг. И вот ты хочешь всех прогнать, чтобы никто больше не трудился, кроме нас, твоей плоти и крови? Быть может, ты прикажешь нам выпрячь буйволов из плуга и самим тянуть постромки, дабы избавить животных от бича? Ведь и скотине тысячеликий дал дыхание! Не касайся, отец, установленного, ибо и оно от бога! Не добровольно разверзается земля, нужно применить силу, дабы она принесла

плоды. Насилие есть закон подзвездного мира, и не можем мы отринуть его.

— Но я хочу отринуть его, ибо сила редко бывает права, я же хочу праведно прожить свою жизнь на земле.

— Без силы нельзя владеть ничем, ни человеком, ни скотом, ни безответной землей. Где ты хозяин, ты должен быть и господином; кто владеет, тот привязан к судьбе других людей.

— Но я хочу отрешиться от всего, что ввергает меня в вину. И я повелеваю вам отпустить рабов и самим трудиться для своего дома.

Гнев сверкнул во взорах сыновей, они едва подавили ропот. Потом старший молвил:

— Ты сказал, что не хочешь насиловать ничьей воли. Ты не хочешь повелевать твоими рабами, дабы не впасть в вину. Нам же ты приказываешь и вторгаешься в нашу жизнь. Где же здесь, спрашиваю я тебя, справедливость перед богом и людьми?

Долго молчал Вирата. Когда же он поднял взор и увидел пламя алчности в их глазах, он содрогнулся в сердце своем. Потом тихо сказал:

— Вы правы. Я не хочу насиловать вашу волю. Возьмите дом мой и разделите его по своему желанию. Я не хочу больше владения и не хочу вины. Верно сказал ты: кто властвует, тот лишает свободы других, но прежде всего — свою же душу. Кто хочет жить без вины, тот не должен иметь власти ни над своим домом, ни над чужой судьбой, не должен питаться чужим потом и кровью, не должен дорожить страстью женщины и сытой ленью. Только тот, кто живет один, живет для своего бога, только деятельный знает его, только бедняк обретает его вполне. Я же хочу быть ближе к Незримому, чем к своей земле, и жить без вины. Берите дом и делите его в мире между собой.

Вирата повернулся и ушел. Дивясь, стояли сыновья; утоленная алчность сладостно пламенела в них, и все же они были пристыжены.

Вирата же заперся в своем покое и оставался глух к призывам и уговорам домашних. Только когда спустились ночные тени, он собрался в путь: взял посох, чашу для подаяния, топор для работы, горсть плодов для

утоления голода и пальмовые листья с письменами мудрости — для благочестивой молитвы, подоткнул края одежды выше колен и молча покинул дом, ни разу не оглянувшись ни на жену, ни на детей, ни на все свое добро. Всю ночь шел он, пока не достиг реки, в которую однажды, в горький час пробуждения, бросил свой меч, перешел вброд на другой берег и направился вверх по течению, где не было и следов жилья и земля еще не знала плуга.

На заре он дошел до места у изгиба реки, где молния поразила старое манговое дерево и выжгла прогалину среди чащи. Тихо струилась река, и стая птиц кружила над мелкой водой, безбоязненно утоляя жажду. Светло было здесь, на открытом берегу, а позади высились тенистые деревья. Еще валялись кругом расщепленные молнией обломки ствола и ветки кустарника. Вирата оглядел уединенную прогалину в лесной глуши, и он решил построить здесь хижину и посвятить остаток дней своим созерцанию, вдали от людей и свободным от вины.

Пять дней сколачивал он хижину, ибо руки его были непривычны к работе. Но и после дни его были наполнены трудами: нужно было искать плоды для своего пропитания, вырубать заросли, со всех сторон буйно наступавшие на его хижину, возвести ограду из острых кольев вокруг нее, чтобы голодные тигры, оглашавшие ревом ночной мрак, не врывались в его жилье. Но ни один человеческий звук не проникал в жизнь Вираты и не смущал его душу; безмятежно, как вода в реке, текли его дни, питаемые неиссякающим источником.

Птицы же прилетали по-прежнему, тихий отшельник не пугал их, и вскоре они стали вить гнезда под кровлей его хижины. Он рассыпал для них семена больших цветов и разбрасывал плоды. Они смело подскакивали совсем близко к нему и уже не боялись его рук, слетали с пальм, когда он их манил, он играл с ними, и они доверчиво позволяли трогать себя. Однажды он нашел в лесу молодую обезьяну: она сломала себе руку и подетски всхлипывала, лежа на земле. Он взял ее к себе, вырастил, и понятливое животное, подражая ему, выучилось оказывать услуги. И так он был окружен мирными живыми созданиями, и все же он знал, что и в живот-

ных таится насилие и зло, как в чело­реке. Он видел, как крокодилы яростно кусали и преследовали друг друга, как птицы острым клювом выхватывали из воды рыб и как змеи, в свою очередь, внезапно сжимали своими коль­цами тех же птиц. Вся чудовищная цепь уничтожения, которой жестокая богиня захлестнула весь мир, пред­стала перед ним как непреложный закон, и мудрость не могла опровергнуть его. Но Вирате от­радно было оста­ваться лишь созерцателем этих битв, свободным от вины и непричастным к круговороту побед и по­ражений.

Год и еще полгода не видал Вирата ни одного чело­века. Но однажды охотник, преследуя на другом берегу слона до места водопоя, увидел необычайную картину. Перед маленькой хижинкой сидел, озаренный желтым вечерним светом, белобородый старец, птицы мирно ютились в его волосах, обезьяна звонкими ударами рас­калывала орехи у его ног. Он же смотрел на верхушки пальм, где качались синие и пестрые попугаи, и когда он поднял руку, они искрометным облаком слетели вниз и опустились ему на колени. И подумал охотник, что он видит святого, о коем было воз­вещено, что «звери бу­дут говорить с ним голосом человечьим, и цветы выра­стать под его стопами; звезды будет срывать он устами своими и двигать месяц по небу одним дыханием своим». И охотник забыл про охоту и поспешил домой поведать о виденном.

Уже на другой день стали стекаться любопытные, чтобы с того берега подивиться на чудо. Все увеличи­валось их число, пока, наконец, один из них не узнал Вирату, покинувшего свою родину, бросившего дом и имущество во имя великой справедливости. Все дальше летела весть и, наконец, достигла царя, скорбевшего об утраченном верном слуге, и он велел снарядить ладью с четы­режды семью гребцами. Без устали гребли они, пока ладья не поднялась против течения до того места, где стояла хижина Вираты. Тогда они постлали ковры под ноги царю, и он направился к мудрецу. Но уже год и шесть месяцев не слышал Вирата голоса человеческо­го; робко и нерешительно поднялся он навстречу гостям, забыл о поклоне слуги перед властелином и только сказал:

— Да будет благословен приход твой, о царь!

Царь обнял его.

— Много лет уже я вижу, как ты идешь по пути к совершенству. И я хочу узреть, как живет праведник, дабы поучиться у него.

Вирата поклонился.

— Ничего мне не ведомо, кроме того, что я разучился жить с людьми, желая быть свободным от всякой вины. Только самого себя может поучать одинокий. Я не знаю, мудро ли то, что я творю, не знаю, счастье ли то, что я чувствую. — ничего не могу я советовать и ничему не могу учить. Мудрость одинокого отлична от мудрости мирской, и закон созерцания отличен от закона деяний.

— Но видеть, как живет праведный, — это уже значит учиться, — отвечал царь. — С тех пор как я встретил твой взор, я преисполнился светлой радости. Большого я не требую.

Вирата вновь склонился перед царем. И вновь обнял его царь.

— Могу ли я сделать что-нибудь для тебя, или передать весть твоей семье?

— Ничего нет больше моего на земле, о царь, или же все мое. Я забыл, что некогда и у меня был дом среди других домов и дети среди других детей. Безродному принадлежит вся земля, отшельнику — вся полнота жизни, безвинному — мир и покой. У меня нет другого желания, как жить без вины на земле.

— Прощай же и помни обо мне в благочестии своем.

— Я помню о боге и тем самым помню и о тебе и о всех на земле живущих, ибо они часть его и дыхание его.

Вирата пал ниц. Царская ладья тронулась вниз по реке, и много месяцев отшельник не слышал человеческого голоса.

Еще раз взмахнула крылами слава Вираты и белым соколом облетела страну. В самые отдаленные селения и хижины на морском берегу дошла весть о том, кто покинул дом свой и добро свое ради жизни благочестивой, и люди прозвали праведника четвертым именем добродетели — Звездой Одиночества. Жрецы восхваляли его самоотречение в храмах, а царь — перед своими

слугами. И когда судья изрекал приговор, он всегда при-  
совокуплял: «Да будет слово мое справедливо, как спра-  
ведливо было Вираты, который живет теперь толь-  
ко для бога и достиг высшей мудрости».

И бывало так — год от года все чаще, — что кто-ни-  
будь, поняв неправду своих деяний и суетность своей  
жизни, покидал дом и родину, раздавал свое имуще-  
ство и уходил в лес, чтобы, подобно тому праведнику,  
сколотить себе хижину и жить только для бога. Ибо  
пример есть сильнейшая связь на земле между людь-  
ми, каждое деяние пробуждает волю в других, и, стрях-  
нув с себя дремоту, человек деятельно наполняет часы  
дней своих. И те, что очнулись, поняли пустоту своей  
жизни, увидели кровь на своих руках и вину в своих  
душах; они снимались с места и уходили в лес, подобно  
Вирате, сколачивали себе хижину и отныне, заботясь  
лишь о насущнейших нуждах своего тела, предавались  
беспредельному благочестию. Когда они, собирая пло-  
ды, встречались на лесных тропах, они не произносили  
ни слова, дабы не связывать себя новыми узами, но гла-  
за их радостно улыбались, и в душах своих они несли  
друг другу мир. Народ же называл тот лес Урочищем  
Благочестивых, и ни один охотник не углублялся в его  
дебри, страшась осквернить убийством святость это-  
го места.

И вот однажды Вирата, блуждая утром по лесу, уви-  
дел отшельника, неподвижно простертого на земле, и  
когда склонился над ним, чтобы его поднять, то заметил,  
что жизнь покинула его. Вирата закрыл мертвому гла-  
за, прочитал молитву и попытался вынести брентную обо-  
лочку покойного из чащи: он хотел сложить костер, дабы  
тело этого брата чистым могло вступить на путь перево-  
площения. Но тяжесть была чрезмерна для его рук, ос-  
лабевших от скудного питания плодами, и он пошел вброд  
на тот берег, в ближнее селение, просить о помощи.

Когда жители селения увидели праведника, которого  
они называли Звездой Одиночества, они подошли к не-  
му и, почтительно выслушав его волю, тотчас отправи-  
лись рубить деревья для предания мертвого погребению.  
И где проходил Вирата, женщины падали ниц, дети  
останавливались, изумленно глядя вслед шествующему  
в молчании, и многие мужчины выходили из своих до-



мов поцеловать край одежды высокого гостя и принять благословение святого. С улыбкой проходил Вирата сквозь эту волну человеческого благоволения и чувствовал, как сильно и чисто он снова может любить людей с тех пор, как больше не связан с ними.

Когда же он проходил мимо последнего, низенького дома ссления, все так же ласково отвечая на приветствия встречающих, он вдруг увидел устремленные на него полные ненависти глаза женщины; Вирата содрогнулся — ему показалось, будто он снова видит давно забытые глаза убитого им брата. Он в ужасе отпрянул — так отвыкла его душа от вражды и злобы за годы уединения. Он пытался уверить себя, что это лишь обман зрения. Но черный неподвижный взор по-прежнему был устремлен на него. И когда, овладев собой, Вирата шагнул вперед, чтобы приблизиться к двери, женщина отступила в глубину дома, и из темноты по-прежнему сверкал обращенный на него горящий взор, словно глаза тигрицы в неподвижной чаще.

Вирата старался ободрить себя. «Как могу я быть столь виновен пред той, которой никогда не видел, что она с такой ненавистью смотрит на меня? — говорил он себе. — Это, наверно, ошибка, нужно разъяснить ее». Спокойно подошел он к дому и постучал в дверь. Лишь гулкий отзвук ответил ему, и все же он чувствовал враждебную близость чужой женщины. Терпеливо продолжал он стучать, ждал и стучал опять, словно нищий. Наконец она вышла нехотя, устремив на него мрачный и ненавидящий взор.

— Что тебе еще надо от меня? — яростно напустилась она на него. И он увидел, что она должна была хватиться за косяк, так потрясал ее гнев.

Вирата же смотрел ей прямо в лицо, и легко стало у него на сердце, ибо он убедился, что никогда доселе не видел ее. Она была молода, а он уже много лет как сошел с людских путей; ни разу не могли скреститься их дороги, и никогда не мог он причинить ей вред.

— Я хотел приветствовать тебя словами мира, женщина, — отвечал Вирата, — и спросить, почему ты смотришь на меня с гневом? Что я сделал тебе? Разве я причинил тебе зло?

— Что ты мне сделал? — Злобная усмешка скривила

ее губы.— Что ты мне сделал? Малость только, самую малость: мой дом был полной чашей, ты опустошил его. Ты похитил у меня самое дорогое и убил мою жизнь. Уйди, чтобы я не видела больше твоего лица, не то я не сдержу своего гнева.

Вирата в удивлении смотрел на нее. Ее глаза так дико блуждали, что он подумал, уж не безумная ли перед ним. Он повернулся, готовясь уйти, и сказал только: — Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я живу вдали от людей и не виновен ни в чьей судьбе. Твои глаза обманывают тебя.

Но она с ненавистью крикнула ему вслед:

— Нет, я узнала тебя, кого все знают. Ты Вирата, тебя называют Звездой Одиночества, тебя прославляют четырьмя именами добродетели. Но я не стану тебя прославлять, мой язык не устанет обличать тебя, пока меня не услышит высший судия всех живущих. Войди же, если ты хочешь увидеть, что ты мне сделал.

И она увлекла изумленного Вирату за собой в дом и распахнула дверь в низкую и темную комнату, где в углу что-то неподвижно лежало на циновке. Вирата нагнулся над циновкой и в ужасе отпрянул: перед ним лежал мертвый мальчик, и неподвижные глаза с укором были устремлены на него, как некогда глаза убитого брата. Женщина стояла рядом и, сотрясаясь от рыданий, кричала:

— Это мой третий, последнее дитя моего лона, и его ты умертвил, ты, которого называют святым и слугой богов!

Вирата хотел задать вопрос, отвести от себя обвинение, но она повлекла его дальше.

— Посмотри на этот пустой ткацкий станок! Здесь стоял Паратика, мой муж, изо дня в день и ткал белый холст. Не было в стране ткача искуснее его. Издалека приносили ему работу, и работа приносила нам жизнь. Светлы были наши дни, ибо Паратика был добр и трудолюбие его не имело границ. Он не знался с нечестивыми и избегал праздной суеты улицы. Трех сыновей подарила я ему, и мы растили их, дабы из них вышли люди, подобные их отцу, добрые и честные. И вот однажды пришел охотник — о, если бы он никогда не являлся сюда! — и поведал, что есть в стране человек, ко-

горый оставил свой дом и имущество свое, чтобы при жизни приблизиться к богу, и построил себе жилище своими руками. С того дня омрачился дух Паратики, он подолгу думал вечерами и не говорил ни слова. И однажды, проснувшись среди ночи, я не увидела его подле себя. Он ушел в лес, который называют Урочищем Благочестивых и где ты пребывал, ушел, чтобы помнить о боге. Но, помня о боге, Паратика забыл о нас и забыл, что мы жили его трудом. Нищета вошла в наш дом, детям не хватало хлеба, они умирали один за другим, а сегодня и этот, последний, умер из-за тебя. Ибо это ты соблазнил Паратику. Ради того, чтобы ты приобщился к истине и к богу, трое детей, рожденных мною, ушли из жизни. Чем искупишь ты это, если я призову тебя к ответу перед судией живых и мертвых? Чем искупишь ты предсмертные муки их маленьких тел, корчившихся от боли в то время, как ты бросал крошки птицам и был далек от всякого страдания? Как искупишь ты то, что соблазнил честного труженика оставить работу, кормившую его и невинных детей, внушив ему безумную мысль, что в одиночестве он будет ближе к богу, чем среди живой жизни?

Бледный, с дрожащими губами, слушал ее Вирата.

— Не ведал я того, что служу соблазном для других. Я мнил: жизнь моя замыкается мною.

— Где же твоя мудрость, мудрец, если ты не знаешь того, что знают даже отроки: что все дела наши от бога и что никому не уйти от них и от закона вины? Гордыня обуяла тебя, ты возомнил себя господином, господином своих деяний и наставником людей. Что было сладостно тебе, стало для меня горечью, а твоя жизнь — смертью этого ребенка.

Вирата задумался, потом склонил голову и сказал:

— Правду говоришь ты, и я вижу, что всякая боль приносит больше познания истины, чем все тихие раздумья мудрецов. Все, что я знаю, я узнал от несчастных, и все, что я видел, я увидел во взоре страдальцев, во взоре извечного брата. Не смиренным я был пред лицом бога, а гордецом: я познал это через твою горе, которым сейчас терзаюсь сам. Прости меня, ибо я каюсь перед тобою: я причинил зло тебе и еще многим, о ком не ведаю. И бездействующий совершает деяния, за которые

он несет вину на земле, и одинокий живет во всех своих братьях. Прости же меня, женщина! Я возвращусь из леса, дабы вернуться и Паратика и зачал новую жизнь в твоём лоне взамен погубленной.

Он низко склонился и прикоснулся губами к краю ее одежды. И тогда гнев оставил ее; пораженная, смотрела она вслед уходящему Вирате.

Еще одну ночь провел Вирата в своей хижине, глядя на звезды, белым сверканьем пронзавшие глубины неба и угасшие поутру, еще раз созвал он птиц, покормил и приласкал их. Потом взял посох и чашу, как в тот день, много лет назад, когда он пришел сюда, и возвратился в город.

Лишь только разнеслась весть о том, что святой покинул свою уединенную обитель и опять пребывает в стенах города, народ стал стекаться со всех сторон, радуясь редкому гостю, но были и такие, кто питал тайное опасение, как бы возврат его от бога не предвещал бедствия. Среди общего преклонения шел Вирата и пытался приветствовать людей своей обычной доброй улыбкой, но впервые он не мог улыбаться, и взор его оставался суровым и уста замкнутыми.

Так достиг он царского двора. Час совета уже миновал, и царь был один. Вирата приблизился к нему, и тот встал, чтобы заключить его в объятия. Но Вирата простерся пред царем и прикоснулся к краю его одежды в знак просьбы.

— Твоя просьба будет исполнена,— сказал царь,— прежде чем она станет словом на твоих устах. Великая честь выпала мне, что я имею власть послужить благочестивому и оказать помощь мудрому.

— Не зови меня мудрым,— отвечал Вирата,— ибо я шел неверным путем. Замкнулся круг, и я опять просителем стою у твоего порога, где некогда просил тебя уволить меня от должности судьи. Я хотел быть свободным от вины и бежал всякого деяния, но и меня опутали сети, которые боги расставили смертным.

— Не верю я твоим словам,— сказал царь.— Как мог причинить людям зло ты, избегавший их? Как мог упасть в вину ты, живший в боге?

— Не по умыслу совершал я зло. Я бежал вины, но стопы наши прикованы к земле, а дела — к законам вечных богов. И бездействие есть деяние, и я не мог сокрыться от глаз извечного брата, которому мы всегда против нашей воли приносим добро или зло. Но семикратно виновен я, бежавший от бога и отказывавший жизни в служении. Беспольным был я, ибо питал только свою жизнь и никому не служил. Ныне я вновь хочу послужить.

— Удивительна мне речь твоя, Вирата, я не понимаю тебя. Выскажи мне свое желание, дабы я мог исполнить его.

— Я больше не хочу быть свободным в своей воле. Ибо свободный не свободен, и бездеятельный не без вины. Свободен лишь тот, кто служит делу, кто отдает другому свою волю и свою силу, отдает, ни о чем не спрашивая. Только середина деяния принадлежит нам, его начало и конец, его причина и следствие — в руках богов. Освободи меня от моей воли, ибо всякое желание есть смятение духа, а всякое служение — мудрость. И я возблагодарю тебя, о царь.

— Я тебя не понимаю. Ты просишь освободить тебя и в то же время домогаешься службы. Что же — свободен лишь тот, кто служит другому, а не тот, кто приказывает ему? Я этого не понимаю.

— Хорошо, о царь, что ты не понимаешь этого в сердце своем. Как мог бы ты оставаться царем и повелевать, если бы ты это понял?

Лицо царя потемнело от гнева.

— Так ты думаешь, что повелитель ничтожнее перед богом, нежели слуга?

— Нет ничтожных и нет великих перед богом. Но тот, кто служит и отдает свою волю, ни о чем не спрашивая, снимает с себя вину и возвращает ее богу. А тот, кто поступает по своей воле и мнит мудростью избежать зла, впадает в искушение и вину.

Лицо царя оставалось мрачным.

— Так и все заслуги равны? И нет бóльших и меньших перед богом и людьми?

— Быть может, иные и кажутся людям больше других, о царь, но всякое служение равно перед богом.

Царь долго и гневно смотрел на Вирату. Уязвленная

гордость растравляла душу. Но когда он увидел его изможденное лицо и белые волосы над морщинистым челем, он подумал, что старик преждевременно впал в детство. И чтобы испытать его, царь насмешливо спросил:

— Хотел бы ты стать псарем при моем дворце?

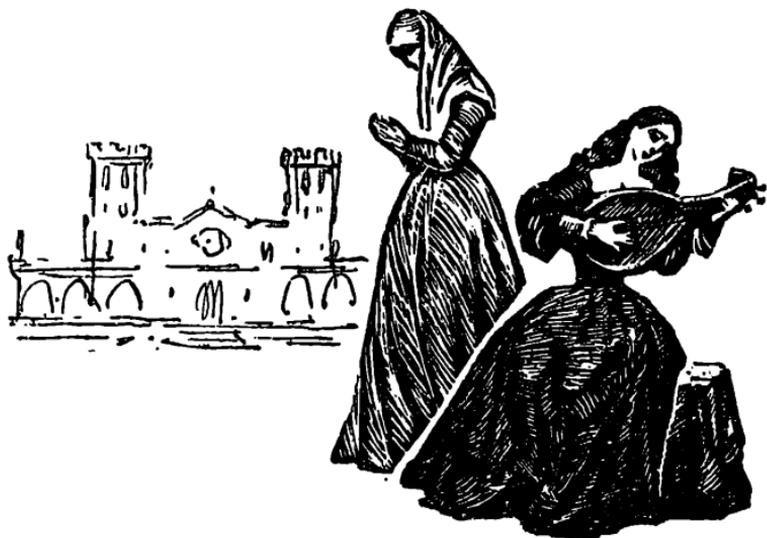
Вирата пал ниц и поцеловал подножие престола в знак благодарности.

С того дня старец, которого страна некогда прославляла четырьмя именами добродетели, стал псарем, и жил он с другими слугами в дворцовых подвалах. Сыновья стыдились его и трусливо обходили дворец, чтобы не увидеть его и не быть вынужденными признать свое родство перед людьми, жрецы отворачивались от недостойного. Только народ еще приходил подивиться на старца, который некогда был первым в государстве, а теперь водил по двору свору собак. Но он никого не замечал, и вскоре люди перестали приходить и больше не думали о нем.

Вирата ревностно исполнял свои обязанности от утренней до вечерней зари. Он обмывал собакам морды и выскребывал струпья из шерсти, приносил им корм, менял подстилки и убирал нечистоты. Собаки любили его больше, чем всех других обитателей дворца, и это радовало Вирату. Его дряхлые, морщинистые уста, редко обращавшиеся с речью к людям, всегда улыбались им. И мирно текли долгие безмятежные годы его старости. Царь скончался раньше его, пришел новый царь, который не замечал Вираты и только однажды ударил его палкой за то, что собака заворчала, когда царь проходил мимо. И все мало-помалу забыли о существовании Вираты.

Когда же и для него исполнилась мера его лет и он умер и был зарыт на свалке, где хоронили всех слуг, в народе уже никто не помнил о том, кого страна когда-то прославляла четырьмя именами добродетели. Сыновья его попрятались, и ни один жрец не пел погребальных песен над его прахом. Лишь собаки выли два дня и две ночи, потом и они забыли Вирату, чье имя не вписано в летописи властителей и не начертано в книгах мудрецов.

# ЛЕГЕНДА О СЕСТРАХ-БЛИЗНЕЦАХ



**В**

одном южном городе, имени которого я предпочитаю не называть, как-то под вечер, пройдя узким переулком и завернув за угол, я вдруг увидел очень старинное здание с двумя высокими башнями, столь сходными между собой, что в вечерних сумерках одна казалась тенью другой. Это была не церковь и, по-видимому, не дворец древних времен; массивны-

ми, внушительными стенами здание напоминало монастырь, однако его архитектура носила явно светский характер, хотя назначение его представлялось неясным. Вежливо приподняв шляпу, я обратился к краснощекому мужчине, сидевшему за стаканом янтарного вина на террасе маленького кафе, с просьбой сообщить мне, как называется это здание, которое столь величаво высится над низенькими крышами соседних домов. Мой собеседник удивленно посмотрел на меня, потом улыбнулся тонкой улыбкой и неторопливо заговорил:

— Затрудняюсь дать вам точные сведения. На плане города оно, вероятно, обозначено как-нибудь иначе, мы же называем его по-старинному, «Дом сестер», потому ли, что обе башни так похожи друг на друга, или, быть может, потому, что...

Он запнулся и уже без улыбки испытующе взглянул мне в лицо, словно желая удостовериться, достаточно ли возбуждено мое любопытство. Но неполный ответ удваивает интерес, — мы очень быстро разговорились, и я охотно принял его предложение выпить стакан терпкого золотистого вина. Перед нашими взорами, в свете медленно поднимающейся луны, таинственно поблескивало кружево башен; вечер был теплый, вино пришлось мне по вкусу, так же как и рассказанная моим собеседником занимательная легенда о сестрах-близнецах, которую я передаю здесь добросовестно, не ручаясь, однако, за ее историческую достоверность.

Войско императора Феодосия расположилось на зимние квартиры в тогдашней столице Аквитании; когда загнанные лошади благодаря длительному отдыху снова обрели гладкую, словно атлас, шерсть, а солдаты уже начали скучать, случилось так, что предводитель конницы, лангобард по имени Герилунт, влюбился в красавицу лавочницу, продававшую на окраине города пряности и медовые коврижки. Он был охвачен столь сильной страстью, что, невзирая на ее низкое происхождение и торопясь заключить ее в объятия, тотчас сочетался с ней браком и поселился в княжеском доме на рыночной площади. Там они провели, скрываясь от посторонних взоров, много недель; влюбленные друг в друга, они забыли людей, время, императора и войну. Но пока они,



поглощенные своей страстью, еженощно засыпали в объятиях друг друга, время не дремало. Внезапно налетел с юга весенний ветер, его горячее дыхание растопило лед замерзших рек, по его легкому следу распускались на лугах крокусы и фиалки. Мгновенно зазеленели деревья, влажными бугорками пробились на застывших ветвях почки; весна подымалась с дымящейся земли, а с ней воспрянула и война. Однажды ранним утром медная колотушка у ворот властно нарушила утренний сон влюбленных: приказ императора погелевал военачальнику снарядиться и выступить в поход. Барабаны били тревогу, ветер громко шумел в знаменах, подковы оседланных коней цокали на рыночной площади. Тогда Герилунт торопливо вырвался из нежно обвивавших его рук своей зимней жены, ибо ярче любви пылали в нем честолюбие и мужская жажда брани. Равнодушный к слезам супруги, он не позволил ей сопровождать себя, оставил ее в своем просторном доме и во главе конного отряда вторгся в мавританские земли. В семи битвах он разгромил неприятеля, огненной метлой вымел разбейничьи замки сарацинов, покорил их города и победоносно разграбил страну до самого моря, где ему пришлось нанять парусники и галеры, чтобы переправить на родину богатейшую добычу. Никогда еще победа не была столь молниеносной, военный поход столь блистательным. Не удивительно, что император, желая отблагодарить доблестного воина, уступил ему за небольшую дань север и юг завоеванной страны в ленное пользование и управление. Теперь Герилунт, которому доселе седло заменяло и дом и родину, мог бы в полном достатке вкушать покой до конца своих дней. Но честолюбие, не утоленное, а, напротив, раззадоренное быстрым успехом, требовало большего: он не хотел быть подданным и данником своего государя, и лишь королевский венец казался ему достойным украсить светлое чело его супруги. Он начал сеять смуту в своем войске, готовя возмущение против императора. Но предательски раскрытый заговор не удался. Потерпев поражение еще до битвы, отлученный от церкви, покинутый своими всадниками, Герилунт вынужден был бежать в горы; там за щедрую мзду крестьяне во время сна насмерть забили опального военачальника.

В тот самый час, когда римские воины нашли в сарае на соломенной подстилке окровавленный труп мятежника и, сорвав с него платье и драгоценности, бросили, нагого, на свалку, его жена, не ведая о гибели мужа, родила во дворце, на роскошном парчовом ложе, двойню; девочек-близнецов при большом стечении народа окрестил сам епископ и нарек их Софией и Еленой. Но еще не умолк гул церковных колоколов и звон серебряных чарок на пиру, когда внезапно пришла весть о мятеже и гибели Герилунта, а вслед за ней — вторая: император, согласно общепризнанному закону, требовал для своей казны дом и имущество мятежника. Итак, после столь краткого счастья красавица лавочница, едва оправившись от родов, снова была вынуждена надеть свое реденькое шерстяное платье и спуститься в промозглую уличку на окраине города; но прежней нищете сопутствовали теперь горечь разочарования и забота о двух малютках. Снова сидела она с утра до вечера на низкой деревянной скамеечке в своей лавчонке, предлагая соседям пряности и сладкие медовые коржики, и нередко вместе со скудными грошами на ее долю выпадали злые насмешки. Горе быстро погасило блеск ее очей, преждевременная седина посеребрила волосы. Но за все лишения и невзгоды вознаграждали ее резвость и чарующая прелесть сестер-близнецов, унаследовавших обаятельную красоту матери; они были столь сходны обличем и живостью речи, что одна казалась зеркальным отражением пленительного образа другой. Не только чужие, но и родная мать подчас не могла отличить Елену от Софии, так велико было это сходство. И она велела Софии носить на руке льняную тесемочку, чтобы отличать ее по этому признаку от сестры, ибо, услышав голос или увидев лицо дочери, она не знала, каким именем назвать ее.

Но сестры, унаследовав победную красоту матери, роксовым образом получили в удел и необузданное честолюбие и жажду власти, отличавшие их отца; каждая стремилась во всем превзойти не только сестру, но и всех ровесниц. Еще в те ранние годы, когда дети обычно мирно и бесхитростно играют друг с другом, сестры во всякое дело вносили соревнование и зависть. Если кто-нибудь, плененный красотой одной из девочек, надевал

ей на палец колечко, не подарив другой такого же, если волчок одной вертелся дольше, чем волчок другой, мать заставляла обиженную на полу, с засунутым в рот кулачком, злобно стучащей ножками об пол. Похвала, ласковое слово, обращенное к одной сестре, вызывало ревность другой, и, хотя они были так схожи между собой, что соседи в шутку называли их «зеркальцами», они непрерывно мучили друг друга бешеной завистью. Тщетно пыталась мать потушить разгоравшееся пламя чрезмерного честолюбия враждующих сестер, тщетно старалась ослабить вечно натянутые струны соревнования; ей пришлось убедиться, что злосчастное наследие отца продолжает жить в несозревших душах детей, и только сознание, что благодаря этому неустанному соревнованию обе девочки стали самыми умелыми и ловкими среди своих ровесниц, служило ей некоторым утешением. За что бы ни взялась одна, другая тотчас же старалась превзойти ее. И так как обе девочки обладали от природы проворством рук и сметливостью, то они быстро научились всем полезным и приятным женским искусствам, а именно: прясть лен, красить материю, оправлять драгоценные камни, играть на флейте, грациозно танцевать, сочинять затейливые стихи и петь их под звуки лютни; не в пример придворным дамам, они даже изучали латынь, геометрию и высшие философские науки, с которыми знакомил их по доброте сердечной один старый диакон. И скоро во всей Аквитании не стало девушки, равной по красоте, воспитанию и гибкости ума двум дочерям лавочницы. Но никто не мог бы сказать, кому из двух слишком уж одинаковых сестер, Елене или Софии, принадлежит первенство, ибо никто не отличил бы одну от другой ни по облику, ни по движениям, ни по речи.

Но вместе с любовью к изящным искусствам и приобщением ко всему тому, что наполняет душу и тело пылким стремлением вырваться из узкого, ограниченного мирка в бескрайние просторы духа, в обеих девушках росло жгучее недовольство низким положением матери. Возвращаясь домой из академии, с диспутов, где они состязались с учеными, искусно перебрасываясь тонкими аргументами, или с танцев — еще овеянные звуками музыки, — они заставляли в своей прокопченной улочке рас-

трепанную мать, которая до позднего вечера торговалась с покупателями из-за горсти перечных зерен или нескольких позеленевших медаков. Они стыдились своей беспросветной нищеты и, лежа без сна на колкой ветхой циновке, больно царапавшей горячее девичье тело, проклинали свою судьбу, ибо, превосходя красотой и умом знатнейших дам, призванные носить мягкие пышные одежды, звеня драгоценными украшениями, они были похоронены в затхлой, глухой дыре и могли в лучшем случае выйти замуж за бондаря — соседа слева, или оружейника — соседа справа; а ведь они дочери великого полководца, с королевской кровью в жилах и властной душой. Они жаждали сверкающих чертогов и раболепной толпы слуг, жаждали богатства и могущества, и, если случайно мимо них проносили благородную даму в дорогих мехах, с сокольничими и телохранителями вокруг легко покачивающихся носилок, щеки их становились такими же белыми от злобы, как зубы во рту. Бурно вскипало в крови необузданное честолюбие мятежного отца, который также не хотел мириться с золотой серединой, со скромной судьбой; день и ночь они только о том и думали, как бы вырваться из столь недостойного существования.

И вот хоть и неожиданным, но вполне понятным образом случилось, что в одно прекрасное утро София, пробудясь, нашла ложе сестры опустевшим: Елена, ее двойник, зеркало всех ее вожелений, тайно скрылась ночью, и встревоженная мать со страхом спрашивала себя, уж не похитил ли ее кто-нибудь силой, ибо многие знатные юноши поражены были двойным сиянием сестер и ослеплены им до потери рассудка. Наскоро одевшись, она бросилась к наместнику, который именем императора правил городом, заклиная его выслать погоню за злодеем. Тот обещал. Но уже на другой день, к великому стыду матери, распространился слух, что Елена, едва созревшая для любви, по доброй воле бежала с юношей высокого рода, взломавшим ради нее отцовские ларцы и сундуки. Неделю спустя вслед за первой вестью пришла другая, еще более ужасная: путники рассказывали, как пышно живет юная блудница в соседнем городе со своим любовником, окруженная слугами, соколами и заморскими зверями, щеголяя в мехах и парче,

на соблазн всем честным женщинам. Но не успели эту весть разжевать болтливые людские уста, как новая, еще более страшная, явилась на смену: Елена, опустошив мешки и карманы безусого мальчишки, покинула его и перебралась во дворец казначея, древнего старика, всегда слывшего скрягой, отдала ему свое юное тело за еще большую роскошь и теперь безжалостно грабит его. Через несколько недель, повидавав золотые перья казначея, она бросила его, словно общипанного и выпотрошенного петуха, взяв себе другого любовника; этого сменил новый, еще более богатый, и вскоре ни у кого уже не оставалось сомнений, что Елена в соседнем городе торгует своим юным телом не менее усердно, чем дома ее мать — пряностями и сладкими медовыми коврижками. Тщетно слала несчастная вдова гонца за гонцом к заблудшей дочери, умоляя ее не позорить столь кощунственно память отца. Мера непотребства переполнилась, когда однажды, к вящему стыду матери, от ворот города двинулось по улице пышное шествие: впереди шли скороходы в ярко-алых одеждах, за ними следовали, как при въезде вельможи, всадники, и среди них, окруженная резвыми персидскими собаками и диковинными обезьянами, Елена, юная гетера, пленительная, как ее тезка — Прекрасная Елена, некогда потрясавшая царства, — и разодетая, словно языческая царица Савская, вступающая в Иерусалим. Собрались ротозеи, заработали языки; ремесленники выбегали из своих хижин, писцы бросали пергамент, толпа любопытных окружила шествие; потом всадники и слуги выстроились для почетной встречи на рыночной площади. Наконец, распахнулась завеса, и юная блудница надменно перешагнула порог дворца, принадлежавшего когда-то ее отцу; расточительный любовник, ради трех жарких ночей, откупил его у казны для Елены. Точно в свою вотчину вступила она в покой, где на парчовом ложе ее родила мать, и вскоре давно покинутые хоромы наполнились дорогими языческими статуями, холодный мрамор одел деревянные лестницы, мозаичные плиты покрыли полы, словно плющом обвинили стены тканые ковры с изображением людей и событий, звон золотых чаш сливался со звуками музыки на праздничных пиршествах, ибо, обученная всем искусствам, пленяя всех молодостью, умом, Елена скоро стала са-

мой прославленной и самой богатой из гетер. Из соседних городов, из чужих стран стекались богачи — христиане, язычники, еретики, чтобы хоть раз вкусить ее ласк, и так как жажда могущества Елены не уступала безудержному честолюбию ее отца, она железной рукой держала влюбленных и безжалостно затягивала петлю страсти, пока не выманивала все их состояние. Даже сын наместника, и тот вынужден был уплатить изрядный выкуп ростовщикам и заимодавцам, когда после недели любовных утех, все еще одурманенный и вместе с тем жестоко отрезвленный, покинул объятия и дом Елены.

Не удивительно, что столь бесстыдное поведение злого честных женщин города, особенно пожилых. В церквах проповедники обличали порок, женщины на рынке гневно сжимали кулаки, и часто во дворце звенели окна и ворота от пущенных в них камней. Но как ни возмущались добродетельные женщины — покинутые жены, одинокие вдовы, — как ни негодовали старые, искушенные в своем ремесле блудницы, как они ни обливали грязью этого дерзкого, внезапно ворвавшегося на их луга наслаждения жеребенка, никто не пылал гневом сильнее, чем София, сестра Елены. Не потому терзалась она, что та предается пороку; нет, ее мучило раскаяние, что сама она упустила случай, когда знатный юноша сделал ей такое же предложение, и вот все то, о чем она втайне мечтала, власть над людьми и жизнь в роскоши, досталось сестре, а в ее холодную каморку по-прежнему врывается ветер и воет наперегонки с ворчливой матерью. Правда, Елена, в хвастливом упоении своим богатством, неоднократно посылала ей дорогие наряды, но гордость Софии не позволяла ей принимать подачки. Нет, не могло утолить ее честолюбие бесславное подражание смелой сестре; она не желала драться с ней из-за любовников, как в детстве из-за сладкого пряника. Ее победа должна быть полной. День и ночь размышляя о том, как бы заставить людей поклоняться ей и прославлять ее больше сестры, она убедилась по настойчивому вниманию к ней мужчин, что сохраненный ею скромный дар — девственность и незапятнанная честь — превосходная приманка и что умная женщина может извлечь немалую выгоду из этого достояния. И потому она решила обратиться в сок-

ровище именно то, что сестра опрометчиво расточила, и выставить напоказ свою добродетель так же, как сестра-гетера—свое тело. Если та стяжала славу горделивой роскошью — она прославится смиренной бедностью. Еще не угомонились языки сплетников, как в один прекрасный день любопытство изумленного города получило новую пищу: София, сестра гетеры Елены, стыда ради и во искупление прелюбодейной жизни сестры, покинула греховный мир и вступила послушницей в благочестивый орден, посвятивший себя уходу за хворыми и немощными. Опоздавшие любовники рвали на себе волосы от досады, что нетронутое сокровище ускользнуло из их рук. Но все набожные люди, радуясь небывалому случаю противопоставить сластолюбию пленительный образ богобоязненной красоты, усердно разносили по свету эту весть, и не было девушки в Аквитании, которую славословили бы так ревностно, как Софию, самоотверженно день и ночь ухаживающую за покрытыми язвами больными и не гнушавшуюся даже прокаженных. Женщины преклоняли колена, когда она в белоснежном чепце проходила мимо, опустив глаза, епископ неоднократно хвалил ее в своих проповедях, как благороднейший пример женской добродетели, а дети благоговейно смотрели на нее, словно на невиданное небесное светило. И вдруг — легко можно себе представить досаду Елены — внимание всей страны отвернулось от нее и обратилось на непорочную жертву искупления, которая, страшась греха, словно белый голубь воспарила в горние пределы смиренного мудрия.

Поистине словно созвездие Близнецы сияла в последние месяцы слава сестер над восхищенной страной на радость и грешникам и благочестивым. Ибо если первые находили у Елены усладу телесную, то духовной усладой дарил вторых блистающий добродетелью образ Софии, и, в силу такого раздвоения, впервые от начала мира в этом городе Аквитании царство божие отделено было от царства дьявола столь отчетливо и наглядно. Целомудренный видел в Софии своего ангела-хранителя, а погрязший в грехах вкушал наслаждение в объятиях ее недостойной сестры. Но в душе смертного между добром и злом, между плотью и духом пролегают потаенные тропки, и вскоре оказалось, что как раз эта

двойственность неожиданно явилась источником соблазна. Ибо сестры-близнецы вопреки столь различному образу жизни оставались внешне как две капли воды похожими друг на друга: тот же рост, те же глаза, та же улыбка и чарующая прелесть; не удивительно, что многих мужчин охватило смятение. Случалось, что юноша, проведя знойную ночь в объятиях Елены, утром торопился уйти от нее, дабы поскорей смыть с души грех, и вдруг останавливался как вкопанный, протирая глаза, — уж не дьявольское ли это наваждение? Ибо смиренная послушница в скромном сером одеянии, которая катилась в кресле по саду больницы страдающего одышкой старика и без отвращения кротко и ласково вытирала больному беззубый слюнявый рот, казалась юноше женщиной, только что оставленной им на ложе. Он пристально вглядывался: да, те же губы, те же мягкие и нежные движения, правда, в порыве не земной страсти, а в возвышенной любви к ближнему; он вглядывался, глаза у него загорались, и мало-помалу монашеское одеяние становилось прозрачным и сквозь него проступало хорошо знакомое тело блудницы. И такой же обман чувств смущал душу тех, кто, выйдя из дому, где он только что с благоговейным трепетом смотрел, как оказывает помощь целомудренная София, за первым углом натыкался на нее, но странно преображенную, — роскошно одетую, с обнаженной грудью, в толпе поклонников и слуг торопящуюся на пир. Это Елена, не София, говорили они себе, и все же, глядя на послушницу, не могли не видеть ее наготы, и грешные мысли соблазняли их в самом благочестии. От этой раздвоенности произошло такое смятение чувств, что порой желания наперекор воле шли превратным путем, и случалось, что юноши в объятиях продажной сестры грезили о непорочной, а встречаясь с доброй самаритянкой, взирали на нее с плотским вожделением. Ибо творец мира сего, когда мастерил мужчин, явно что-то перекошил в них; поэтому они всегда требуют от женщин обратное тому, что те им предлагают: если женщина легко отдается им, мужчины вместо благодарности уверяют, что они могут любить чистой любовью только невинность. А если женщина хочет соблюсти невинность, они только о том и думают, как бы вырвать у нее бережно хранимое сокровище. И



никогда не находят они покоя, ибо противоречивость их желаний требует вечной борьбы между плотью и духом; здесь же какой-то затейливый бес затянул двойной узел, ибо блудница и монахиня, Елена и София, так походили друг на друга, что казались одной и той же женщиной, и никто уже точно не знал, к которой из них вождедеет. И стало так, что беспутная молодежь города чаще толпилась у ворот больницы, чем в тавернах, и развратники, соблазнив блудницу золотом, заставляли ее для любовных утех надевать серое монашеское одеяние, дабы обольщать себя мыслью, будто они обнимают неприступную Софию. Весь город, вся страна мало-помалу были втянуты в эту нелепую бесовскую игру самообмана, и ни увещания епископа, ни уговоры правителя города не могли прекратить изо дня в день повторявшегося кощунства.

Казалось бы, сестры, окруженные поклонением и почестями, могли полюбовно поделить между собой славу и успокоиться тем, что одна — самая богатая, а другая — самая благочестивая женщина в городе; но обе, снедаемые честолюбием, с гневно бьющимся сердцем только и думали о том, как бы нанести друг другу урон. София со злости кусала губы, когда до нее доходили слухи, что сестра в греховном лицедействе глумится над ее благочестивой жизнью, Елена же ударами плети осыпала слуг, доносивших о том, что паломники стекаются в город, чтобы поклониться ее сестре, а женщины целуют землю, по которой ступала ее нога. Но чем больше зла они друг другу желали, чем сильнее ненавидели друг друга, тем тщательнее прятали они свои истинные чувства под личиной сострадания. Елена за пиром со слезами в голосе сокрушалась о сестре, столь безрассудно принесшей в жертву свою молодость и все радости жизни ради дряхлых стариков, которым давно пора умирать; София же неизменно заканчивала вечернюю молитву словами о несчастных грешницах, которые в безумии своем ради мимолетных бранных благ земных лишаются наивысшей отрады — посвятить свою жизнь добрым и богоугодным делам. Но убедившись, что ни посылаемые друг к другу послы, ни доносчики не могут сбить их с однажды избранного пути, сестры понемногу стали снова сближаться, словно два атлета, хранящих

видимость равнодушия, но уже нацеливших глаза и руки для сокрушительного удара. Все чаще стали они посещать друг друга, проявляя взаимную нежную заботу, и в то же время каждая готова была душу отдать, лишь бы повредить другой.

Однажды после вечерни София благочестивая опять пришла к сестре, чтобы еще раз словом убеждения попытаться отвлечь ее от порочной жизни. Снова принялась она красноречиво поучать Елену, уже начинавшую терять терпение, как дурно она поступает, превращая данное ей богом тело в средоточие греха. Елена, богданное тело которой в это время умащали служанки, готовя его к греховному ремеслу, слушала сестру, полугневаясь, полусмеясь, и раздумывала, довести ли докучливую проповедницу до ярости богохульными речами, или позвать в свои покои несколько красивых юношей для вящего ее смущения. И вдруг — словно тихо жужжащая муха коснулась ее виска — у нее мелькнула мысль, столь коварная и дерзкая, что она едва удержалась от смеха. Круто изменив свое наглое поведение, она выгнала служанок и банщиков и, как только осталась наедине с сестрой, принялась каяться, пряча под смиренно опущенными веками огненный взор. О, пусть сестра не думает, начала искушенная в притворстве Елена, что сама она не стыдится своей беспутной, греховной жизни. Не раз овладевало ею отвращение к животному сластолюбию мужчин, не раз давала она себе слово навсегда отринуть порок и вести честную, скромную жизнь. Но она убедилась, что всякое сопротивление напрасно; София, сильная духом, не подверженная, как она, слабости плоти, и не подозревает, сколько соблазна заключено в могуществе мужчин, перед которым не может устоять ни одна женщина, посвященная в тайны любви. Ах, она — счастливица — не знает, сколь неотразима властная сила мужчины, не знает, какая в ней неизъяснимая улада, покоряющая женщин вопреки их воле.

София, пораженная такой исповедью, неожиданной для нее в устах жадной до денег и наслаждений сестры, не замедлила пустить в ход все свое красноречие. Наконец-то и ее осенила божественная благодать, начала она поучать Елену, ибо отвращение к греху — верный путь к познанию добра. Но напрасно она поддает-

ся малодушию, уверяя, что невозможно побороть искушения плоти; несокрушимая воля к добру, ежели душа преисполнится ею, может устоять перед любым соблазном — таких примеров великое множество в истории язычников и христиан. Но Елена печально опустила голову. О да, сокрушенно отвечала она, и ей доводилось читать о доблестной борьбе праведников с дьяволом любогострастия. Но бог наделил мужчин не только могучим телом, но и твердостью духа, сотворив их победоносными воинами за дело божие. А слабая женщина, с тяжким вздохом проговорила она, не в силах противостоять козням и прельщениям мужчин, и за всю свою жизнь она не видела женщины, которая не уступила бы настойчивому желанию мужчины.

— Как можешь ты так говорить! — вознегодовала София, задетая в своей неукротимой гордыне. — Разве я сама не живой пример тому, что твердая воля может противостоять домогательству мужчин? С утра до вечера осаждает меня мерзостная орда, даже в больницу пробираются они, преследуя меня по пятам, и к ночи я нахожу на своем ложе письма, исполненные гнусных обольщений. Но никто не видел, чтобы я удостоила одного из них хотя бы взглядом, ибо воля ограждает меня от соблазна. Нет правды в твоих словах: покуда женщина истинно гнушается греха, она не уступает, тому пример я сама.

— Ах, я знаю, ты, счастливица, доселе сумела уберечь себя от соблазна, — с притворным смирением отвечала Елена, покосившись на сестру, — но это потому, что тебя хранит монашеское платье и суровый долг, который ты возложила на себя. Тебе защитой весь святой орден благочестивых сестер. Ты не одинока, не беззащитна, как я! Не думай, что чистотой своей ты обязана только собственной твердости. Я даже уверена, что и ты, София, побыв наедине с юношей, не найдешь в себе ни сил, ни желания противиться ему. И ты уступишь так же, как уступаем мы все.

— Никогда! Нет, никогда! — вскричала с гневом София. — Я готова и без защиты моего облачения одной своей волей выдержать любой иску.

Только этого Елене и нужно было. Шаг за шагом заманивая сестру в расставленные сети, она упрямо оспа-

ривала слова Софии, пока та, наконец, выведенная из терпения, сама не стала настаивать на испытании. Она желает, нет, требует проверки, дабы слабая духом Елена всочию убедилась, что своим целомудрием она, София, обязана не защите извне, а собственной силе. Елена нарочито долго молчала, как будто обдумывая слова Софии, а между тем сердце замирало у нее от нетерпения и злорадства; наконец, она промолвила:

— Слушай, София, я знаю, как подвергнуть тебя испытанию. Завтра вечером я жду Сильвандра, самого красивого юношу в стране; ни одна женщина не может устоять перед ним, но выбор его пал на меня. Двадцать восемь миль проедет он верхом ради меня; он привезет с собою семь фунтов чистого золота и другие подарки, надеясь разделить со мною ложе. Но если бы даже он пришел с пустыми руками, я и тогда не прогнала бы его, а даже отдала бы столько же золота, чтобы провести с ним ночь, ибо нет юноши красивее и любезнее его. Бог создал нас с тобою столь схожими лицом, голосом и станом, что, если ты наденешь мое платье, никто не заподозрит обмана. Прими завтра вместо меня Сильвандра в моем доме и раздели с ним трапезу. Если он, приняв тебя за меня, потребует твоих ласк, отказывай ему под любимыми предложениями. Я же в соседнем покое буду ждать и следить, окажешься ли ты в силах до полуночи противиться ему. Но берегись, сестра; велик и опасен соблазн его близости, а еще опаснее слабость нашего сердца. И я боюсь, сестра, что ты, привыкнув к отшельнической жизни, по неведению поддашься соблазну, а потому заклинаю тебя отказаться от столь дерзкой игры.

Елейная речь коварной сестры, которой она то заманивала, то предостерегала Софию, только подливала масла в огонь. Если испытание заключается в таком пустяке, гордо объявила София, то она не сомневается, что с легкостью выдержит его, и не только до полуночи, но даже до утренней зари; она просит лишь дозволения записаться кинжалом на случай, если бы юноша осмелился прибегнуть к насилию.

Услышав столь высокомерные слова, Елена, точно в порыве благоговения, опустилась на колени перед сестрой; на самом же деле она хотела только скрыть зло-

радство, сверкнувшее в ее глазах. И так было условлено, что на другой день благочестивая София примет Сильвандра; Елена, в свою очередь, поклялась навеки отказаться от порочной жизни, если сестре удастся победить соблазн. София поспешно возвратилась к монахиням, дабы укрепиться духом подле этих богобоязненных женщин, отвернувшихся от мира и посвятивших свою жизнь убогим и больным.

Она с удвоенным рвением ходила за самыми немощными и расслабленными и, глядя на их тяжелые недуги, проникалась мыслью о бренности всего земного: разве эти заживо гниющие страдальцы не знали некогда любви, не предавались страсти? И что же осталось от них? — плесень, тлен, в котором едва теплилась жизнь.

Но и Елена не сидела сложа руки. Испушенная во всех ухищрениях, при помощи которых вызывают Эроса, своенравного бога, и удерживают его, она первым делом велела своему повару, уроженцу Южной Италии, приготовить особые яства, сдобренные всевозможными возбуждающими пряностями: в паштет она приказала положить бобровое семя, любострастные корни и испанский перец; в вино подмешать белены и одуряющих трав, которые туманят ум и нагоняют дремоту. Не забыла она и музыку, эту извечную сводню, словно теплый ветерок навевающую истому на душу. Нежнейшие флейты и пылкие цимбалы притаились в соседнем покое, скрытые от взоров и потому предательски опасные для одурманенных чувств. Предусмотрительно расставив таким образом сети дьявола, она стала нетерпеливо поджидать столь кичившуюся своей добродетелью сестру; когда та пришла, бледная от бессонной ночи, взволнованная предстоящей, добровольно вызванной опасностью, ее на пороге окружил рой юных служанок; они повели изумленную послушницу к благоухающему водоему. Там они сняли с краснеющей от стыда Софии серое монашеское платье и принялись умащать ее плечи, бедра и спину растертыми лепестками цветов и благовонными мазями столь нежно и вместе с тем крепко, что кровь жгуче прилила к коже. По разгоряченному телу струилась то прохладная, то теплая вода, проворные руки увлажняли его нарциссным маслом, нежно мяли его и так усердно натирали лоснящуюся кожу кошачьими

шкурками, что голубые искры вспыхивали на шерсти,— словом, они готовили к любовным утехам богобоязненную Софию, которая не осмелилась оказать сопротивления, точно так же, как ежевечерне — Елену. Издали доносившие тихие, вкрадчивые звуки флейты, а от стен исходило благоухание смолы, капля за каплей сочившейся из сандаловых светильников. И когда, наконец, София, весьма смущенная всем проделанным над нею, легла на ложе и в металлических зеркалах увидела свое отражение, она показалась себе чужой, но прекрасной, как никогда. Она упивалась ощущением легкости и свежести своего тела и вместе с тем стыдилась охватившей ее сладостной неги. Однако ей недолго пришлось предаваться противоречивым чувствам. Елена подошла к ней и, ласкаясь, как котенок, стала льстивыми словами восхвалять ее красоту, пока та резко не оборвала поток ее суетной речи. Еще раз лицемерно обнялись сестры, скрывая волнение: одна терзалась тревогой и страхом, другая сторала от злобного нетерпения. Затем Елена приказала зажечь свечи и скользнула, точно тень, в соседний покой, дабы насладиться подстроеным ею зрелищем.

Коварная блудница успела заранее предупредить Сильвандра о том, какое двусмысленное приключение его ожидает, и настойчиво посоветовала ему на первых порах рассеять страхи целомудренной послушницы сдержанным и благопристойным обращением с нею. И вот когда Сильвандр, предвкушая победу в этом забавном и необычном состязании, наконец явился и София левой рукой невольно схватилась за кинжал, которым она вооружилась для защиты от насилия, она с удивлением увидела, что известный своею дерзостью распутник преисполнен самой почтительной учтивости. Ибо, предупрежденный Еленой, он не только не пытался обнять замирающую от страха Софию или приветствовать ее слишком вольными словами, но смиренно преклонил перед ней колено. Потом, подозвав слугу, он взял из его рук тяжелую золотую цепь и пурпуровое одеяние из провансальского шелка и попросил разрешения накинуть его ей на плечи, а цепь надеть на шею. В столь вежливо изъясненной просьбе София не могла ему отказать и дала согласие; не шевелясь, стояла она, пока он об-

лекал ее в богатый наряд, когда же он надевал ей на шею цепь, она вместе с прохладой металла ощутила на затылке легкое прикосновение горячих пальцев. Но так как Сильвандр этим и ограничился, то у Софии не было никаких причин для гневного отпора. С притворной скромностью он снова склонился перед ней и, сказав, что он недостоин разделить с ней трапезу, ибо не стряхнул с себя дорожную пыль, смиренно попросил дозволения раньше умыться и переменить платье. София смутилась, но позвала служанок и велела отвести гостя в покой для омовения. Однако служанки, послушные тайному приказу Елены, намеренно превратно истолковали слова Софии и мгновенно совлекли с юноши одежды, так что он предстал перед нею нагой и прекрасный, точно изваяние Аполлона — языческого бога, стоявшее прежде на рыночной площади и разбитое на куски по приказанию епископа. Потом они натерли его маслами, омыли ему ноги теплой водой, не спеша вплели розы в волосы улыбающемуся обнаженному юноше и, наконец, облачили его в новый пышный наряд. И когда Сильвандр вторично приблизился к Софии, он показался ей еще прекраснее прежнего. Но едва заметив, что ее пленяет его красота, она в гневе на самое себя поспешила удостовериться, что спрятанный в складках платья спасительный кинжал под рукой. Однако никакой нужды выхватывать его не было, ибо юноша с не меньшим уважением, чем ученые магистры, посещавшие больницу, вежливо занимал ее пустыми речами, и все еще — теперь уже скорее к огорчению ее, чем к удовольствию, — не представлялся случай блеснуть перед сестрой примерной женской стойкостью: как известно, для того, чтобы отстоять свою добродетель, необходимо, чтобы кто-нибудь покусился на нее. Однако Сильвандр, видимо, и не помышлял об этом, и в томных звуках флейты, все громче раздававшихся в соседнем покое, было больше нежной страсти, чем в словах, которые произносили алые уста юноши, казалось, созданные для любви. Точно сидя за столом в кругу мужчин, он невозмутимо повествовал о состязаниях и военных походах и так искусно притворялся равнодушным, что София и думать забыла об осторожности. Беспечно лакомилась она пряными яствами и пила дурманящее вино. Раздосадованная, даже

разозленная тем, что юноша не дает ей ни малейшего повода доказать сестре свою неприступность и дать волю праведному гневу, она, наконец, сама пошла навстречу опасности. Неведомо как и откуда на нее вдруг нашло задорное веселье, она стала громко смеяться, раскачиваясь и вертясь во все стороны, но ей не было ни стыдно, ни страшно — ведь до полуночи не так уж далеко, кинжал под рукой, а этот мнимопламенный юноша холоднее, чем стальное лезвие. Все ближе и ближе придвигалась она к нему в надежде, что наконец-то представится случай победоносно отстоять свою добродетель; сама того не желая, богобоязненная София, снедаемая честолюбием, изошрялась в искусстве обольщения в точности так, как это делала ради сугубо земных благ ее прелюбодейка сестра.

Но мудрое изречение гласит, что, если тронуть хотя бы волос в бороде дьявола, он непременно вцепится тебе в загривок. Так, в пылу соревнования, случилось и с Софией. От вина, приправленного дурманом без ее ведома, от курящихся благовоний, от сладостно-томящих звуков флейты у нее стали путаться мысли. Речь превратилась в невнятный лепет, смех — в пронзительный хохот, и ни один доктор медицины, ни один правовед не мог бы доказать перед судом, случилось ли это с ней во сне или наяву, в опьянении или в твердой памяти, с ее согласия или вопреки ее воле, но так или иначе задолго до полуночи произошло то, что, по велению бога или его соперника, рано или поздно должно произойти между женщиной и мужчиной. Из потревоженных складок одежды со звоном упал на мраморные плиты пола припрятанный кинжал; но странно: утомленная праведница не подняла его, не вонзила в грудь дерзкого юноши; ни плача, ни шума борьбы не донеслось до ушей Елены. И когда в полночь торжествующая блудница ворвалась с толпою слуг в комнату, ставшую брачным покоем, и, сгорая от любопытства, подняла факел над ложем побежденной сестры, напрасно было бы отрицать или каяться. Дерзкие служанки, по языческому обычаю, осыпали ложе розами более алыми, чем щеки краснеющей Софии, слишком поздно опомнившейся и понявшей свое поражение. Но Елена заключила смущенную сестру в объятия и горячо поцеловала ее; пели флей-



ты, гремели цимбалы, словно великий Пан вернулся на христианскую землю; полуобнаженные девушки, точно вакханки, кружились в хороводе, славословя Эроса, отвергнутого бога. Потом они развели костер из благоухающего дерева, и жадные языки пламени пожрали преданный поруганию строгий монашеский наряд. Новообращенную гетеру, которая, не желая признавать свое поражение, томной улыбкой давала понять, что добровольно покорилась прекрасному юноше, служанки так же увенчали розами, как ее сестру; они стояли рядом, взволнованные, с пылающими щеками, одна — сгорая от стыда, другая — торжествуя победу; теперь уже никто не мог бы отличить Софию от Елены, согрешившую смиренницу от блудницы, и взоры юноши переходили от одной к другой с новым, вдвойне нетерпеливым вождедением.

Тем временем охваченные буйным весельем слуги распахнули настежь окна и ворота дворца. Ночные гуляки, поднятый с постели беспутный люд, смеясь и крича, стекался со всех сторон, и солнце еще не успело позолотить кровли, как словно вода из всех желобов побежала по улицам молва о блестящей победе Елены над мудрой Софией, порока над целомудрием. Едва услышав о падении столь, казалось, неизбежного оплота добродетели, мужи города поспешили во дворец, где (буде сказано без утайки) нашли радушный прием, ибо София, обращенная столь же мгновенно, как и преображенная, осталась у Елены и всеми силами старалась сравняться с ней пылкостью и усердием. Настал конец раздорам и взаимной зависти; избрав одно и то же позорное ремесло, грешные сестры жили в добром согласии под одной кровлей. Одна убирала волосы, как другая, носила такие же наряды и украшения, что и другая, и так как теперь они обе одинаково смеялись и шептали нежные слова, то для сластолюбцев началась новая, нескончаемая и увлекательная игра: угадывать по пламенным взглядам, поцелуям и ласкам, кого они держат в объятиях — блудницу Елену или некогда благочестивую Софию. Редко удавалось кому-нибудь узнать, на которую из сестер истрачены деньги, столь разительно было сходство между ними; к тому же лукавые близнецы с особенным удовольствием нарочно дурачили любопытных.

Итак, не впервые в нашем обманчивом мире Елена восторжествовала над Софией, красота над мудростью, порок над добродетелью, извечно грешная плоть над зыбким и кичливым духом, и вновь подтвердилась истина, на которую сетовал еще Иов многострадальный, что нечестивые благоденствуют на земле, а праведные поставлены на посмешище, непорочные отданы на посрамление. Ибо во всей стране ни мытарь, ни надсмотрщик, ни бондарь, ни ростовщик, ни золотых дел мастер, ни пекарь, ни карманник, ни церковный вор не собирал тяжким трудом своим столько денег, сколько сестры-близнецы своим любовным рвением. С полным единодушием они опустошали самые тяжелые сундуки и самые полные ларцы, деньги и драгоценные камни словно проворные мыши еженощно сбегались в их дом. Унаследовав от матери вместе с красотой бережливость и расчетливость лавочницы, они не расточали золота, как большинство подобных им женщин, на пустые безделушки: нет, они оказались умнее и предусмотрительно отдавали свои деньги в рост, пускали в оборот, ссужая ими христиан, иудеев и язычников, и притом с таким упорством, что вскорости в этом вертепе скопилось монет, камней, верных долговых обязательств и надежных вкладных больше, чем в любом другом доме. Не удивительно, что, имея такой пример перед глазами, молодые девушки той страны уже не желали идти в судомойки и студить руки у лоханей с бельем; и вот по вине сестер, наконец помирившихся между собой, этот город стяжал наихудшую славу, и его не называли иначе, как новым Содомом.

Но есть истина и в другом старинном изречении: как бы резво ни скакал черт, рано или поздно он сломит ногу. Так и здесь великий соблазн в конечном счете послужил в назидание. Ибо по мере того как шли и уходили годы, мужчины, пресытившись, все меньше увлекались игрой в загадку. Гости являлись реже, раньше гасились факелы в доме, и уже давно все знали о том, о чем не желали знать сестры и о чем молча говорило зеркало мигающим светильникам: о морщинках возле задорных глаз, об отцветавшем перламутре блекнувших щек. Напрасно силились они ухищрениями искусства вернуть то, что ежечасно отнимала у них безжалостная

природа, напрасно гасили седину на висках, разглаживали ножами из слоновой кости морщины и подкрашивали губы усталого рта; годы, бурно прожитые годы, давали себя знать, и едва миновала юность сестер, как мужчины пресытились ими, ибо, пока они отцветали, повсюду кругом появлялись другие девушки, каждый год новый выводок — прелестные создания с маленькой грудью и шаловливыми кудрями, вдвойне обольстительные для мужского любопытства своей нетронутой чистотой. Все тише становилось в доме на рыночной площади, ржавели дверные петли, напрасно горели факелы и благоухали смолы, некому было греться у пылающего очага, некого ждать разряженным сестрам. Флейтисты, лишившись слушателей, забросили свое чарующее искусство и от скуки целыми днями играли в кости, и привратник, обязанный всю ночь поджидать гостей, толстел от избытка непотревоженного сна. Одинокое сидели сестры за длинным столом, некогда звеневшим от взрывов смеха, и, так как никто уже не приходил коротать с ними время, у них было много досуга для воспоминаний о прошлом. И в первую очередь София с грустью думала о том времени, когда, отвернувшись от земных соблазнов, она вела суровую богоугодную жизнь; теперь она часто брала в руки запыленные священные книги, ибо мудрость охотно посещает женщин, когда от них бежит красота. И мало-помалу в обеих сестрах совершалось чудесное превращение, ибо как в дни юности Елена блудница поборола Софию благочестивую, так теперь София, правда, с большим запозданием и успев изрядно нагрешить, с успехом убеждала свою слишком привязанную к земному сестру отказаться от мира. В доме по утрам происходило таинственное движение: София украдкой стала посещать столь позорно некогда покинутую больницу, дабы вымолить прощение у монахинь, сначала одна, а потом вместе с Еленой, и, когда обе сестры объявили, что все нажитые грехом деньги они хотят без остатка на вечные времена завещать больнице, даже малoverы перестали сомневаться в искренности их покаяния.

И так случилось, что в одно прекрасное утро, когда привратник еще спал, две просто одетые женщины, прикрыв лицо от нескромных взоров, бесшумно, словно те-

ни, выскользнули из пышного дома на рыночной площади почти столь же робко и смиренно, как пятьдесят лет тому назад вышла из него другая женщина — их мать, когда возвращалась из нежданного богатства в нищету окраинной улочки. Осторожно шмыгнули сестры в боязливо приоткрытые ворота, и те, что в течение целой жизни, соревнуясь в суетном тщеславии, требовали внимания к себе всей страны, теперь смиренно прятали лица, дабы путь их остался неведомым и судьба предана забвению. Если верить молве, они после долгих лет затворничества окончили свою жизнь в женском монастыре чужой страны, где никто не знал об их прошлом. Но богатства, завещанные ими, оказались столь несметными и так велика была ценность золота, украшений, самоцветов и закладных, что решено было во славу города возвести новую больницу, такую прекрасную и величественную, какой еще не знала Аквитания. Некий северный зодчий сделал чертеж, двадцать долгих лет день и ночь трудились толпы рабочих, и когда, наконец, великое дело было закончено, народ в изумлении дивился на новое здание. Ибо не так, как обычно, вздымалась над ним одна грозная четырехугольная башня, — нет, женственно-стройные, одетые в гранитное кружево, высились здесь две башни, одна справа, другая слева, столь сходные между собой размерами, обликом и тонким очарованием резьбы, что с первого дня люди назвали их «сестры-близнецы» — потому ли, что одна была отражением другой, или еще и потому, что народ, который всегда хранит память о знаменательных событиях, передавая ее в веках из рода в род, не хотел забывать легенды, рисующей грешную жизнь и обращение двух сестер, — легенды, которую рассказал мне мой краснощекий собутыльник, быть может, уже слегка под хмельком, при свете полночной луны.

## СОДЕРЖАНИЕ

НЕТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА. <i>Перевод Н. Бунина</i>	5
---	---

### ЛЕГЕНДЫ

Легенда о третьем голубе. <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	355
Глаза извечного брата. <i>Перевод Д. Горфинкеля</i>	359
Легенда о сестрах-близнецах. <i>Перевод П. Бернштейн</i>	393

Стефан Цвейг.  
Собрание сочинений в 7 томах.  
Том 2.

Редактор  
С. Шлапоберская.

Технический редактор  
А. Шагарина

---

Подп. к печ. 23/III 1963 г. Тираж 385 000 экз.  
Изд. № 543. Зак. 156. Форм. бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бум. л. 6,5. Печ. л. 21,34+2 вкл. (0,2 печ. л.).  
Уч.-изд. л. 22,51. Цена 90 коп.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина, Москва, А-47,  
улица «Правды», 24.

1210